

Николай ГЕЙНЦЕ

ДОЧЬ ВЕЛИКОГО ПЕТРА



Николай Гейнце «Дочь Великого Петра» //Вече, Москва, 2014

ISBN: 978-5-4444-2284-7

FB2: Starkosta, 20 March 2019, version 1.0

UUID: 546FD58F-258A-4A34-B8DB-E1B0AE5BDAB1

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Эдуардович Гейнце

Дочь Великого Петра

Роман русского писателя Николая Гейнце увлекательно рассказывает об эпохе правления императрицы Елизаветы Петровны. Захватив власть с помощью верных гвардейцев, она умело окружила себя достойными и надежными людьми, отдавая предпочтение россиянам, вырастив новое поколение людей, которые своими делами прославили Россию.

Содержание

#1	0008
Об авторе	0009
Часть первая Монастырь или трон?	0013
I Смерть в цветах	0013
II Две записки	0024
III Две Анны Иоанновны	0035
IV Предчувствия сбываются	0049
V Густав Бирон	0059
VI Измена фортуны	0069
VII В Москве	0080
VIII Цесаревна	0090
IX Алексей Разумовский	0100
X Во французском посольстве	0111
XI Помощь Франции	0122
XII Заговор	0133
XIII «Действо»	0145
XIV Императрица	0156
XV Коронация Елизаветы Петровны	0169
XVI Тайный брак	0181
XVII При дворе	0193
XVIII На берегу пруда	0201
XIX Роковая встреча	0212
XX Отец и сын	0224
XXI Честное слово	0237
XXII Искусительница	0250

XXIII Придворные интриги	0261
XXIV «Малороссийский поход»	0274
XXV Кирилл Разумовский	0285
XXVI Избрание в гетманы	0298
XXVII Новые фавориты	0312
XXVIII Жалованная грамота	0325
XXIX При дворе	0336
XXX Борьба партий	0348
Часть вторая Двойники	0360
I В Зиновьеве	0360
II Тайна княжеского парка	0372
III В Луговом	0384
IV Первая встреча	0397
V Беглый	0411
VI Роковое открытие	0425
VII В избушке колдуньи	0437
VIII Первый визит	0449
IX Холопская кровь	0462
X Страшное приказание	0475
XI Внутри беседки	0488
XII Призрак	0501
XIII В могиле заживо погребенных	0513
XIV После признания	0526
XV Предложение	0540
XVI Петербургский гость	0554
XVII До рассвета	0567
XVIII Убийство	0582
XIX Началось	0596

XX Погребение	0609
XXI Неожиданное решение	0622
XXII В Петербурге	0635
XXIII Зимний дворец	0647
XXIV Царское село	0656
XXV Любимая тема	0665
XXVI Молодой двор	0676
Часть третья Мертвая петля	0689
I Доклад камердинера	0689
II Самозванец	0699
III Радужные мечты	0713
IV Кабак для тимохи	0727
V «Ночная красавица»	0741
VI Предательский ноготь	0755
VII Следствие	0769
VIII Облава	0783
IX В ожидании повелителя	0796
X Внутренние и внешние дела	0809
XI Письма великой княгини	0822
XII Нашла коса на камень	0835
XIII Камень сбит	0848
XIV Игра проиграна!	0862
XV Между страхом и надеждой	0875
XVI После траура	0889
XVII Сладкое мучение	0903
XVIII Тройная игра	0917
XIX Чародей	0929
XX Перед преступлением	0942

XXI Ключ добыт	0957
XXII Два известия	0966
XXIII Совет	0979
XXIV Роковая бумага	0992
XXV В объятиях трупа	1005
XXVI После преступления	1018
XXVII «Сумасшедший князь»	1031
XXVIII Смерть императрицы	1045

Николай Гейнце Дочь Великого Петра

© ООО «Издательство „Вече“», 2014
* * *

Об авторе

Автор целой библиотеки исторической остросюжетной беллетристики, известный всей читающей дореволюционной России, Николай Эдуардович Гейнце родился 13 (25 по новому стилю) июня 1852 года в Москве. Отец, чех по национальности, — преподаватель музыки, мать — костромская дворянка, в девичестве носившая фамилию Ерлыкова. После учебы в московском пансионе Кудрякова, а затем и в Пятой московской гимназии Гейнце поступил на юридический факультет Московского университета, который успешно окончил в 1875 году. Став присяжным поверенным в Москве, он совместно с выдающимся адвокатом Плевако провел несколько крупных процессов, в числе которых было и громкое дело «червонных валетов». В 1879–1884 годах служил в Министерстве юстиции, в тридцать с небольшим лет стал товарищем (заместителем) прокурора Енисейской губернии. В 1884 году Гейнце вышел в отставку, чтобы заниматься только литературной работой.

Поэзия и проза за подписью «Н. Гейнце»

стала появляться в московских изданиях с 1880 года. За год жизни в Петербурге им был написан роман объемом в тысячу страниц, названный «В тине адвокатуры», вышедший в приложении к журналу «Луч». В романе воссоздавалась жизнь Москвы 70-х годов девятнадцатого века, и современники писателя сразу обратили внимание на цепкую память к деталям, наблюдательность, зрелость размышлений автора. В 1888 году Гейнце стал главным редактором газеты «Свет». Его работоспособность поражала современников, поговаривали даже, что он, как и Дюма-отец, имел штат литературных «негров»...

В 1891 году автор опубликовал свой первый исторический роман «Малюта Скуратов». Следующий роман, «Аракчеев», посвящался «Малюте Скуратову» царствования Александра I. Левая пресса не могла простить писателю, что традиционно ненавистного А. А. Аракчеева, вошедшего в русскую историю как создатель военных поселений, он показал фигурой страдательной, хоть и извергом, но несчастным и кающимся. Затем один за другим вышли огромными тиражами ро-

маны: «Генералиссимус Суворов», «Князь Тавриды» — о князе Потемкине времен Екатерины II, «Коронованный рыцарь» — об императоре Павле, «Первый русский самодержец» — об объединителе земли Русской Иване III. Той же эпохе были посвящены романы «Новгородская вольница» и «Судные дни Великого Новгорода» — о присоединении Новгорода к Москве. Роман «Ермак Тимофеевич» вновь возвращал читателей к событиям царствования Ивана Грозного. В своих произведениях, обращены они к личности государей или «простых смертных», попавших в их силовое поле, Гейнце искал тот человеческий стержень, который позволял оставаться человеку Человеком в любых обстоятельствах добра и зла.

В 1899 году Гейнце стал сотрудником «Петербургской газеты», в качестве военного корреспондента участвовал в Русско-японской войне 1904–1905 годов. Издал книгу очерков «В действующей армии» (1904, 1907). В эти последние тринадцать лет работы им было написано семь книг прозы. Кроме того, из-под пера автора вышло несколько пьес, вызвав-

ших нападки театральной критики, но имевших успех у зрителя. Всего же им написано более сорока книг. Умер Николай Эдуардович Гейнце 24 мая (6 июня) 1913 года в Киеве и похоронен в Санкт-Петербурге.

От множества современных и более поздних писателей, пишущих на увлекательные темы русской истории, его отличали глубокое проникновение в суть описываемых событий, серьезная работа с документальными источниками, многие из которых оказались безвозвратно утраченными в наши дни, активная гуманистическая и православная идея.

Александр Зеленский.

Часть первая Монастырь или трон?

I

Смерть в цветах

Известие о трагической смерти княжны Людмилы Васильевны Полторацкой с быстротой молнии облетело весь Петербург.

Несмотря на то что в описываемое нами время — а именно в ноябре 1758 года — не было ни юрких репортеров, ни ловких интервьюеров, ни уличных газетных листов, подхватывающих каждое сенсационное происшествие и трубящих о нем на тысячу ладов, слух о загадочной смерти молодой красавицы княжны, при необычайной, полной таинственности обстановке, пронесся, повторяем, с быстротою электричества, о котором тогда имели очень смутное понятие, не только по великосветским гостиным Петербурга, принадлежавшим к той высшей придворной сфере, в которой вращалась покойная, но даже по отдаленным окраинам тогдашнего Петер-

бурга, обитатели которых узнали имя княжны только по поводу ее более чем странной кончины.

Покойная была найдена утром 16 ноября 1758 года мертвой в своем будуаре. Она лежала на кушетке в красном бархатном домашнем капоте, почти сплошь засыпанная цветами. Роскошный букет белых роз лежал у нее на груди. Лицо ее было спокойно, поза непринужденная, и она могла показаться спящей, если бы не широко открытые, когда-то, при жизни, прекрасные, а теперь остановившиеся, черные как уголь глаза, в которых отразился весь ужас предсмертной агонии. Туалет ее был в порядке, и в уютной, со вкусом меблированной комнате не было заметно ни малейшей следов борьбы.

На лице, полуоткрытой шее и на руках не видно было никаких знаков насилия. Ее прекрасные, как смоль черные волосы были причесаны высоко, по тогдашней моде, и прическа, несмотря на то, что княжна лежала, откинув голову на подушку, не была растрепана, соболиные брови оттеняли своими изящными дугами матовую белизну лица с выдаю-

цимися по красоте чертами, а полненькие, несколько побелевшие, но все еще розовые губки были полуоткрыты как бы для поцелуя и обнаруживали ряд белых как жемчуг крепко стиснутых зубов.

Цветы, которыми была осыпана покойница, видимо, были из только что сделанных букетов, так как наутро, когда вошедшая горничная увидела первой эту поразительную картину, они были свежи и благоухали, как бы только что сорванные. Также свеж был и лежавший на груди покойной букет.

На лебединой шее княжны блестело драгоценное ожерелье, а на изящных, точно выточенных руках, переливаясь всеми цветами радуги, блестели драгоценные камни в кольцах и браслетах. В не потерявших еще свой розовый оттенок миниатюрных ушках горели, как две капли крови, два крупных рубина серег. В правой руке покойной был зажат лоскуток бумажки, на котором было по-французски написано лишь три слова: «Измена — смерть любви».

По начатым розыскам со стороны прибывшего полицейского чина было обнаружено,

что княжна с вечера довольно рано отпустила прислугу, имевшую помещение в людской — здании, стоявшем в глубине двора загородного дома княжны Полторацкой на берегу Фонтанки, где покойная жила зиму и лето, и даже свою горничную отправила в ее комнату, находившуюся в другом конце дома и соединенную с будуаром и спальней княжны проволокой звонка.

Горничная, простодушная девушка по имени Агаша, показала убежденно, что ее сиятельство по вечерам принимала тайком не бывавших у нее днем мужчин и окружала всегда эти приемы чрезвычайной таинственностью, как было и в данном случае.

— Беспременно их сиятельство кого-нибудь ждали, — сказала она уверенно допрашивавшему ее полицейскому чину.

— Ждали, ждали... — передразнил ее тот. — Этого мало... Но был ли кто-нибудь?

— Говори, не то я тебе подновлю память!.. — прикрикнул на нее допросчик.

— Уж таить перед вами, ваше благородие, нечего: у их сиятельства вчера гость действительно был...

— Кто?

— А уж кто, ваше благородие, я не знаю...

— Как не знаешь?

— Да так, слышала я из-за двери голос мужской, а в замочную скважину, как ни старалась, разглядеть не могла.

Видно было, что Агаша говорит совершенно искренно, но это, впрочем, не помешало полицейскому чину пугнуть ее строгой ответственностью за упорное запирательство.

Ретивость полицейского чина, однако, была прервана в самом начале. В дело вмешалась высшая полицейская и судебная власть, но и ей не пришлось долго работать над загадочной смертью княжны Полторацкой.

При докладе об этом происшествии государыня императрица Елизавета Петровна изволила заметить:

— Жаль, жаль, бедную, в цвете лет покончить с собою... Я давно заметила, что она не в полном уме...

Эти высочайшие слова дали направление делу, или, лучше сказать, прекратили его.

Княжна была похоронена по православному обряду на Смоленском кладбище, причем

отпевание происходило в кладбищенской церкви. Весь Петербург был на этих похоронах. Говорили даже, что в числе провожатых была сама императрица, скрывавшая свое лицо под низко надвинутым капюшоном траурного плаща.

Тайна смерти княжны Полторацкой, таким образом, до времени была скрыта под толстым слоем земли и поставленным временным большим деревянным крестом.

Только двое людей из великосветского петербургского общества знали более других об этой таинственной истории. Это были два молодых офицера: граф Петр Игнатьевич Свиридов и князь Сергей Сергеевич Луговой.

Накануне дня рокового происшествия в загородном доме княгини Полторацкой в городском театре, находившемся в то время у Летнего сада (в Петербурге в описываемую нами эпоху театров было два — другой, переделанный из манежа герцога Курляндского, находился у Казанской церкви), шла бывшая тогда репертуарной и собиравшая массу публики трагедия Сумарокова — «Хорев».

Часть публики обратила, между прочим,

внимание, что два молодых офицера, не дождавшись окончания действия, как сумасшедшие выбежали из зрительной залы. Все заметили, что, сидя недалеко один от другого, они оба очень часто посматривали на ложу, в которой находилась среди других придворных дам княжна Людмила Васильевна Полторацкая.

Молодые люди, как заметили некоторые из публики, подошли друг к другу, сказали один другому несколько слов на ухо и затем быстро вышли. Их поведение, хотя и обратившее на себя внимание лишь немногих, особенно показалось подозрительным бывшему в театре любимцу императрицы Ивану Ивановичу Шувалову, знавшему обоих молодых людей. Он вышел вслед за ними, и ему удалось догнать их в совершенно пустом, во время действия, коридоре театра.

— Прежде всего одно объяснение, — сказал Свиридов.

— Два, если хотите, — отвечал князь Луговой.

— Ведь вы смотрели на княгиню Полторацкую?

— Да.

— Вы смотрели на нее как-то особенно и, казалось, были удивлены, что я смотрел на нее точно так же.

— Совершенно справедливо...

— Я имею право... — начал было Свиридов, но князь перебил его:

— По всей вероятности, и я имею такое же право смотреть на нее, как и вы?

— Именно это право я и отрицаю.

— А я отрицаю ваше право.

— В таком случае я пришлю к вам секундантов.

— Я к вашим услугам.

— Позвольте, господа! — раздался около них чей-то голос.

Они обернулись и увидели Ивана Ивановича Шувалова.

— Боже, Иван Иванович! — воскликнули они в один голос.

— Да, это я, и мне хочется знать, с какой стати вы даете такой дурной пример публике, ведя себя точно сумасшедшие. Хорошо еще, что не все зрители в зале заметили ваше странное поведение и ваш бешеный выход,

иначе, клянусь вам, вы были бы завтра сплетней всего Петербурга. В чем дело, объясните, пожалуйста! Что-нибудь очень важное и таинственное?..

— Да, — прервал его Свиридов, — причина важная... Я уже вызвал князя на дуэль.

— Какая бы ни была причина, я не одобряю такой поспешности. Надо было объясниться.

— Мы уже объяснились.

— Да...

— Здесь, в течение минуты...

— Все это хорошо, но позвольте вам дать добрый совет...

— Говорите, — сказал молчавший до этого времени князь Луговой.

— Я заранее, однако, ничего не обещаю... — заметил Свиридов.

— Можете делать, что хотите, но я вам предлагаю следующее. Пойдемте ко мне, там вы объяснитесь между собой основательно и хладнокровно в моем присутствии. Я ни в чем не буду влиять на ваше решение и выскажу свое беспристрастное мнение. Согласны ли вы?

Оба недавних друга, теперь враги, последовали этому совету.

Дом Ивана Ивановича Шувалова был одним из красивейших домов в Петербурге в Елизаветинское время. Он стоял на углу Невского проспекта и Большой Садовой и сохранился до сегодня. В нем так долго на нашей памяти помещался трактир Палкина, а затем фортепианный магазин Шредера. Дом был выстроен в два этажа, по плану архитектора Кокоринова, ученика знаменитого Растрелли.

Года за четыре до описываемого нами дня Иван Иванович праздновал в нем новоселье великолепным маскарадом, при котором М. В. Ломоносов сказал следующие стихи:

*Европа, что родить, что протчи
части света,
Что осень и зима, весна и кро-
тость лета,
Что воздух и земля, что море и
леса,
Все было у тебя, довольство и
краса.*

Обстановка комнат была роскошна. Богатые их амфилады были все увешаны портре-

тами и картинками.

Туда-то и отправились все трое из театра, не доглядев представления. Хозяин провел их в угловую комнату о семи окнах, служившую ему кабинетом. В камине ярко пылали дрова и освещали роскошно и комфортабельно убранный уголок знаменитого «любимца Елизаветы». Укромность и уютность, несмотря на огромные размеры комнаты, придавали ей большие шкафы, наполненные книгами, турецкие диваны, ковры и массивные портьеры.

Иван Иванович уселся в покойное кресло у письменного стола. Оба привезенных им молодых человека были еще до такой степени возбуждены, головы их были так бешено настроены, кровь так сильно кипела в венах, что они не могли спокойно оставаться на местах и ходили взад и вперед по комнате, стараясь не столкнуться друг с другом.

Несколько времени в кабинете царила тишина. Мягкий пушистый ковер, которым был покрыт пол кабинета Шувалова, заглушал шум шагов Свиридова и князя Лугового.

— Итак, господа, кто же первый начнет ис-

поведь, — прервал молчание хозяин дома, — я слушаю.

II

Две записки

— Я, — отвечал Свиридов. — Дело очень просто: в течение целого часа князь, как я заметил, не спускал глаз с ложи, где сидела одна дама, причем его взгляды были чересчур выразительны.

— Позвольте, — прервал Шувалов, — нечего облекать все это таинственностью, я очень хорошо знаю в чем дело...

— Во всяком случае, я никого не назвал. Итак, князь Луговой очень пристально вглядывался в даму, которая и не думала отворачиваться от него; я даже заметил, что они обменялись довольно красноречивыми взглядами, это возмутило меня. В то же время дама, заметив, что я на нее смотрю, обернулась в мою сторону и наградила меня такой же прелестной улыбкой, которая разом усмирила мой гнев...

— А меня привела в бешенство! — вос-

кликнул князь Луговой. — Я окинул Свиридова свирепым взглядом.

— Я ответил тем же...

— Мы вышли из зрительного зала, а остальное вы знаете...

— Очень хорошо, но позвольте сделать один вопрос...

— Какой?

— Какое право имел один из вас запрещать другому смотреть на эту даму так, как ему хотелось?

— Но...

— Отвечайте на вопрос.

— Право, приобретенное вследствие исключительных отношений...

— Как исключительных?.. — прервал Свиридова князь. — Что вы под этим понимаете?

— Что разумею? Да то, что вы сами разумеете, — отвечал Петр Игнатьевич.

— В таком случае, я нахожусь с ней в таких же отношениях, как и вы...

— Желательно было бы, чтобы вы представили доказательства.

— Боюсь, не будет ли это неделикатно или даже бесчестно. А между тем надо доказать,

что действуешь и говоришь не наобум и что все-таки в человеке осталась хоть капля разума. Впрочем, мы оба находимся в довольно затруднительном положении, и некоторые исключения из общего правила могут быть дозволены.

— К чему это предисловие? — заметил Шувалов.

— Сейчас увидите, — продолжал князь Луговой, вынимая из кармана своего мундира письмо.

Это была маленькая записка, кокетливо сложенная треугольником.

— Это что такое? — спросил Иван Иванович.

— Если здесь говорится о правах, так и я представлю доказательства таких же прав.

Свиридов с любопытством следил глазами за движениями князя. Увидев, что тот вынул из кармана маленькую записку, он стал шарить в своем кармане и вынул такую же, во всем похожую на первую, которую и поднес к документу, представленному его соперником.

Удивление троих собеседником не имело границ. Иван Иванович осмотрел обе запис-

ки. Адрес был написан одной и той же рукой.

— Почерк один и тот же, но может быть, что обе записки противоречат одна другой.

— Справедливо! — заметил Свиридов. — Надо проверить. Пусть князь прочитает адресованную ему записку.

— Но ведь это нечестно! — возразил князь Луговой.

— Тут нет ничего нечестного — это исповедь! — отвечал Шувалов.

— В таком случае я начинаю... — с нетерпением сказал Петр Игнатьевич.

И он прочел:

— «Милый Петя, ты не можешь себе представить, как напряженно я все думаю о тебе, когда тебя не вижу. Твое присутствие до такой степени необходимо мне, что, когда тебя нет возле меня, мне кажется, что я одна на свете. Жизнь без тебя точно пустыня...»

— Позвольте! — воскликнул князь Луговой, державший свое письмо открытым.

И он продолжал:

— «Жизнь без тебя точно пустыня, которой я блуждаю, мучимая тоской и грустью...»

— Да ведь это мое письмо! — вскричал

Свиридов.

— Совсем нет, мое! — отвечал князь. — Оно даже начинается — «Милый Сережа».

Иван Иванович Шувалов сличил записки. Они были как две капли воды похожи одна на другую.

— Здесь даже не требуется суда Соломона, — заметил он. — Всякому свое.

Князь и Свиридов посмотрели друг на друга, обменялись записками, пробежали их молча глазами и возвратили друг другу, затем снова посмотрели друг другу в глаза и вдруг гомерически расхохотались.

Они оба, скорее, упали, нежели сели на один из диванов, продолжая неудержимо хохотать. Шувалов только смотрел на них. На его красиво очерченных губах тоже играла улыбка.

— Ну, — сказал он им, когда они перестали смеяться. — Стоило из-за этого убивать друг друга? Если бы я не подал вам совета объясниться хладнокровно и обстоятельно, один из вас, быть может, через несколько дней лежал бы в сырой земле. Эх вы, юнцы! Знайте же раз навсегда, что не стоит драться из-за женщи-

ны!.. Положим еще, если бы из-за законной жены! Да и то...

— Что теперь нам делать? — спросили в один голос оба соперника.

— Иван Иванович, дайте нам совет, — обратился к Шувалову Свиридов.

— Посоветовать что-нибудь очень трудно... Впрочем, вот что... Садитесь за этот стол, я дам вам карты, и вы, совершенно спокойно, без всякого волнения, всякой ревности, с картами в руках вместо шпаг, можете оспаривать друг у друга вашу возлюбленную и дадите обещание заранее подчиниться велению судьбы.

— Нет сомнения, что это было бы весьма благоразумно, — сказал князь Луговой. — Но в чем же, собственно говоря, состояло бы здесь наказание для этой женщины? Ведь в данном случае необходимо, чтобы порок был наказан.

— Прекрасно, — заметил Иван Иванович с тонкой иронической улыбкой, — но я не вижу здесь добродетели, которая должна бы восторжествовать.

— Перестаньте шутить, Иван Иванович. Во

всяком случае, женщина, которая, вследствие обмана и кокетства, готова была причинить такое страшное несчастье, должна потерпеть наказание. Что скажете вы на это, Петр Игнатьевич?

— Дорогой князь, я нахожу это приключение до того смешным и так много хохотал, что не имею решительно никакого мнения...

— Итак, карты вам не нравятся? — сказал Шувалов. — А между тем это было бы средство очень легкое и практическое.

— Нет, — отвечал князь Луговой, — оно мне не по вкусу.

— Есть еще другое средство, а именно — пусть каждый из вас, по обоюдному согласию, обещает никогда не встречаться с изменницей. Увидя, что ее оставили так внезапно, она, быть может, поймет, какую страшную ошибку сделала. Наверное, она почувствует сожаление и некоторого рода тревогу.

— Этого недостаточно.

— В таком случае говорите сами, чего вы хотите?

— Если бы мы пришли к ней с письмами в руках и показали их ей, не говоря ни слова, а

затем разорвали их в ее присутствии с величайшим презрением.

— Недурно придумано, — заметил Свиридов.

— Даже очень хорошо, — поддержал Иван Иванович. — Но каким образом приведете вы в исполнение эту удачную мысль? Явитесь ли вы к ней среди бела дня, в гостиной, в то время, когда она, может быть, принимает гостей? Это будет недостойно таких порядочных людей, как вы, и месть будет чересчур сильна.

— Совершенно справедливо, — согласился князь Луговой. — Но я не так выразил свою мысль. Мы явимся тихонько вечером, пройдя в маленькую садовую калитку... Не так ли, Петр Игнатьевич?

— А если калитка будет заперта? — возразил Шувалов.

— Ключ обыкновенно дают нам и, без сомнения, попеременно. У кого ключ сегодня?

— У меня, — вздохнул Свиридов.

— А, теперь понятен ваш гнев! Когда же мы исполним наш план?

— Завтра вечером, князь, если вы не прочь. Мы войдем, когда княжна, верная сво-

им привычкам, отошлет слуг, войдем так, как будто каждый из нас действует для самого себя лично, — украдкой, как двое влюбленных, желающих провести приятно время, тем более что все это совершенная правда.

— Хорошо, завтра.

— Если хотите, я зайду за вами, князь, — сказал Свиридов, — и мы отправимся вместе.

— Прекрасно.

Они ушли и на другой день вечером исполнили свой замысел.

Придя к садовой калитке и убедившись, что набережная совершенно пуста, они воспользовались ключом, отданным Свиридову, и проникли в сад. Ночь была довольно темна, но они знали дорогу, да и к тому же дом был в двух шагах. Боковая лестница вела от угла дома и позволяла его обитателям спускаться в сад, минуя парадную лестницу, выходящую на двор. Они направились к этой лестнице, как будто нарочно устроенной для подобного рода таинственных и любовных приключений. Они поднялись наверх. Лестница была настолько широка, что позволяла идти обоим рядом.

Вскоре они очутились в маленькой передней, хорошо им знакомой, которая была рядом с будуаром княжны Полторацкой. Из этого будуара доносились до них голоса. Они толкнули друг друга и тихо приблизились к двери. Дверь будуара наполовину была стеклянная, но занавесь из двойной материи скрывала ее вполне. Эта занавесь не была, однако, настолько толста, чтобы нельзя было слышать, что говорят в другой комнате.

И действительно, самые нежные уверения в любви и самые страстные ответы на них ясно доказывали присутствие влюбленной пары, воспользовавшейся минутным уединением и тишиной в доме. Увлекательный голос княжны преобладал в этом сентиментальном дуэте. Свиридов и князь Луговой взглянули друг на друга и обменялись следующими фразами:

— С кем она может быть?

— Необходимо узнать; отдерни занавес.

Сказано — сделано. То, что они увидели в приподнятый край портьеры, заставило их сдавленным шепотом воскликнуть в один голос:

— Вот оно что!

Княжна Людмила Васильевна сидела на коленях у красивого брюнета, расточала ему и получала от него самые нежные ласки. Они молча опустили занавес и молча удалились из комнаты и из сада, оставив ключ в замке калитки. Когда на другой день распространились слухи о трагической смерти княжны Полторацкой, первой мыслью князя Лугового и Свиридова было заявить по начальству о их ночном визите в дом покойной. Они зашли посоветоваться к Ивану Ивановичу Шувалову. Не успели они, однако, начать свой рассказ, как «любимец императрицы» перебил их.

— Ее величество, — сказал он, — очень сожалеет, что молодая так рано и так безвременно покончила с собой.

— Покончила с собой! — воскликнули в один голос князь Луговой и Свиридов. — Но ведь...

Шувалов перебил их и продолжал:

— Ее величество сегодня часа два беседовала с близким к покойной человеком...

Иван Иванович назвал лицо, которое Луго-

вой и Свиридов видели в роковую ночь в будуаре княжны Полторацкой. Последние переглянулись.

— Впечатление беседы, — говорил между тем Иван Иванович, — для него было очень тяжелое... Все заметили, что за эти проведенные с глазу на глаз с ее величеством часы у него появилась седина на висках. Завтра утром он уезжает в действующую армию.

III

Две Анны Иоанновны

В один из ноябрьских вечеров 1740 года в уютной и роскошно меблированной комнате внутренней части дворца в Летнем саду, отведенной для жительства любимой фрейлины императрицы Анны Иоанновны, Якобины Менгден, в резном вычурного фасона кресле сидела в задумчивости ее прекрасная обительница.

Этот дворец Анны Иоанновны был построен в 1731 году на месте сломанной деревянной залы для торжеств, сооруженной при Екатерине I по случаю бракосочетания вели-

кой княжны Анны Петровны с герцогом Голштинским. Находился он на месте нынешней решетки Летнего сада, выходящей на набережную Невы.

Дворец был одноэтажный, но очень обширный и отличался чрезвычайно богатым убранством, которое можно было видеть сквозь зеркальные стекла окон, бывших в то время большою редкостью.

Фрейлина Якобина Менгден была высокая, стройная девушка с пышно, по моде того времени, причесанными белокурыми волосами, окаймлявшими красивое и выразительное лицо с правильными чертами; нежный румянец на матовой белой коже придавал этому лицу какое-то детское и несколько кукольное выражение, но синие глаза, загоравшиеся порой мимолетным огоньком, а порой заволакивавшие дымкой грусти, и чуть заметные складочки у висков говорили иное.

Они указывали, что их обладательница, несмотря на свой юный возраст — ей шел двадцать второй год, хотя на вид можно было дать не более восемнадцати — относилась к жизни далеко не с девическою наивностью.

Сидевшая была одета в глубокий траур с широкими плерезами. Прекрасные глаза носили следы многодневных слез. Слезы, частью искренние, частью притворные, были делом всех не только живущих во дворце, но и более или менее близких к его сферам в описываемые нами дни. Надо заметить, впрочем, что слезы фрейлины покойной императрицы принадлежали к числу искренних. Она не только оплакивала свою действительно любимую благодетельницу-царицу, но со смертью ее чувствовала, что судьба ее, еще недавно улыбавшаяся ей радужной улыбкой, день ото дня задергивается дымкой грустной неизвестности.

На маленьком столике, стоявшем у кресла, на котором сидела Якобина Менгден, лежало открытое, только что прочтенное письмо от ее сводной сестры, Станиславы Лысенко. В нем последняя жаловалась на своего мужа и просила защиты у «сильной при дворе» сестры.

— «Сильной при дворе...» — с горькой улыбкой повторила Якобина фразу. — Сестра не знает, что произошло здесь в течение ме-

сяца с небольшим. Приди письмо это ранее, когда была жива государыня или когда правил государством «герцог», по-отечески относившийся к ней... О, тогда бы, конечно, она не дала бы в обиду Станиславу... Что она такое теперь?.. Фрейлина покойной и даже опальной после смерти царицы... Она бессильна сделать что-нибудь даже для себя... а не только для других... Вот ей советуют обратиться к цесаревне... Говорят, впрочем, что ее судьбой хочет заняться правительница... Но все это говорят... А она сидит безвыходно у себя в комнате. О ней все забыли среди придворных треволнений, пережитых окружающими за этот месяц с небольшим...

Треволнений при русском дворе, действительно, было пережито много.

С начала октября императрица Анна Иоанновна стала прихварывать. Это состояние нездоровья государыни, конечно, не могло не отразиться на состоянии духа придворных вообще и близких к императрице людей в частности. Одно обстоятельство усугубляло страх придворных за жизнь государыни, несмотря на то, что случившееся внезапное нездоровье

Анны Иоанновны вначале было признано врачами легким недомоганием и не представляло, по их мнению, ни малейшей опасности, тем более что императрица была на ногах.

Происшествие, случившееся в одну из ночей за неделю до смерти Анны Иоанновны в Летнем дворце, взволновало весь двор, с быстротою молнии распространяясь по Петербургу. Говорили, впрочем, о нем шепотом, так как никому, конечно, не желалось испытать на самом себе прелести «тайной канцелярии».

Вот как рассказывают об этом происшествии современники. Караул, по обыкновению, стоял в комнате, смежной с тронной залой. Часовой был у открытых дверей. Императрица Анна Иоанновна уже удалилась во внутренние покои дворца. Было уже за полночь, и офицер ушел, чтобы вздремнуть. Вдруг часовой позвал на караул, солдаты выстроились, офицер вскочил и вынул шпагу, чтобы отдать честь. Все видят: императрица ходит по тронной зале взад и вперед, склоня задумчиво голову, не обращая, по-видимому, ни на кого внимания. Весь взвод стоит в ожи-

дании, но наконец странность ночной прогулки по тронной зале начинает всех смущать. Офицер, видя, что государыня не желает идти из залы решается наконец, пройти другим ходом и спросить, не знает ли кто намерений государыни. Он встречается с герцогом Эрнстом-Иоганном Бироном.

— Ваша светлость, — рапортует он ему, — ее величество изволит уже прогуливаться по тронной зале, и мы в недоумении относительно намерения ее величества.

— Что за вздор, не может быть, — отвечал Бирон, — я сейчас от государыни — она отправилась в спальню ложиться.

— Взгляните сами, ваша светлость, она в тронной зале... — заявляет офицер.

Бирон идет и тоже видит прогуливающуюся государыню.

— Тут что-нибудь не так, — ворчал он, — здесь или заговор, или обман, чтобы действовать на солдат.

Он отправляется к императрице и уговаривает ее выйти, чтобы в глазах караула изобличить самозванку, пользующуюся некоторым с нею сходством, чтобы морочить людей.

Императрица решается выйти, как была, в пудермантеле. Бирон идет с нею. Они ясно видят женщину, поразительно похожую на императрицу, которая нимало не смутилась при появлении последней.

— Дерзкая! — говорит герцог и вызывает весь караул.

Солдаты и некоторые из сбежавшихся придворных слуг видят две Анны Иоанновны, из которых настоящую и призрак можно было отличить одну от другой только по наряду и по тому, что настоящая императрица пришла с Бироном. Императрица, простояв минуту, в удивлении подходит к ней.

— Кто ты? Зачем ты пришла? — спросила она ее.

Не отвечая ни слова, привидение пятится, не сводя глаз с императрицы, к трону, всходит на него и на ступенях, обращая глаза еще раз на императрицу, исчезает. Императрица обращается к Бирону и взволнованным голосом произносит:

— Это моя смерть!

Императрица удалилась к себе. Караул пошел на свои места, а герцог Бирон, задумчи-

вый и встревоженный, отправился в свои апартаменты, находившиеся в том же Летнем дворце.

Ему было о чем встревожиться и над чем задуматься. Высоте положения и почестей, на которой он находился в настоящее время, он был всецело обязан своей государыне, которая только что сказала ему:

— Это моя смерть!

Неизбежность этой смерти предстала теперь перед духовным взором герцога, и в его уме возник вопрос: что принесет ему эта смерть? Ожидаемое ли возвышение почти до власти русского самодержца или же падение с головокружной высоты, на которую он взобрался, благодаря судьбе и слепому случаю.

Действительно, его дед в половине XII века был конюхом герцога Якова III Курляндского. Сына этого конюха называли Карлом. Он родился в феврале 1653 года. Уже этот Бирон сделал сравнительно со своим происхождением значительную карьеру. Он изучил охоту и занимал впоследствии довольно видную должность в герцогском ведомстве. Этим он был поставлен в возможность не только ве-

сти обеспеченную жизнь, но и открыть своим сыновьям перспективу на такую карьеру, которая была гораздо блестящее той, которую он сделал сам.

Возрастающее значение его второго сына Эрнста-Иоганна при дворе овдовевшей герцогини Анны Иоанновны Курляндской, впоследствии русской императрицы, было поворотным пунктом в счастливой перемене судьбы всей фамилии Биронов. Тогда-то отец и трое его сыновей удачно изменили свою фамилию и из Бюренов (Bühren) сделались Биронами (Biron). Вместе с тем они приняли и герб этой знаменитой во Франции фамилии.

Сыновей у Карла Бирона было трое: Карл, Эрнст-Иоганн и Густав.

Эрнст-Иоганн Бирон, второй сын Карла Бирона, родился 12 января 1690 года. Он и его братья получили в доме отца очень посредственное воспитание. Чтобы восполнить его до некоторой степени, Эрнст Бирон, хотя и малоподготовленный, отправился в Кенигсберг. Прослушав там университетский курс, он поехал в Петербург с целью отыскать себе место, но не нашел такого, которым мог-

ло бы удовлетвориться его честолюбие. Он просился в камер-юнкеры при дворе цесаревича Алексея, сына Петра I, и ему было отказано в этом с презрительным замечанием, что он слишком низкого происхождения. Эрнст-Иоганн возвратился в Митаву, где его искание места имело больший успех. Овдовевшая герцогиня Анна Курляндская назначила его в 1720 году своим камер-юнкером. Так как он был очень красив, то вскоре она избрала его в свои любимцы. Соблюдавшая в своей жизни строгое приличие, герцогиня настояла, чтобы Эрнст-Иоганн Бирон женился.

Исполнение этого плана герцогини Анны встретило большие затруднения. Богатые курляндские дворяне не желали принимать в семью человека без имени. Наконец один дворянин согласился на это. Это был Вильгельм фон Трот, прозванный Трейденем, человек очень хорошей фамилии, но бывший в крайне стесненных обстоятельствах. Он выдал за Эрнста Бирона свою дочь, девятнадцатилетнюю Бенигну Готлибу. Свадьба состоялась в 1722 году.

Таким образом, это желание герцогини бы-

ло исполнено, но зато другое — видеть своего любимца местным дворянином, чего и сам Бирон сильно добивался, не увенчалось успехом в бытность Анны Иоанновны герцогиней Курляндской. Высокое во всем другом значение герцогини разбивалось о стойкость курляндского дворянства, защищавшего свои права.

Позже, когда Анна Иоанновна вступила на русский престол, дворянство это раскаялось в своем упрямстве — оно само предложило Бирону дворянские права, и он был настолько любезен, что принял это предложение.

В 1726 году жившие еще в Курляндии Анна и Бирон ездили в Россию, где тогда царствовала Екатерина I. Главным поводом поездки были частные дела герцогини, которые Меншиков старался запутать.

Благодаря добрым советам своего любимца, эта поездка для Анны Иоанновны была очень удачна. Впрочем, герцогиня недолго оставалась при русском дворе: малое внимание, оказанное Бирону, заставило ее ускорить свой отъезд в Митаву.

В 1730 году Анна Иоанновна была избрана

в императрицы России, и Бирон тотчас же достиг высших почестей. Он начал с того, что сделался камергером, вскоре немецкий император возвел его в графское достоинство; потом он стал обер-камергером и кавалером ордена святого Андрея. За этим последовали знаки отличия от различных дворов, бывших в союзе с русским. Тогда-то Бирон сделался известен Европе и главе дома, фамилию которого присвоил себе. Герцог Бирон написал лже-Бирону письмо и просил его уведомить, каким образом он имеет честь находиться с ним в родстве. Русский Бирон понял насмешливый тон запроса и вышел из затруднения, вовсе не ответив на письмо. Но, казалось, все сговорились проявить максимум низости для увеличения гордыни этого человека.

После того как Эрнст-Иоганн стал герцогом Курляндии, герцог Бирон прислал в Россию кавалера своего маленького двора с поздравлением своего родственника. Подкупами и интригами русский двор довел дело до того, что в 1737 году, когда вымер род Кетлера, курляндские дворяне сочли за честь избрать в герцоги того, которого они десять лет тому

назад не пожелали признать даже только равным себе.

В 1739 году новый герцог получил инвеституру на свою землю через депутацию в Варшаве, у трона короля. В июле того же года германский император, по собственному побуждению, прислал герцогу диплом на титул светлейшего. Гордый Бирон долго не отвечал императору, находя, что этот диплом должен был быть изготовлен гораздо ранее. Таким образом, приобретя небольшие верховные права, Бирон достиг наивысшего ранга среди русских государственных сановников. Его власть в России тоже достигла высшей степени. Его богатство росло ежедневно; его доходы были велики, его пышность спорила с царской, да и немудрено, так как все средства к его обогащению за счет русского народа были в его руках.

Все это прошлое, полное торжества его безмерного честолюбия, омраченное лишь изредка чувствительными его уколами, пронеслось в голове Бирона в то время, когда он возвращался к себе после услышанных им из уст императрицы Анны Иоанновны роковых

СЛОВ:

— Это моя смерть!

Что принесет ему эта смерть? Себялюбивый и черствый, он не думал в это время об императрице, не только как о женщине, но даже как о друге и благодетельнице. При самых малейших колебаниях его судьбы на первый план выступало его «я», и этому своему единственному богу Эрнст-Иоганн Бирон готов был пожертвовать всеми и всем. Он, конечно, был предусмотрителен и обеспечил сохранение или даже возвышение своего положения на случай смерти императрицы Анны Иоанновны, за которую он сам властно правил государством, но какое-то странное предчувствие говорило ему, что обеспечение непрочное, что будущее все же лежит перед ним загадочным и темным.

IV

Предчувствия сбываются

Предчувствие Анны Иоанновны сбылось — 17 октября ее не стало.

На российский престол вступил Иван Антонович, сын герцога Брауншвейгского Антона и Анны Леопольдовны, а герцог Курляндский Эрнст-Иоганн Бирон был назначен до совершеннолетия его величества, лежавшего в то время еще в колыбели, регентом Всероссийской империи.

Цель временщика, таким образом, была достигнута. Он работал над ее достижением уже давно, то стараясь выдать свою дочь за герцога Брауншвейгского Антона, то предлагая женить своего сына на принцессе Анне Леопольдовне и назначить наследником только что родившегося у них сына Ивана.

Тогда-то и появилась у Эрнста Бирона мысль о регентстве. Пособником временщика явился дипломат Бестужев-Рюмин, которому он дал место несчастного казенного Волынского в Кабинете. Он-то и выручил благодете-

ля.

Когда Анна Иоанновна умирала, Бестужев первый заявил, что, кроме Эрнста-Иоганна Бирона, «некому быть регентом». Он сочинил даже челобитную, якобы «вся нация герцога регентом желает» — императрица успела подписать бумагу о «полной власти» регента Бирона до совершеннолетия императора Ивана VI.

Тогда к Бестужеву пристали Миних, Черкасский и Остерман. Бирон долго отнекивался, наконец воскликнул:

— Вы поступили как древние римляне!

По смерти императрицы Бирон вступил в управление государством. Но, увы, и его томительное предчувствие в ночь после появления во дворце двойника императрицы Анны Иоанновны должно было сбыться. Появление его в роли регента было последней вспышкой потухавшего огня. Он получил титул «высочества», давал и подписывал от имени императора некоторые дарения членам императорской фамилии, распоряжения о милостях и другие документы, обнародуемые обыкновенно при начале нового цар-

ствования. Родители императора не могли сопротивляться. Герцог Антон, не имевший связей на чужой стороне, был, кроме того, труслив от природы и изнежен.

Герцогиня Анна Леопольдовна, которой шел в то время двадцать второй год, была кротка и доверчива, и хотя обладала здравым смыслом и добрым сердцем, но была необразованна, нерешительна, что объясняется забитостью со стороны тирана-отца и грубостью матери, напоминавшей свою сестру Анну Иоанновну. Она ни во что не вмешивалась и проводила целые дни в домашнем туалете с фрейлиной, смертельно скучая. Она не любила мужа, навязанного ей «проклятыми министрами», как она выражалась сама, и занималась лишь тем, что жаловалась на свою судьбу ловкому и красивому Линару, саксонскому посланнику.

Эрнста Бирона она боялась как огня. Он действительно обращался с родителями императора свысока. К тому же они были явно обижены. Регент оставался в Летнем дворце. Ему, обладателю четырех миллионов дохода, назначено было 500 тысяч пенсии, а родите-

лям императора только 200 тысяч.

Герцог Антон, несмотря на свой трусливый нрав, попытался было показать свое значение, но был за это, по распоряжению регента, подвергнут домашнему аресту с угрозой испробовать рук грозного тогда начальника Тайной канцелярии Ушакова. Пошли доносы и пытки за каждое малейшее слово, неприятное регенту, спесь и наглость которого достигли чудовищных размеров. Он громко, не стесняясь, стал говорить о своем намерении выслать из России «Брауншвейгскую фамилию».

Поведение регента стало нестерпимо. На улицах, несмотря на ужасы, творившиеся в застенках Тайной канцелярии, собирались мрачные толпы народа, откуда слышался ропот.

Любимец солдат, оттесненный фаворитом от заслуженного первого места, отважный Миних предложил Анне Леопольдовне освобождение от ненавистного ей регента и получил согласие.

8 ноября 1740 года Эрнст Бирон давал ужин, на котором в числе приглашенных был

и фельдмаршал Миних. Хозяин был сердит и рассеян, что не могли не заметить гости, так как, обыкновенно довольно разговорчивый, он в этот вечер, видимо, не находил темы для беседы.

— Скажите, пожалуйста, — обратился он, между прочим, к Миниху, — случилось ли вам когда-нибудь ночью приводить в исполнение смелый и великий план?

Миних в первую минуту был поражен. Он подумал, что ему изменили, и готов был уже броситься к ногам Бирона и сознаться во всем. К счастью, это первое впечатление миновало, он сдержался и решил выждать, не скажет ли регент чего-нибудь еще, из чего можно будет заключить, что он знает или догадывается о судьбе, готовящейся ему. Но Бирон переменял разговор и более не возвращался к заданному Миниху вопросу, видимо сделанному для того только, чтобы что-нибудь сказать.

Фельдмаршал, успокоенный, уехал из Летнего дворца с твердым намерением через несколько часов показать регенту, как должно вести себя, если желаешь исполнить но-

чью смелый план. Вот как описывает исполнение этого плана в своих записках на французском языке адвокат фельдмаршала Миниха, подполковник Манштейн.

«В последнее воскресенье, приходившееся на 9 ноября, его превосходительство фельдмаршал граф Миних позвал меня к себе в 3 часа ночи. Когда я явился к его превосходительству, мы пошли в Зимний дворец к ее императорскому высочеству герцогине.

Генерал-фельдмаршал сказал ей, что явился, чтобы получить от нее последнее повеление, и приказал мне созвать офицеров стражи. Они явились, и герцогиня со слезами на глазах сказала им, что они, конечно, знают, как герцог-регент обходится с императором, с нею и ее супругом; что регент выказывает относительно ее так много злой воли, что имеет, как должно думать, намерение захватить императорский трон.

— Чтобы предупредить это несчастье, — продолжала Анна Леопольдовна, — я повелеваю исполнять распоряжения генерал-фельдмаршала и арестовать регента.

Все, не задумываясь ни минуты, дали свое

согласие. Растроганная Анна Леопольдовна не только допустила всех к своей руке, но обняла каждого из присутствовавших...»

Прямо из Зимнего дворца фельдмаршал Миних с сорока избранными людьми направился в Летний дворец. Не доходя до него, граф Миних послал Манштейна к караулу дворца, заявил караульным офицерам, чтобы они вышли для получения известия чрезвычайной важности. Офицеры охотно последовали за полковником Манштейном, и, когда генерал-фельдмаршал передал им приказание герцогини, они все, как один человек, вывалились повиноваться. Полковник Манштейн отправился с двенадцатью солдатами вовнутрь Летнего дворца и беспрепятственно достиг спальни герцога Бирона.

Он вошел в нее, отдернул полог кровати и громко спросил:

— Где регент?

Герцогиня, увидевшая в спальне постороннего офицера, подняла крик. Герцог тоже вскочил с постели и закричал:

— Стража!

Полковник Манштейн бросился на герцо-

га и держал его, пока не вошли в комнату гренадеры. Они схватили его, а так как он, в одном белье, вырываясь, бил их кулаками и кричал благим матом, то они принуждены были заткнуть ему рот носовым платком, а внеся в приемную, связать. Регента посадили в карету фельдмаршала Миниха с одним из караульных офицеров. Солдаты окружили карету. Таким образом, пленник был доставлен в Зимний дворец. Другой отряд гренадер арестовал Бестужева.

В ту же самую злополучную для Биронов ночь к красивому дому Густава Бирона, брата регента, на Миллионной улице, отличавшемся от других изящным балконом, на четырех колоннах серого и черного мрамора, явился прямо из Летнего дворца Манштейн с командой. Густав Бирон спал, ничего не опасаясь. Домовой караул, состоявший из двенадцати измайловских гренадер при унтер-офицере, бдительно оберегал любимого своего командира, и часовые сначала не хотели пускать Манштейна. Однако, под угрозой силы императорского указа и смерти за сопротивление, они должны были уступить. Оставив

свою команду в первой комнате, где спал бес-
сменный ординарец регентова брата измай-
ловский сержант Щербинин, осторожный
Манштейн подошел к дверям спальни Густа-
ва и окликнул его.

— Wer ist da? (Кто там?) — слышалось из
спальни.

Манштейн, назвав себя, заявил, что ему
необходимо переговорить с хозяином дома о
чрезвычайно важном, не терпящем отлага-
тельства деле. Густав Бирон, не бегавший ни
от каких дел, поспешил выйти к ночному го-
стю. Они приблизились к окну. Вдруг Ман-
штейн схватил Густава Бирона за обе руки.

— Именем его императорского величества
государя императора Иоанна Шестого я вас
арестую... — сказал он.

— Что? — воскликнул Густав Бирон. — Ме-
ня, брата регента?

— Ваш брат более не регент, а такой же
арестант, как и вы!..

— Это сказки, подполковник, — рассмеялся
Густав Бирон. Видя, однако, что Манштейн
продолжает крепко держать его за руки, на-
чал вырываться, но вошедшая в эту минуту

команда, позванная Манштейном, кинулась на Густава, который продолжал отбиваться и звать к себе на помощь.

Тогда солдаты связали ему руки ружейным ремнем, заткнули рот платком, закутали его, полуодетого, в первую попавшуюся шубу, а голову, за отсутствием шапки, обернули солдатскою шинелью и в таком импровизированном костюме вынесли измайловского подполковника на улицу, впихнули в сани, приготовленные заранее, и повезли на гауптвахту Зимнего дворца. Здесь Густав Бирон уже нашел своего брата, герцога, арестованным со всем семейством и сам просидел под стражей до сумерек 9 ноября, когда к дворцовой гауптвахте подъехали два шлафвагена, из которых в одном поместилось все семейство герцога Курляндского, отправлявшегося на ночлег в Александро-Невский монастырь, с тем чтобы на другой день оттуда следовать в Шлиссельбург, а в другой посадили Густава Бирона и увезли в Иван-город. В ту же ночь был арестован и зять герцога Бирона, генерал Бисмарк.

Ввиду того что Густаву Бирону надлежит

играть в нашем повествовании некоторую роль, мы несколько дольше остановимся на его личности, тем более что он является исключением среди своих братьев — Эрнста-Иоганна, десять лет терзавшего Россию, и генерал-аншефа Карла, страшно неистововавшего в Малороссии. Густав Бирон между тем был ни в чем не похожим на своих братьев, жил и умер честнейшим человеком и оставил по себе память, свободную от нареканий, вполне заслуженных его братьями.

V

Густав Бирон

Густав Бирон родился в 1706 году в отцовском имении Каленцею и рос в ту пору, когда отчизна его, Курляндия, пройденная из конца в конец русскими войсками, была разорена войной, залегала пустырями от Митавы до самого Мемеля, не досчитывалась семи восьмых своего обычного населения, зависела и от Польши и от России, содержала на свой счет вдову умершего герцога Анну Иоанновну, жившую в Митаве, и заочно управля-

лась герцогом Фердинандом, последним представителем Кетлерова дома, не выезжавшим из Данцига и не любимым своими подданными.

Все это, вместе взятое, представляло упадок страны и, разумеется, препятствовало развитию в ней просвещения, которое, доставаясь с трудом местному благородному юношеству, не могло быть уделом детей капитана Бирона.

Таким образом, Густав, воспитываясь в доме родительском, не приобрел ни малейших знаний и, достигнув совершеннолетия, остался круглым невеждой, что, при ограниченном от природы уме его, не могло, как казалось, обещать ему особенно блестящей карьеры.

Но начать какую-нибудь было необходимо, потому что наследственной мызы не могло хватить на пропитание трех братьев. И Густав задумал вступить на военное поприще, как более подходящее к его личным инстинктам и менее требовавшее именно тех данных, которых Густав не имел от природы и не вынес из своего домашнего воспитания. К тому

же военная служба считалась в доброе старое время несравненно почетнее всякой другой и, действительно, скорее выводила людей «в люди».

Вследствие этих соображений Густав Бирон окончательно решил быть военным. Вопрос о том, где проявить будущие свои военные доблести, вовсе не существовал для Густава. По обычаю соотечественников, так сказать, освященному временем, он намеревался искать счастья в Польше, к которой Курляндия состояла с 1551 года в отношениях земельного владения.

Впрочем, кроме обычая, в Польшу манило Густава Бирона и то обстоятельство, что в тамошней королевско-республиканской армии давно уже служил родной дядя его по отцу и туда же недавно определился брат Густава — Карл, бывший до того русским офицером и бежавший из шведского плена, но не обратно в Россию, а в Польшу.

Совместно с этими родичами начал Густав свою военную карьеру и первоначально продолжал ее с горем пополам. Последнее происходило оттого, что Польша, управляемая в то

время королем Августом II и Речью Посполитой, была вообще не благоустроеннее Курляндии, непрерывно возмущалась сеймами, которые, по свидетельству Бандтке, были не что иное, как «скопище крамольников», не уживалась со своими диссидентами, утратила правду в судах, наконец, не воевала ни с кем, что лишало Густава возможности отличиться.

К тому же Густав, наряду со своей армией, недавно преобразованной из военных конфедераций, зачастую получал свое жалованье гораздо позже надлежащих сроков и в этом отношении должен был зависеть от более или менее успешного сбора поголовных дымных, жидовских и других денег, определяемых сеймами, часто расхोдившимися без всяких определений. Принуждаемый, таким образом, питаться чем Бог послал, Густав не мог ожидать никакого подспорья и из Курляндии, несмотря на возраставшее там значение брата своего Эрнста-Иоганна.

Таково было житье-бытье Густава Бирона в Польше во все то время, пока в Курляндии одинаково неуспешно боролись за герцог-

скую корону Мориц Саксонский и князь Меншиков, а в России оканчивал и кончил свои баснословные подвиги Петр, которого сменили на престоле Екатерина и другой Петр. С кончиной последнего, в 1730 году, состоялось избрание на русский престол вдовствующей герцогини Курляндской Анны Иоанновны, и судьба Густава Бирона, тогда капитана польских войск, неожиданно и быстро изменилась к несравненно лучшему.

Его брат Эрнст Бирон стал властным и грозным временщиком у русского престола. Получив его приглашение, братья не задумались оставить Польшу и в том же 1730 году прибыли в Россию, где старший, Карл, из польских подполковников был переименован в русские генерал-майоры, а младший, Густав, капитан панцирных войск польской республики, сделан 1 ноября майором только что учрежденной лейб-гвардии Измайловского полка.

Это последнее назначение имело особый смысл, потому что Измайловский полк, обязанный своим бытием указу 22 сентября 1730 года, был создан, по мысли обер-камергера

Бирона, служить ему оплотом против каких бы то ни было покушений гвардии Петра и в этих видах формировался исключительно из украинских ландмилицов, вверенных командованию графа Левенвольда, душой и телом преданного графу Эрнсту-Иоганну Бирону.

Служака по преимуществу, Густав усердно отдался делу, вдохновляемый своим всесильным братом и осыпаемый милостями государыни.

После смотра 27 января 1732 года императрица пожелала явить брату подданного ей обер-камергера особую высочайшую милость, и 3 февраля, в день именин государыни, был, по сообщению тогдашних «Ведомостей», «обручен при дворе майор лейб-гвардии Измайловского полку господин фон Бирон с принцессою Меншиковою. Обоим обрученным оказана притом от Ее Императорского Величества сия высокая милость, что Ее Императорское Величество их перстни Высочайшею особою Сама разменять изволила».

Странная судьба этой «принцессы» Меншиковой. Внучка русского простолюдина, потом дочь пресловутого князя Ижорского, да-

лее невеста принца Ангальт-Дессауского, затем ссыльная, собственноручно стиравшая в Березове белье, «принцесса» должна была теперь сделаться женою сына и внука курляндских конюхов.

Но вдумываться в такую судьбу княжны, конечно, не приходилось нареченному жениху ее, теперь, как и прежде, занятому преимущественно полком и службой. Так и прошел пост.

9 апреля наступила Пасха, 27 апреля состоялся торжественный въезд в Петербург китайского посольства, 28 апреля великолепно отпраздновали годовщину коронации Анны Иоанновны, а 4 мая Густав Бирон стал мужем княжны Меншиковой, о чем «Ведомости» повествуют следующее: «Заключенное в прошедшем феврале месяце сочетание законного брака между принцессою Меншиковою и господином майором Лейб-гвардии Измайловского полку фон Бироном в прошедший четверток с великою магницею свершилось. Сие чинилось при дворе, и Ее Императорское Величество Всемилостивейшая наша Монархиня обеим новобрачным персонам сию высо-

кую милость показать изволила, что учрежденный сего ради бал по Высокому Ее Императорского Величества повелению до самой ночи продолжался».

В дополнение к этому заметим, что по распоряжению графа Левенвольда на свадьбу Густава Бирона в дом новобрачного приглашены были только те измайловские офицеры, у которых имелись карета или коляска с лошадьми, а провожать Бирона из дома во дворец, в 2 часа дня, дозволялось без исключения, «хотя и пешками и верхами». К дому Густава Бирона был отряжен на время свадьбы почетный караул из гренадеров и четырех мушкетеров при сержанте Гревски. Наконец, в виде заключительного торжества этого брака, у Густава Бирона 19 мая был «банкет» в высочайшем и всех министров присутствии.

Счастливый по-своему, Густав Бирон 17 июня вывел Измайловский полк в лагерь, разбитый на теперешней Конюшенной площади, и тут, среди страстно любимых им удовольствий фронтовой службы, мог еще приятно наслаждаться ожиданием дальнейших, несомненных, казалось, улыбок судьбы.

В самом деле, женитьба Густава Бирона, сделанного 29 июня того же года генерал-адъютантом императрицы, как нельзя лучше устроила его материальное благосостояние. С помощью брата обер-камергера он успел получить из заграничных банков почти все капиталы князя Меншикова, так, что сыну генералиссимуса, возвращенному из ссылки одновременно с сестрой, едва досталась пятидесятая часть громадного отцовского состояния.

Но та же женитьба оказалась далеко не очень благоприятной для дочери Меншикова, которая, видя в муже человека честного, понимала его ограниченность и крайнюю необразованность и, несмотря на окружавшую пышность и богатство, не могла, по словам Бантыш-Каменского, гордиться счастьем, часто вспоминала о последних словах отца, что «не один раз придется ей сожалеть о бывшем изгнании». Хранила как драгоценность в богатом сундуке крестьянскую одежду, в которой была привезена из Березова. Каждую неделю раскрывала она сундук и смотрела на нее.

Впрочем, брачная жизнь бывшей княжны

не была для нее положительным несчастьем, потому что Густав Бирон, как известно, чрезвычайно любил свою жену, черноглазую красавицу, не уступавшую прелестями старшей сестре своей, некогда невесте императора Петра II. Потеряв золотое кольцо с жениным именем, Густав объявил приказ по полку, что нашедшему и доставившему пропажу он, кроме цены кольца, выдаст еще четыре рубля.

Наступил 1733 год.

Густав Бирон не принимал никакого участия в военных событиях этого года, касавшихся возведения Россией на польский престол нового короля, Августа III.

За отсутствием всех господ «штапов» (штаб-офицеров) он оставался старшим, то есть командовал Измайловским полком.

В течение того же 1733 года круг родства братьев Биронов увеличился еще одним лицом.

Рудольф-Август фон Бисмарк, уроженец прусской Голландии и генерал-майор русской службы, 14 апреля был обручен, а 15 мая повенчан с фрейлиной Трейден, свояченицей

обер-камергера, и, разумеется, стал своим человеком в домах Биронов.

Густав Бирон все более и более преуспевал по службе, поощряемый высочайшими милостями. Вполне довольный, он готовился к большей радости — быть отцом. Но тут судьба, едва ли не впервые, жестоко обманула ожидания Густава Бирона.

VI

Измена фортуны

13 сентября 1736 года красавица жена Густава Бирона, обожаемая мужем, умерла в родах. Вот как описывает погребение дочери Меншикова и скорбь ее мужа леди Рондо, бывшая тогда в Петербурге.

Собрание вошло в залу, где лежало тело покойной. Гроб был открыт. Княгиня была одета только в спальное платье, в котором она скончалась (говорят, что она желала, чтобы ее положили в полном одеянии); это платье было сделано из белой материи, вытканной серебром; голова украшена была прекрасными кружевами и короной, потому что

покойная была княжной Римской империи. На челе лежала лента, на которой золотыми буквами означено было ее имя и возраст; на левой руке лежал младенец, умерший спустя несколько минут после своего рождения, одетый в серебряную ткань; в правой руке разрешительная грамота.

Когда все заняли свои места, то вошли слуги проститься с госпожою, младшие впереди. Они целовали ее руку и дитя, прося прощения в поступках и сопровождая слезы ужасными криками. Затем подходили знакомые, которые целовали умершую в лицо и также плакали навзрыд. Потом родственники, самые близкие. Когда прощался брат ее, то думали, что он совсем опрокинет гроб.

Но трогательнее всего была сцена при прощании супруга. Он сначала отказался присутствовать при этой ужасной церемонии, но герцог приказал ему покориться обыкновению русских, представляя, что он, как явный чужеземец, лишится общего уважения. Его вывели из комнаты два чиновника, которые, впрочем, его более поддерживали, нежели сопровождали. На лице его изображалась

скорбь, но скорбь безмолвная.

Войдя в траурную залу, он остановился и потребовал пить. Подкрепившись питьем, подошел к гробу, но здесь упал в обморок. Когда он был вынесен и приведен в чувство, то подняли тело и поставили в открытой карете. За гробом тянулся длинный ряд карет, и, так как покойница была жена генерала, то гроб провожала гвардия. Поезд отправился в Невский монастырь.

Когда ехали по улицам, на гробе лежал парчовый покров, который, впрочем, снят был при входе в церковь. В церкви церемония прощания была повторена еще раз, но муж, едва приведенный в чувство после другого обморока, увезен был домой еще прежде.

После погребения все возвратились в дом Бирона на большой обед, на котором уже больше веселились, нежели скорбели. Казалось, все забыли печальное событие. Муж и ее брат — только двое были сражены действительною скорбью. Он любил ее во все время супружества — это видно было из его обращения с ней. Огорченный потерей любимой жены и скучая невольным одиноче-

ством, Густав Бирон стал подумывать о развлечениях боевой жизни, тем более что случай к ним представился сам собою.

Война России и Турции была тогда в полном разгаре. Ласси уже прислал в Петербург ключи покоренного Азова, а Миних, ознаменовав взятием и разорением Перекопа, Бахчисарая, Ахмечети и Кинбурна первый из своих крымских походов, деятельно готовился к целому ряду последующих. Нет ничего мудреного, если желание Густава Бирона отведать военного счастья, заявленное всемогущему обер-камергеру, решило участь гвардии в дальнейших подвигах Миниха.

Указом 12 января 1737 года повелевалось командировать к армии Миниха, расположенной на Украине, с каждого гвардейского полка по батальону, а начальником всего гвардейского отряда, к составу которого были причислены три роты конной гвардии, назначен генерал-майор лейб-гвардии Измайловского полка подполковник и генерал-адъютант Густав Бирон. Счастье и успех сопровождали его в войне с турками, он только один раз приезжал в Петербург, но вскоре

возвратился обратно на театр военных действий.

7 декабря 1739 года заключен был, как известно, в Белграде выгодный мир для России с Турцией. В Петербурге делались большие приготовления к празднованию этого события.

27 января состоялось торжественное восшествие в столицу частей гвардии, принимавших участие в кампании. День этот, пишет Висковатов, как вообще вся зима того года, был чрезвычайно холодный, но, несмотря на жестокую стужу и сильный пронзительный ветер, стечение народа на назначенных для шествия гвардий улицах было огромное.

Войска входили с музыкой и развернутыми знаменами, штаб— и обер-офицеры, — будем говорить словами очевидца и участника Нащокина, — так, как были на войне, шли с оружием, с примкнутыми штыками; шарфы имели подпоясаны; у шляп, поверх бантов, за поля были заткнуты кокарды лаврового листа, чего ради было прислано из дворца довольно лаврового листа для делания кокард к шляпам, ибо в древние времена римляне, по-

сле победы, входили в Рим с лавровым венцом, и то было учинено в знак того древнего обыкновения, что с знатной победой над турками возвратились. А солдаты такие же за полями приткнутые кокарды имели, из ельника связанные, чтобы зелень была.

Пройдя весь Невский проспект, шествие направилось к Зимнему дворцу, следовало по Дворцовой набережной, мимо пресловутого ледяного дома, и, обогнув Эрмитажную канавку, выдвинулось на Дворцовую площадь.

Здесь, по внесении знамени внутрь дворца, нижние чины были распущены по домам, а штаб— и обер-офицеры, повествует Нащокин, позваны ко дворцу, и как пришли во дворец, при зажжении свеч, ибо целый день в той церемонии продолжался, тогда Ее Императорское Величество, наша всемилостивейшая Государыня, в середине галереи изволили ожидать, и как подполковник, со всеми в галереи войдя, нижайший поклон учинил, Ее Императорское Величество изволила говорить сими словами:

— Удовольствие имею благодарить лейб-гвардию, что, будучи в турецкой войне, в над-

лежащих диспозициях, господа штаб— и обер-офицеры тверды и прилежны находились, о чем и через генерал-фельдмаршала Миниха, и подполковника Густава Бирона известна, и будете за службы не оставлены.

Выслушав то монаршее слово, паки нижайше поклонились и были жалованы к руке, и государыня из рук своих изволила жаловать каждого венгерским вином по бокалу, и с тем высокомонаршеским пожалованием отпущены. Это «вошествие», так блистательно показавшее толпе особу Густава Бирона, было прелюдией мирных торжеств, в распорядок которых, между прочим, входила и «курьезная» свадьба придворного шута князя Голицына с калмычкой Бужениновой, отпразднованная в ледяном доме 6 февраля.

Главное же торжество и объявление награды совершилось 14 февраля. Само собою разумеется, что брат герцога Курляндского, преисполненного наградами, не мог быть забыт.

Густав Бирон, командовавший в этот день парадом двадцатитысячного столичного гарнизона, был произведен в генерал-аншефы и получил золотую шпагу, осыпанную брилли-

антами.

По самое 18 февраля не прерывались придворные съезды, поздравления, обеды, концерты, маскарады, городские иллюминации, наконец, церковный звон и даже высочайшее метание в народ жетонов, сопровождавшееся постановкою жареных быков с золочеными рогами и фонтанов белого и красного вина, при мгновенном уничтожении которых надрывались со смеха «веселившиеся смотрением из окон дворца». Наконец празднества кончились.

Вскоре общественное внимание было привлечено делом Волынского, окончившемся казнью кабинет-министра. Густав Бирон не принимал ни малейшего участия в этом грустном деле, весь снова отдавшись полку и службе. Гибель Волынского, конечно, не могла не заставить его еще глубже уверовать в несокрушимую мощь своего брата и совершенно успокоиться за свое будущее. Густав Бирон увлекся прелестями фрейлины Якобины Менгден и решил прекратить свое вдовство. В сентябре 1740 года он торжественно обручился с ней.

В жизни Густава эта пора была, конечно, самая приятная. Все тогда ему улыбалось. Человек далеко не старый, но уже генерал-аншеф, гвардии подполковник и генерал-адъютант, Густав Бирон состоял в числе любимцев своей государыни и, будучи родным братом герцога, перед которым единственно трепетала вся Россия, не боялся никого и ничего; имел к тому же прекрасное состояние, унаследованное от первой жены и благоприобретенное от высочайших щедрот; пользовался всеобщим расположением, как добряк, не сделавший никому зла; едва ли, что всего дороже, мог укорить себя в каком-нибудь бесчестном поступке; наконец, в качестве жениха страстно любимой девушки, видел к себе привязанность невесты, казавшуюся страшною.

Чего недоставало невежественному и ограниченному Густаву Бирону, некогда курляндскому разночинцу и десять лет тому назад голяку капитану голодавших польских панцирников? Он ли не мог рассчитывать на долгое и безмятежное пользование благами жизни и случая? Но, увы, как мы знаем, фортуна изменила ему.

Смерть императрицы Анны Иоанновны была началом ударов судьбы, посыпавшихся на Густава Бирона и завершившихся в ночь на 9 ноября, менее чем через два месяца после окончания обручения, арестом и ссылкой.

Разбита была и судьба фрейлины покойной государыни Якобины Менгден, которая хотя и не была особенно страстно, как это старалась показать жениху, привязана к Густаву Бирону, но все же смотрела на брак с ним как на блестящую партию, как на завидную судьбу. И вдруг все рушилось разом, так быстро и неожиданно.

Мы застали в одной из предыдущих глав нашего правдивого повествования бедную несчастную невесту, забытую всеми, в ее фрейлинском помещении в Летнем дворце, из которого только за несколько дней перед этим увезли регента, герцога Эрнста-Иоганна Бирона.

Положение молодой девушки было действительно безвыходно. В течение какого-нибудь месяца она лишилась всего и уже подумывала поехать к своей сводной сестре Станиславе Лысенко, о которой хотя и не получа-

ла сведений за последние годы, но знала, что она замужем за майором Иваном Осиповичем Лысенко, жившим в Москве. Там, вдали от двора, где все напоминало ей ее разрушенное счастье, надеялась она отдохнуть и успокоиться.

Каково же было ее огорчение, когда она в описанный нами день получила от Станиславы письмо из Варшавы, в котором та уведомила ее, что она уже более года как разошлась с мужем, который отнял у нее сына и почти выгнал из дому. Она просила «сильную придворе» сестру заступиться за нее перед регентом и заставить мужа вернуть ей ребенка. Таким образом, и это последнее убежище ускользало от несчастной Якобины.

— Что-то будет, что-то будет! — с отчаянием шептали ее губы, и слезы то и дело неудержимо лились из ее прекрасных глаз.

VII

В Москве

В тот самый день, когда фрейлина Якобина Менгден получила письмо от своей сводной сестры Станиславы, разрушившее надежды на московское гостеприимство, в Москве, на Басманной у окна небольшого, в пять окон, деревянного дома, окрашенного в серый цвет, принадлежавшего майору Ивану Осиповичу Лысенко, стоял сам хозяин и глядел на широкую улицу.

Это был высокий, полный человек с некрасивыми, выразительными чертами лица, сильный брюнет с черными глазами — истый тип малоросса. Лицо его было омрачено какой-то тенью, а высокий лоб покрыт морщинами гораздо более, чем обыкновенно бывает у людей его лет. Одет он был в армейский мундир, но и без того, по одной осанке, можно было безошибочно узнать в нем военного.

На дворе моросил дождь, точно мелкой сеткой спускаясь с неба, широкая улица была грязна и неприятна.

— Какая нынешний год поздняя осень, — сказал он, обращаясь к стоявшему подле него мужчине, одетому в штатское платье, — такая же неприятная осень бывает и в человеческой жизни...

— Только не в твоей! — заметил собеседник. — Ты еще посредине жизненного пути, в самом расцвете сил.

— По годам — да, но мне почему-то кажется, что старость наступит для меня раньше, чем для кого-нибудь другого... Я частенько чувствую себя совершенно по-осеннему.

Слушавший его мужчина с неудовольствием покачал головой. Он был среднего роста, худощавый и несколько старше Ивана Осиповича.

— Ты, Иван, слишком серьезно относишься к жизни, — с упреком произнес он, — и вообще, ты страшно переменился за последние годы. Никто из знавших тебя молодым, веселым офицером не узнал бы теперь. И отчего, скажи на милость! Гнет, тяготевший над твоей жизнью, ты окончательно решил сбросить. Служба совершенно по тебе, так как ты душой и телом солдат, тебя отличают при

каждом удобном случае, в будущем тебя, наверное, ждет важный пост, дело твое с женой идет на лад и сын, наверное, останется при тебе, по решению духовного суда.

Иван Осипович молчал и, скрестив руки, продолжал смотреть в окно.

— Мальчик стал просто красавцем за последние годы, я был положительно поражен, когда увидел его. При этом ты сам говорил мне, что он необыкновенно богато одарен от природы и обладает выдающимися способностями.

— Я предпочел бы, чтобы у Осипа было меньше способностей, но больше характера и серьезности. Ты не можешь себе представить, Сергей, к какой строгости мне приходится прибегать, чтобы как-нибудь справиться с ним.

— Боюсь, что ты немного и добьешься при всей твоей строгости. Хотя ему всего восемь лет, но уже теперь видно, что для военной службы он не годится.

— Он должен годиться! Это единственное возможное поприще для такой разнузданной натуры, как его, которая не признает никакой

узды и каждую обязанность считает тяжелым ярмом, которое старается сбросить. Сдержатъ его может только железная дисциплина, которой он волей-неволей должен будет подчиняться на службе.

— Едва ли она его сдержит. Не обманывай себя, к сожалению, все это — наследственные склонности, которые можно подавить, но не уничтожить. Осип и по внешности совершенный портрет матери, у него ее черты, ее глаза.

— Да, — мрачно произнес Лысенко, — ее темные, демонические, огненные глаза, которыми все покорялось...

— И которые были твоим несчастьем, — закончил Сергей Семенович Зиновьев, — таково было имя, отчество и фамилия товарища и друга детства Ивана Осиповича Лысенко.

Последний продолжал молчать.

— Как я ни предостерегал тебя тогда, но ты ничего знать не хотел, страсть овладела всем твоим существом, точно горячка. Я никогда не мог этого понять.

На губах Лысенко промелькнула горькая улыбка.

— Верю... Ты холодный, рассудительный

чиновник и придворный, старательно рассчитывающий каждый свой шаг, — ты застрахован от подобных чар...

— По крайней мере, я был бы осторожнее при выборе... Твой брак с самого начала носил в себе зародыш несчастья: женщина чуждого происхождения, чуждой религии, дикая, капризная, бешеная польская натура, без характера, без понятий о том, что мы называем долгом и нравственностью — и ты, со своими стойкими понятиями о чести, — мог ли ты иначе кончить подобный союз?.. А между тем, мне кажется, что ты, несмотря ни на что, продолжал любить ее до самого разрыва.

— Нет, — резко ответил Иван Осипович, — очарование улетучилось уже в первый год. Я слишком ясно видел все, но меня останавливала мысль, что, решившись на развод, я выставлю напоказ свой домашний ад; я терпел до тех пор, пока у меня не оставалось другого выхода, пока... Но довольно об этом.

Он быстро отвернулся и стал снова смотреть в окно, но в этой резко оборвавшейся речи слышались с трудом скрываемые муки.

— Да, немало нужного для того, чтобы вы-

вести из себя человека, подобного тебе, — серьезно заметил Зиновьев. — Но ведь развод освободил тебя от железных цепей, и тебе следует уже теперь похоронить самое воспоминание о них...

Лысенко мрачно покачал головой.

— Подобных воспоминаний нельзя похоронить, они постоянно восстают из мнимой могилы... Да и развод еще не кончен, и сегодня...

Он вдруг замолчал.

— Сегодня, что сегодня?

— Ничего. Поговорим о чем-нибудь другом. Итак, ты уже три дня в Москве. Надолго ты приехал?

— Недели на две... У меня в распоряжении немного времени. В Петербурге перемена за переменной. Слышал?

— Слышал, но хочу подробностей...

Приятели уселись в кресла, и майор приказал подать трубки. Когда они задымились, Сергей Семенович подробно стал рассказывать о последних событиях в Петербурге, уже известных читателям. После окончания рассказа разговор как-то невольно перешел сно-

ва на болезную тему — на жену Ивана Осиповича.

— Она уехала в Варшаву?

— Да, там у нее родные...

— Значит, она потеряла надежду выиграть дело?

— Какая же может быть у ней надежда?

— Но если она вернется и пожелает видаться с сыном?

Глаза майора блеснули зловещим огнем.

— Я никогда не допущу этого. Да и она не пожелает этого потребовать после того, что произошло. Она вполне узнала меня в тот час, когда мы расстались. Она побоится второй раз доводить меня до крайности.

— Но она может помимо тебя, тайно, достичь того, в чем ты отказываешь ей открыто...

— Это невозможно. Я зорко слежу за ним, у меня надежные слуги...

Зиновьев, казалось, не разделял эти убеждения; он сомнительно покачал головой.

— Признаться откровенно, я считаю ошибкой с твоей стороны упрямое желание скрыть от сына, что мать его жива. Хуже будет, если

он узнает это от посторонних. И наконец, когда-нибудь да придется же тебе рассказать ему все...

— Может быть, когда он сделается юношей и самостоятельно вступит в жизнь. Теперь же он ребенок — он ничего не поймет из той драмы, которая разыгралась в доме его отца.

— Пожалуй, ты прав... Но будь, по крайней мере, настороже... Ты знаешь свою жену, знаешь, чего именно от нее ждать. Боюсь, что для этой женщины нет ничего невозможного.

— Да, я знаю ее, — с горечью сказал Иван Осипович, — потому-то я и хочу во что бы то ни стало оградить от нее моего сына. Он не должен дышать воздухом, отравленным ее близостью, хотя бы в продолжение часа! Не беспокойся, я нисколько не скрываю от себя опасности, которая грозит мне при возвращении Станиславы, но пока Осип подле меня, бояться нечего, ко мне она не приблизится, даю тебе слово.

— Будем надеяться, — отвечал Сергей Семенович, — но мне пора, есть еще несколько дел...

Он подал Ивану Осиповичу руку на проща-

нье.

— Но не забывай, что наибольшая опасность кроется в самом Осипе; он во всех отношениях сын своей матери... На днях ты уезжаешь с ним к Полторацким, я слышал...

— Да, на некоторое время... Рождение дочери, княжны Людмилы... Летом же он будет гостить у них, во время лагерей...

Зиновьев вышел. Иван Осипович снова направился к окну, но не для того, чтобы взглянуть на друга, который, проходя мимо, поднял голову и послал ему еще поклон. Взор Лысенко по-прежнему мрачно уставился на частую сетку морозящего дождя.

«Сын своей матери!» — припомнились ему слова Сергея Семеновича.

Правда, не было никакой надобности слышать их от другого — он сам хорошо знал это. Именно это сознание и привело такие глубокие морщины на его лбу и вызвало у него такой тяжелый вздох. Он был из таких людей, которые предпочитают стоять лицом к лицу с опасностью, — уже около года со всей энергией он боролся с злополучной наследственностью сына. Мысль о том, что мать может по-

желать видеться с сыном, и раньше приходила ему в голову, но он старался отогнать ее. Сегодня он получил от нее даже письмо с этой просьбой.

— Мой сын не знает, что мать его еще жива, и пока не должен этого знать. Я не хочу, чтобы он видел ее, говорил с нею, и этого не будет; я, надеюсь, сумею помешать этому, чего бы мне это ни стоило.

Иван Осипович высказал эту мысль вслух и так ударил потухшей трубкой, которую продолжал держать в руке, об пол, что она разбилась на мелкие части. Вбежавший казачок бросился подбирать осколки.

— Свежую! — крикнул майор, бросая ему чубук.

VIII

Цесаревна

Почти такой же одинокой и забытой, в описываемое нами время, придворными сферами, как и Якобина Менгден, жила в своем дворце на Царицыном лугу, где в настоящее время помещаются Павловские казармы, цесаревна Елизавета Петровна.

9 ноября 1740 года мы застаем ее в опочивальне, в домашнем платье, только что выслушавшей доклад о происшедшем в минувшую ночь в Петербурге.

Двадцативосьмилетняя красавица, высокая ростом, стройная, прекрасно сложенная, с чудными голубыми глазами с поволокой, с прекрасными белокурыми волосами и ослепительно белым цветом лица, чрезвычайно веселая и живая, не способная, казалось, думать о чем-то серьезном — такова была в то время цесаревна Елизавета Петровна.

Между тем в описываемый нами день на ее лице лежала печать тяжелой серьезной думы. Она полулежала в кресле, то открывая, то

снова закрывая свои прекрасные глаза. Картины прошлого неслись перед ней, годы ее детства и юности восстали перед ее духовным взором. Смутные дни, только что пережитые ею в Петербурге, напоминали ей вещей сон ее матери — императрицы Екатерины Алексеевны. Это и дало толчок воспоминаниям.

Незадолго до своей смерти императрица Екатерина Алексеевна видела сон, теперь, как оказывается, очень верно истолкованный ею. Ей снилось, что она сидит за столом, окруженная придворными. Вдруг появляется тень Петра. Петр одет, как одевались древние римляне. Он манит к себе Екатерину. Она идет к нему, и он уносится с нею под облака. Улетая с ним, она бросила взор на землю. Там она увидела своих детей, окруженных толпою, составленною из представителей всех наций, шумно споривших между собой. Екатерина Алексеевна истолковала этот сон так: что она должна скоро умереть и что по смерти ее в государстве настанут смуты.

Сон ее матери действительно исполнился. Со времени Петра II государство не пользовалось спокойствием, каковым нельзя было

считать десятилетие правления Анны Иоанновны и произвола герцога Бирона. Теперь снова наступали еще более смутные дни. Император — младенец, правительница — бесхарактерная молодая женщина — станет, несомненно, жертвой придворных интриганов.

От мысли о матери цесаревна невольно перенеслась к мысли о своем великом отце. Если бы он встал теперь с его дубинкой, многим бы досталось по заслугам. Гневен был Великий Петр, гневен, но отходчив. Ясно и живо, как будто это случилось вчера, несмотря на протекшие полтора десятка лет, восстала в памяти Елизаветы Петровны сцена Петра с ее матерью. Не знала она тогда, хотя теперь догадывается, чем прогневала матушка ее отца.

Он стоял с нею у окна во дворце. Анна и Елизавета, играя, тихо сидели в одном из уголков той же комнаты.

— Ты видишь, — сказал он ей, — это венецианское стекло. Оно сделано из простых материалов, но благодаря искусству стало украшением дворца. Я могу вернуть его в прежнее ничтожество.

С этими словами он разбил стекло вдребезги.

— Вы можете это сделать, но достойно ли это вас, государь, — отвечала Екатерина, — и разве от того, что вы разбили стекло, дворец ваш сделался красивее?

Петр ничего не ответил. Хладнокровие здорового смысла утишило раздражение.

Елизавета Петровна часто думала об этой сцене, врезавшейся в ее память. Только с годами она поняла ее значение, поняла, что, говоря о стекле, отец намекал на простое происхождение ее матери.

Одновременно с этой сценой из дворца исчез красивый камергер императрицы Монса де ла Кроа. Его казнили вскоре, как потом узнала Елизавета Петровна. Все стало ясно для нее. Отец с матерью, однако, примирились. И это примирение предсказал Екатерине вещий сон.

За две недели до ареста Монса де ла Кроа она увидела во сне, что постель ее внезапно покрылась змеями, ползшими во всех направлениях. Одна из них, самая большая, бросилась на нее, обвила кольцами все ее члены

и стала душить ее. Екатерина защищается, борется с змеей и наконец удушает ее. Тогда все прочие, мелкие змеи сбежали с ее постели.

Далее тянутся воспоминания цесаревны. Она припоминает свою привольную, беззаботную жизнь в Покровской слободе, теперь вошедшей в состав города Москвы. Песни и веселья не прерывались в слободе. Цесаревна сама была тогда прекрасная, голосистая певица; запевадой у ней была известная в то время по слободе певица Марта Чегаиха. За песни царевна угощала певиц разными лакомствами и сладостями: пряниками-жмычками, цареградскими стручками, калеными орехами, маковой избоиной и другими вкусными заедками.

Цесаревна иногда с ними на посиделках занималась рукоделиями, пряла шелк, ткала холст; зимою же об святках собирались к ней ряженные слободские парни и девки, присядки, веселые и удалые песни, гаданья с подобным припевом. Под влиянием бархатного пивца да сладкого медку, да праздничной бражки весело плясалось на этих праздниках. Сама цесаревна была до них большая охотни-

ца.

На масленице у своего дворца, против церкви Рождества, она собирала слободских девушек и парней кататься на салазках, связанных ремнями, с горы, названной по дворцу царевниному — Царевною, с которыми и сама каталась первая. Той же широкой масленицей вдруг вихрем мчится по улицам ликующей слободы тройка удалая; левая кольцом, правая еле дух переводит, а коренная на всех рысях с пеной у рта. Это тешится, бывало, она, царевна, покрикивая удалому гвардейцу-вознице русскую охотничью присказку:

— Машу не кнутом, а голицей.

Любимую потехою цесаревны, по примеру царствующих домов тогдашней Европы, была охота. Ей она посвящала все свое время в слободе, будучи в душе страстной охотницей до псовой охоты по-за зайцами. Она выезжала в мужском платье и на соколиную охоту. Для этой забавы в слободе был охотный двор на окраине слободы, на лугу, на реке Серой. Здесь тешилась цесаревна напуском соколов в вышитых золотом, серебром и шелками бархатных клобучках, с бубенчиками на шей-

ках, мигом слетавших скляпышей, прикрепленных к пальцам ловчих, сокольничих, подсокольничих и кречетников, живших на том охотном дворе, где и содержались приноровленные соколы, нарядные сибирские кречеты и ученые ястребы. Цесаревна, повторяем, была страстной охотницей травить зайцев и предпочитала это невеселое удовольствие всем прочим охотничьим.

«Ату его! Ату его!» — этот охотничий возглас и теперь заставляет сильно биться ее сердце. С пронзительным свистом, диким гиканьем, звучным тьяканьем гончих, вытянувшихся в струнку резвых борзых, с оглушительным грохотом арапников мчались с замиранием сердца шумные ватаги рьяных охотников, оглашая поляны дворцовых волостей слободы, представлявших широкое раздолье для утех цесаревны, скакавшей, бывало, на ретивом коне, всегда с неустрашимой резвостью, впереди всех. Рядом несся любимый ее стремениной — Гаврило Извольский, а за ним доезжачие, стаешники, со сворами борзых и гончих в причудливых ошейниках, далее кречетники, сокольники, ястребинни-

ки со своей птичьей охотой, все на горских конях, со всем охотничьим нарядом, по росписи: ястребами, соколами и кречетами.

Всю эту шумную вереницу гульливого люда, среди которого блистали красавец Алексей Яковлевич Шубин, прапорщик лейб-гвардии Семеновского полка, и весельчак Лесток, замыкал обоз с вьючниками. Шубин, сын богатого помещика Владимирской губернии, был ближний сосед цесаревны по вотчине своей матери. Он был страстный охотник, на охоте и познакомился с Елизаветой Петровной. Лесток был врачом цесаревны, француз, восторженный, он чуть не молился на свою цесаревну.

Но вот веселые воспоминания Елизаветы Петровны прерываются. Не по ее воле окончилась ее беззаботная жизнь в Покровской слободе. Ей было приказано переехать на жительство в Петербург. Подозрительная Анна Иоанновна и еще более подозрительный Бирон, видимо, испугались ее популярности.

Елизавета Петровна вздохнула. Жизнь в Петербурге была не та, что там, под Москвою. Здесь испытала цесаревна первое сердечное

горе. Неосторожный Шубин поплатился за преданность ей — его арестовали и отправили в Камчатку, где насильно женили на камчадалке.

Много слез пролила Елизавета, скучая в одиночестве, чувствуя постоянно тяжелый для ее свободолюбивой природы надзор. Кого она ни приблизит к себе — всех отнимут. Появился было при ее дворе брат всесильного Бирона, Густав Бирон, и понравился ей своей молодцеватостью да добрым сердцем — запретили ему бывать у нее. А сам Эрнст Бирон, часто в наряде простого немецкого ремесленника, прячась за садовым тыном, следил за цесаревной. Она видела это, но делала вид, что не замечает.

Припомнились ей оба Бирона теперь именно, после выслушанного рассказа о происшедшем в минувшую ночь. Искренно пожалела она Густава Бирона, а особенно его невесту Якобину Менгден. Что-то она чувствует теперь?.. Не то же ли, что чувствовала она, цесаревна, когда у нее отняли Алексея Яковлевича?

Года уже не только притупили боль разлу-

ки, но даже в сердце цесаревны уже давно властвовал другой, и властвовал сильнее, чем Шубин, но все же воспоминание о видном красавце, теперь несчастном колоднике, нет-нет, да приходило в голову Елизаветы Петровны, и жгучая боль первых дней разлуки нет-нет, да кольнет ее сердце. Сочувствие к молодой девушке, разлученной невесты Густава Бирона, вызвало и теперь эти воспоминания и эту боль. Веселые картины привольной жизни под Москвой сменились тяжелыми о тревожном настоящем и неизвестном, загадочном будущем.

— Дозволишь войти, цесаревна? — раздался приятный грудной голос.

В дверях комнаты появился Алексей Григорьевич Разумовский.

IX

Алексей Разумовский

Вошедший в опочивальню цесаревны Елизаветы Петровны Разумовский был высокий, стройный мужчина, лет тридцати, несколько смуглый, с чудными черными глазами и черными же дугообразными бровями — словом, настоящий красавец.

Доверенное лицо и управляющий в описываемое нами время небольшим двором цесаревны и ее имением, Алексей Григорьевич Разумовский был далеко не знатного происхождения. В начале прошлого столетия в Черниговской губернии, Козелецкого повета, в деревне Лемешах, на девятой версте по старому тракту от Козельца в Чернигов, жил регистровый казак «киевского Вышгорода-Козельца полка Григорий Яковлевич Розум».

Григорий Яковлевич имел старшего брата Ивана Яковлевича и сестру Анну Яковлевну, которая была замужем за казаком Дубиной. Он сам женился на дочери казака Демьяна Стрешенцова из соседнего села Адамовки —

Наталье Демьяновне, женщины очень умной. Все в околотке знали эту Розумиху.

Что был за человек Григорий Яковлевич Розум, долго ли жил и чем занимался в свободное от походов время — неизвестно. Несомненно только, что в описываемое нами время в живых его уже не было. У Натальи Демьяновны было три сына: Данила, Алексей и Кирилл и три дочери: Агафья, Анна и Вера.

Данила Григорьевич умер еще в царствование Анны Иоанновны, оставив на попечение Натальи Демьяновны дочь свою Авдотью Даниловну.

Второй сын, Алексей Григорьевич, родился в Лемешах 17 марта 1709 года. Он был сперва пастухом общественных стад, но его привлекательная внешность и приятный голос обратили на него внимание высшего духовенства. Причт села Чемеры, к приходу которого принадлежали Лемеша, взял мальчика под свое попечение. Священнослужители обучили его грамоте и церковному пению, и по праздникам молодой Розум пленял своим чудным голосом чемеровских прихожан.

Третий сын Натальи Демьяновны — Ки-

рилл Григорьевич родился 18 марта 1724 года. Он ходил за отцовскими волами.

Дети росли и утешали родителей.

— Сыновья мои родились счастливыми, — говорила впоследствии Наталья Демьяновна, — когда Алеша хаживал с крестьянскими ребятишками по орехи или по грибы, он их всегда набирал вдвое больше, чем товарищи, а волы, за которыми ходил Кирилл, никогда не заболели и не сбегали со двора.

Хата, в которой родился Кирилл Григорьевич и провел детство старший брат его, стояла среди Лемешей, по правую сторону почтовой дороги от Козельца в Чернигов. В длину с сеньми и каморкою обращена была она к улице и находилась от нее шагах в двадцати, среди огорода, в котором изредка стояли фруктовые деревья. Наружным видом она не отличалась от прочих ее окружающих хат, а по величине и чистой отделке окон и дверей ее можно было принять за хату довольно зажиточного крестьянина. На потолке хаты во всю длину красовался драгоценный сволок (обои), со следующей резной надписью с титлами славянскими буквами: «Благословени-

ем Бога Отца, поспешением Сына (за ними изображение креста), содействием Святого Духа созданся дом сей рабою Божьей Наталии Розумихи. Року 1711 мая 5 дня».

Слова «Наталии Розумихи» приписаны были как бы другим почерком. В таком виде сохранилась хата эта до 16 июня 1854 года, когда пожар уничтожил ее дотла.

Однажды Наталье Демьяновне приснилось, что в хате у нее, на потолке, светятся солнце, месяц и звезды, все вместе. Она пересказала сон соседкам, которые над нею смеялись. Дня три после сновидения, в начале января 1731 года, в праздничный день, проезжал через Чемеры полковник Вишневский, возвращавшийся из Венгрии, куда он ездил покупать венгерские вина для императрицы Анны Иоанновны. Вишневский зашел в церковь, пленился голосом и наружностью Алексея Розума и уговорил Наталью Демьяновну отпустить сына с ним в Петербург. Приехав в столицу, Вишневский представил своего питомца тогдашнему обер-гофмаршалу Рейнгольду Левенвольду, который поместил молодого малороссиянина в придворный хор.

В придворных певчих Алексей Розум остался несколько лет. Однажды цесаревна Елизавета Петровна присутствовала при богослужении в придворной церкви. Она была поражена голосом Розума и потребовала, чтобы он был ей представлен после окончания литургии. Красота его поразила великую княжну еще более, чем голос. Цесаревна просила графа Левенвольда уступить ей молодого певчего. Граф согласился, и Алексей Григорьевич, получивший при поступлении ко двору Елизаветы Петровны прозвание Разумовского, стал считаться певчим цесаревны.

Голос его вскоре начал спадать, и из певчих он был переименован в придворные бандуристы. Это случилось после истории с Шубиным.

Арест и горестная судьба его произвела, как мы знаем, сильное впечатление на великую княжну. Она долгое время была неутешна о своем любимце, и есть предание, что даже намеревалась принять иноческий сан в Александровском Успенском монастыре. Когда первые порывы грусти прошли, цесаревна почувствовала себя совершенно одинокою

среди неблагоприязненного в ней петербургского двора. В это время она и увидела молодого Розума.

Вскоре из бандуристов уже не Розум, а Разумовский был произведен в управление одного из цесаревниных имений. Мало-помалу и другие недвижимые имущества, а вслед за ними и весь небольшой двор Елизаветы Петровны очутился под влиянием Алексея Григорьевича — одним словом, он вполне занял место сосланного Шубина.

Дочь Екатерины I, не помнившая родства, возросшая среди птенцов Великого Петра, которых грозный царь собирал на всех ступенях общества, Елизавета Петровна была вполне чужда родовым предрассудкам и аристократическим понятиям. При дворе ее люди были все новые. Но если бы цесаревна и желала окружить себя Рюриковичами, как потомками Гедиминов, это едва ли удалось бы ей.

Оставшись на восемнадцатом году после смерти матери и отъезда сестры в Голштинию, она без руководителей, во всем блеске красоты необыкновенной, получившая в наследие от родителей страстную натуру, от

природы одаренная добрым и нежным сердцем, кое-как или, вернее, вовсе невоспитанная, среди грубых нравов, испорченных еще лоском обманчивого полуобразования, бывшая предметом постоянных подозрений и недоверия со стороны двора, цесаревна видела ежедневно, как ее избегали и даже нередко от нее отворачивались сильные мира сего, и поневоле искала себе собеседников и утешителей между меньшей братией.

Между тем мать молодого любимца казачка Наталья Демьяновна успела пристроить дочерей. Она выдала старшую, Агафью, за ткача Влача Будлянского, вторую, Анну, за кройщика Осипа Лукьяновича Закревского, и третью, Веру, за реестрового казака Ефима Федоровича Дарагана. Случай Алексея Григорьевича отозвался и в Лемешах.

Указание на сношения с Украиной подтверждается следующим письмом цесаревны к украинскому старшине Горлинке, с которым она познакомилась во время нередкого путешествия в Петербург.

«Благородный господин Андрей Андреевич! Послан от нас в Малороссию за нашими

нуждами камердинер наш Игнатий Полтавцев, и ежели он о чем о своих нуждах просить будет, прошу, по вашей к нам благосклонности, в том его не оставить. В чем к вам не безнадёжно остаюсь, вам доброжелательная Елисавет. Июля 11 дня 1737 года».

Таково было происхождение и родственные отношения любимца цесаревны Елизаветы Петровны Алексея Григорьевича Разумовского.

— Что скажешь, Алексей Григорьевич? — подняла голову Елизавета Петровна.

— Да напомнить пришел, цесаревна: не съездишь ли ты сегодня ко двору?

— Что я там забыла?

— Забывать-то, пожалуй, и не забывала, да тебя-то, цесаревна, там забыть не могут.

— Это ты правильно, стою я им как сухая ложка поперек горла.

— Вот то-то оно и есть. Доподлинно известно ведь нынешней правительнице, что регент-то за последнее время строил относительно тебя, царевна, свои планы.

— Это выдать меня за своего сына Петра и удалить из России Брауншвейгскую фами-

лию?

— Мечтал он об этом сильно.

— Нет, уже меня за немца замуж не выдать... Не только за доморощенного, но даже и за настоящего... Немало немецких принцев на меня зарились, все ни с чем отъехали. Чай, тебе это хорошо известно.

— Как не быть известным, да и не мне одному, гвардия, народ, все это знают и почитают тебя, царевна, за то еще пуще.

— Насолили им немцы-то.

— Уже и не говори.

Елизавета Петровна задумалась, поникнув головой. Наступило молчание. Его прервал Алексей Григорьевич:

— А съездить ко двору все же надо... Не ровен час, как взглянется... Иш они ночные действия устраивать принялись.

— Что же, Алексей Григорьевич, может, этим нам пример подают... — весело сказала цесаревна.

— Дай-то Бог... Все Он, Всемогущий...

Елизавета Петровна при этих словах Разумовского молитвенно обратила свой взор на передний угол, где стоял большой киот с об-

разами в богатых ризах, перед которыми горела неугасимая лампада.

— Шутки я шучу, Алексей Григорьевич, знаешь, чай, меня не первый год, а в душе при этих шутках кошки скребут, знаю тоже, какое дело и мы затеваем. Не себя жаль мне! Что я? Голову не снимут, разве в монастырь дальний сошлют, так мне помолиться и не грех будет... Вас всех жаль, что около меня грудью стоят, будет с вами то же, что с Алексеем Яковлевичем... А ведь он тебе тезка был.

Легкая судорога пробежала по красивому лицу Разумовского. Он не любил, когда цесаревна вспоминала о Шубине.

— О нас, цесаревна, не беспокойся... Нам зря болтать не доводилось, да и не доведется... — с горечью ответил он. — Так прикажи туалет твой подать и с Богом поезжай во дворец-то...

— И то, съездить надо... — Встала Елизавета Петровна, сделав вид, что не обратила внимания на колкость, отпущенную Разумовским по поводу болтливости Шубина.

— Поезжай, матушка, да поласковее будь с герцогским высочеством, она на ласку-то от-

ЗЫВЧИВА.

— Знаю, уж ли не знаю, на ласку-то меня и взять, только не на притворную... Тяжело, а делать нечего... И зачем только я вам понадобилась...

— Не след так говорить дочери Петра Великого.

— Эх!.. — махнула рукой Елизавета и дернула за сонетку.

— Так я пойду, ноне кое-кого еще повидать надо...

— Иди, иди, Алексей Григорьевич.

— Замолви, царевна, коли случай подойдет, словечко за Якобину-то... Совсем, говорю, девка искручинилась.

— Да, да, непременно! Несчастливая... — отвечала Елизавета Петровна, и при этом напомниминании о фрейлине Менгден, жених которой был так внезапно арестован, снова перед ней восстала фигура красавца Шубина...

Алексей Григорьевич вышел.

Х

Во французском посольстве

Прошло несколько месяцев после переворота, произведенного фельдмаршалом Минихом в пользу Анны Леопольдовны.

В кабинете тогдашнего французского посланника при русском дворе маркиза Жака Троти де ла Шетарди находились сам хозяин и придворный врач цесаревны Елизаветы Герман Лесток.

Маркиз де ла Шетарди был назначен представителем Франции при русском дворе всего около двух лет тому назад. Он был типом светского француза XVIII века. То офицер, то дипломат, но прежде всего придворный — он обращал на себя внимание везде, где ни появлялся. Страстно любящий общество, где, благодаря своему изяществу и галантности, он имел большой успех и насчитывал столько друзей, как и врагов, привлекая одних своей любезностью и личным обаянием и восставляя против себя других своим подвижным и вспыльчивым нравом.

Герман Лесток приехал в Россию в 1713 году, определился врачом при Екатерине Алексеевне и в 1718 году был сослан Петром в Казань. Со вступлением на престол Екатерины I он был возвращен из ссылки и определен врачом к цесаревне Елизавете Петровне, которой сумел понравиться своим веселым характером и французской любезностью.

Маркиз де ла Шетарди нервно ходил по кабинету, в то время как Лесток, видимо, с каким-то напускным спокойствием сидел в кресле.

— Итак, вы говорите, любезный Лесток, что положение вашей очаровательной пациентки становится день ото дня тяжелее и опаснее...

— Да, маркиз, она, видимо, сама не сознает этого и не жалуется, но нам, близким ей людям, все это слишком ясно... У цесаревны нет влиятельных друзей, мы — мелкие сошки — что можем сделать?..

— Отчего нет влиятельных друзей? Быть может, и найдутся... — с загадочной улыбкой заметил маркиз.

Лесток сделал вид, что не слышал этого за-

мечания, и продолжал:

— Цесаревна слишком доверчива, добра и жизнерадостна, чтобы предаваться опасениям, но нам, повторяю, подлинно известно, что гибель ее решена...

— Как? — остановил его маркиз.

— Там... — скорее, движением губ, нежели голосом, сказал Лесток.

— А... Ну, это посмотрим!.. — вдруг взволновался де ла Шетарди. — Гибель ее... гибель изящнейшей русской женщины нашего времени!..

Маркиз вспомнил впечатление, произведенное на него цесаревной в первое свидание. Он был положительно очарован ею. Совершенно другое впечатление произвела на него холодная, апатичная Анна Леопольдовна, к которой он отправился после визита к Елизавете Петровне. Он был принят ею и ее мужем так нелюбезно, что его самолюбие было этим задето и он решил тогда же отомстить за этот прием, если к тому представится случай. Он припоминал теперь, что после утонченности версальского двора и простоты, господствовавшей в Германии, рус-

ский двор, в царствование Анны Иоанновны, с его увеселениями, шутами, скоморохами, грубой безвкусной роскошью, поразил его.

Среди этого двора была только одна личность, напоминая западные нравы и подходившая к духу западных наций своими вкусами, своей безыскусственной веселостью и врожденной грацией, — это была цесаревна Елизавета. Вспомнив, что звание посла давало ему право открывать с нею при дворе бал, так как императрица Анна уже не танцевала, он заявил об этом праве и настоял на своем требовании. Это, видимо, понравилось цесаревне, и она, как теперь вспоминал маркиз, часто повторяла ему, что ей известны чувства, которые питает к ней король, что она этим тронута и постарается поддержать их.

Случай достойно расплатиться с правительницей и ее надменным супругом теперь представляется для Шетарди очень удобным. Он уже начал эти расчеты, но они ему казались недостаточными. Дело в том, что русский двор был поставлен им в щекотливое положение. Назначенный чрезвычайным послом французского короля при императрице

Анне Иоанновне, Шетарди лишился этого звания со смертью императрицы. Некоторое время спустя ему велено было остаться представителем Франции в Петербурге, только в звании полномочного посланника. Возник вопрос о том, каким образом он представит свои новые верительные грамоты.

Посланники других держав удовольствовались аудиенцией у правительницы, но маркиз де ла Шетарди категорически требовал, чтобы ему дозволили представиться самому царю, которому не исполнилось еще в то время и года. Подобное требование удивило русских и породило массу самых запутанных вопросов. Будет ли аудиенция частная или публичная? Вручит ли посланник свои письма самому ребенку? Положит ли он их на табурет, поставленный у подножия трона, или вручит их правительнице, которая будет держать младенца-царя на руках?

Поставив таким образом в затруднение правительницу, Шетарди торжествовал, и теперь, когда к нему неспроста — он понял это — пришел врач и доверенное лицо цесаревны Елизаветы — Лесток, маркиз нашел,

что придуманная им месть Анне Леопольдовне недостаточна, что есть еще другая — горшая: очистить русский престол от Брауншвейгской фамилии и посадить на него дочь Петра Великого, заменив, таким образом, ненавистное народу немецкое влияние — французским. Он, таким образом, может достичь разом двух целей — или, как говорят русские, убить двух зайцев: отомстить, и отомстить жестоко, Анне Леопольдовне и ее супругу и исполнить свою главнейшую миссию при русском дворе.

В записке, составленной французским министерством иностранных дел, долженствовавшей служить ему инструкцией, предписывалось собрать предварительные сведения о положении России и партий при русском дворе. При этом он должен был обратить особенное внимание на лиц, державших сторону великой княжны Елизаветы Петровны, разузнать, какое назначение и каких друзей она может иметь, а также настроение умов в России, семейные отношения, словом, все то, что могло бы предвещать возможность переворота. Знал также Шетарди, что незадолго до его

прибытия в Россию в Петербурге был открыт заговор, в котором была замешана Елизавета Петровна, и что ее фаворит Нарышкин должен был бежать во Францию, откуда он продолжал интриговать в пользу цесаревны.

Все это мгновенно пронеслось в голове маркиза де ла Шетарди в то время, когда Лесток упомянул о возможности гибели Елизаветы Петровны.

— Конечно, — между тем продолжал врач цесаревны, — ее не казнят публично и не умертвят даже, но ее постригут в монастырь, как это в обычае в здешней стороне.

— Этого не бывать! — воскликнул маркиз. — Не монашеский клобук, а царская корона приличествует этой прелестной головке.

Это было сказано так громко, что осторожный Лесток боязливо заерзал на кресле и пугливо стал оглядываться по сторонам.

— Дорогой маркиз, вы, конечно, у себя, но в здешней стране у стен всех домов есть чуткие уши... — заметил он и стал передавать посланнику о симпатии цесаревны к Франции, намекнув о надеждах, которые возлагает на него Елизавета Петровна.

Маркиз понял Лестока с полуслова.

— Передайте цесаревне, что я от имени короля заявляю ей, что Франция сумеет поддержать ее в великом деле. Пусть она располагает мной, пусть располагают мной и люди ее партии, но мне все же необходимо снестись по этому поводу с моим правительством, так как посланник, не имеющий инструкции, все равно что незаведенные часы.

Ускорить уже давно задуманное им участие в деле цесаревны Елизаветы побудило Шетарди следующее обстоятельство. Весной 1741 года Миних, бывший противник союза с герцогом Брауншвейгским, был отрешен от занимаемых им должностей. Австрийская партия восторжествовала, и в тот момент, когда Франция стала открыто на сторону врагов Марии-Терезии, подписав вместе с Пруссией и Баварией военный союзный договор, Россия готовилась выступить на защиту королевы венгерской и послать ей на помощь 30 тысяч войска. В это время прибыл в Петербург английский уполномоченный Финч.

Англия предлагала Брауншвейгскому дому обеспечить за ним русский престол, если Рос-

сия обещает ей помогать в борьбе с Францией. Правительница согласилась на это предложение и, подписав договор, представленный ей Финчем, присоединилась открыто к недругам Франции. Маркиз де ла Шетарди предвидел это решение, но не старался устранить его.

Зная неприязненные отношения Брауншвейгского дома к Франции, питая в душе непримиримую вражду к правительнице, которую он выводил из себя своим формализмом, он полагал, что Франции от нее нечего ожидать и что Россия, управляемая немцами, рано или поздно всецело попадет под влияние Австрии. Он был уверен, что русский двор изменит свою политику только с переменой правительства, и для того, чтобы вырвать Россию из рук немцев, по его мнению, было одно средство — совершить государственный переворот. На участие в этом-то перевороте прозрачно намекал ему Герман Лесток.

Маркиз де ла Шетарди подвинул кресло близко к креслу, в котором сидел врач цесаревны, и стал беседовать с ним откровенно,

как говорится, начистоту. И ему и Лестоку дело переворота казалось довольно легким, так как большинство русских людей ненавидело господствовавшую немецкую партию. Составить заговор или примкнуть к уже составленному, положить конец господству иноземцев, возвести на престол Елизавету, душой и сердцем напоминавшую французенку, — вот план, подробности которого восторженным шепотом развивал перед Лестоком маркиз де ла Шетарди.

Более старый годами и умудренный опытом, Герман Лесток несколько охладил пылкого маркиза. Он заговорил об отрицательных сторонах задуманного, советуя прежде всего обратить на них главное внимание, чтобы не потерять все в последнюю минуту вследствие горячности и присущей Елизавете неосторожности.

— Войска и народ любят действительно цесаревну, — говорил он, — многие русские, обожающие в ее лице дочь Петра Великого, возлагают на нее одну свои надежды, но...

— Какое там «но»? — нетерпеливо спросил маркиз.

— Но, увы, у цесаревны нет партии, в настоящем смысле этого слова, нет известного числа дисциплинарных людей, которые были бы подчинены одному лицу и были бы готовы на все по первому данному сигналу.

— Но чем вы это объясните?

— Для того чтобы образовать партию и руководить ею, необходимо терпение и притворство, качества, которыми не обладает цесаревна. Она легкомысленна и несдержанна... и кроме того...

Лесток умолк, видимо стесняясь продолжать.

— Что же «кромe того»? — вопросительно взглянул на него маркиз де ла Шетарди.

— Главным двигателем заговора всегда являются деньги, а их-то у цесаревны нет...

— За деньгами дело не станет... Деньги будут... — уверенно сказал маркиз. — Я на этих днях постараюсь увидеть цесаревну и поговорю с ней, но только наедине, чего мне до сих пор, к сожалению, не удавалось.

XI

Помощь Франции

Действительно, маркизу де ла Шетарди до сих пор не удавалось пробыть даже несколько минут с глазу на глаз с царевной Елизаветой Петровной. Всякий раз, когда он являлся к ней, чтобы засвидетельствовать свое почтение, уже оказывался какой-нибудь непрошенный посетитель, подсланный двором, который поспевал как раз вовремя, чтобы присутствовать при их разговоре.

На другой день, однако, после посещения Лестока маркиз был счастлив и, явившись во дворец Елизаветы Петровны, застал ее одну. Она приняла его с присущей ей утонченной любезностью и в разговоре с особенным чувством упоминала имя французского короля. Маркиз даже заключил, что цесаревна питает к королю какую-то особенную романтическую привязанность. Ей были, конечно, известны переговоры, которые велись о ее браке с Людовиком XV. Слыша со всех сторон похвалы уму и красоте молодого короля, она

действительно питала к этому монарху, которого она никогда не видела, но женой которого могла бы быть, чувство какой-то особенной нежности, смешанной с любопытством. Воспоминание о нем преследовало ее, как очаровательное, мимолетное видение.

Из этой беседы маркиз вынес убеждение, что цесаревна всецело рассчитывает на него, и в тот же вечер, с присущей ему горячностью, написал письмо во Францию, склоняя свое правительство помочь государственному перевороту в России.

Французский двор колебался вступить на тот путь, который указывал ему решительный и предприимчивый де ла Шетарди. Вмешаться тайным образом в домашние распри посторонней державы, дать деньги для соствления заговора против существующего правительства и сделать французского короля сообщником этого заговора — казалось делом очень рискованным. Получив первое предложение своего посланника, версальский кабинет попросил время на размышление.

Но мало-помалу желание устранить в Пе-

тербурге немецкое влияние и заменить его французским взяло верх над всеми прочими соображениями, тем более что в XVIII веке государства не придерживались еще современного принципа невмешательства в чужие дела. Французское правительство поэтому пришло само к тому убеждению, что это дело вполне заслуживает внимания короля и что не следует огорчать принцессу Елизавету отказом.

Некоторое время спустя оно высказалось еще определеннее. Шетарди велено было передать царевне, что Франция предоставляет в ее распоряжение свои средства, свои кредиты и готова помогать ей своими советами. Желая польстить тайной склонности Елизаветы Петровны, маркиз уверил ее, что король, содействуя ее планам, занят лишь ею и ее выгодами. Он ссылался на удовольствие, какое испытывает король, содействуя таким целям, и уверял цесаревну, что действия короля всегда будут направлены единственно к удовольствию видеть ее счастливой и восседающей на престоле. Король охотно доставит средства для таких издержек, как только он уведомит,

каким образом можно это будет сделать, соблюдая тайну.

Елизавета Петровна, со своей стороны, не замедлила высказать, что она тронута тем, что король желает для нее сделать, и, руководимая живейшею признательностью, ни минуты не замедлила бы ее высказать, взяв бы на себя честь написать его величеству, если бы соображения, которым она оказывается подчиненной, не лишили бы ее средств к тому. Тем скорее она поспешит вознаградить за упущенное, если дела примут счастливый оборот; ни о чем тогда не будет заботиться сильнее, как о том, чтобы всю свою жизнь представлять доказательства своей благодарности королю. После такого обмена нежных чувств оставалось лишь выработать план совместных действий.

В это время отношения России с Швецией обострились. Возможность войны становилась все более и более вероятной, так как Швеция не могла примириться с потерей провинций на восточном побережье Балтийского моря и собиралась возвратить их силой оружия. Елизавета и Лесток хотели выждать на-

чала войны и воспользоваться смятением, какое вызовет при петербургском дворе весть о приближении неприятеля, чтобы подать сигнал к восстанию.

Франция одобрила этот план в принципе, но с некоторым изменением. Содействуя государственному перевороту, она хотела им воспользоваться не только для того, чтобы сблизиться с Россией, но чтобы установить за ее счет прежнее величие Швеции. Преследуя эту цель, французское правительство выразило желание, чтобы между стокгольмским двором и Елизаветой Петровной установилось некоторое соглашение, а именно, Швеция обязалась бы напасть на русских по первому требованию, а Елизавета, со своей стороны, обещала бы, вступив на престол, возвратить ей часть прибалтийских провинций, завоеванных Петром Великим. Предъявляя это требование, Франция не приняла, видимо, во внимание патриотизм и дочернюю любовь великой княжны. Соглашаясь воспользоваться услугами Швеции и даже вызвать ее на войну с Россией, цесаревна сочла бы изменой против своего отечества и памяти своего отца

отказаться от завоеваний, которые должны были обеспечить государству сообщение с морем и защищать доступ к основанной Петром Великим столице.

Возвратить прибалтийские губернии значило бы вернуться на полвека назад! Возможно ли было вычеркнуть из летописей истории Полтавскую битву?

Лучше было отказаться от престола, нежели получить его такой ценой. Несмотря на все настояния маркиза де ла Шетарди и шведского посланника, барона Нолькена, она наотрез отказалась уступить хотя бы одну пядь русской земли. Шведскому посланнику даже не удалось добиться от великой княжны никакого письменного ходатайства о помощи со стороны Швеции, которое бы служило законным оправданием его действий, но которое было бы вместе с тем официальным доказательством соглашения Елизаветы Петровны с врагами государства.

Это упорство со стороны великой княжны было первой помехой к осуществлению плана, составленного маркизом Шетарди. Вскоре явилось и другое препятствие.

Мы уже говорили о натянутых отношениях, возникших между Францией и Россией по поводу представления посланника малолетнему царю. Переговоры поэтому затянулись и угрожали повести к разрыву дипломатических сношений. В мае 1741 года Шетарди приказано было объявить графу Остерману, что он прервет всякое сношение с русским правительством, если ему не будет дозволено представить свои верительные грамоты самому царю. Остерман не хотел отвечать на это требование решительным отказом и в то же время не хотел согласиться на аудиенцию у царя, который был слаб здоровьем. Поэтому, во избежание всяких объяснений, он прибегнул к своему обычному способу, когда находился в затруднении или когда отстаивал неправо дело, — он заболел. Не получая на свое требование категорического ответа, Шетарди прекратил дипломатические сношения с русским двором и вследствие этого потерял возможность официально посещать цесаревну Елизавету, которая еще не решалась видеться с ним тайно. Посредником между ними при переговорах служил некоторое время барон

Нолькен, но шведский двор вскоре отозвал его и назначил ему преемника.

Лесток являлся иногда на свидания, назначенные ему Шетарди, но боязнь наказания, а может быть и ссылки, парализовала ему язык. В доме, где происходили эти свидания, при малейшем шуме на улице Лесток быстро подходил к окну и считал уже себя погибшим. Все это тоже служило препятствием к осуществлению франко-русского плана.

Действительно, подозрение двора было уже возбуждено. Советники правительницы указывали ей на разные меры для ее личной безопасности и, внушая подозрения относительно Елизаветы Петровны, предлагали заключить ее в монастырь или выдать замуж за иностранного принца.

Так прошло несколько недель. Маркиз де ла Шетарди не видел великой княжны и ничего не слышал о ней. Его разрыв с двором делал его подозрительным в глазах русских, лишил его всякого общества и обрек на полное одиночество. Его никто не посещал, но дюжина шпионов день и ночь следила за домом посольства. Пользуясь чудными летними дня-

ми, посланник переселился на дачу, на берег Невы, в том месте, где река, разделяясь на несколько рукавов, образует так называемые Островки. На даче он вел совершенно отшельнический образ жизни, к которому, как он выражался, не чувствовал никогда ни малейшего призвания, и, томясь бездействием, обвинял Елизавету в легкомыслии и равнодушии к ее собственным интересам.

Но эти обвинения были напрасны. Царевна не забыла его и всячески старалась устроить с ним свидание. Она прогуливалась в лодке по реке и несколько раз проезжала вблизи его сада, который выходил на Неву. Сидя вечером на берегу и наслаждаясь прохладой, посланник видел иногда таинственную гондолу, скользившую по реке. Человек, сидевший на корме, время от времени трубил в охотничий рог, как бы желая этим обратить на себя внимание. Но маркиз не подозревал, что в этой гондоле сидела Елизавета Петровна, спрятавшись со своей свитой, и что, приказывая трубить в рог, она хотела обратить внимание Шетарди и вызвать его на свидание. Когда это не удалось, она хотела купить

дом возле его дачи, но побоялась возбудить подозрение двора.

Наконец, в начале августа, сторяя от нетерпения, она послала к маркизу своего камергера Воронцова, чтобы условиться с ним насчет свидания. Было решено встретиться на следующий день как бы нечаянно по дороге в Петербург. Но в самый последний момент Елизавета Петровна не решилась выехать, зная, что за каждым шагом ее следят.

В августе месяце произошел окончательный разрыв со Швецией. Стокгольмский двор, подстрекаемый Францией, объявил войну России.

Все это было известно правительнице, и, казалось, что ей следовало после этого порвать всякие отношения с Францией, но случилось совершенно обратное.

Русский двор сделал вид, что ему ничего не известно, и, желая отделаться от посторонних затруднений, в тот момент, когда ему угрожала серьезная опасность, он уступил требованиям французского правительства относительно церемониала.

Шетарди, наконец, получил давно желае-

мую аудиенцию у царя и снова появился при дворе. На первом же приеме он встретился с цесаревной и в разговоре с нею высказал, что, несмотря на справедливые основания, существующие у короля для отзыва посланника из Петербурга, он велел ему остаться в России единственно для того, чтобы отстаивать интересы ее, Елизаветы Петровны.

— Его величество, — говорил Шетарди, — занят изысканием средств для возведения вашего высочества на престол, и если ради этой цели он уже заставил своих союзников, шведов, взяться за оружие, то король сумеет также ничего не пощадить, чтобы дать мне возможность оказать вам наилучшее содействие.

Елизавета Петровна поблагодарила посланника и сообщила ему, что, надеясь, что он будет теперь ее посещать, она приняла свои меры предосторожности, чтобы не терпеть никаких стеснений от присутствия каких-либо лиц. Цесаревна присовокупила, что по мере того, как недовольство растет, ее партия увеличивается.

— В числе моих самых ревностных привер-

женцев я могу считать князей Трубецких и принца Гессен-Гомбургского, все лифляндцы недовольны и преданны мне. Судя по нынешнему настроению, наше дело может иметь успех.

— В этом я никогда не сомневался. Будьте только вы мужественны, — отвечал Шетарди.

XII

Заговор

Заметив, что все взоры устремлены на нее, Елизавета Петровна прекратила разговор с маркизом де ла Шетарди.

На другой день Лесток имел свидание с Шетарди в лесочке, смежном с дачей посланника, и обнадежил его насчет неперемennого желания Елизаветы Петровны как можно скорее приступить к исполнению задуманного плана, а также относительно преданности ее друзей.

С этого момента возникает заговор, которым взялась руководить Франция.

Восьмидесятивосьмилетний старик — кардинал Флери и серьезный, педантичный

статс-секретарь Амело решились взять на себя роли заговорщиков. Нити тайной интриги, затеянной в Петербурге, сходились в их руках в Париже, и их тайные агенты препровождали в Россию массу денег, от которых зависел успех переворота.

В первых числах октября 1741 года в кафе «Фуа», на улице Ришелье, в Париже, куда часто заходили литературные знаменитости и писатели, вошел молодой человек. К нему вскоре присоединился другой посетитель, с которым тот заговорил, предварительно обменявшись с ним условными знаками, и которому он вручил 2 тысячи дукатов. Первый молодой человек был агент министра иностранных дел; второй был граф де Мань, друг маркиза Шетарди. Де Мань отослал полученные деньги своему племяннику, проживавшему в России. Этот молодой человек был известный мот и игрок, вел в Петербурге расточительный образ жизни, потому ему было как нельзя более естественно прибегнуть к помощи щедрого дядюшки.

В сущности, эти деньги предназначались для Шетарди, на имя которого нельзя было их

послать, не возбуждая подозрения. Из рук маркиза деньги эти расплылись по казармам гвардейских войск, где вербовались сторонники Елизаветы Петровны. Подобным образом французское правительство неоднократно пересылало в Петербург довольно крупные суммы денег.

Вместе с тем из Франции был послан в Петербург особый эмиссар, которому было приказано уверить великую княжну в нежной заботливости, с какой король печется об ее интересах. В то же время Франция с успехом интриговала при разных дворах Европы в интересах цесаревны Елизаветы. В Стокгольме французские агенты проводили министров и раздавали пригоршнями деньги в сенате и сейме, чтобы ускорить выступление войска, которое должно напасть на русские владения. В Варшаве и Дрездене французская дипломатия подготавливала умы к мысли об ожидаемом в России перевороте. В Берлине приходилось действовать осторожно. Фридрих II был связан с Брауншвейгским домом узами крови, и, несмотря на то, что их отношения были довольно холодны, можно было опасаться, что

пруссский король отнесется к планам Елизаветы Петровны неодобрительно. Французскому посланнику при дворе прусского короля было приказано осторожно выведать его взгляд на этот предмет.

— Родными своими я признаю только моих друзей, — с цинизмом отвечал король прусский.

Душой заговора в Петербурге был Шетарди. Чтобы достигнуть цели, которая льстила его самолюбию и тщеславию, он пустил в ход всю свою ловкость. Маркиз был совершенно в своей сфере, когда дело шло о замысловатой интриге, в особенности если в нее была замешана очаровательная молодая женщина. Видя, с каким увлечением и как энергично он преодолевал все трудности, можно было думать, что он был занят любовной интригой, а не политическим делом, за которое мог заплатить свободой, а быть может, и жизнью. Для довершения иллюзии тут были и тайные свидания, и долгие часы ожидания в назначенном месте, и украдкой брошенные взоры, и записочки, передаваемые в табакерках. Записочки эти писались условно, полусловами:

Елизавета Петровна называлась в них «геро-ем», Лесток — «доверенным лицом», а другой агент, Шварц — «посредником».

Несколько раз в неделю Шетарди имел продолжительные свидания с цесаревной. Он отправлялся к ней во дворец ночью, переодетый; каждый день посылал ей записки, одобряя ее планы или высказывая свои замечания, стараясь, с одной стороны, сдерживать ее излишнюю горячность, а с другой — поддерживать ее доверие, которое начинало колебаться.

Правительница Анна Леопольдовна, ее супруг и сановники предчувствовали угрожающую им опасность, но у них не хватало смелости принять действительные и зрело обдуманые меры для своей защиты. До них доходили жалобы недовольных, которые их смущали, точно так же, как безмолвие, с каким встречали их войска, когда они проходили мимо них.

— Что с тобою? Почему ты грустен? — спросил однажды герцог Брауншвейгский одного из самых ревностных приверженцев Елизаветы Петровны, капитана Семеновского

полка, стоявшего на карауле во дворце, и положил ему в руки кошелек с 300 дукатов.

Офицер был очень доволен заключительным актом этого разговора, но не изменил из-за этого своим привязанностям.

Во дворце правительницы то и дело совещались сановники, не приходя ни к какому результату. Иной раз такой страх овладевал Анной Леопольдовной, что она вставала ночью, выходила из дворца, отправлялась к старику Остерману и умоляла его не покидать ее.

Только один человек старался поддержать в ней бодрость духа в это тревожное время. Это был саксонский посланник граф Линар. Он предложил решительную меру — подвергнуть великую княжну допросу и следствию и заставить отречься от прав на престол или арестовать ее.

— К чему, — вздыхая, возразила правительница, — это послужит? Разве нет еще чертенка, который всегда будет смущать наш покой?

Этим она намекала на герцога Голштинского, сына Анны Петровны. Линар разузнал

через своих тайных агентов, что против Брауншвейгского дома более всех интригует маркиз Шетарди. Он сообщил Анне Леопольдовне обо всех происках маркиза и советовал арестовать Шетарди, если она не решалась что-либо предпринять против Елизаветы Петровны.

Правительница была окружена шпионами, подкупленными великой княжной. Одна из камер-юнгфер Анны Леопольдовны, услышав сказанное графом Линаром, передала его слова Елизавете Петровне, которая предупредила маркиза де ла Шетарди, и он тотчас же громко заявил во дворце, что если кто-нибудь отважится посягнуть на его личность, то он вышвырнет посягнувшего из окна.

Между тем в доме посольства люди были вооружены, пистолеты заряжены и компрометирующие бумаги были сожжены. Посольство готовилось выдержать осаду, но никто не дерзнул посягнуть на посланника.

Смелость и невозмутимое хладнокровие Шетарди невольно внушали к нему уважение. Он действовал решительно и чуть не открыто работал над гибелью тех, кто мешал

осуществлению его планов, но в то же время относительно правительницы не упускал ни малейшего правила, требуемого этикетом и вежливостью. Проведя весь день с цесаревной, он отправлялся вечером во дворец, был внимателен и предупредителен к Анне Леопольдовне, а от нее уезжал на тайное свидание с Лестоком и Воронцовым.

Елизавета Петровна и Шетарди только и ожидали начала военных действий со стороны шведов, чтобы подать гвардии сигнал к восстанию. Они могли начаться со дня на день. По улицам Петербурга ежедневно проходили войска, отправляемые в Финляндию.

Неожиданное известие о том, что фельдмаршал Ласси, командовавший русскими войсками, вступил на неприятельскую территорию и взял приступом крепость Вильманstrand, едва не погубило дела. Узнав об этом, Шетарди поспешил к великой княжне и застал ее в отчаянии. Он старался поддержать в ней бодрость духа.

Ему удалось войти в сношение с главной квартирой шведского генерала, откуда был прислан манифест, обнародованный Швеци-

ей, который маркиз распространил в Петербурге, чтобы навести страх на русский двор. В этом манифесте стокгольмское правительство, говоря о своих дружеских чувствах к русской нации, объявляло о своем намерении напасть на незаконное его правительство, чтобы восстановить права законных наследников престола.

Таково было положение дел, когда днем 22 ноября 1741 года Елизавета Петровна, совершив обычную прогулку, подъехала к своему дворцу. Вдруг у ее саней неожиданно появился маркиз Шетарди и помог ей выйти.

— Это вы! Что случилось? — спросила она.

Выражение лица цесаревны, ее голос свидетельствовали о чрезвычайном волнении. Маркиз видел, что она не в состоянии далее скрывать свои намерения и терпеливо ждать развязки. Зная непостоянство и неустойчивость Елизаветы Петровны, он понимал, что, рискнув всем в первую минуту, она могла погубить все дело минутной слабостью. Он видел, что ему необходимо поддерживать в ней мужество, и решился представить ей на вид, что если борьба будет начата, то единствен-

ным спасением может быть успех.

— Вы вынуждаете меня, — сказал он ей, войдя в ее рабочую комнату, где обыкновенно происходили их совещания и которая находилась рядом с ее опочивальней, — ничего не скрывать от вас относительно опасности, которой вы подвергаетесь. Узнайте же, что по сведениям, полученным мною из верного источника, теперь идет речь о том, чтобы заключить вас в монастырь, где вы бы теперь уже были, не случись некоторых обстоятельств, помешавших этому; но как нельзя более вероятно, что эта отсрочка не будет долго продолжаться. Итак, чем вы рискуете, если даже ваш замысел не удастся? Подвергнуться, быть может, на несколько месяцев ранее той участи, которая вам предназначена и которой вы не можете избежать при тех мерах, которые приняты. Единственная разница лишь та, что, ничего не предпринимая, вы приводите в отчаяние ваших друзей, тогда как, выказав мужество, вы сохраните сторонников, которых ваше несчастье лишь сильнее побудит отомстить за него, избавив вас от опасности тем или другим способом.

— Откуда узнали вы, что моя участь решена? — воскликнула пораженная цесаревна.

Маркиз де ла Шетарди наклонился к ней и сказал несколько слов шепотом. На лице Елизаветы Петровны выразился неподдельный ужас. Она сначала вспыхнула, затем побледнела, но вскоре овладела собой и встала с дивана, на котором сидела рядом с маркизом.

— Благодарю вас, маркиз. Я покажу им, что я дочь Петра Первого.

Воспользовавшись ее воодушевлением, Шетарди тотчас же приступил к обсуждению тех мер, которые следовало принять.

— Надобно захватить власть неожиданно, — говорил он, — чтобы все было окончено в одну ночь и чтобы Петербург, проснувшись, мог приветствовать новую императрицу.

Так как преданность гвардейских солдат была вне всякого сомнения, а на офицеров нельзя было вполне полагаться, то было решено действовать исключительно при помощи солдат.

— Но отнюдь не надо колебаться, доверившись им, — говорил Шетарди, — положитесь на них вполне, такая доверчивость усилит их

рвление.

Было решено, что Елизавета Петровна, надев под свою одежду кирасу, отправится в казармы, чтобы привлечь большее число солдат, и сама поведет их к Зимнему дворцу. Обсудив во всех подробностях различные пункты, касающиеся осуществления переворота, Шетарди коснулся вопроса, интересовавшего его в особенности, как представителя Франции.

Торжество Елизаветы должно было быть торжеством Франции, а с восшествием на престол влияние немецкой партии в России должно было уступить французскому влиянию. Нанося удар правительству, великой княжне следовало, как говорил ей Шетарди, отделаться от всех своих врагов.

Он представил ей список всех тех, кого, по его мнению, следовало арестовать или сослать. В этом списке были поименованы все тайные и явные приверженцы Германии, а так как все важнейшие должности были заняты в то время немцами, то оказалось, что французский посланник внес в составленный им список всех чинов правительства, при ко-

гором он был аккредитован. В числе их стали Остерман, Миних, Линар. Условившись относительно подробностей, оставалось только назначить день для переворота. Это было отложено до ближайшего свиданья.

XIII

«Действо»

23 ноября, на другой день после неожиданной встречи цесаревны у подъезда дворца с маркизом де ла Шетарди и продолжительной с ним беседы, во дворце был обычный прием.

Елизавета Петровна, за последнее время, по совету своих друзей, не манкировавшая посещением дворца, была на этом приеме. Принцессы играли в карты в галерее. Возле них толпились придворные и дежурные адъютанты. Тут же были и все иностранные посланники, а между ними и маркиз де ла Шетарди.

На лице Елизаветы Петровны была написана тревога. Маркиз несколько раз посмотрел на нее с чуть заметной ободряющей улыб-

кой. Герцогиня Анна Леопольдовна перехватила один из этих взглядов, наклонилась к цесаревне, сказала ей что-то шепотом и вышла из-за стола. Великая княжна последовала за ней, закусив нижнюю губу, что служило у нее признаком сильного раздражения.

— Что это у вас за странное отношение к этому наглецу? — в упор спросила правительница Елизавету Петровну, когда они вышли в соседнюю комнату.

— К какому наглецу? — удивленно вскинула на нее свои прекрасные глаза цесаревна.

— Вы очень хорошо понимаете, о ком я говорю.

— Нимало... Если бы я понимала, то не спрашивала бы.

— Извольте, я скажу вам, я говорю о вашем Шетарди.

— О Шетарди... О моем... — гордо подняла голову цесаревна и, в свою очередь, в упор посмотрела на герцогиню. — Мне кажется, что он, как посланник, аккредитован при русском правительстве, которое, за малолетством царя, представляет вы, герцогиня, как правительница, а потому он, скорее, ваш, а не

мой.

— Однако он на меня никогда не поглядывает так, как на вас... — возразила Анна Леопольдовна.

Вместо ответа цесаревна только пожала плечами.

— Но к чему препирательства... — продолжала правительница. — Я решила потребовать от короля отзыва этого наглеца, он мне неприятен, и я бы желала, чтобы и вы, принцесса, не принимали его...

— Что касается до меня, — отвечала Елизавета Петровна, — то раз-другой я могу сказать, что меня нет дома, но в третий раз отказать уже будет неловко... Да я и не имею на то причин... Вчера, например, как я могла бы отказать ему, когда мы случайно встретились у моего крыльца?

— Он поджидал вас.

— Я этого не знаю.

— А я знаю.

— Я с вами не спорю... Но вот что я скажу вам: меня удивляет, почему вы не действуете более простым путем?

— Каким это?

— Вы правительница и располагаете властью, велите Остерману сказать маркизу Шетарди, чтобы он более не посещал моего дома.

— Боже меня сохрани от этого! — испуганно вскрикнула Анна Леопольдовна.

— Почему это?

— Потому, что ни в каком случае не следует раздражать людей, подобных этому маркизу, и явно давать им повод к жалобам.

— Вот видите, если вы, правительница, и ваш первый министр не решаетесь сделать этого, то как же вы требуете этого от меня, простой подданной его величества...

Ничего, таким образом, не добившись, Анна Леопольдовна в сильном раздражении вернулась в галерею. За ней вышла и Елизавета Петровна с мрачным выражением лица и вскоре уехала из дворца. Много передумал маркиз де ла Шетарди, также вскоре после отъезда цесаревны покинувший Зимний дворец.

— Не была ли обнаружена тайна Елизаветы Петровны, которая была вместе с тем и тайной французского короля? — вот вопрос, который чрезвычайно тревожил посланника

уже во время отсутствия из галереи правительницы и цесаревны.

Он сумел, однако, скрыть свою тревогу с искусством тонкого дипломата, но по приезде домой тотчас послал за Лестоком. Напрасно прождал он его всю ночь, не смыкая глаз. Врач цесаревны явился только на следующий день и рассказал со слов Екатерины Петровны содержание вчерашнего разговора. Маркиз понял всю опасность своего положения. Правительница знала и была настороже.

Из дальнейшего разговора с Лестоком выяснилось, что основой партии служат народ и солдаты и что лишь после того, как они начнут дело, лица с известным положением и офицеры, преданные цесаревне, в состоянии будут выразить открыто свои чувства.

— Солдаты готовы на все!.. — несколько раз повторил Лесток.

— В таком случае, — сказал Шетарди, — чтобы помочь этим храбрым гренадерам, а также ради славы цесаревны, назначим момент для начала действий, чтобы Швеция, на основании заявления в Стокгольме, которое будет сделано от имени короля, стала дей-

ствовать со своей стороны.

Лесток тотчас отправился за приказаниями к цесаревне. Он вскоре вернулся и заявил:

— Цесаревна предоставляет вам, маркиз, назначить время, когда вы сочтете возможным приступить к выполнению замысла, и только в случае опасности она решится, быть может, предупредить срок, который вы назначите.

На основании этого маркиз де ла Шетарди отправил на следующий день курьера к французскому посланнику в Швецию, чтобы генерал Левенгаупт, стоявший со своей армией на границе, перешел в наступление. Так как прибытие курьера в Стокгольм потребовало немало времени, то осуществление переворота было отложено до ночи на 31 декабря 1741 года.

Таким образом, приходилось еще более месяца жить в тревоге. Елизавета Петровна покорила этой необходимости. Но в тот самый момент, когда Герман Лесток вышел из французского посольства, сообщив Шетарди о согласии на назначенный им срок цесаревны, в Петербурге было получено известие, что

граф Левенгаупт, командовавший шведскими войсками, двинулся вперед и вследствие этого гвардейские полки получили приказание быть наготове к немедленному выступлению. Этот приказ чрезвычайно смутил солдат, преданных цесаревне. Уходя, они оставляли ее на произвол ее врагов.

В тот же вечер, или, скорее, ночь, так как был двенадцатый час, цесаревне Елизавете Петровне доложили, что ее желают видеть семеро гренадер. Цесаревна тотчас же вышла к ним.

— Что же это ты, матушка, лежебочничать, когда надо дело делать, — сказал один из пришедших, — нам выступать готовиться приказано, не нынче завтра уйдем мы из Питера... На кого же тогда тебя, матушка наша, оставим... Немцы-то тебя слопают как пить дадут и не подавятся... Коли честью не пойдешь, мы тебя силком поведем, вот тебе наш солдатский сказ...

Елизавета Петровна была тронута этой простой речью, фамильярность которой оправдывалась искренней преданностью. По-

сле некоторого колебания она решилась.

— Идемте, дети мои, в казармы... — сказала она.

— Вот это дело так дело! — радостно воскликнули солдатики.

В исходе первого часа ночи на 25 ноября перед домом французского посольства остановились сани. В них сидели Елизавета Петровна, закутанная в шубу, Воронцов, Лесток, Шварц. Семеро гренадер конвоировали экипаж.

Цесаревна приказала позвонить у двери посольства и велела передать маркизу де ла Шетарди, что она стремится к славе и нимало не сомневается, что он пошлет ей всяких благих пожеланий, так как она вынуждена наконец уступить настояниям партии... От дома посольства она отправилась в Преображенские казармы и прошла в гренадерскую роту. Гренадеры ожидали ее.

— Вы знаете, кто я? — спросила она солдат. — Хотите следовать за мною?

— Как не знать тебя, матушка царевна, да в огонь и в воду за тобой пойдём, желанная, — хором отвечали окружавшие ее солда-

ты.

Цесаревна взяла крест и стала на колени. Все последовали ее примеру.

— Я клянусь этим крестом умереть за вас! — воскликнула Елизавета. — Клянетесь ли вы сделать то же самое за меня в случае надобности?

— Клянемся, клянемся! — отвечали солдаты хором.

Из казарм все двинулись к Зимнему дворцу. Елизавета Петровна ехала медленно впереди роты гренадер. Только один человек мог остановить войско — это был Миних. Унтер-офицер, командовавший караулом у его дома, был участником заговора. Ему было приказано захватить фельдмаршала и отвезти его во дворец цесаревны. Он так и сделал.

Стояла страшная стужа. Толстый слой обледеневшего снега покрывал землю, заглушал и шум шагов. Двести гренадеров твердой поступью шли молча около саней Елизаветы Петровны. Они поклялись друг другу хранить полное молчание по пути и пронзить штыками всякого, кто будет иметь низость отступить хоть на шаг.

От Преображенских казарм, расположенных на окраине тогдашнего Петербурга, до Зимнего дворца было очень далеко. Пришлось идти по Невскому проспекту, безмолвному и пустынному. По обеим сторонам его высились уже в то время обширные дома, в которых жили сановники. Проходя мимо этих домов, солдаты входили в них и арестовывали тех, которых им было велено отвезти во дворец Елизаветы Петровны. Таким образом, они арестовали графа Остермана, графа Головнина, графа Левенвольда, барона Менгдена и многих других.

В конце Невского, у Адмиралтейства, цесаревна вышла из саней, опасаясь, чтобы скрип полозьев не обратил внимания караульных, и пошла дальше пешком. Несмотря на все старания, ей трудно было поспевать за солдатами, которые шли скорым шагом.

— Матушка наша, — сказали они, — так не довольно скоро, надо поспешить.

Они подхватили Елизавету Петровну и пронесли ее на руках до самого двора в Зимнем дворце. Она вошла в караульню.

— Проснитесь, мои дети, — сказала она

солдатам, — и слушайте меня. Хотите ли вы следовать за дочерью Петра Первого? Вы знаете, что престол принадлежит мне, несправедливость, причиненная мне, отзывается на всем нашем бедном народе, и он изнывает под игом немецким. Освободимся от этих гонителей.

— Рады стараться, матушка, — как один человек отвечали солдаты.

Видя, что офицеры колеблются, они кинулись на них и обезоружили. Один офицер был бы убит прикладом, если бы Елизавета Петровна не отклонила ружья. Она приказала солдатам охранять все лестницы и выходы, затем, взяв с собою человек сорок гренадер, которые поклялись ей не проливать крови, вошла в апартаменты дворца. Караульные, когда она проходила мимо них, отдавали ей честь. Она нашла правительницу в постели. Анна Леопольдовна не оказала никакого сопротивления. В то же время был арестован и герцог Брауншвейгский.

Взяв маленького царя на руки, цесаревна поцеловала его.

— Бедный ребенок, ты совершенно не ви-

новен, но родители твои виноваты.

После произведенного ареста Елизавета Петровна, сев в сани, вернулась в свой дворец, взяв с собою герцогиню Анну Леопольдовну и ребенка царя Иоанна Антоновича, лишившегося трона в колыбели.

XIV

Императрица

Начинало светать. Весть о совершившемся перевороте с быстротою молнии разнеслась по городу. Все лица, недовольные свергнутым правительством, все те, кто был предан цесаревне Елизавете Петровне, в несколько часов сделавшейся из опальной великой княжны русской императрицей, торжествовали.

В два часа пополудни она приняла поздравления первых чинов империи. На улице раздавались восторженные клики народа и войска. Петербург ликовал.

Только из этих радостных кликов, вырывавшихся из тысячей облегченных русских грудей, можно было понять, насколько тя-

гость немецкого управления чувствовалась русским народом и насколько вступление на престол русской царевны явилось истинно светлым праздником для этого народа.

Елизавета Петровна возложила на себя орден Святого Андрея, объявила себя полковником четырех гвардейских полков и полка кирасир, показала народу со своего балкона, прошла через ряды гвардейских войск и уехала в Зимний дворец.

Любимец цесаревны Алексей Григорьевич Разумовский не принимал фактического участия в совершившемся ночью перевороте. Он оставался наблюдать за порядком в доме Елизаветы Петровны на Царицыном лугу, куда были доставлены многие арестованные и в числе их павшая правительница с императором Иоанном Антоновичем и новорожденной его сестрою.

Путь Елизаветы Петровны из дворца в Зимний был целым рядом триумфов. Какая разница была между этим торжественным шествием и ночной поездкой! Конная гвардия и пешие гвардейские полки окружали сани новой императрицы. Вдоль улицы стояли

шпалерами войска. Несметные толпы народа приветствовали ее единодушными криками «ура!».

Прибыв во дворец, она направилась прежде всего в придворную церковь, чтобы присутствовать на благодарственном молебне, но ее окружили гренадеры лейб-гвардии Преображенского полка.

— Ты видела, матушка наша, — заговорили они, — с каким усердием мы восстановили твои справедливые права. Как единственную награду, мы просим тебя объявить себя капитаном нашей роты и чтобы мы первые могли тебе присягнуть у ступеней алтаря в неизменной верности.

— Быть по сему! — сказала новая императрица.

При всех треволнениях, испытанных ею в этот достопамятный день, Елизавета Петровна не забыла о маркизе де ла Шетарди. Она ежечасно извещала его о ходе событий и, когда уже была провозглашена императрицей, послала спросить его мнения, что ей следует делать с младенцем-императором, свергнутым с престола. С этим вопросом явился к

маркизу Герман Лесток.

— Передайте ее величеству, — сказал де ла Шетарди, — что ее природная доброта и любовь к отечеству должны побуждать ее одинаково заботиться как о настоящем, так и о будущем. Поэтому следует употребить все средства, дабы изгладить самые следы царствования Иоанна Шестого; лишь одним этим будет ограждена Россия от бедствия, какое могло бы быть вызвано в то или иное время обстоятельствами, которых приходится особенно бояться здешней стране, на основании примера лже-Дмитрия.

Лесток ушел и дословно передал императрице слова французского посланника.

В этот же день вечером маркиз был приглашен императрицей во дворец. Он, конечно, не замедлил явиться. Императрица приняла его чрезвычайно приветливо, но, видимо, была еще взволнована пережитыми ею за сутки событиями.

— Я чувствую, — сказала она маркизу, — еще до сих пор подхваченной себя каким-то вихрем... Что скажут теперь наши добрые друзья англичане? — с живостью перебила

она себя. — Есть еще один человек, на которого мне было бы интересно взглянуть, — это австрийский посланник Ботта. Я полагаю, что не ошибусь, если скажу вам, что он будет в некотором затруднении; однако же он не прав, потому что найдет меня как нельзя более расположенной дать ему 30 тысяч подкрепления.

При своем торжестве императрица не забыла и о Людовике XV.

— Я вполне убеждена, — сказала она, между прочим, маркизу, — в том, что его величество примет более, чем кто бы то ни был, участия в том, что случилось со мною счастливо; я рассчитываю сама ему выразить, как я тронута всем, что он для меня сделал.

Действительно, день спустя после переворота и раньше, чем иностранные дворы были официально извещены об этом событии, императрица написала французскому королю.

«Мы нисколько не сомневаемся, любезный брат и истинный друг, — говорила в письме царица, — что ваше величество, в силу дружеских чувств, питаемых вами к августейшим нашим предкам, не только примете с

удовольствием известие об этом благоприятном и благополучном для империи нашей перевороте, но что вы разделите наши намерения и желания во всем, что может послужить к постоянному и нерушимому сохранению и вящему упрочению дружбы, существующей между обоими нашими дворами. Мы же, со своей стороны, во всем продолжение нашего царствования будем этим, как нельзя более, озабочены и с удовольствием воспользуемся всяким удобным случаем уверить ваше величество в этом искреннем и неизменном намерении нашем».

Общее ликование, повторяем, было в Петербурге. Да и немудрено, так как разгар национального чувства, овладевшего русскими в описываемое нами время, дошел до своего апогея. Русские люди видели, что наверху при падении одного немца возникал другой, а дела все ухудшались. Про верховных иностранцев и их деяния в народе ходили чудовищные слухи. Народ говорил, указывая на окна дворца цесаревны:

— Петр Великий в Российской империи заслужил; орел летал да соблюдал все детям

своим, а дочь его оставлена.

Всем нравилось, что Елизавета отказывалась от браков с иностранцами и постоянно жила в России. Ходили слухи, что иноземные временщики преследовали ее. Действительно, ей давали мало средств; при ней состоял урядник, который следовал за ней даже по городу. Ее двор был скромен и состоял из русских — Алексея Разумовского, братьев Шуваловых и Михаила Воронцова. Сама цесаревна превратилась из шаловливой красавицы в грустную, но ласковую женщину величественного вида. Она жила с чарующей простотой и доступностью, одна каталась по городу. Все в ней возбуждало умиление народа, даже гостинодворцы не брали с нее денег за товары. Чаще всего ее видели в домике у казарм, где она крестила детей у рядовых и ублажала родителей крестников, входя даже в долги. Гвардейцы называли ее не иначе как «матушкой». Понятна, таким образом, радость народа и солдат.

Особенно радовалась рота преображенцев. Она была названа «лейб-компанией», что на поминало «надворную пехоту» Софии. Каж-

дый рядовой стал дворянином и получил деревню с крестьянами. В вышедшем манифесте было сказано, что царевна «восприняла отеческий престол, по просьбе всех верных подданных, особливо лейб-гвардии полков».

Люди, страдавшие при двух Аннах, были осыпаны милостями. Над недавними государственными людьми был назначен суд, и 11 января 1742 года утром по всем петербургским улицам с барабанным боем было объявлено, что на следующий день, в 10 часов утра, будет совершена казнь «над врагами императрицы и нарушителями государственного порядка».

С самого раннего утра толпы народа начали собираться на Васильевском острове, на площади перед зданием коллегии. Астраханский полк окружал эшафот, на котором виднелась плаха. Арестанты рано утром из крепости были привезены в здание коллегии, откуда в десять часов их уже выводили на площадь.

Первым появился Остерман, которого по причине болезни ног везли в извозчичьих санях в одну лошадь. На нем был небольшой

парик, черная бархатная фуражка и старая короткая лисья шуба, в которой обыкновенно сидел он у себя дома.

За Остерманом шли: Миних, Головкин, Менгден, Левенвольд и Тимирязев. Когда они все были поставлены в кружок один подле другого, четыре солдата подняли Остермана и внесли на эшафот на стуле. Ему был прочитан приговор. Он обвинялся в утайке духовной Екатерины I и в намерении выдать замуж цесаревну Елизавету за убогого иностранного принца. После прочтения приговора солдаты положили Остермана на пол лицом вниз, палачи обнажили ему шею, положили его на плаху, один держал голову за волосы, другой вынимал из мешка топор.

В эту минуту читавший ранее приговор секретарь провозгласил:

— Бог и государыня даруют тебе жизнь.

При этих словах солдаты подняли его и отнесли в сани, где он и оставался все время, пока объявляли приговоры другим. Всем им было объявлено помилование без возведения на эшафот. Когда народ увидал, что ненавистных немцев не казнили, «то встало волнение,

которое должны были усмирять солдаты».

Остермана сослали в Березов, Миниха — в Пелым. На пути в Сибирь Миних встретился с возвращавшимся Бироном. Соперники-временщики молча раскланялись. Анну Леопольдовну с мужем отправили в Холмогоры, где она умерла через пять лет. Иван VI был заключен в Шлиссельбургскую крепость.

На приближенных Елизаветы Петровны посыпались милости. Особенно награжден был Алексей Григорьевич Разумовский. В самый день восшествия на престол он был пожалован в действительные камергеры и поручики лейб-кампании, в чине генерал-лейтенанта. Немедленно был отправлен в Малороссию офицер с каретами, богатыми уборами и собольими шубами за семейством нового камергера.

В ответ на расспросы офицера, по приезде в Лемешу, о том, где живет госпожа Разумовская, удивленные крестьяне отвечали:

— В нас з роду не було такой пани; але, коли бажаєте, хата Розумихи-вдовы.

Несмотря на петербургский случай своего старшего сына, Наталья Демьяновна продол-

жала слыть между соседями только Розумихой и по-прежнему содержала в Лемешах корчму, что, впрочем, в Малороссии не имело унижительного значения. Захваченная врасплох, она не хотела верить словам офицера и отвечала ему:

— Пане ясновельможный, ты хлопец добрый, не глузуй з мене, що я тоби подняла?

Известие о переменах в Петербурге еще не доходило до Лемеш, а все самые блестящие представления старушки о величии сына до того далеки были от внезапно поразившей ее действительности, что нетрудно понять ее недоверчивость. Наталья Демьяновна собралась с сыном Кириллом, дочерьми, внуками и внучатами, родными, двоюродными и пустилась в путь-дорогу.

За несколько станций до Петербурга навстречу матери выехал Алексей Григорьевич. Наталью Демьяновну напудрили, подрумянили, нарядили в модное платье и повезли во дворец, предупредив ее, что она должна пасть на колени перед государыней. Едва простая старушка вступила в залы дворцовые, как очутилась перед большим зеркалом, во всю

величину стены. Отроду ничего подобного не видевшая, Наталья Демьяновна приняла себя за императрицу и пала на колени.

Елизавета Петровна радушно встретила старушку и, говорят, между прочим, сказала ей:

— Благословенно чрево твое!

Наталья Демьяновна со всем своим семейством поселилась во дворце. Но модные платья и наряды не пришлись ей по сердцу. Она отбросила фижмы, робы и самары, выкинула мушки и снова облеклась в свое малороссийское платье. Дворец и придворная жизнь были не по ней. Она строго придерживалась старых обычаев и среди роскоши дворца страдала тоскою по родине.

Не забыт был милостями и Герман Лесток — участник переворота. В первые дни своего царствования императрица наградила его по-царски. Помимо большого жалованья, он получал за каждый раз, когда пускал кровь Елизавете Петровне, по две тысячи рублей. Императрица пожаловала ему свой портрет, осыпанный бриллиантами.

Новая императрица между тем спешила

короноваться. 1 января она обнародовала манифест об имеющем последовать в апреле месяце того же года своем короновании. 23 февраля Елизавета Петровна выехала из Петербурга и 26-го числа, в начале часа пополудни, приехала в село Всесвятское, находившееся в семи верстах от Москвы. 28 февраля имела торжественный въезд в древнюю столицу. Для этого торжественного въезда были сделаны четверо триумфальных ворот. Первые на Тверской улице у Земляного города — от Московской губернии, вторые в Китай-городе — от Святого Синода, третьи на Мясницкой, у Земляного города, — от московского купечества и четвертые на Яузе, близ одного из дворцов императорских. В десятом часу императрица приехала из Всесвятского в Тверскую-Ямскую слободу, где пересела в парадную карету и начала въезд в порядке, мало отличавшемся от въездов более позднего времени.

XV

Коронация Елизаветы Петровны

В Успенском соборе новгородский архиепископ Амвросий (Юшкевич) встретил императрицу Елизавету Петровну глубоко прочувствованной патриотической речью, в которой оратор картинно описывал прежнее жестокое могущество немцев в нашем отечестве и открытие вместе с Елизаветой новой, чисто русской национальной эры в России.

После посещения соборов Архангельского и Благовещенского императрица опять села в парадную карету и тем же порядком отправилась к зимнему своему дому, что на Яузе. Когда она подъехала к триумфальным синодальным воротам, то ее здесь встретили сворок воспитанников Славяно-греко-латинской академии. Они были одеты в белые платья с венцами на головах и с лавровыми ветвями в руках и пропели императрице кантату, восхвалявшую ее и наступившее с нею благодатное время для России.

Днем коронации назначено было 25 апре-

ля. В комиссию о коронации отпущено пятьдесят тысяч рублей да, кроме того, на фейерверк девятнадцать тысяч. 23 апреля императрица переехала из зимнего своего дома в Кремлевский дворец.

В коронации первенствующую роль среди священнодействующего духовенства играл Амвросий, архиепископ Новгородский. Во время самой церемонии мантию и корону императрица возлагала на себя сама. Первенствующий архиерей подносил ей то или другое на подушках, что, собственно, и составляет отличие коронации императрицы Елизаветы от предшествующей коронации. Императрица Елизавета венчалась короной императрицы Анны.

Непосредственно после совершения коронации, перед началом литургии, архиепископ Амвросий приветствовал новокоронованную государыню длинной речью. После миропомазания императрица была введена архиереями во святой алтарь и причастилась святых тайн от первенствующего архиерея по чину царскому. Во время шествия императрицы из Успенского собора в Архангельский со-

провождавший ее канцлер, по примеру предшествовавших коронаций, бросал по обе стороны пути золотые и серебряные жетоны. В то же самое время отправлено было несколько чиновников, верхом на богато убранных лошадях, для того чтобы бросать в народ жетоны. Высокопоставленным лицам, собравшимся в Грановитой палате, императрица раздавала выбитые по случаю ее коронации медали сама из своих рук; другим, менее знатным, раздавал канцлер. Тут же был объявлен длинный список высочайших наград по случаю коронации. Перед торжественным обедом в Грановитой палате, и особенно после него, императрица несколько раз подходила к окнам палаты и сама бросала в народ золотые и серебряные жетоны.

Для ознаменования дня своей коронации императрица Елизавета Петровна почему-то предпочтительное внимание обратила на распространение медалей, выбитых по этому случаю. Было выбито несколько разрядов медалей с различными рисунками и неодинаковой ценности. Были золотые медали в шестьдесят червонных, которые предназначались

для раздачи послам иностранных держав; медали золотые в тридцать пять червонных давались придворным особам обоого пола первого класса; золотые медали в тридцать червонных давались архиереям, членам Синода и светским особам второго класса; золотые медали в двадцать червонных получили епархиальные архиереи, находившиеся при коронации, и светские особы третьего класса; медали в пятнадцать червонных получили епархиальные архиереи, бывшие в своих епархиях, и первоклассные, бывшие при коронации, архимандриты и светские особы четвертого класса. Были еще медали в десять червонных, которые давались светским особам пятого класса и рядовым архимандритам. Серебряные медали раздавались лицам, имеющим низшие чины. Они были разных достоинств: в двадцать четыре золотника, в восемнадцать и в двенадцать золотников.

На коронационных медалях на одной стороне находился портрет государыни, на другой тоже портрет государыни с изображением промысла Божия в легком облаке, возлагающего на нее корону, а внизу надпись: «Коро-

нована в Москве в 1742 году». У жетонов с одной стороны была оттиснута корона с надписью кругом: «Благодать от Вышнего», на другой надпись: «Елизавета императрица, коронована в Москве в 1742 году».

26 апреля императрица принимала в Грановитой палате поздравления от высшего духовенства, иностранных послов и других высших лиц. Празднование коронации продолжалось в течение целой недели, причем весь город, особенно Кремль, по ночам всегда был иллюминирован самым роскошным образом.

29 апреля императрица переехала, при торжественной и парадной обстановке, из Кремлевского дворца снова в свой зимний дом, что на Яузе. На пути из Кремля, у синодальных ворот, императрицу приветствовали все синодальные члены, окруженные толпой в двадцать человек студентов Славяно-греко-латинской академии, которые и на этот раз были одеты в белые одеяния, держали в руке ветви и на голове лавровые венки.

Первого, третьего и четвертого мая в императорском зимнем доме на Яузе давались блестящие балы для высших придворных чинов.

Особенным украшением этих балов служила итальянская музыка. В столовой зале дворца на время балов устроен был посредине изящный бассейн, извергавший несколько фонтанов. Столы отличались также редким убранством. На них ставились искусственные пирамиды из конфет и разные оранжерейные растения. С восьмого мая открылся при дворе целый ряд маскарадов, которые продолжались до 25-го числа.

Двадцать девятого мая при дворе был особый бал, на котором играла итальянская оперная труппа.

Коронационные празднества закончились только седьмого июня. Тогда же, в знак окончания торжеств, весь город был иллюминирован. Для народа были выставлены на площадях бочки с белым и красным вином и жареные быки, начиненные птицами. Всего было в избытке, и народ веселился и славил матушку царицу, которая при самом вступлении на престол вспомнила о нем, а именно первым делом сложила с подушного склада по 10 копеек с души на 1742 и 1743 года, что составило более миллиона рублей.

Милости императрицы посыпались на ее приближенных. Алексей Григорьевич Разумовский, несший в церемонии шлейф государыни, был пожалован обер-егермейстером и получил (помимо Александровской ленты) знаки ордена Святого Андрея Первозванного, и, кроме того, ему из собственных императрицыных и сосланного Миниха вотчин были пожалованы множество сел и деревень.

Казалось, трудно бы было ожидать большего. В течение нескольких месяцев бывший пастух общественных стад достиг высших степеней государственного чиновничества, но судьба готовила ему новое, дотоле немислимое в России положение при дворе. Не будем, впрочем, забегать вперед.

Не забыты были и другие. Андреевский орден получили: генерал-фельдмаршал князь Василий Васильевич Долгорукий, генерал Салтыков, князь Николай Трубецкой, сенатор Александр Потемкин... Воронцов и Шувалов получили орден Александра Невского. Другим пожалован графский титул, каковы: Григорий Чернышев, Петр Бестужев-Рюмин.

Таким образом, царствование Елизаветы

Петровны началось необыкновенно милостиво. Еще ранее коронации, при вступлении на престол, состоялось бессмертное распоряжение императрицы об отмене смертной казни.

15 декабря 1741 года появился манифест о всемилостивейшем прощении преступников и о снятии штрафов и начетов с 1719 по 1739 год. Тогда же государыня возвратила из ссылки много сосланных в прошедшее царствование и наградила чинами, орденами и именьями многих близких своих людей: Румянцева, Чернышева, Левашева, Бестужева-Рюмина, Куракина, Головина, Петра и Александра Шуваловых, Воронцова и других. Многим полкам была дана денежная награда; например, солдаты Преображенского полка получили 12 тысяч рублей. Семеновский и Измайловский — по 9 тысяч рублей, конный — 6 тысяч рублей. Гренадерская рота, как мы уже говорили, получила название «лейб-компаний», капитаном которой была сама императрица: капитан-поручик этой роты равнялся полному генералу, два поручика — генерал-лейтенантам, два подпоручика — генерал-майорам, прапорщики — полковникам, сержан-

ты — подполковникам, капралы — капитанам. Унтер-офицеры, капралы и рядовые были пожалованы в потомственные дворяне. В гербах их внесена надпись: «За ревность и верность».

Так были награждены при вступлении на престол и по случаю коронации приближенные лица и те, которые способствовали перевороту в ночь на 25 ноября 1741 года, но императрица не позабыла и остальных своих подданных.

По случаю коронации все и менее знатные опальные прошлого царствования были возвращены из ссылки и из разного рода заключений. Императрица знала хорошо и то, что прежде очень много людей разного звания и состояния ссылалось невинно, и потому вскоре после своей коронации, 27 сентября 1742 года, обнародовала следующий указ: «Ее Императорскому Величеству сделалось известно, что в бывшие правления некоторые лица посланы в ссылки в разные отдаленные места государства, и об них, когда, откуда и с каким определением посланы, ни в Сенате, ни в Тайной канцелярии известия нет, где обретаются

неведомо; потому Ее Императорское Величество изволила послать указы во все государство, чтобы где есть такие неведомо содержащиеся люди, оных из всех мест велеть прислать туда, где будет находиться Ее Императорское Величество, и с ведомостями когда, откуда и с каким указом присланы».

Вступив на престол, Елизавета Петровна, конечно, вспомнила о своем любимце, сосланном за нее в дальнюю Камчатку — Алексее Яковлевиче Шубине. С великим трудом отыскали его там в 1742 году, в одном камчатальском чуме. Посланцы искали его всюду, но никак не могли найти. Когда его сослали, то не объявили его имени, а самому ему запрещено было называть себя кому бы то ни было под угрозой смертной казни. В одной юрте посланный, отыскивая ссыльного, спрашивал нескольких бывших тут арестантов, не слышали ли они чего-нибудь про Шубина. Никто не дал положительного ответа. Потом, разговорясь с арестантом, посланный упомянул имя Елизаветы Петровны.

— Разве Елизавета царствует? — спросил тогда один из ссыльных.

— Да, вот уже более года, как Елизавета Петровна восприяла родительский престол, — отвечал посланный.

— Но чем вы меня удостоверите в истине? — спросил ссыльный.

Офицер показал ему подорожную и другие бумаги, в которых было написано имя императрицы.

— В таком случае Шубин, которого вы отыскиваете, перед вами, — сказал арестант.

Его перевезли в Петербург, где 2 марта 1743 года он был произведен «за невинное претерпение» прямо в генерал-майоры лейб-гвардии Семеновского полка и получил Александровскую ленту. Императрица пожаловала ему богатые вотчины, в том числе и село Работки на Волге, что в нынешнем Макарьевском уезде Нижегородской губернии.

Шубин недолго оставался при дворе. Камчатская ссылка совершенно расстроила его здоровье. Он предался набожности, дойдя до аскетизма, и просил увольнения от службы. На это увольнение согласились быстро главным образом потому, что бывший любимец, конечно, не мог быть приятен новому, имев-

шему в то время громадную силу при дворе, — Алексею Григорьевичу Разумовскому.

Получив отставку, Шубин поселился в пожалованных ему Работках. На прощанье императрица Елизавета Петровна подарила ему драгоценный образ Спасителя и часть ризы Господней. То и другое и теперь сохраняется в церкви села Работок. В этом селе передается из поколения в поколение предание о милостях императрицы Елизаветы Петровны к бывшему тамошнему помещику.

Вскоре после коронации покинула Петербург, несмотря на просьбы сына, и Наталья Демьяновна Разумовская. Она уехала с дочерьми, оставив младшего сына и старшую внучку при дворе. По возвращении в Малороссию она поселилась около села Адамовки, в одном из хуторов, пожалованных Алексею Григорьевичу. Здесь она выстроила себе усадьбу, которую назвала Алексеевщиной, с домом и при доме устроила церковь.

XVI

Тайный брак

Возвеличенный необычайно и на пути к еще большему величию, пожалованный графством, Алексей Григорьевич Разумовский чувствовал, как мало подготовлен он к своему положению и как необходимо было ему окружить себя людьми, которые могли бы выводить его из той затруднительной обстановки, в которую уже и в описываемое нами нехитрое и невзыскательное время беспрестанно ставило его совершенное отсутствие всякого образования. По счастью, у Разумовского в выборе людей было какое-то особенное природное чутье: почти все при нем служившие были людьми замечательными.

Первым, как по давности знакомства с Разумовским, так и по влиянию, которое он постоянно имел на всю их семью, был Григорий Николаевич Теплов, сын истопника в псковском архиерейском доме, отчего и получил он фамилию Теплова, и воспитанник знаменитого Феофана Прокоповича. Первоначальное

образование получил он в школе, учрежденной Феофаном при Александро-Невской лавре, а потом долгое время учился за границей. Он вернулся оттуда в 1736 году, поступил в Академию наук и пристроился к Артемию Петровичу Волынскому, который никогда, по свидетельству Гельбига, не покровительствовал невежеству. С необыкновенной ловкостью выпутался он из-под суда во время гибели Волынского, перешел к занятиям ученым, назначен переводчиком при академии, а в 1741 году адъюнктом.

Тут он стал искать покровительства у нового временщика и сделался необходимым в доме Разумовского. От своего воспитателя Теплов наследовал большую ученость, соединенную с весьма широкими понятиями о том, как обходиться с людьми сильными и как обхождение с ними согласовать со степенью их силы.

Другая личность, состоявшая при Алексее Григорьевиче, была Василий Евдокимович Ададуров, ученик Миллера, один из первых воспитанников академической гимназии в Петербурге и первый адъюнкт из русских в

российской Академии наук. Он также довершил воспитание свое за границей и первый составил грамматику русского языка. Ададуров был при Разумовском чем-то вроде секретаря.

Третьим был Александр Петрович Сумароков, генерал-адъютант при Разумовском, дослужившийся до бригадирского чина. Его известность началась под крылом Алексея Григорьевича.

Наконец, таким же адъютантом при графе Разумовском, и особенно к нему приближенным, был Иван Перфирьевич Елагин, несомненно, один из честнейших и образованнейших людей своего времени.

Теплову и Ададурову поручен был брат Алексея Григорьевича, Кирилл Григорьевич, по приезде в Петербург, где до 1743 года начальным учением старался он, под их руководством, пополнять свое воспитание.

Таковы были окружавшие графа Алексея Григорьевича Разумовского люди.

В Москве, во время описанных нами коронационных торжеств, произошло событие, небывалое в русской истории, доставившее

графу Разумовскому исключительное положение при императрице, положение, которое не занимал ни до него, ни после него ни один из временщиков русских.

Хитрый и ловкий, граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин еще при Анне Леопольдовне вызван был из ссылки, куда попал по делу Бирона, и снова привлечен к общественной деятельности благодаря совершенному отсутствию всякого серьезного дарования между людьми, державшими бразды правления. Один он был опытен в делах и умел владеть пером. Государыне он был неугоден, но умел хорошо излагать свои мысли на бумаге и объясняться по-французски и по-немецки. По необходимости его удержали при делах.

Несмотря, однако, на свой ум и ловкость, Бестужев никогда не сумел приобрести вполне благорасположение императрицы. Ему не доставало той живости в выражениях, которая нравилась государыне, в обхождении его была какая-то натянутость, а в делах мелочность, которая была ей особенно противна. Бестужев был настолько хитер, чтобы сразу понять, как необходима была для него при

дворе сильная подпора. Он ухватился за Разумовского.

Бывший камер-юнкер короля Великобритании Георга I, близко знакомый с английской литературой, хорошо помнил изречение Шекспира: «Слабость, переменчивость — твое имя женщина».

Государыне было всего тридцать три года, она была красавица. В продолжение шестидесяти лет всякие бездомные принцы стекались в Россию со всего света и находили здесь обильную добычу для карманов и честолюбия. Того гляди, какой-нибудь принц — искаатель приключений, вроде инфанта Португальского, принца де Конти, принцев Гессен-Гомбургских или, наконец, графа Маврикия Саксонского, приглянется императрице и, чего доброго, наденет «и венец, и бармы Мономаха». Тогда конец всем честолюбивым замыслам Бестужева, тогда, пожалуй, опять на сцену выйдет Остерман, и место великого канцлера, на которое уже метил Алексей Петрович, придется променять на хижину в Березове.

Едва Бестужев занял место вице-канцлера,

как уже против него образовалась сильная партия. Все сторонники союза с Францией и Пруссией восстали, когда он предложил тесную связь с Австрией.

Лесток, по заступничеству которого Бестужев был снова призван к деятельности, теперь вместе с де ла Шетарди стал во главе его противников, к числу которых принадлежали Воронцов, князь Трубецкой, принц Гомбургский, Шувалов и другие — все люди и сильные и знатные при дворе. Удержаться одному Бестужеву не было возможности. Он сблизился с Алексеем Григорьевичем и вскоре сделался его лучшим другом. Но этого было недостаточно. Надо было еще сделать узы, соединившие Разумовского с государыней, неразрывными.

Бестужев стал искать себе помощников в этом деле и скоро нашел их в духовнике Федоре Яковлевиче Дубянском и в епископе Юшкевиче. Духовенство, принадлежавшее к русской партии, во имя которой Елизавета Петровна взошла на престол, только что успело свободно вздохнуть от гнета, под которым долгое время оно томилось.

Во все царствование Анны Иоанновны Феофан Прокопович нещадно преследовал Стефана Яворского и приверженцев «Камня Веры». С большой ловкостью припутал он к их убеждениям интриги иезуитов. Главною же их виной было то, что они иностранцев называли «человечками или людишками», высказывали мысль, довольно, впрочем, верную, что «государство их питает», да, кроме того, еще и всех сплошь протестантов, из которых «многое число честные особы при дворе и в воинских и гражданских чинах рангами высокими почтены и служат, неправдою и неверностью помарали».

С воцарением Елизаветы Петровны русская партия взяла решительный перевес. Во главе ее стал духовник императрицы Дубянский, к которому она особенно благоволила, человек весьма умный и ловкий царедворец, но при дворе разыгравший роль простачка, что давало ему еще большую силу, так как никто из царедворцев его не опасался. Один только Бестужев сумел разгадать его. Благодаря Дубянскому, все изгнанные в царствование Анны Иоанновны иерархи — Лев Юрлов

Воронежский, Варлаам Вантович Киевский и другие были освобождены из заключения и архиерейский сан был им возвращен.

С кафедры в присутствии императрицы стали сыпаться самые сильные обвинения и ругательства против иностранцев. Громко стали говорить о чудесах, бывших при гробе святителя Дмитрия Ростовского, искреннего друга Яворского. Но все могло измениться.

Не все иностранцы еще были сокрушены. Лесток и де ла Шетарди в высшей степени пользовались доверием государыни.

Следовало постоянно иметь при самодержице такое лицо, которое было бы предано духовенству и на заступничество которого можно было вполне и всегда рассчитывать.

Таким из всех был Алексей Григорьевич Разумовский. Искренне благочестивый, он, как малоросс, принадлежал к партии автора «Камня Веры», сторонники которой были по большей части украинцы и белорусы. Призренный в младенчестве духовенством, выросший под крылом его в рядах придворных певчих, он взирал на него с чувством самой искренней и глубокой благодарности и был

предан всем своим честным и любящим сердцем. Власть гражданская сошлась с властью духовною.

Уговорить богомольную и отчасти суеверную государыню было нетрудно: духовник имел всегда к ней доступ, и она охотно прислушивалась к словам его.

Все это произошло в Москве. Тайный брак был совершен осенью 1742 года в подмосковном селе Перове. Обряд венчания совершил Дубянский. С этих пор государыня особенно полюбила Перово. Она одарила церковь дорогой утварью, богатыми ризами и воздухами, шитыми золотом и жемчугом собственной ее работы.

Возвращаясь с Алексеем Григорьевичем в Кремль дорогою, по улице Петровке, против церкви Воскресения в Барашах, Елизавета Петровна вспомнила, что после венчания не было отслужено молебна, велела остановиться, вошла в церковь и отстояла молебствие. После молебна она зашла к приходскому священнику и кушала у него чай.

В память этого события над церковью в Перове и церковью Воскресения в Барашах, ко-

торая была роскошно обновлена императрицей, поставлены были над крестами вызолоченные императорские короны, а на месте, где находился дом священника, возведены были, по ее же приказанию, графом Разумовским богатые палаты, подаренные Елизаветой Петровной Разумовскому. Теперь там помещается 4-я гимназия.

«В возобновлении и украшении храма Воскресения, — говорит граф Снегирев, — участвовали императрица Елизавета Петровна и граф Алексей Григорьевич Разумовский, имевшие к нему особенное благоволение». Предание старожилов к этому прибавляет, что в память благодарственного молебна, по особому случаю петого Елизавете Петровне в этом храме, его глава, по ее повелению, увенчана императорской короной, которая и доныне украшает купол. При ней в верхней церкви был устроен великолепный иконостас с живописными образами, а в нижней полустлан чугунными плитами, лежавшими до-толе на синодальном дворе.

Влияние Алексея Григорьевича после брака стало огромное. Все его почитали и с ним

обращались как с супругом императрицы. Он занимал во дворце комнаты, смежные с апартаментами государыни. Когда он чувствовал себя нездоровым, Елизавета Петровна обедала в его покоях, и он принимал ее и ее приближенных в парчовом шлафроке. Алексей Григорьевич всюду сопутствовал государыне, и, как уверяют очевидцы, она даже публично оказывала ему знаки нежности и сама застегивала шубу и поправляла шапку, когда в трескучий мороз они выходили из театра. Одному ему отпускалось рыбное кушанье, в то время, когда государыня и весь двор держали строгий пост, а граф Бестужев принужден был обратиться к патриарху Константинопольскому за разрешением не есть грибное. Одним словом, его положение было совсем особенное, и это положение он удержал до конца жизни императрицы, несмотря на все усилия враждебной ему партии. Царедворцы падали ниц перед всемогущим супругом императрицы.

В своих увеселениях двор подделывался к вкусам Алексея Григорьевича. Благодаря его страсти к музыке, заведена была постоянная

итальянская опера, за огромные цены выписывались знаменитые в Европе певцы, «буфоны и буфонши». В штате двора встречались бандуристы и бандуристки и даже «малороссиянки-воспевальщицы». Украинские певчие, из которых особенно отличался Марко Федоров Полторацкий, пели и на клиросе и на сцене, вместе с итальянцами. На придворных пирах появились малороссийские блюда — одним словом, все украинское было в моде.

Но среди всех упоений такой неслыханной фортуны Разумовский оставался всегда верен себе и своим. На клиросе и в покоях петербургского дворца, среди лемешевского стада и на великолепных праздниках Елизаветы Петровны он был все таким же простым, наивным, несколько хитрым и насмешливым, но в то же время крайне добродушным хохлом, без памяти любившим свою прекрасную родину[1].

XVII

При дворе

С воцарением Елизаветы Петровны жизнь двора стала отличаться пышными празднествами.

Особы первых двух классов давали маскарады у себя в домах и на приморских дачах. На праздниках этих присутствовала сама императрица. На балы и маскарады собирались в шесть часов, играли в карты и танцевали до десяти, когда императрица с избранными вельможами садилась ужинать. Остальные ужинали стоя.

После ужина опять танцевали до часу или двух пополуночи. Хозяин не встречал и не провожал никого, даже императрицу. Кто сидел за картами, те не вставали для нее.

Театральные представления при дворе вошли в моду еще при императрице Анне Иоанновне. Король Август прислал императрице из Дрездена на ее коронацию славившихся там актеров, которые и давали «итальянские интермедии» при дворе. Из присланных от-

личались актриса Казанова, мать известного авантюриста, и комик-певец Недрилло.

В 1735 году была выписана полная итальянская труппа, под дирекцией композитора Франческо Арайя. Представления давались во дворце и в деревянном театре близ Летнего сада. Места посетителям раздавались бесплатно, по чинам и по званию зрителей.

В следующем году шла новая пьеса «Сила любви и ненависти», драма в трех действиях, переведенная с итальянского, но не имела успеха. В том же году там же исполнялась сказка в лицах «О Яге-бабе», в которой главную роль играл обер-гофмаршал Дмитрий Андреевич Шепелев. В этой оперетке участвовали придворные певчие, набранные в Малороссии; из них отличался прекрасным голосом и искусным пением Виноградский. Он, как уверяли тогда, «удивлял самих итальянцев».

Из исполнявших в это время на театре артистов известны были певцы: Германо, Константин, Вулкано и Пино. Лучшие певицы были: Изабелла и Розина. Императрица, желая разнообразить спектакли, поручила танцмей-

стеру Ланде, служившему при сухопутном шляхетском корпусе танцевальным учителем, составить из кадетов балет. Из кадетов лучшим танцовщиком считался Чеглоков, впоследствии камергер. Деятельное участие в придворных спектаклях принимал вступивший в русскую службу придворным капельмейстером тогдашня европейская известность — Франческо Арайя.

Старанием этих артистов с 1737 года на придворном театре была поставлена первая большая опера, или лирическая драма, с неизвестными до того времени совершенством и роскошью. Она называлась «Abiasjare». Опера произвела громадный фурор. Вслед за ней Арайя поставил вторую свою оперу, «Semiramide ol finta Nino». Успех этой оперы был еще значительнее — в течение двух лет ее играли почти каждую неделю.

Елизавета Петровна любила французский язык и говорила на нем с редким совершенством; вскоре этот язык стал при дворе модным. Комедии Корнеля, Расина и Мольера стали давать еженедельно — произведения этих драматургов имели огромный успех.

Придворные выучивали их наизусть, декламировали из них целые тирады в обществе и приводили стихи Расина и Мольера даже в простом разговоре, кстати и некстати.

Это не помешало тому, что в начале царствования Елизаветы Петровны — насадительницы всего русского — положено было основание народному русскому театру. Кадеты сухопутного кадетского корпуса: Бекетов, Остервальд, Мелиссино и Свистунов знали хорошо французский язык, разучивали монологи из Расина и Корнеля и декламировали в кругу товарищей. Наконец им пришла мысль во время святок в одном из дортуаров разыграть целую трагедию Корнеля. Молодые актеры-любители представляли перед своими родственниками и корпусными офицерами. Успех был полный. Похвалы зрителей подействовали на самолюбие актеров.

В то время Ломоносов и Сумароков сочиняли уже русские трагедии по образцу французских, и произведения их ходили по рукам читателей. Свистунов и Мелиссино, прочитав трагедию Сумарокова «Семира», решились ее разучить и сыграть. Сумароков был восхищен

идеей молодых артистов, охотно стал им помогать, обучая их малознакомой тогда русской декламации. Наконец, трагедия была поставлена, артисты и автор были осыпаны похвалами. На второй спектакль Сумароков пригласил графа Алексея Григорьевича Разумовского. Последнему так понравился русский спектакль, что он расхвалил его императрице. Елизавета Петровна повелела кадетов привести во дворец, и там на малой сцене они продекламировали перед ней «Семиру» и заслужили особенное ее благоволение.

Вслед за первым спектаклем ими были разучены и прочитаны перед императрицей трагедии «Артистона», «Синав и Трувор» — Сумарокова.

Вскоре из Ярославля были выписаны в Петербург первые настоящие русские актеры, которые записаны были придворными и представляли перед императрицей в ее загородном дворце. Лучшими пьесами репертуара первых русских артистов были «Титово милосердие», «Евдокия венчанная», «Хорев» и другие. С прибытием актеров в Петербург первый назначенный им спектакль был «Хо-

рев» — трагедия Сумарокова. Роли распределены были между ними следующим образом: Кия играл Волков, Хорева — Попов, а Оснельду — Нарыков. Предание говорит, что актеры были привезены тайком. Императрица хотела сделать сюрприз для двора.

Придворные, приглашенные на первый спектакль, были вполне уверены, что увидят итальянскую комедию. Государыня сама входила во все подробности спектакля; она приказала артистам, игравшим женские роли, выдать из своего гардероба богатые платья. Елизавета Петровна сама наряжала Нарыкова, наколола ему на голову богатую диадему. Прелестная наружность молодого семинариста очень понравилась всем. Государыня нашла, что фамилия Нарыкова для театра неблагозвучна. Необыкновенное сходство с польским графом Дмитревским поразило императрицу.

— Нет, — говорила она, любуясь юной Оснельдой, — ты не должен носить имени Нарыкова, будь Дмитревским: он был графом в Польше, ты будешь графом на русской сцене.

Успех первого представления на русском

языке был блистательный, и этот спектакль решил окончательно участь русского театра.

На сцену были приняты и женщины: девица Пушкина, дочь музыканта Елизавета Белогородская, танцовщица Зорина, знаменитая Авдотья Тимофеева и две офицерские дочери, Марья и Ольга Ананьины.

Мужской персонал также пополнился, и увеличенная труппа вскоре могла дать на русском языке первую оперу, «Цеваль и Прокрис» Сумарокова, музыка Арайя, а декорации и сюжет создал Валерьяни, получивший пышный титул «первого исторического живописца, перспективы профессора и театральной архитектуры, инженера при императорском российском дворе».

Публичные спектакли исполнялись русской труппой в здании, примыкавшем к летнему дворцу императрицы у Полицейского моста (где теперь дом Елисеева).

Театр был связан коридором с внутренними покоями дворца, и государыня почти каждый вечер приходила прямо в свою ложу и личным своим присутствием поощряла старания русских артистов.

На этом театре особенный успех имели комедии Мольера: «Тартюф, или Лицемер» и «Дворянящийся купец» («Мещанин по дворянству»). Первый тогдашний директор театра посвятил даже первой пьесе следующее двустишие:

*Мольеров лицемер до тех пор не
падет
В трех первых действиях, доколь
пребудет свет.*

Эта пьеса обставлялась необыкновенно парадно и стоила значительных издержек по тогдашнему времени. Об этом даже извещала афиша, гласившая следующее: «Во время представления сей комедии, сочиненной господином Мольером, славным французского театра комиком, в рассуждении большого спектакля, великого числа людей, как-то: певцов, певиц, музыкантов, танцовщиков и танцовщиц, поваров, портных, подмастерьев и других действующих в интермедии лицедеев, балетов и богатых декораций на театре, за вход была двойная против обыкновенного цена»[2].

Так весело и шумно жилось в первые годы

царствования императрицы Елизаветы Петровны.

Русские люди и у ступеней трона, и в низших слоях, сбросив с себя невыносимый немецкий гнет, дышали полною грудью и веселились от души.

Отсутствие немецкого гнета чувствовалось и в провинциях, вдали от Петербурга, куда мы и перенесемся.

XVIII

На берегу пруда

Прошло восемь лет с того, вероятно, не забытого читателями разговора в домике по Басманной улице в Москве между майором Иваном Осиповичем Лысенко с его закадычным другом и товарищем Сергеем Семеновичем Зиновьевым.

Стояло чудное июльское после полудня. На берегу пруда в небольшом, но живописном именье княгини Вассы Семеновны Полторацкой, находившемся в Тамбовском наместничестве, лежал, распростершись на земле, юноша лет шестнадцати, в форме кадета пажеско-

го корпуса. Это был сын Ивана Осиповича — Осип, гостивший, по обыкновению, летом в имение княгини Полторацкой, куда несколько раз в лето наезжал и его отец. Юноша лежал, устремив мечтательный взор своих чудных черных глаз в лучистую синеву неба, и в этих глазах выражалось что-то вроде раздирающей душу тоски.

Вдруг к пруду приблизились легкие шаги, почти неслышные на мягкой лесной почве, а в кустах раздался тихий шорох, подобный шелесту шелкового платья. Из-за деревьев небольшой роци, примыкавших к берегу пруда, бесшумно выскользнула женская фигура и неподвижно остановилась, не спуская глаз с лежавшего юноши.

— Ося!

Молодой человек вздрогнул и быстро вскочил. Он вовсе не знал ни этого голоса, ни этой женщины.

— Что вам угодно?

Тонкая, дрожащая рука быстро опустилась, как бы предостерегая, на его руку.

— Тише! Не так громко! Нас могут услышать, но мне надо переговорить с тобой на-

едине, с тобой одним, Ося!..

Она рукой указала в другую сторону небольшого пруда, где за росшими кустарниками слышались веселые голоса, а затем отступила и жестом пригласила его последовать за ней. Одно мгновение юноша колебался. Каким образом эта незнакомка, судя по одежде, принадлежавшая к высшему кругу общества, очутилась здесь, около уединенного лесного пруда? И что означает это «ты» в устах особы, которую он видел первый раз? Однако таинственность этой встречи показалась молодому человеку заманчивой. Он последовал за дамой.

Они прошли в глубь рощи, в такое место, откуда их нельзя было видеть. Незнакомка медленно откинула вуаль. Она была не особенно молода, лет за тридцать, но лицо ее, с темными, жгучими глазами, обладало своеобразной прелестью. Такое же очарование было в ее голосе. Хотя она и понижала его почти до шепота, но в нем все-таки слышались глубокие, мягкие ноты. Она говорила по-русски совершенно бегло, но с иностранным акцентом, что доказывало, что этот язык не был ей род-

НЫМ.

— Ося, взгляни на меня! Ты на самом деле не знаешь меня? У тебя не сохранилось ни малейшего воспоминания из дней детства, которые бы подсказали тебе, кто я?

Мальчик медленно покачал отрицательно головой. Но все-таки в нем проснулось воспоминание, неясное, неуловимое, — воспоминание о том, что он не в первый раз слышит этот голос, видит это лицо. Смущенный и точно прикованный к месту, он не сводил глаз с незнакомки, которая вдруг протянула к нему обе руки.

— Мой сын! Мое единственное дитя!.. Неужели ты не узнаешь своей матери?

Молодой человек отступил.

— Моя мать умерла, — сказал он с расстановкой.

Незнакомка горько засмеялась.

— Вот как! Меня объявили умершей! Тебе не хотели оставить даже воспоминания о матери! Это неправда, Ося, я жива, я стою перед тобой. Посмотри на мои черты, ведь они и твои также. Дитя мое, неужели ты не чувствуешь, что принадлежишь мне?..

Юноша все еще стоял неподвижно и смотрел на лицо, в котором мало-помалу находил полнейшее подобие своего: те же черты, те же густые, синевато-черные волосы, те же большие, как ночь темные глаза. Даже странное демоническое выражение, горевшее пламенем во взоре матери, таилось, как море, в глазах сына. Сходство говорило о родстве крови, и наконец голос крови заговорил в Осипе Лысенко. Он не требовал дальнейших объяснений и доказательств. Препрежнее неуловимое, смутное воспоминание детства вдруг прояснилось, и, после короткого колебания, он бросился в объятия, которые раскрывались ему.

— Мама!

В этом восклицании выразилась вся горячая нежность юноши, который никогда не знал, что значит иметь мать, и между тем тосковал по ней со всею страстностью его натуры. Мать! Он был в ее объятиях, она осыпала его горячими ласками, сладкими, нежными именами, которых он никогда еще не слышал. Все прочее исчезло для него в потоке бурного восторга.

Прошло несколько минут. Ося высвободил-

ся из объятий Станиславы Феликсовны — это была она.

— Почему же ты никогда не приезжала ко мне? — пылко заговорил он. — Почему мне сказали, что ты умерла?

Станислава Феликсовна отступила на несколько шагов. Выражение нежности в ее глазах исчезло, и взамен вспыхнула дикая, смертельная ненависть.

— Потому, что твой отец ненавидит меня, сын мой, потому, что он не хотел оставить мне даже любви моего единственного ребенка, когда оттолкнул меня от себя.

Ося молчал, ошеломленный. Правда, он знал, что имя матери не произносилось в присутствии отца, помнил, как последний строго и жестко осадил его, когда тот осмелился однажды обратиться к нему с расспросами о матери, но он был еще настолько ребенком, что не раздумывал над причиной этого. Станислава Феликсовна и теперь не дала ему времени на размышление. Она откинула его густые волосы со лба. Точно тень скользнула по ее лицу.

— У тебя его лоб, — медленно произнесла

она, — но это единственное, чем ты его напоминаешь: все остальное мое, только мое. Каждая черта доказывает, что ты мой, — я вперед это знала.

Она снова заключила его в свои объятия, на которые он ответил также страстно. Он был просто опьянен счастьем. Все это так походило на самую чудную сказку, какую он мог себе вообразить, и он, ни о чем не спрашивая, ни о чем не думая отдался очарованию. Вдруг возле рожи послышался голос, звавший Осю. Станислава Феликсовна вздрогнула.

— Нам надо расстаться. Никто не должен знать, что я виделась с тобой, главное, не должен знать твой отец!.. Когда ты вернешься к нему?

— Через две недели...

— Через две!.. — повторила она.

В этом восклицании слышалось почти торжество.

— А до тех пор мы с тобой будем видеться ежедневно. Завтра в этот же час будь у пруда, но один, чтобы нам не мешали. Ведь ты придешь, Ося?

— Конечно, мама, но...

Она прервала его и продолжала тем же страстным шепотом:

— Главное, не говори никому, решительно никому, не забывай этого! Прощай, дитя мое, мой единственный любимый сын, до свиданья.

Еще один поцелуй, и она уже юркнула в чащу деревьев так же беззвучно, как и пришла. Да и пора было скрыться.

Тотчас вслед за тем в роще появились две девочки, которые поражали с первого взгляда своим необычайным сходством друг с другом. Всякий принял бы их за сестер-близнецов, если бы разница в одежде не говорила, что одна из них барышня, а другая служанка. Девочки были лет десяти.

Одна из них была княжна Людмила Полторацкая, а другая Таня Берестова, крепостная девочка княгини Вассы Семеновны. Княгиня овдовела лет десять тому назад и все свои заботы отдала своей только что родившейся дочери, посвящая ей все досуги своей хозяйственной деятельности, считавшейся образцовой среди ее соседей. Княгиня была строга,

взыскательна, но справедлива. Она не обременяла крестьян усиленной работой, но и не любила лентяев и дармоедов. Среди дворовых княгини была молодая вдова дворецкого Ульяна Берестова, больная чахоткой, красивая молодая женщина с дочерью Таней. Через несколько лет после смерти князя Полторацкого умерла и Ульяна, и девочка ее осталась круглой сироткой. Княгиня Васса Семеновна приняла в ней чисто материнское участие и позволяла по целым дням играть со своей дочерью.

Поразительное сходство между обеими девочками, видимо, не обращало особенного внимания княгини. Злые языки говорили, что она знала причину этого сходства, а еще более злые утверждали, что из-за этого сходства мать девочки сошла в преждевременную могилу и что в быстром развитии смертельной болезни Ульяны не безучастна была княгиня Васса Семеновна. Как бы то ни было, но девочки были почти погодки и за несколько лет стали задушевыми подругами.

Различие между ними, повторяем, было лишь в одежде, так как даже скудное по тому

времени образование у священника сельской церкви они получали вместе. Гувернантка-француженка, приставленная к княжне, одинаково передавала премудрость своего языка и бывшей неразлучно с княжной Людмилой Тане.

Княгиня Васса Семеновна Полторацкая жила безвыездно в своем имении, лишь изредка выезжая в Тамбов по хозяйственным надобностям. Связью между нею и Петербургом был ее брат, знакомый нам друг и приятель майора Лысенко — Сергей Семенович Зиновьев, занимавший в то время в петербургской административной сфере далеко не последнее место. Летом он приезжал к сестре, и здесь устраивались свиданья между ним и Иваном Осиповичем Лысенко, сын которого Ося на время летних вакаций всегда отправлялся на побывку к княгине Полторацкой и был желанным гостем в ее доме, как сын душевного друга ее брата и, наконец, как сын человека, о котором у княгини сохранились более нежные воспоминания.

Несмотря на свои шестнадцать лет, Ося был еще совершенным ребенком, и общество

двух десятилетних девочек вполне удовлетворяло его, тем более что они относились к нему с восторженным обожанием, очень льстившим его громадному самолюбию. Надо при этом сознаться, что черненькие глазки грациозной княжны Люды, как звали ее домашние, много значили в отношении шестнадцатилетнего юноши к своей маленькой подруге. Инстинктивное чувство любви уже зарождалось в сердце молодого человека. Княжна Люда могла и, видимо, имела право обращаться с Осей деспотично, и своенравный и неукротимый для всех сорванец становился при ней послушным исполнителем ее желаний.

«Жених и невеста» — так прозвали Осю и Люду в доме Полторацких, и, видимо, обоим детям было далеко не противно это прозвище. Эта-то Люда со своей служанкой-подругой Таней и появилась в роще.

— Отчего ты не отвечаешь? Я звала уже три раза. Уж не спал ли ты? У тебя такой вид, будто ты только что видел сон.

Ося на самом деле стоял точно ошеломленный и дико смотрел в ту сторону, куда скры-

лась его мать. Через несколько минут только он повернулся к девочкам и провел рукою по лбу.

— Да, я видел сон! — ответил он медленно. — Станный, чудесный сон!

— Как не стыдно спать днем! — укоризненно сказала княжна Люда, видимо не поняв ответа молодого Лысенко.

ХІХ

Роковая встреча

Отцы Лысенко и Зиновьева с давних пор были в дружеских отношениях. Как соседи по имениям, они часто виделись. Дети их росли вместе, и множество общих интересов делали все крепче эту дружескую связь. Так как они обладали весьма небольшим состоянием, то сыновьям их пришлось по окончании ученья самостоятельно пролагать себе дорогу в жизни. Иван Осипович и Сергей Семенович так и сделали.

Они были товарищами детских игр и, возмужав, остались верны старой дружбе, даже чуть не породнились, так как родители их

мечтали о союзе молодого Лысенко с Вассой Семеновной. По-видимому, и молодые люди сочувствовали друг другу.

Все шло как нельзя лучше, как вдруг случилось событие, неожиданно положившее конец всем этим планам. За много лет до того один из родственников Зиновьевых по женской линии — Менгден, неисправимый кутила, бежал от долгов из России в Польшу, где и принял должность управляющего в имение одного богатого помещика. По смерти владельца ему удалось получить руку вдовы, и таким образом он снова достиг положения в жизни, которое он когда-то так легкомысленно пустил по ветру.

Лет через пятнадцать после брака он вместе с женой посетил родственников в России, которых не видел более десяти лет. Госпожа Менгден была уже в зрелых летах и давно отцвела; это, однако, не помешало ей иметь от второго брака дочь, двенадцатилетнюю Якобину. Ее сопровождала также дочь от первого брака, Станислава Феликсовна Свянторжецкая. Эта молоденькая, едва семнадцатилетняя полька, окруженная ореолом своей своеобраз-

ной красоты и прелести и огненного темперамента, засияла как солнце на горизонте наших тамбовских провинциалов, жизнь которых шла до сих пор неспешным, размеренным шагом. Станислава, конечно, выделялась в этом кругу, обычаями и воззрениями которого пренебрегала с равнодушием избалованной повелительницы. В свою очередь, окружающие смотрели на нее как на удивительное явление из какого-то неизвестного им мира. Многие серьезно качали головой и только потому не высказывали вслух свое неодобрение, что считали девушку временной гостьей, которая исчезнет из их кружка так же быстро, как и появилась.

В это время Иван Осипович Лысенко приехал из Тамбова в имение отца и в семье соседей познакомился с их новыми родственниками. Он увидел Станиславу, и судьба его была решена. Им овладела та безумная страсть, которая возникает внезапно, почти с быстротой молнии, походит на какое-то опьянение, одурение и очень часто оплачивается ценой раскаяния во всю последующую жизнь. Забыты были желания родителей и собственные

мечты о будущем, забыта спокойная сердечная привязанность, соединявшая его с подружкой детства — Вассой. Он не замечал более этого скромного цветка родины, распустившегося тогда во всей юности и свежести, — он вдыхал опьяняющий аромат чудной розы, выросшей под чужим небом, — все остальное исчезло, потонуло в тумане.

Однажды, оставшись наедине со Станиславой, он бросился к ее ногам и признался ей в любви. К удивлению его, чувство не осталось без ответа. Было ли это новым подтверждением старого правила, что крайности сходятся? Действительно ли влекло Станиславу к человеку, который во всех отношениях представлял полную противоположность ее собственной натуре, или, может быть, ее самолюбию льстила мысль, что один ее взгляд, одно слово могло воспламенить серьезного, спокойного и тогда уже несколько мрачного молодого человека? Как бы то ни было, она приняла его предложение, и он заключил ее в объятия, как невесту.

Известие об этой помолвке подняло целую бурю в обеих семьях. Со всех сторон посыпа-

лись уговоры и предостережения. Даже мать и отчим Станиславы были против брака, но общее сопротивление только раздувало страсть молодых людей. Несмотря ни на что, они поставили на своем, и через полгода Иван Осипович Лысенко ввел в свой дом молодую жену.

Люди, пророчествовавшие несчастье их браку, к сожалению, предсказали слишком верно. За коротким опьянением счастья последовало самое горькое разочарование. Со стороны Ивана Осиповича было роковой ошибкой вообразить, что женщина, подобная Станиславе Феликсовне, выросшая в безграничной свободе, привыкшая к беспорядочной, расточительной жизни богатых фамилий в своем отечестве, могла когда-нибудь подчиниться нравственным воззрениям и примириться с общественными отношениями скромных русских провинциалов.

Охотиться по целым часам верхом на полудиком коне в обществе мужчин, знающих только охоту да игру, вести с ними разговоры в самом свободном тоне в своем доме, всегда наполненном толпой гостей, окружать себя

всяким блеском, обыкновенно идущим рука об руку со страшным упадком имений, обремененных долгами, — вот жизнь, которую знала до сих пор Станислава Свянторжецкая и которая только и соответствовала ее характеру. Понятие о долге было ей так же чуждо, как все вообще в ее новой обстановке. И эта женщина должна была вести хозяйство в доме молодого военного, в распоряжении которого были весьма ограниченные средства, должна была принаравливаться к общественным отношениям в маленьком городе наместничества. Первые же недели показали, что это невозможно.

Станислава начала с того, что, презирая и здесь принятые приличия, постаралась поставить свой дом на соответствующую ее вкусам ногу и стала самым безумным образом проматывать свое небольшое приданое. Напрасно просил и уговаривал муж — она ничего не хотела слышать. Долг, общественное мнение, предметы, священные в его глазах, в ней возбудили только насмешки. Его странные, по ее мнению, понятия о чести и приличии заставляли ее только пожимать плечами.

Скоро между ними начались ежедневные бурные сцены, и тогда, когда уже было поздно, Иван Осипович должен был сознаться, что поступил очень опрометчиво. Несмотря на все предостережения, указывающие на различие происхождения, воспитания и характера, он рассчитывал на всемогущество любви. Теперь же он должен был признаться, что только каприз или разве мимолетная страсть, потухшая так же скоро, как и вспыхнувшая, привела Станиславу в его объятия. Теперь она не видела в нем ничего, кроме неудобного спутника жизни, который портил ей всякое удовольствие своим глупым педантизмом и смешными понятиями о чести и всюду ставил ей преграды.

Тем не менее она боялась этого человека, потому что ему всегда удавалось подчинить своей воле ее бесхарактерную натуру. Рождение маленького Оси уже не могло ничего исправить в этом глубоко несчастном союзе. Оно, впрочем, заставило супругов сохранять внешний вид согласия. Станислава Феликсовна страстно любила ребенка и знала, что муж ни за что не отдаст его ей, если дело дойдет до

развода. Одно это удерживало ее подле мужа, и Иван Осипович, затаив страдание, терпеливо переносил свою горькую домашнюю жизнь и употреблял все усилия, чтобы скрыть ее от посторонних. Но эти посторонние знали всю правду, знали даже вещи, о которых муж и не подозревал, которые скрывались от него из деликатности.

Года через два после свадьбы полк, в котором служил Иван Осипович Лысенко, переведен был в Москву. В этом-то городе и настал день, когда повязка упала с глаз обманутого мужа и он узнал то, что давно уже не было тайной ни для кого, кроме него.

Следствием этого открытия была дуэль. Противник Ивана Осиповича был тяжело ранен и вскоре умер, а Лысенко был заключен под продолжительный арест, но вскоре, впрочем, выпущен на свободу. Все знали, что оскорбленный супруг защищал свою честь.

В то же время он начал дело о разводе. Станислава Феликсовна не выказала ни малейшего сопротивления. Вообще она не смела даже приблизиться к мужу, так как дрожала перед ним с того часа, как он потребовал ее к от-

вету. Но она делала отчаянные попытки удержать за собой ребенка и вела из-за него борьбу не на жизнь, а на смерть. Все оказалось напрасно.

Сын был безусловно отдан отцу, и тот с неумолимой жестокостью не позволял матери даже приближаться к нему. Станиславе Феликсовне ни разу не удалось видеть сына.

Наконец, убедившись, что ничего не добьешься, она вернулась в Варшаву к родственникам — ее мать и отчим умерли в Петербурге, а сводная сестра жила в этом городе и вращалась в придворных сферах. Казалось, Станислава Феликсовна навеки умерла для своего бывшего мужа и вдруг теперь, совершенно неожиданно, снова появилась в России, где ее муж уже занимал довольно видный военный пост.

Прошло около недели со дня первого свидания молодого Лысенко с его матерью. В гостиной княжеского дома Полторацких сидела Васса Семеновна, а напротив нее помещался полковник Иван Осипович Лысенко, только что приехавший из Москвы. Должно быть, предмет разговора был серьезен и неприятен,

потому что Иван Осипович мрачно слушал хозяйку. Княгиня говорила:

— Перемена в Осе бросилась мне в глаза уже несколько дней тому назад. Первое время его просто обуздать нельзя было, так что я раз даже пригрозила отослать его домой, и вдруг он совсем повесил голову, не затевал больше никаких глупостей, по целым часам рыскал один по лесу, а возвратившись домой, спал с открытыми глазами, — приходилось положительно будить его. Брат решил, что он начинает делаться благоразумнее, я же сказала: «Дело нечисто, тут что-нибудь да кроется» — и принялась за Люду и Таню, которые тоже казались какими-то странными и, очевидно, были в заговоре. Они, оказывается, застали их в роще, и Осип взял с них слово, что они будут молчать. Девочки действительно молчали. Они признались только тогда, когда я пристала к ним, что называется, с ножом к горлу.

— А Осип? Что он сказал? — неожиданно прервал ее Иван Осипович.

— Ничего, потому что я и не заикалась ему об этом. Он, разумеется, спросил бы меня, по-

чему же ему нельзя видаться с родной матерью, а на такой вопрос может ответить только отец.

— Вероятно, он уже получил ответ, — с горечью произнес Лысенко. — Только едва ли ему сказали правду.

— Вот этого-то я и боялась, а потому, как только узнала всю историю, не теряя ни минуты, известила вас. Что же теперь делать?

— Ну, конечно, я приму меры, — ответил Иван Осипович с деланным спокойствием. — Благодарю вас, княгиня, я точно предчувствовал беду, когда получил ваше письмо, так настоятельно призывавшее меня сюда. Сергей был прав, я ни в каком случае не должен был отпускать от себя сына ни на час; но я надеялся, что здесь, в Зиновьеве, он в безопасности. Осип так радовался поездке, так ждал ее, что у меня не хватило духу отказать ему в ней. Вообще он только тогда весел, когда я далек от него.

В последних словах слышалась глухая боль, но княгиня Васса Семеновна только пожала плечами.

— Не он один виноват в этом, — сказала

она. — Я тоже строго веду свою девочку, но тем не менее она знает, что у нее есть мать и что она дорога ей. Осип же не может сказать того же о своем отце, он знает вас только со стороны строгости и неприступности, если бы он подозревал, что в глубине души вы обожаете его...

— То сейчас же воспользовался бы этим, чтобы обезоружить меня своею нежностью и ласками. Неужели мне допустить, чтобы он стал повелевать и мною так же, как всеми, кто только имеет дело с ним? Товарищи слепо повинуются ему, хотя он своими шалостями часто подводит их под наказание. Даже учителя относятся к нему особенно снисходительно. Я единственный человек, которого он боится, а вследствие этого и уважает.

— И вы надеетесь одним страхом справиться с мальчиком, которого мать, без сомнения, осыпает безумными ласками? Не отворачивайтесь, Иван Осипович, вы знаете, что я никогда не произносила при вас имени Станиславы, но теперь, когда она сама явилась сюда, поневоле приходится говорить о ней. Откровенно скажу вам, что ничего иного

нельзя было ожидать с тех пор, как она опять здесь. Держать Осю при себе ни к чему не привело бы, потому что шестнадцатилетнего мальчика нельзя уже охранять, как маленького ребенка, — мать нашла бы к нему дорогу. Да в конце концов она и права, и я поступила бы совершенно так же.

— Права! — горячо воскликнул Лысенко. — И это говорите вы, княгиня?

XX

Отец и сын

— Права, несомненно, права, — продолжала княгиня Васса Семеновна. — Это говорю я, потому что знаю, что значит иметь единственного ребенка. То, что вы взяли у нее мальчика, было в порядке вещей: подобная мать не пригодна для воспитания, но то, что теперь, через двенадцать лет, вы запрещаете ей видеться с сыном, — жестокость, внушить которую может только ненависть. Как бы ни была велика ее вина — наказание слишком сурово.

Иван Осипович мрачно смотрел в пол, ви-

димом чувствуя справедливость этих слов. Наконец он медленно произнес:

— Никогда не подумал бы я, что именно вы возьмете сторону Станиславы. Ради нее я когда-то жестоко оскорбил вас, разорвал союз.

— Который вовсе еще не был заключен, — поспешно прервала его княгиня. — Это был план наших родителей, и ничего больше.

— Но мы знали о нем с детских лет, и он нравился нам. Не старайтесь оправдать меня, княгиня, я слишком хорошо знаю, какой вред нанес тогда нам и... себе.

Княгиня Васса Семеновна устремила на него свои ясные карие глаза, которые покрылись влажным блеском.

— Будь по-вашему, Иван Осипович; теперь, когда мы оба давно уже покончили с юностью, я, конечно, могу признаться. Тогда я любила вас, и, вероятно, вы сделали бы из меня не совсем то, чем я теперь стала; я всегда была своевольной девушкой и нелегко поддавалась чьему-нибудь влиянию, но вам я покорила бы, может быть, вам одному в целом свете. Когда через пять лет после вашей свадьбы я пошла к алтарю с князем Полторацким,

судьба решила иначе. Она сделала меня главой семьи, обстоятельства, роковые обстоятельства узаконили это главенство — мой муж вскоре умер. Однако прочь все эти старые, давно прошедшие дела! Я не поставила их вам в вину, вы знаете это: мы, несмотря ни на что, остались друзьями, и если теперь вам нужно мое содействие или совет — я готова.

Она протянула ему руку. Он взял и почтительно поцеловал ее.

— Я знаю это, княгиня, но в таком деле я один могу решать и действовать. Прошу вас, позовите Осипа ко мне. Я поговорю с ним.

Княгиня встала и вышла из комнаты, бормоча на ходу:

— Если только не поздно! Тогда она сумела сделать отца глухим и слепым — теперь, наверное, она овладела уже сыном...

Минут через десять вошел Ося. Он затворил за собой дверь и остановился у порога. Иван Осипович обернулся.

— Подойди ближе, Осип, мне надо переговорить с тобой.

Мальчик послушался и медленно приблизился к отцу. Он знал уже, что Тане и Люде

пришлось покаяться и что его встречи с матерью стали известны, но робость, с которой он обыкновенно приближался к отцу, уступила сегодня место нескрываемому упорству. Это не ускользнуло от Ивана Осиповича. Он окинул долгим, мрачным взглядом красивую юношескую фигуру сына.

— Мой внезапный приезд, кажется, не удивляет тебя! — начал он. — Ты, может быть, даже знаешь, что привело меня сюда.

— Да, отец, я догадываюсь.

— Хорошо, в таком случае мы обойдемся без предисловия. Ты узнал, что твоя мать жива, она являлась к тебе, и ты встречаешься с ней — я все это знаю. Когда ты увидел ее в первый раз?

— Полторы недели тому назад...

— И с тех пор говорил с ней ежедневно?..

— Да, у лесного пруда...

Вопросы и ответы с обеих сторон были одинаково сдержанны и коротки. Сын привык к этой строго военной манере даже в разговорах с отцом, потому что тот не терпел лишних слов, ни колебанья, ни уклоненья в ответах. И сегодня Иван Осипович держал-

ся того же тона: он должен был скрыть от неопытного глаза сына свое мучительное волнение. Сын, в самом деле, видел только серьезное, неподвижно-спокойное лицо, слышал в голосе только холодную строгость.

Лысенко продолжал:

— Я не упрекаю тебя, потому что ничего не запрещал тебе в этом отношении; вопрос об этом пункте никогда даже не поднимался между нами. Но если дело зашло так далеко, я должен нарушить молчание. Ты считал свою мать умершей, и я допустил эту ложь, потому что хотел избавить тебя от воспоминаний, которые отравили мою жизнь: по крайней мере, твоя молодость должна была быть свободна от них. Это оказалось невозможным, а потому ты должен узнать теперь правду.

Иван Осипович на минуту остановился. Человеку с таким щекотливым чувством чести легче было бы перенести пытку, чем рассказывать собственному сыну о таком деле, но выбора не было — он должен был говорить.

— Еще молодым офицером я страстно любил твою мать и женился на ней против

воли своих родителей, которые не ждали никакого добра от брака с женщиной другой религии. Они оказались правы: брак был в высшей степени несчастным и кончился разводом по моему требованию. Я на это имел неоспоримое право, закон отдал сына мне. Более я не могу тебе сказать, потому что не хочу обвинять мать перед сыном. Удовольствуйся этим.

Хотя объяснение это было коротко и звучало жестко, но произвело на молодого Лысенко странное впечатление: отец не хотел обвинять перед ним мать, перед ним, который ежедневно выслушивал от нее самые горькие жалобы и обвинения против отца. Станислава Феликсовна, само собой разумеется, свалила всю вину в разводе на мужа и его неслыханное тиранство. В своем сыне она нашла даже чересчур жадного слушателя, так как его необузданная натура с трудом переносила строгость отца. И все-таки немногие серьезные слова последнего подействовали сильнее, чем все страстные излияния матери. Мальчик инстинктивно почувствовал, на чьей стороне правда.

— А теперь к делу, — продолжал Иван Осипович. — Что было содержанием ваших ежедневных бесед?

Осип, вероятно, не ожидал подобного вопроса. Густой румянец залил его лицо. Он молчал и глядел в пол.

— А, вот как, ты не смеешь повторять их мне! Но я все-таки хочу знать, отвечай, я приказываю!

Но мальчик все молчал и только еще крепче сжал губы. Глаза его с выражением мрачного упорства встретились со взглядом отца, который встал с кресла и подошел к нему совсем близко.

— Ты не хочешь говорить? Может быть, ты получил приказание молчать? Все равно, твое молчание говорит мне больше, чем слова; я вижу, какое отчуждение ко мне уже успели тебе внушить, ты будешь совсем потерян для меня, если я предоставлю тебя этому влиянию еще хоть ненадолго. Встречи с матерью больше не повторяются, я запрещаю их тебе; ты сегодня же уедешь со мной домой и останешься под моим надзором. Кажется ли тебе это жестоким или нет — так должно

быть, и ты будешь повиноваться.

Но Иван Осипович заблуждался, полагая, что сын, как всегда, покорится простому приказанию. В последние дни мальчик побывал в такой школе, где ему самым систематическим образом внушалось сопротивление отцу.

— Отец, этого ты не можешь и не должен мне приказывать! — горячо возразил он. — Она мне мать, которую я наконец нашел и которая одна в целом свете любит меня. Я не позволю отнять ее у меня так, как ее отняли у меня раньше. Я не позволю принудить себя ненавидеть ее только потому, что ты ее ненавидишь! Грози, наказывай, делай что хочешь, но на этот раз я не буду повиноваться, я не хочу повиноваться.

Весь необузданный, страстный темперамент юноши вылился в этих словах. Неприятный огонь снова пылал в его глазах, руки были сжаты в кулаки. Он дрожал всем телом под влиянием дикого порыва возмущения. Очевидно, он решился начать борьбу с отцом, которого прежде так боялся. Но взрыва гнева отца, которого ожидал сын, не последовало.

Иван Осипович смотрел на него серьезно и молчал с выражением немого упрека по взгляде.

— Одна в целом свете любит тебя! — медленно повторил он. — Ты, верно, забыл, что у тебя есть еще отец?

— Который не любит меня! — крикнул мальчик тоном, переполненным горечью. — Только теперь, когда я нашел свою мать, я знаю, что такое любовь.

— Осип!

Мальчик совсем опешил при звуке этого странного, дрожащего от боли голоса, который он слышал в первый раз. Горячая речь, готовая уже снова политься, замерла на его устах.

— Потому, что ты никогда не видел от меня нежностей, потому, что я воспитывал тебя серьезно и строго, ты сомневаешься в моей любви, — продолжал отец тем же тоном. — А знаешь ты, чего стоила мне эта строгость с единственным любимым ребенком?

— Отец!

Это восклицание звучало еще робко и нерешительно. Но это была уже не прежняя

робость, не страх. В голосе его слышалось что-то вроде зарождающейся симпатии и радостного недоверчивого изумления. Глаза сына, прикованные, не отрывались от глаз отца, который положил руку на его плечо и тихонько притягивал его к себе.

— Когда-то у меня было честолюбие, были гордые надежды на жизнь, великие планы и намерения. Со всем этим я покончил, когда меня поразили этот удар — от него мне никогда не оправиться. Если я еще живу и борюсь, то, кроме сознания долга, меня побуждает к этому только одно: мысль о тебе, Осип! В тебе все мое честолюбие, сделать твою будущность счастливой и великой — вот все, чего я еще требую от жизни. И она может быть великой, Осип, потому что твои способности не из обыкновенных, а твоя воля тверда и в дурном и в хорошем. Но есть и другие, опасные качества в твоей натуре, составляющие твоё несчастье, а не вину; они должны быть подавлены, если ты не хочешь, чтобы они пересилили тебя и повергли в бездну горя. Я обязан был быть строгим, чтобы обуздать эти опасные наклонности, но нелегко мне это было.

Лицо мальчика пылало. Задыхаясь, следил он за губами отца, как будто читал на них его слова. Наконец, он произнес шепотом, за которым чувствовался с трудом скрываемый восторг:

— Я не смел до сих пор любить тебя, ты был всегда так холоден, так неприступен, и я...

Он остановился и снова взглянул на отца, который обвил его плечо рукою и еще крепче прижал к себе. Их взгляды глубоко проникали в душу друг другу, и голос до сих пор такого сдержанного человека, как Лысенко, прерывался, когда он тихо произнес:

— Ты мое единственное дитя, Осип! Единственное, что мне осталось от мечты и счастья, которые исчезли, как сон, а взамен явилось разочарование и горечь. Тогда я многое потерял и все вынес; но если бы мне пришлось потерять тебя — я не перенес бы этого.

Сын, рыдая, бросился к отцу на грудь, а отец крепко обвил сына руками, как будто хотел удержать его навсегда. В этом горячем, страстном объятии все остальное было ими забыто. Оба забыли, что между ними грозно

стояла тень, выступившая из прошедшего, разлучая их. Они оба совершенно не заметили, что дверь комнаты тихонько приотворилась и точно так же опять закрылась. Осип все еще обнимал отца. Вся его робость и сдержанность сразу исчезли и уступили место бурной нежности. Он был увлекательно-мил, и может быть, отец не без основания опасался, чтобы эти ласки не лишили его твердости. Иван Осипович ничего не говорил, но время от времени целовал сына в лоб и не сводил глаз с прелестного, полного жизни лица, которое он крепко прижимал к груди.

Наконец сын тихо произнес:

— А... моя мать?

По лицу отца, казалось, пробежала тень, но он не выпустил сына из объятий.

— Твоя мать покинет Россию, как только убедится, что ты и впредь будешь оставаться вдали от нее, — отвечал он на этот раз без всякой жесткости в голосе, но совершенно твердо. — Ты можешь писать ей; я позволяю переписку с известными ограничениями, но личные встречи я не могу и не должен допускать.

— Отец, подумай...

— Я не могу, Осип, это невозможно!

— Неужели ты до такой степени ненави-
дишь ее? — с укором спросил юноша. — Ты
пожелал развод, а не она, — я узнал это от са-
мой матери.

Губы Ивана Осиповича вздрогнули. Горь-
кие слова у него были на языке. Он хотел воз-
разить, что развод был восстановлением че-
сти, но взглянул на темные вопросительные
глаза сына, и слова замерли на его устах. Он
не был в состоянии доказывать сыну винов-
ность матери.

— Оставь этот вопрос, — мрачно ответил
он. — Я не могу отвечать на него. Может быть,
впоследствии ты сам поймешь и оценишь мо-
тивы, руководившие мною; теперь я не могу
избавить тебя от тяжелой необходимости сде-
лать выбор — ты должен принадлежать ко-
му-нибудь одному из нас, с другим надо рас-
статься. Покорись этому не рассуждая, как во-
ле судьбы...

Юноша опустил голову. Он почувствовал,
что в настоящую минуту он ничего более не
добьется. Он, конечно, знал раньше, что

встречи с матерью прекратятся с возвращением его в корпус. Отец дозволил переписку, это была милость, на которую он не смел даже надеяться.

XXI

Честное слово

— Я скажу это матери, — ответил Осип Лысенко убитым тоном. — Теперь, когда ты все знаешь, я, конечно, могу открыто идти к ней.

Иван Осипович остолбенел. Он совершенно не подумал о возможности такого вывода.

— Когда же ты хочешь видеться с нею?

— Сегодня же у пруда. Она, наверное, уже там.

Иван Осипович боролся сам с собою. Что-то в глубине души предостерегало его, убеждало не допускать этого свиданья, и в то же время он сознавал, что было бы жестоко запретить его.

— Вернешься ты через два часа? — спросил он после довольно продолжительной паузы.

— Конечно, отец, даже раньше, если ты потребуешь.

— Так иди, — сказал он с глубоким вздохом.

Очевидно, ему было очень трудно уступить чувству справедливости и дать согласие на свидание.

— Как только ты вернешься, мы поедем домой: ведь и без того твои каникулы приходят к концу.

Мальчик, уже собиравшийся идти, вдруг остановился. Слова отца снова напомнили ему то, о чем он было совсем забыл в последние полчаса, — гнет ненавистной службы, опять ожидавшей его. До сих пор он не смел открыто высказывать свое отвращение к ней, но этот час безвозвратно унес с собою всю его робость перед отцом, а с нею сорвалась и печать молчания с его уст. Следуя вдохновению минуты, он воскликнул и снова обвил руками шею отца.

— У меня к тебе просьба, — прошептал он, — большая, большая просьба, которую ты непременно должен исполнить; я знаю, ты согласишься, в доказательство того, что ты

действительно любишь меня.

Между бровями Ивана Осиповича появилась складка. Он спросил с легким упреком:

— А, ты требуешь еще доказательств? Ну, посмотрим.

Сын еще крепче прижался к отцу. Его голос зазвучал той неотразимо-нежной лаской, благодаря которой отказать ему в просьбе было почти невозможно, а темные глаза выражали горячую мольбу.

— Позволь мне не быть военным, отец! Я не люблю дела, которому ты меня посвятил, и никогда не люблю его. Если до сих пор я покорялся твоей воле, то лишь с отвращением, с затаенным гневом; я чувствовал себя безгранично несчастным, только не смел признаться тебе в этом.

Складка на лбу отца углубилась. Он медленно выпустил сына из объятий.

— Другими словами, ты не хочешь повиноваться! — произнес он жестким тоном. — А тебе это нужнее, чем кому бы то ни было.

— Но я не могу выносить принуждений, — страстно возразил мальчик, — а военная служба не что иное, как постоянное принуж-

дение, каторга! Всем повинуйся, никогда не имей собственной воли, изо дня в день покоряйся дисциплине, неподвижно застывшей форме, которая убивает малейшее самостоятельное движение. Я не могу больше переносить этого! Все мое существо рвется к свободе, к свету и жизни. Отпусти меня, отец! Не держи меня больше на привязи: я задыхаюсь, я умираю.

Он не мог бы хуже защищать свое дело перед человеком, который был и душой и телом солдат. В последних неосторожных словах еще слышалась бурная, горячая просьба, рука Осипа еще обвивала шею отца, но тот вдруг выпрямился и оттолкнул его от себя.

— Я полагал, что военная служба вовсе не каторга, что быть военным — это честь! — резко ответил он. — Хорошо, нечего сказать, что мне приходится напоминать об этом родному сыну. Свобода, свет, жизнь! Уж не думаешь ли ты, что в шестнадцать лет имеешь право очертя голову броситься в водоворот жизни и упиваться всеми ее благами? Для тебя эта именно свобода была бы только распущенностью, твоей гибелью.

— А если бы так! — воскликнул юноша совершенно вне себя. — Лучше погибать на свободе, чем продолжать жизнь в такой неволе! Для меня служба — цепи, рабство...

— Молчать! Ни слова больше! — крикнул Иван Осипович так грозно, что мальчик замолчал, несмотря на свое странное возбуждение. — У тебя нет более выбора, потому что ты уже на службе и принял присягу; горе тебе, если ты забудешь это! Сначала ты должен получить офицерский чин и в качестве офицера исполнить свой долг, как и все твои товарищи, когда же ты достигнешь совершенных лет, я уже не буду иметь власти над тобой — выходи, если хочешь, в отставку, но для меня известие о том, что мой единственный сын уклонился от военной службы, будет смертельным ударом.

— Отец, неужели ты принимаешь меня за труса? — воскликнул юноша. — Если бы во время войны, в сражении...

— Тогда ты был бы безумно смел и слепо бросился бы в опасность; ты действовал бы на свой страх, который знать не хочет дисциплины, и своеволием погубил бы себя и всех

своих подчиненных. Знаю я это дикое, безмерное стремление к свободе и жизни, которое знать не хочет никаких границ и ни во что не ставит долг, знаю я, от кого наследовал ты его и к чему оно ведет. А потому я буду держать тебя «на привязи», все равно, ненавидишь ли ты ее или нет. Ты должен научиться покоряться, пока еще не ушло время, и ты научишься — даю тебе слово!

Его голос звучал непреклонно и сурово. Ни малейшего следа нежности и мягкости не осталось в его лице, и сын хорошо знал своего отца, чтобы еще раз попробовать просить или настаивать. Он ничего не ответил, но в глазах его вспыхнула демоническая искра, отнимавшая у них всю красоту, а на крепко сжатых губах появилось лукавое, злое выражение. Он молча повернулся и направился к двери. Иван Осипович следил за ним глазами. В душе его вдруг шевельнулось снова как бы предчувствие какого-то несчастья. Он окликнул сына:

— Осип, ведь ты вернешься через два часа, ты даешь честное слово?

— Да, отец!

Ответ был произнесен сердито, но твердо.

— Хорошо, я смотрю на тебя как на взрослого и согласен отпустить тебя на честное слово. Будь же точен.

Через несколько минут после ухода молодого Лысенко в комнату вошел Сергей Семенович Зиновьев.

— Ты один? — удивленно спросил он. — Я не хотел мешать тебе, но только что увидел, как Осип быстро пробежал через сад. Куда это он отправился так поздно?

— К матери, проститься с нею.

Зиновьев остолбенел от удивления при таком известии.

— С твоего согласия? — быстро спросил он.

— Конечно, я позволил ему.

— Какая неосторожность! Ты только что по опыту узнал, как Станислава умеет поставить на своем, а теперь опять оставляешь сына на ее произвол.

— На какие-нибудь полтора часа. Я не мог отказать ему в этом прощальном свидании. И чего ты боишься? Уж не насилия ли с ее стороны? Осип не ребенок, которого можно отнести на руках в экипаж и увезти, несмотря на

его сопротивление.

— А если он не будет сопротивляться?

— Он дал мне слово возвратиться через два часа... — выразительно сказал Иван Осипович.

Зиновьев пожал плечами.

— Слово шестнадцатилетнего мальчика...

— Который воспитан для военной службы и потому знает, что такое честное слово. Это совсем не беспокоит меня, мои опасения клонятся совсем в другую сторону.

— Сестра сказала мне, что вы наконец поладили... — заметил Сергей Семенович, бросая взгляд на сильно омраченное лицо друга.

— На несколько минут, а потом мне опять пришлось быть строгим, суровым отцом. Именно этот час показал мне, какая трудная задача покорить и воспитать такую необузданную натуру; но что бы там ни было, а я пересилю его.

Сергей Семенович подошел к окну и стал смотреть в сад.

— Уже смеркается, — заметил он, — а до лесного пруда, по крайней мере, полчаса быстрой ходьбы. Если это свидание неизбеж-

но, то ты должен был допустить его только в своем присутствии.

— Чтобы еще раз встретиться с Станиславой. Это невозможно. Этого я не хотел и не мог требовать.

— А если это прощанье кончится иначе, нежели ты предполагаешь! Если Осип не вернется?

— В таком случае он был бы негодяем, изменником своему слову, дезертиром, так как он уже состоит на службе. Не оскорбляй меня подобными предположениями, Сергей! Ведь ты говоришь о моем сыне.

— Осип также сын Станиславы. Впрочем, не будем спорить, тебя ждут в столовой. Ты хочешь уехать сегодня же?

— Да, через два часа, — твердо и спокойно отвечал Иван Осипович. — К этому времени Осип вернется, я за это ручаюсь.

Сергей Семенович печально улыбнулся, но не сказал ничего. Оба друга отправились в столовую.

На полях и в лесу уже ложились серые тени летних сумерек. Вдоль берега лесного пруда беспокойно двигалась взад и вперед жен-

ская фигура, закутанная в теплый плащ.

Станислава Феликсовна не обращала внимания на спускавшуюся сильную росу, все существо ее было полно лихорадочного ожидания. Она напрасно прислушивалась, не раздаются ли шаги. Кругом было все тихо.

С того дня, когда девочки застали их в роще вдвоем и они были принуждены посвятить их в тайну, Станислава Феликсовна назначала свиданья по вечерам, когда около пруда и в роще было совершенно пустынно. Но они все-таки расставались до наступления сумерек, для того чтобы позднее возвращение Осипа не возбудило в ком-нибудь подозрения. До сих пор Осип всегда был аккуратен, а сегодня мать ждала уже напрасно целый час. Задержал ли его случай или же их тайна была открыта?

С тех пор как о ней знали не они вдвоем, надо было постоянно ожидать катастрофы. Вокруг в роще царствовала могильная тишина, нарушаемая шорохом шагов ходившей тревожно по траве женщины. Под деревьями уже стали ложиться тени, а над прудом, где было еще светло, колебались облака тумана.

По ту сторону пруда лежал луг, скрывавший своей обманчивой зеленью топкое болото. Там туман клубился еще гуще, серовато-белая масса его поднималась с земли и, волнуясь, расстилалась дальше. Оттуда несло сыростью.

Наконец послышался слабый звук шагов, сначала совсем вдали, но они приближались к пруду со страшной быстротой. Скоро показалась стройная фигура юноши.

Станислава бросилась ему навстречу. Через минуту сын был в ее объятиях.

— Что случилось? — спросила она, по обыкновению осыпая его бурными ласками. — Отчего ты так поздно? Я уже потеряла надежду видеться с тобою сегодня! Что задержало тебя?

— Я не мог прийти раньше, — с трудом отвечал Осип, задыхаясь от быстрой ходьбы, — я прямо от отца.

Станислава Феликсовна вздрогнула.

— От отца? Так он знает?

— Все!

— Он в Зиновьеве?.. С каких пор? Кто известил его?

Мальчик наскоро рассказал, что случи-

лось. Не успел он кончить, как горький смех матери прервал его.

— Понятно, все они в заговоре, когда дело идет о том, чтобы отнять у меня мое дитя! А отец? Он, конечно, опять сердился, грозил и заставил тебя тяжелой ценой купить страшное преступление — свидание с матерью.

Юноша покачал головой.

Воспоминание о той минуте, когда отец привлек его к себе на грудь, было еще светло в его памяти, несмотря на горечь заключительной сцены.

— Нет, — тихо сказал он. — Но он запретил мне видеться с тобою и неумолимо требует нашей разлуки.

— Тем не менее ты здесь! О, я знала это.

В тоне этого восклицания слышалось почти ликование.

— Не радуйся слишком рано, мама, — с горечью произнес мальчик. — Я пришел только проститься с тобою.

— Осип!

— Отец знает об этом, он позволил мне пойти проститься, а потом...

— А потом он снова возьмет тебя к себе, и

ты будешь снова потерян для меня? Не так ли?

Мальчик не отвечал.

Он обеими руками охватил мать, и дикое, страшное рыдание вырвалось из его груди, рыдание, в котором было столько же гнева и горечи, сколько страдания.

— Ты плачешь? — произнесла Станислава Феликсовна, крепко прижимая к себе сына. — Я давно все предвидела; даже если дети нас не видели бы, все равно в день отъезда из Зиновьева к отцу ты был бы поставлен в необходимость или расстаться со мной, или решиться.

— Но что решиться?.. Что ты хочешь сказать? — с изумлением спросил сын.

Искушительница

Станислава Феликсовна нагнулась к сыну и, хотя они были одни, понизила голос до шепота.

— Неужели ты без всякого сопротивления подчинишься насилию, позволишь разорвать священную связь между матерью и ребенком и попать ногами нашу любовь? Если ты допустишь это сделать, в твоих жилах нет ни капли моей крови — ты не мой сын.

— Мама! — воскликнул мальчик.

— Он послал тебя проститься со мною, а ты терпеливо покоряешься да еще принимаешь его позволение за величайшую милость с его стороны, — перебила его Станислава Феликсовна. — Ты в самом деле пришел проститься со мной навсегда, в самом деле?

— Я должен! — с отчаянием прервал ее сын. — Ты знаешь отца и его железную волю, разве есть какая-нибудь возможность противиться ей...

— Если ты вернешься к нему, то нет, но

кто же заставляет тебя возвращаться?..

— Мама! Ради бога! — с ужасом воскликнул он, но руки матери еще крепче охватили его, а горячий, страстный шепот продолжал раздаваться над его ухом.

— Что так пугает тебя в этой мысли? Ведь ты только пойдешь за матерью, которая безгранично тебя любит и с той минуты будет жить исключительно тобой. Ты часто жаловался мне, что ненавидишь военную службу, к которой тебя принуждают, что с ума сходишь от тоски по свободе; если ты вернешься к отцу, выбора уже не будет: отец неумолимо будет держать тебя в оковах; он не освободил бы тебя, даже если бы знал, что ты умрешь от горя.

Ей не было надобности уверять в этом сына. Он знал это лучше ее. Всего какой-нибудь час назад он имел случай убедиться в непреклонности отца. В его ушах еще раздавались последние суровые слова:

— Ты должен научиться покоряться и научиться.

Его голос стал почти беззвучным от горечи, когда он отвечал.

— И все-таки я должен вернуться, я дал слово быть дома через два часа.

— В самом деле! — резко и насмешливо произнесла Станислава Феликсовна. — Так я и знала! То тебя считали не более как мальчиком, каждым шагом которого надо руководить; за тебя рассчитывали каждую минуту, ты не смел иметь ни одной самостоятельной мысли, теперь же, когда дело идет о том, чтобы тебя удержать, за тобой вдруг признают самостоятельность взрослого человека.

Она нервно захохотала. Сын со страхом и недоумением смотрел на нее.

— Ну, хорошо, — продолжала она, — так покажи же, что ты взрослый не только на словах — действуй как взрослый! Вынужденное обещание не имеет никакой силы: разорви же невидимую цепь, на которой тебя хотят удержать, — освободись...

— Нет, нет, — бормотал сын, возобновляя попытку вырваться из ее рук.

Но попытка эта была неудачна. Мать крепко держала его в объятиях.

— Пойдем со мной, Осип, — говорила она тем нежным, неотразимым тоном, который

делал ее, как и сына, чуть не всемогущей. — Я давно все предвидела и все подготовила; ведь я знала, что день, подобный сегодняшнему, настанет. В получасе ходьбы отсюда ждет мой экипаж, он отвезет нас на ближайшую почтовую станцию, и раньше, чем в Зиновьеве догадаются, что ты не вернешься, мы уже будем с тобой далеко, далеко...

— Нет, мама, нет, это невозможно...

Станислава Феликсовна, не слушая его, продолжала:

— Там свобода, жизнь, счастье! Я введу тебя в широкий вольный свет, и только тогда, когда ты узнаешь его, ты вздохнешь полной грудью и почувствуешь радость освобожденного из темницы узника.

— Мое слово, мама, мое слово...

Как бы не замечая возражений сына, мать продолжала:

— Я знаю, каково бывает на душе у такого счастливица, ведь и я носила цепи, которые сама сковала себе в безумном ослеплении; но я разорвала бы их в первый же год, если бы не было тебя. О, как хороша свобода! Ты на собственном опыте убедишься в этом.

Она прекрасно умела найти дорогу к желанной цели. Свобода, жизнь, счастье! Эти слова отзывались тысячным эхом в груди юноши, в котором до сих пор насильственно подавляли бурное стремление ко всему тому, что ему предлагала мать. Как светлая, очаровательная картина, залитая волшебным сиянием, стояла перед ним жизнь, которую рисовала ему Станислава Феликсовна. Стоило протянуть руку — и она была его.

— Мое слово... — еще продолжал бормотать он.

— Это ловушка...

— Отец будет презирать меня, если...

Она перебила его:

— Если ты достигнешь великой и славной будущности? Тогда явись к нему и спроси, осмелится ли он презирать тебя. Он хочет удержать тебя на земле, тогда как природа дала тебе крылья, которые уносят тебя под облака. Он не может понять твоей натуры, никогда не поймет. Неужели ты хочешь погибнуть из-за простого обещания?

— Но, мама...

— Пойдем со мной, Осип, со мной, для ко-

торой ты все! Пойдем на свободу.

Она увлекала его прочь, медленно, но неудержимо. Правда, некоторое время он еще противился, но вырваться ему не удалось. Под влиянием мольбы и нежности матери последний остаток сопротивления постепенно ослабел. Он последовал за ней. Через несколько минут у пруда было совершенно пусто. Мать и сын исчезли.

В то время, когда у берега лесного пруда происходило описанное нами объяснение между матерью и сыном, в столовой княгини Вассы Семеновны хозяйка дома, ее брат и полковник Иван Осипович Лысенко, казалось, спокойно вели беседу, которая совершенно не касалась интересующей всех троих темы. Эта тема была, конечно, разрешенное отцом свидание сына с матерью. Иван Осипович не касался этого предмета, а другим было неловко начинать в этом смысле разговор.

Сергей Семенович иногда серьезно, с искренним сожалением поглядывал на своего друга. В душе у него сложилось полное убеждение, что мать одержит победу над сыном и что последний не вернется. Княгиня Васса Се-

меновна думала то же самое, хотя и не успела объясниться с братом ни одним словом по этому вопросу. И брат и сестра слишком хорошо знали Станиславу Феликсовну.

Время шло. Иван Осипович, видимо, сильно нравственно ломавший себя, стал нервно двигаться на стуле и чутко прислушиваться к малейшему шуму, долетавшему из сада. Поднявшийся легкий ветерок шелестел деревьями, и только. Густые сумерки стали ложиться на землю. Слуги зажгли в столовой огни.

Назначенные отцом сыну два часа миновали. Разговор между тремя собеседниками еще продолжался, но все чаще и чаще стал обрываться не только на полужае, но и на полуслове. Напряженное состояние духа собеседников достигло высшей степени. Его совершенно неожиданно разрешил Иван Осипович.

— Лошади, вероятно, готовы... — вдруг встал он.

— Лошади...

— Какие лошади?..

Это повторение слов невольно сорвалось с губ и брата и сестры. Иван Осипович мрачно

посмотрел на них.

— Лошади, которые могли бы меня отвезти в Тамбов, а оттуда в Москву. Мне, как я уже говорил, необходимо уехать сегодня же, я и так заговорился с вами и опоздал на целый час.

— А сын? — невольно вырвалось у Сергея Семеновича.

— У меня нет сына, — ледяным голосом произнес Иван Осипович.

Княгиня Васса Семеновна переглянулась с братом, но оба они не сказали ни слова. Они хорошо поняли, что Иван Осипович убедился сам, что сын нарушил данное им слово и перешел на сторону матери. Тогда действительно он мог считаться погибшим для отца. Тогда действительно у Ивана Осиповича не было больше сына.

— У меня нет сына!

Эта фраза, казалось, так и осталась висеть в атмосфере комнаты, атмосфере тяжелой и неприветной, какая чувствуется лишь тогда, когда в доме произносят роковое слово «умер». Все трое стояли несколько минут как окаменелые. Первая прервала эту томитель-

ную паузу княгиня Васса Семеновна, дернув сонетку.

— Вели подавать лошадей... — приказала она явившемуся лакею.

Иван Осипович стал прощаться. С почти-тельностью и с какой-то особой нежностью поцеловал он руку хозяйки дома. Прощанье с другом было, видимо, для него тяжелее. Он нервно обнял его, несколько раз поцеловал и тотчас отвернулся. От прозорливого Сергея Семеновича не ускользнула предательская слезинка, появившаяся на реснице Ивана Осиповича. Последний, впрочем, резким движением головы смахнул ее и твердой, ровной походкой вышел в переднюю, а затем на крыльцо, у которого уже позвякивала бубенцами и колокольчиками княжеская тройка сытых лошадей с блестящей шерстью.

— Прощайте!.. — крикнул Иван Осипович вышедшим проводить его на крыльцо княгине и Сергею Семеновичу.

Ямщик крикнул:

— С Богом.

Лошади тронулись...

Княгиня и ее брат молча стояли на крыль-

це, вдыхая легкую свежесть теплого июльского вечера, как бы дыша полной грудью после пройденного трудного пути с тяжелой ношей. Звук колокольчика и бубенцов удалявшейся тройки по мере его удаления точно снимал с них именно тяжелую ношу. Наконец эти звуки замолкли.

Брат и сестра вернулись в столовую. Они молча вошли и молча сели на свои места. Стул, на котором только что сидел Иван Осипович Лысенко, так и стоял отодвинутым вкось быстрым его движением, когда он совершенно неожиданно встал прощаться.

— Нелегко ему, бедному! — прервала молчание княгиня Васса Семеновна.

— Да-а-а... — протянул Сергей Семенович. — Он сам виноват... Зачем было отпускать сына... Я говорил ему... Он рассердился...

— Что же он сказал?

— Он заявил, что уверен, что Осип вернется, так как тот дал ему честное слово. Но он не принял во внимание, что мальчик уже вторую неделю находится под влиянием женщины, для которой слово «честь» не существует.

— Не слишком ли вы строги к ней, — заме-

тила княгиня. — Она прежде всего мать, господа.

— О, как часто женщины злоупотребляют этим словом, — горячо возразил Зиновьев. — Разве мать не должна жертвовать своим личным «я» для пользы своего ребенка?

— Я тебя не понимаю.

— Разве она не понимает, что отец, конечно, скорее выведет сына на честную дорогу, нежели она, бездомная скиталица, разведенная жена... Как бы она ни была настроена враждебно против своего мужа, она не может усомниться в одном, в его честных правилах... Где она была восемь лет? Почему только теперь ей понадобился сын? Нет, это возмутительно... Мальчик погиб не только для Ивана, он погиб для всех...

— Кто знает! Быть может, она сама уже не прежняя, давно исправилась... — возразила княгиня Васса Семеновна.

— Женщины никогда не исправляются! — отрезал Зиновьев.

Придворные интриги

Мы уже говорили, что с воцарением Елизаветы Петровны немецкий гнет, более десяти лет тяготевший над Россией, был уничтожен мановением прелестной, грациозной ручки дочери Великого Петра. Елизавета Петровна отличалась добротой своей матери, отращиванием к крови, здравым смыслом и умением выбирать людей. Она сохранила на престоле ту любовь к своей родине, ту простоту Петра I, которые стяжали ей имя «матушки» у народа.

Ее двор был отрицанием «Домостроя». Он подчинялся овладевшему тогда Европой влиянию Франции. Пышность, блеск, увеселения, маскарады, оперы, водевили, возникшие при Анне Иоанновне в грубом виде, достигли версальского изящества. Тогда же была изобретена и известная роговая музыка.

Императрица сама переодевалась несколько раз в день, в ее гардеробе было до 15 тысяч шелковых платьев. Она любила сидеть перед

зеркалом, болтая вздор, слушая сплетни дипломатов.

Проходили месяцы, пока министр удоставлялся доклада. В глубине души это была настоящая русская помещица. По вечерам Елизавета Петровна была окружена бабами и истопником, которые тешили ее сказками и народными прибаутками. От балов она переходила к томительному богослужению, от охоты к «богомольным походам». Она благоговела перед духовенством и часто жила в Москве.

Когда даже на второстепенное место представляли иностранца, она спрашивала:

— Разве нет русского?

При Елизавете Петровне возникла русская литература, науки и высшее образование, а внешняя политика отличалась национальным направлением. В проповедях, академических речах, рукописных листках справедливо говорилось: «Промысел спал, государственное управление дремало; уничтожались дела Петра I, коронами играли как мячами. Теперь восстаньте, сыны отечества, верные россы!»

Елизавета Петровна начала с объявления, что она останется девицей, а наследником назначает своего племянника, сына Анны Петровны, который тотчас же был выписан из Голштинии и обращен в православие под именем Петра Федоровича. Это был тот самый «чертушка», который, если припомнит читатель, смущал покой Анны Леопольдовны.

Наряду с этим при дворе интриги были в полном разгаре. Никогда до сих пор не представлялось такого простора для всяких мелких доносов, наушничества, пронырства и каверз. Первую роль играли женщины: Мавра Егоровна Шувалова, Анна Карловна Воронцова, Настасья Михайловна Измайлова и другие.

От женщин не отставали и мужчины. Немедленно по воцарении Елизаветы Петровны образовались партии, только и думавшие о том, как бы одна другую низвергнуть. Вражда их забавляла государыню, и часто пересказами старалась она еще более возбуждать противников друг перед другом.

С одной стороны стояли представители со-

юза с Францией, к которым присоединилась еще голштинская свита наследника престола, с другой — Бестужев, опиравшийся на Разумовского. Сам же Алексей Григорьевич не принимал участия в сплетнях и интригах придворных. Они были противны его добродушной и честной натуре. Его близкими приятелями были Бестужев и Степан Федорович Апраксин, но тем не менее в дела государственные он не вмешивался, а Бестужева любил потому, что в нем, несмотря на его недостатки, природным инстинктом чуял самого способного и полезного для России деятеля.

Первая стычка между двумя партиями имела следствием несчастное Лопухинское дело. Герману Лестоку во что бы то ни стало хотелось уничтожить соперника, им же самим возвышенного. Он ухватился за пустые придворные сплетни, надеясь в них запутать вице-канцлера и тем повредить Австрии. Надо заметить, что в числе осужденных на смертную казнь, но помилованных вошедшей на престол своего отца Елизаветой Петровной, был и граф Левенвольд, казнь которого заменена была ему ссылкой в Сибирь.

Негодование и досада овладели близкой к нему женщиной — Натальей Федоровной Лопухиной. Она отказалась от всех удовольствий, посещала только одну графиню Бестужеву, родную сестру графа Головкина, сосланного также в Сибирь, и, очень понятно, осуждала тогдашний порядок вещей. Этого было достаточно. Лесток и князь Никита Трубецкой стали искать несуществующий заговор против императрицы в пользу младенца Иоанна.

Агенты Лестока — Бергер и Фалькенберг — напоили в одном из гербергов подгулявшего юного сына Лопухиной и вызвали его на откровенность. Лопухин дал волю своему языку и понес разный вздор. Из этого же вздора Лесток составил донос или, лучше сказать, мнимое Ботта-Лопухинское дело.

Лесток и Трубецкой старались замешать в это дело кроме Бестужева и бывшего австрийского посла при нашем дворе маркиза Ботта д'Адорна, который был в хороших отношениях с Лопухиной, и выставить их как главных зачинщиков. Концом процесса было осуждение Лопухиных: Степана, Наталью и Ивана

бить кнутом, вырезать язык, сослать в Сибирь и все имущество конфисковать.

Казнь Лопухиной описывает современник-иностранец. Казнь происходила на Васильевском острове, у зданий 12 коллегий, где теперь университет. Наталья Федоровна была в полном смысле красавица.

«Простая одежда, — говорит очевидец, — придавала блеск ее прелестям. Один из палачей сорвал с нее небольшую епанчу, покрывавшую грудь ее; стыд и отчаяние овладели ею, смертельная бледность показалась на челе ее, слезы полились ручьями. Вскоре обнажили ее до пояса ввиду любопытного, молчаливого народа; тогда один из палачей нагнулся, между тем другой схватил ее руками, приподнял на спину своего товарища, наклонил ее голову, чтобы не задеть кнутом. После кнута ей отрезали часть языка».

Наталья Федоровна Лопухина очень пострадала от наказания, потому что отбивалась от рук палача. При казни палач, когда вырвал ей часть языка, громко крикнул, обращаясь с насмешкой к народу:

— Купите, дешево продам.

Бестужева, однако, дело это не сломило.

После описанной трагической развязки этого процесса двор переехал в Москву. Через несколько недель, весной 1744 года, приехала принцесса Ангальт-Цербст-Бернбургская, Иоанна-Елизавета с дочерью Софией-Августой-Фредерикой. Приезд этот был неожиданным ударом для Бестужева, мечтавшего о брачном союзе для наследника престола с принцессой Саксонской.

В то же самое время миропомазание принцессы Софии, принявшей с православием имя Екатерины Алексеевны, было последним торжеством Лестока.

Во время пребывания двора в Москве, 12 мая 1744 года, императрица подарила Алексею Григорьевичу село Перово и деревни Татarki и Тимохово, а также и двор Гороховский на земле Спасо-Андроньевского монастыря, отобранной прежде в военную канцелярию, но с тем, чтобы за землю платить монастырю оброчные деньги.

Государыня, как мы знаем, любила посещать Перово и гостила там иногда довольно долго. Там Елизавета Петровна любила поте-

шаться соколиной и псовой охотой, на которую приглашались часто чужестранные министры и некоторые из знатных особ обоего пола. В те времена Перово было не то, что теперь. Там красовались великолепный дворец, роскошный тенистый сад с дорогими растениями, беседками, фонтанами, статуями и прочее. Длинный проспект проведен был вплоть до Измайловского зверинца. Здесь государыня охотилась, а в самом Перове любила смотреть на игры и хороводы крестьян.

Мы уже имели случай заметить, что Алексей Григорьевич Разумовский в государственные дела вмешиваться не любил. Он понимал, что высшие правительственные соображения не при нем писаны, что он к этому делу не подготовлен, и поэтому ограничивался тем, что передавал государыне бумаги Бестужева да не пропускал случая замолвить за него доброе словцо. К тому же свойственная всем истым малороссиянам лень еще более отстраняла его от головоломных занятий.

Были, однако, два вопроса, которые его задевали за живое. Для них он забывал свою природную лень и отвращение к делам и сме-

ло выступал вперед, не опасаясь из-за них докучать государыне.

Первый вопрос касался до дел духовных и духовенства. Благодаря Разумовскому влияние духовенства на набожную и суеверную Елизавету приняло огромные размеры.

«Первейший тогда, в особой милости и доверенности у Ее Императорского Величества находящийся, господин обер-егермейстер граф Алексей Григорьевич Разумовский, — говорит князь Яков Петрович Шаховской, — приятственно с духовными лицами обходился и в их особых надобностях всегда представителем был».

«Первый тогда фаворит, — говорит он далее, — Святого Синода членам особливо благосклонен был и неотрицательно по их домогательствам и прошениям всевозможны у Ее Величества предстательства и заступления употреблять».

Протоиерей Дубянский и архиепископ Амвросий не ошиблись в своем расчете и имели у трона действительного и скорого защитника и ходатая. Это заступничество, вопреки жалобам Шаховского, имело отчасти и плодо-

творные результаты. Если не по инициативе Разумовского, то, по крайней мере, через его посредство учреждена была в Свяжске особая комиссия с целью распространения христианства в среде инородцев. Миссионеры посылались и в Сибирь, и на Кавказ, и в Камчатку. Из татар Казанской губернии, благодаря неутомимой деятельности архимандрита Дмитрия Степанова, возведенного впоследствии, и весьма вероятно по представительству Разумовского, на новгородскую кафедру, крестилось 360 тысяч человек, и много также калмыков приняли веру христианскую.

В «Ведомостях» постоянно появлялись известия о присоединении к православию, и государыня очень часто бывала крестною матерью. Доброе семя было брошено и начало уже пускать корни. Вслед за принятием христианства неминуемо последовало окончательно обрусение края. К сожалению, благие начала эти не принесли доброго плода и благодаря равнодушию следующих царствований прошли без следа.

Рядом с учреждением миссий упомянем еще об основании в Астрахани семинарии

для приготовления проповедников между иноверцами, о печатании Евангелия, о молитвенниках для грузин и, наконец, о новом издании всей Библии, не появлявшейся в печати с самого 1663 года.

К сожалению, это религиозное настроение имело и темную сторону. Набожностью императрицы и Разумовского для достижения своих целей беспрестанно пользовались хитрые интриганы. Конечно, религиозные убеждения Алексея Григорьевича были самые искренние. Вера его была чиста и изливалась из глубины души его, но нельзя не сказать, что при всем его желании добра отсутствие всякого образования служило ему помехой. Он был часто орудием ловких и властолюбивых царедворцев и лиц, прикрытых рясою, конечною целью которых было по большей части не истинное благо духовенства и преуспевание веры Христовой, а достижение лишь выгод и личное влияние на дела.

Этим объясняется то, что, несмотря на исключительное положение некоторых духовных лиц при дворе, во все продолжение царствования Елизаветы Петровны и на постоян-

ное благорасположение к ним государыни и непрестанное ходатайство за них Разумовского, собственно для улучшения всего духовенства и рационального усиления его влияния было сделано или ничего, или так мало, что не стоит об этом упоминать.

Другой вопрос, возбудивший живое участие в Алексее Григорьевиче, были дела Малороссии. Здесь он действовал совершенно самобытно, руководимый единственно страстной любовью к родине. При дворе никто не обращал внимания на отдаленную Украину, до нее никому не было дела, и она, еще столь недавно пользовавшаяся правами свободы, стенала под игом правителей, посылаемых из Петербурга. Права ее были забыты, и, по свидетельству Георгия Кониского, страшным образом отозвался на ней ужас «бироновщины».

В Петербург прибыли депутаты от Украины с поздравлением с совершившимся священным коронованием Елизаветы Петровны. Прием, оказанный им, льготы, ими привезенные, рассказ о силе и влиянии Разумовского при дворе, о любви его к родине и всегдаш-

ней готовности хлопотать и стоять за земляков произвели сильное впечатление в Малороссии. Вседохнули привольнее, во всех сердцах зародились надежды на будущие блага, и «генеральные старшины» громко стали поговаривать об избрании гетмана.

По отъезде депутатов-земляков Алексей Григорьевич загрустил по родине и стал думать только о том, как бы ему побывать в Малороссии.

Малейшие желания тайного супруга императрицы были законом для двора.

Елизавета Петровна сама решила посетить Киев.

XXIV

«Малороссийский поход»

Путешествие Елизаветы Петровны в Малороссию, или, как тогда выражались, «поход», началось 27 июня 1744 года, в семь часов вечера.

Императрица выехала из Москвы. Поезд государыни был огромный. Ее сопровождали Разумовский, гофмейстер Шепелев, граф Салтыков, Федор Яковлевич Дубянский, два архиепископа, графиня Румянцева, князь Александр Михайлович Голицын, граф Захар Григорьевич Чернышев, Брюммер, Берхгольц, Декен и другие. Вся свита состояла из 230 человек.

Старшины генеральные взяли было на себя поставку лошадей и провизии на станциях от Глухова до Киева. Решено было подготовить 4 тысячи лошадей, но Алексей Григорьевич писал к Бибикову, что всех лошадей нужно будет 23 тысячи, так что принуждены были их собирать с обывателей. Интересно, сколько какой провизии для этой свиты было

положено поставить каждому старшине: «Вина воложского два ведра, крымского — 2, яловиц — 2, телят — 2, волухов — 10, ягнят — 8, каплунов — 10, курчат — 50, индеек — 4, гусей — 7, уток — 20, масла — 1 пуд, ветчины — 4 окорока, муки пшеничной — 1 четв., муки ситной — 2 четв., грибов — 500, патоки — 15 фунт., водки двойной — 10 ведер, круп гречневых — 3 четверика, пшена — три то же, сала полпуда».

Перед государыней проехали великий князь с высоконареченной невестой и принцессой Ангальтской и сперва в Козельске, а потом в Глухове дожидались проезда императрицы.

Начало путешествия было неблагоприятно. Открылся, или, вернее, уверили государыню, что был открыт заговор. Многие лица из свиты прямо с дороги отправлены были в ссылку. Благодаря этому Елизавета Петровна сначала была в очень дурном расположении духа, но туча разошлась дорогой, и уже в Малороссии рассеялись последние следы бури.

Еще до приезда государыни стали ходить по полкам челобитные об избрании нового

гетмана.

Прием, сделанный императрице в Толсто-дубове, под Глуховом, на самом рубеже Украины, был великолепен. Десять полков регистровых, два компанейских и несколько отрядов из надворной гетманской хоругви, генеральные старшины и бунчуковые товарищи, между которыми были и новопожалованные: закройщик Будлянский, ткач Закревский и казаки Стрешенцевы и Дараган, игравшие теперь первую роль на родине, расположились лагерем в шесть верстах от Ясмани. Полки были выстроены в одну линию, в два ряда.

Первый полк, отсалютовав царице знаменами и саблями, обскакивал весь фронт и другой полк и останавливался за последним; второй делал то же, и, таким образом, государыня видела неразрывную цепь полков до Глухова. Войска были одеты заново, в синих черкесках, в широких шальварах, в разноцветных, по полкам, шапках. Государыня выходила из коляски, пешком обходила все команды и ночевала в палатках под Ясманью.

Из Ясмани государыня изволила ехать в Глухов. Доехав до городских ворот, государы-

ня вышла из кареты. Здесь ее приветствовал архиепископ черниговский. Потом она пошла пешком в Девиный монастырь, где слушала обедню и где предику читал архиерей Черниговский. Из монастыря с тою же церемонией государыня отправилась в карете на монастырский двор, где была аудиенция всем старшинам. Приветственную речь читал Михаил Скоропадский. После аудиенции был обед и вечером танцы и «изволила веселиться, — говорит Маркович, — танцами наших жен, польскими и казацкими».

На другой день после приезда государыни подано было ей через Разумовского прошение о гетмане. В тот же день Елизавета Петровна поехала далее, милостиво приняв прошение.

Такие же встречи были в Кролевецe, где она ночевала, в Нежине и в Козельце.

Из Киевской академии были выписаны «вертепы». Певчие пели, семинаристы представляли зрелища божественные в лицах и пели поздравительные кантаты. Есть предание, что в Козельце государыня останавливалась на долгое время у матери Алексея Григорьевича — Натальи Демьяновны и что в ко-

зелецком ее доме, принадлежавшем затем Л. П. Галагану, хранилось то кресло, на котором сидела государыня.

Во время пребывания своего в Козельце Елизавета Петровна еще ближе познакомилась с семейством Алексея Григорьевича, и из сестер его особенно пришлась ей по сердцу Анна Григорьевна Закревская. За шестьдесят верст от Киева представлялись императрице несколько избранных лиц духовенства и гражданства киевского.

Встреча в самом Киеве, 29 августа, была чрезвычайно торжественна. В ней приняло участие все население города. Воспитанники духовной академии ожидали Елизавету Петровну в виде греческих богов, героев и даже мифологических животных. С помощью машин, частью выписанных, частью собственного изобретения, произведены были разные удивительные явления. Так, между прочим, выехал за город седовласый старик в богатой одежде, с короной на голове и жезлом в руках. Он представлял князя киевского Владимира Великого, приветствовал государыню, как свою наследницу, пригласил ее в город и

поручил ей весь русский народ. Он сидел на колеснице, названной «Божественный фэтон», в который были запряжены два поэтических крылатых коня, или Пегаса. Все полковники на дистанциях до Киева с полчанами своими подавали прошения о гетмане.

Государыня в Киеве оставалась две недели. Она была в восторге от приема и от самого Киева и однажды произнесла всенародно:

— Возлюби меня, Боже, в царствии небесном Твоем, как я люблю народ сей, благонравный и незлобивый.

Она посещала церкви и монастыри, где оставляла богатые вклады, собственноручно золотила великолепную церковь Андрея Первозванного и повелела строить в Киеве дворец. На возвратном пути государыня опять посетила Козелец и пригласила Наталью Демьяновну с дочерьми в Петербург на свадьбу наследника престола. В Глухове Елизавета Петровна провела двое суток и крестила там сына у генерального есаула и дочь у генерального бунчужного Демьяна Оболонского. В Глухове же при дворе праздновалась свадьба Пустоты с дочерью вальбельского сотни-

ка Тризны. В ответ на прошение о гетмане старшинам генеральным было приказано прислать в Петербург торжественную депутацию ко дню бракосочетания наследника.

Вскоре по возвращении из «малороссийского похода» стали готовиться к бракосочетанию великого князя. И без того безумная роскошь двора того времени приняла особенные размеры. Всем придворным чинам за год вперед было выдано жалованье, так как они «по пристойности каждого свои экипажи приготовить имеют». Именным указом было повелено знатым обоего пола особам изготовить богатые платья, кареты цугом и прочее.

«И понеже сие торжество через несколько дней продолжено быть имеет, то хотя до оно-го каждой персоне как мужской, так и дамам, по одному новому платью себе сделать надобно».

Впрочем, всемилоостивейше дозволялось делать и более. Служителей же при экипажах по нижеписанной пропорции иметь: первого и второго классов персонам у каждой кареты по два гайдука и от восьми до двенадцати лакеев, кто сколько похочет, токмо не менее

восьми было, также по два скорохода и кто может еще по два или по одному пажу и по два егеря, и так далее. По этому расписанию даже лица четвертого класса обязаны были иметь не менее четырех лакеев.

Из Парижа было выписано подробное описание всех церемоний празднеств и банкетов, бывших при свадьбе дофина с инфантой испанской, а из Дрездена все рисунки, программы, объявления тех торжеств, которыми во время правления роскошного Августа II сопровождалось бракосочетание сына его, царствовавшего в то время короля польского.

Государыня страстно любила празднества. При дворе бывали постоянно банкеты, куртаги, балы, маскарады, комедии французская и русская, итальянская опера и прочее. Все они делились на разные категории. Каждый раз определялось, в каком именно быть костюме: в робах, шлафорах или самарах — для дам, в цветном или богатом платье — для мужчин.

Два раза в неделю бывали при дворе маскарады, один для двора и для тех лиц, которых государыня удостоивала приглашениями, другой для шести первых классов и знат-

ного шляхетства. Кроме того, бывали часто публичные праздники для дворянства. Иногда на них допускалось и купечество и всякого звания люди, кроме людей боярских. На эти маскарады дамы должны были являться в доминах с «баутами» и «быть на самых маленьких фижмочках, то есть чтобы обширностью были малые». Строго запрещалось приносить с собой малолетних и употреблять в убранстве хрусталь и мишуру. Дозволялось являться в приличных масках и платьях маскарадных, «точию, кроме пилигримского, арлекинского и непристойных деревенских». На праздниках этих «знатная маска» отделялась от «вольной маски».

Даже французы, которые в то время гордились Версалем и его праздниками, не могли надивиться роскоши русского двора. На этих балах и маскарадах часто разыгрывались лотереи, и почти всегда садились за ужин по билетам, которые раздавались гостям, так что случай решал, какому кавалеру сидеть около какой дамы.

Банкет был великолепный. Обыкновенно среди фигурного стола делали «преизрядный

фигурный фонтан с каскадами, который во все время кушанья игранием воды продолжался и около каскад установлено бывало премножество налитых белым воском шкаликов, которые в то время были зажжены; также в зале и галерее в паникадилах и кронштейнах зажжены бывали премножество белого воска свеч».

В 1744 году Елизавета Петровна вздумала приказать, чтобы на некоторых придворных маскарадах все мужчины являлись без масок, в огромных юбках и фижмах, одетые и причесанные, как одевались дамы на куртагах. Такие метаморфозы не нравились мужчинам, которые бывали оттого в дурном расположении духа. С другой стороны, дамы казались жалкими мальчиками. Кто был постарее, тех безобразили толстые и короткие ноги.

Но мужской костюм очень шел к государыне, и несчастные дамы и кавалеры должны были покориться судьбе своей. При высоком росте и некоторой полноте Елизавета Петровна была чудно хороша в мужском наряде. Ни у одного мужчины не было такой прекрасной ноги; нижняя часть особенно была необычно-

венно стройна.

Государыня во всяком наряде умела придавать движениям своим особенную прелесть. Она танцевала превосходно и отличалась в особенности в менуэтах и русской пляске. Известный в то время балетмейстер Ланде говорил, что нигде не танцевали менуэта лучше, чем в России. Кокетство было тогда в большом ходу при дворе, и все дамы только и думали о том, как бы перещеголять одна другую. Императрица первая подавала пример щегольства, но при этом никто не смел одеваться и причесываться так, как государыня. О прическе и нарядах дам издавались особые высочайшие указы, ослушницам которых грозило чувствительное наказание, а главное, гнев императрицы, которую обожали. Указы эти отчасти старались ограничить издержки частных лиц, но, увы, они в этом смысле не достигали цели; указы исполнялись, а роскошь все усиливалась.

Кирилл Разумовский

В этот-то водоворот великосветской придворной жизни тогдашнего Петербурга и окунулся сразу младший брат Алексея Григорьевича — Кирилл, только что вернувшийся из-за границы. Он был отправлен туда своим братом в марте 1743 года под строжайшим инкогнито, «дабы учением наградить пренебреженное поныне время, сделать себя способнее к службе ее императорского величества и фамилией своей впредь собою и поступками своими принести честь и порадование».

Кирилл Григорьевич, подготовленный несколько в Петербурге, отправился на два года в Германию и Францию под надзором Григория Николаевича Теплова, под именем Ивана Ивановича Ободовского, дворянина.

Таким образом, когда двор посещал Малороссию, граф Кирилл Григорьевич, достаточно подготовленный в Кенигсберге, с пестуном своим переехал в Берлин. Здесь младший Раз-

умовский стал учиться под руководством знаменитого Леонарда Эйлера, старого знакомого Теплова по Петербургской академии, при которой Эйлер профессорствовал четырнадцать лет.

Во время пребывания Кирилла Григорьевича у знаменитого математика он показал ему подлинный гороскоп, составленный им вместе с другим академиком по приказанию Анны Иоанновны для новорожденного Иоанна Антоновича. Заключение, выведенное составителями гороскопа, до того их ужаснуло, что они решили представить государыне другой гороскоп, предсказавший молодому великому князю всякое благополучие.

Пользуясь уроками Эйлера, Разумовский в то же время изучал французский язык, бывший в то время при дворе Фридриха-Вильгельма в большом употреблении. Из Пруссии путешественник отправился во Францию и, наконец, весной 1745 года возвратился в Россию.

Кирилл Григорьевич был пожалован в действительные камергеры и кавалеры голштинского ордена Святой Анны.

Эта двухлетняя поездка совершенно преобразила молодого Разумовского. Гельбиг, вообще не очень снисходительный, говорит, что в Берлине Разумовский был воспитан Эйлером настолько удачно, насколько то было возможно без напряжения.

«Он был не без познаний, — говорит далее тот же Гельбиг, — и по-немецки и по-французски говорил отлично».

По своем возвращении Кирилл Григорьевич явился при пышном дворе Елизаветы Петровны и стал вельможей не столько по почестям и знакам отличия, сколько по собственному достоинству и тонкому врожденному уменью держать себя. В нем не было в нравственном отношении ничего такого, что так метко определяется словом «выскачка», хотя на самом деле он и брат его были «выскачки» в полном смысле слова, и потому мелочные тщеславные выходки, соединенные с этим понятием, были бы ему вполне прощительны.

Отсутствие гениальных способностей вознаграждалось в нем страстною любовью к родине, правдивостью и благотворительностью,

качествами, которыми он обладал в высшей степени и благодаря которым он заслужил всеобщее уважение. Кирилл Григорьевич был очень хорош собою, оригинального ума и очень приятен в обращении. Все красавицы при дворе были от него без ума.

Таким явился в Петербург вчерашний казак. Почести и несметное богатство не вскружили ему голову, роскошь и все последствия, с нею неразрывно связанные, не испортили ему сердца. Он был добр и великодушен, благотворителен, щедр в милостынях и без лишних гордости и гнева всем доступен, со всеми ласков, полон наивного оригинального ума с легким оттенком насмешливости.

А было отчего вскружиться голове при дворе роскошной Елизаветы, и едва ли кто, подобно Кириллу Григорьевичу, лучше бы мог сохранить трезвость мыслей среди этого водоворота интриг и непрестанных наслаждений.

«Двор, — говорит князь Щербатов, — подражая, или, лучше сказать, угождая императрице, в расшитые златотканые одежды облекался».

Вельможи изыскивали в одеянии все, что есть богаче, в столе — все, что есть драгоценнее, в питье — все, что есть реже, в услуге — возобновя древнюю многочисленность слугителей, приложили к ней пышность их одежд. Экипажи заблестали золотом, дорогие лошади, не столько удобные для езды, как единственно для виду, впрягались в золоченые кареты. Дома стали украшаться позолотою, шелковыми обоями во всех комнатах, дорогою мебелью, зеркалами и прочее.

Особенною роскошью отличались два приятеля Алексея Григорьевича Разумовского: великий канцлер Бестужев, у которого был погреб «столь великий, что сын его капитал составил, когда по смерти его был продан графам Орловым», у которого и палатки, ставившиеся на его загородном дворе, на Каменном острове, имели шелковые веревки. А второй — Степан Федорович Апраксин, «всегда имевший великий стол и гардероб, из многих сот разных богатых кафтанов состоявший».

Впрочем, и старший Разумовский не отставал от своих приятелей. Он первый стал носить бриллиантовые пуговицы, звезды, орде-

на и эполеты. Он вел большую игру, сам держал банк и нарочно проигрывал, «причем статс-дама Настасья Михайловна Измайлова (урожденная Нарышкина) и другие попроще, из банка крали у него деньги, да и не только лишь важные лица, которые потом в надлежащем месте выхваляли его щедрость, но и люди совсем неважные при этом пользовались».

За действительным тайным советником князем Иваном Васильевичем Одоевским, александровским кавалером и президентом Вотчинной коллегии, один раз подметили, что он тысячи монет в шляпе перетаскал и в сенях отдавал своему слуге.

В Петербурге в это время готовились к свадьбе великого князя. Туда спешили гости из Малороссии. Наталья Демьяновна собралась со всей семьей. Она ехала по зову государыни, но главным образом влекло ее на север свиданье с ее младшим сыном, которого она не видала несколько лет.

Вместе с Натальей Демьяновной прибыл в Петербург генеральный бунчужный Демьян Оболонский, кум государыни, с женою, кото-

рую Елизавета Петровна полюбила за сходство с Екатериной I. Кроме того, прибыли для присутствования при бракосочетании депутаты, избранные от народа малороссийского: генеральный обозный Лизогуб, хорунжий Ханенко и бунчужный товарищ Василий Андреевич Гудович. Депутаты эти, конечно, были своими людьми у графа Алексея Григорьевича, где впервые увиделись и познакомились с графом Кириллой Григорьевичем, к избранию которого в гетманы их стали исподволь готовить.

Государыня была к депутатам очень благосклонна. На всех торжествах они занимали почетное место и жили в Петербурге, ласкаемые императрицей и Разумовским, ожидая окончательного решения вопроса об избрании гетмана. Но решения никакого не выходило.

Депутатам, разумеется, дали почувствовать, кого им готовили в начальники, но до окончательного избрания было еще далеко. Находили ли Кирилла Григорьевича слишком юным, он ли не желал оторваться сейчас же по приезде от столичной жизни, решить

трудно, но дело в том, что Лизогуб, Ханенко и Гудович сидели у моря и ждали погоды, а будущий гетман тем временем только и думал о праздниках.

Свадьба наследника престола была отпразднована с необыкновенным блеском и пышностью. Десять дней продолжались празднества.

«Бал сменялся банкетом, банкет маскарадом, маскарад итальянским действием, именуемым „пастораль“, пастораль оперой, французскими комедиями, балетом и прочее».

Около сорока богатых карет насчитывалось в брачном поезде. Из них особенным изяществом отличалась сияющая зеркалами и позолотой карета Семена Кирилловича Нарышкина. При дворе блистала новая богатейшая статс-ливрея, сукно и галуны для которых выписаны были из-за границы.

Граф Кирилл Григорьевич, только что сошедший со школьной скамьи, с увлечением бросился в вихрь света. Имя его беспрестанно встречалось в камер-фурьерских журналах: то он дежурным, то форшнейдером; то он вместе с женою генерал-прокурора князя Тру-

бецкого принимал участие в «кадрилье великой княгини», состоявшей в тридцати четырех персонах, которые обретались по билетам, в доминах, белых с золотой выкладкой. Кирилл Григорьевич ежедневно находился в обществе государыни, то при дворе, то у брата своего.

Елизавета Петровна большую часть дня проводила в комнатах своего супруга во дворце, кроме того, часто посещала она его дом и в городе и за городом. Особенно любила она Гостилицы. В них приезжала она иногда на несколько дней летом, поздней осенью и зимой. В Гостилицах она охотилась верхом, то с собаками, то с соколами, в мужском платье. В Гостилицах давались Алексеем Григорьевичем роскошные обеды и вечерние кушанья, то в разных апартаментах дома, то на дворе в поставленной белой палатке. Во время этих угощений гремела итальянская музыка, иногда играли волторнисты, при питии здоровьев палили из пушек. Изредка собирались в дом крестьянки, «бабы и девки», так как государыня любила народные песни.

Особенно любил Алексей Григорьевич уго-

щать государыню и весь двор у себя в Цесаревнином, а позднее в Аничковском доме, в день своих именин 17 марта. Для праздников этих он не щадил денег, и во все царствование Елизаветы Петровны 17 марта считалось чем-то вроде табельного дня.

Таким образом, в пирах и весельях пролетели первые годы пребывания молодого Разумовского при дворе.

Григорий Николаевич Теплов продолжал находиться при нем, хотя в это время он едва ли мог усмотреть за своим бывшим учеником. Впрочем, он этого и не домогался. Он терпеливо выжидал время, пока судьба призовет Кирилла Григорьевича к серьезной деятельности, и заранее готовился принять в этой деятельности самое живое участие.

Из сверстников своих граф Кирилла особенно сблизился с умным, оригинальным и любезным графом Иваном Григорьевичем Чернышевым. Их связала и молодость, и оригинальность, и одинаковые успехи в свете, но особенно общая страстная любовь к отчизне. От природы ума несколько поверхностного, Чернышев много знал и читал. Бывая за гра-

ницей, он сошелся со всеми замечательными людьми того времени, отлично говорил в обществе, был добрый человек, весьма гостеприимный и со всеми одинаково любезный. Сходство характеров и склонностей породило дружбу.

Шесть месяцев прогостила Наталья Демьяновна у сына своего и снова стало тянуть ее в родную Адамовку, где строился в то время хутор Алексеевщина. Она уехала с дочерью, оставив внуков и внучек родного и двоюродных братьев Будлянских, Закревских, Дараганов и Стрешенцевых на попечение Алексея Григорьевича. Эти внуки и внучки помещены были во дворце.

Через год после возвращения из-за границы, 21 мая 1746 года, Кирилл Григорьевич был назначен президентом Академии наук, «в рассуждении усмотренной в нем особой способности и приобретенного в науках искусства». Как ни странно, конечно, теперь назначение в президенты двадцатидвухлетнего юноши, едва выпустившего из рук указку, за которую он поздно ухватился, однако это объясняется не только исключительным

положением графа Алексея Григорьевича при дворе, но еще тем полным отсутствием людей образованных и способных, которые отличились, особенно в начале царствования Елизаветы Петровны. К тому же, при тогдашнем настроении умов, во главе академии хотелось видеть русского, а не немцев, каковы были до сих пор Блументрост, Кейзерлинг, Корф и Бреверн. Но из русских никто к этому делу не оказывался годным, так что первые пять лет после вступления Елизаветы Петровны на престол академия оставалась без президента.

Тем временем вернулся из-за границы брат всемогущего временщика с огромным запасом льстивых свидетельств от падких на русские деньги иностранных профессоров.

Льстецы Алексея Григорьевича, а их в то время было немало, громко трубили по городу и при дворе о талантах и познаниях молодого Разумовского.

Академия нуждалась в президенте, и Кирилл Григорьевич, сам не сознавая ни значения ее, ни обязанностей, на него возложенных, очутился вдруг президентом императорской Российской академии наук. Очевидно,

при отсутствии серьезного классического образования, при беспрестанных отвлечениях светской жизни, недавний казак, каким-то чудом преобразованный в придворного кавалера, не мог быть примерным президентом. Без руководителя невозможно было обойтись, и таковым стал знакомый с академией воспитатель его Теплов.

Через десять дней после назначения Кирилла Григорьевича Теплов получил место асессора при академической канцелярии. Несмотря, однако, на недостаточность познаний, на совершенную неподготовленность к такому делу, можно смело сказать, что Кирилл Григорьевич Разумовский ничем не хуже своих предшественников управлял академией. И Блументрост, и Корф, и Кейзерлинг, и Бреверн мало занимались вверенным им учреждением, полагаясь всегда и во всем на Шумахера.

Молодой президент с помощью своего бывшего наставника и руководителя Теплова и тот же Шумахер горячо было принялись за академические дела.

Начались проекты преобразований с пла-

нами новых регламентов, но распри академиков, разделившихся на две партии, русскую и немецкую, были до того перепутаны, что даже человеку более опытному едва ли было возможно доискаться истины. Все это сразу охладило пыл нового президента.

Дела академии пошли по-прежнему под руководством Теплова и Шумахера.

Как ни плохо, однако, шли эти дела, Кирилл Григорьевич через месяц после своего назначения, 29 июня 1746 года, получил Александровскую ленту.

XXVI

Избрание в гетманы

В конце 1746 года императрица Елизавета Петровна сосватала за графа Кирилла Григорьевича Разумовского, несколько, как говорили тогда при дворе, против его желания, свою внучатую сестру и фрейлину Екатерину Ивановну Нарышкину.

Екатерина Ивановна родилась 11 мая 1731 года. Она была дочерью капитана флота Ивана Львовича Нарышкина. По отцу Екатерина

Ивановна была внучка любимого дяди Петра Великого боярина Льва Кирилловича, заведовавшего Посольским приказом и умершего в 1705 году. Он один из всех братьев царицы Натальи Кирилловны оставил мужское потомство.

Тетки Екатерины Ивановны при дворе Петра Великого играли весьма важную роль и считались чем-то вроде принцесс крови. Из них Агрипина Львовна вышла за князя Александра Михайловича Черкасского, Александра за знаменитого Волынского, Мария за князя Федора Ивановича Голицына, а Анна за князя Алексея Юрьевича Трубецкого. По матери своей невеста графа Разумовского происходила от Фомы Ивановича Нарышкина, дяди Кирилла Полуектовича.

Дед ее, Кирилл Алексеевич, был сперва царским кравчим, потом обер-комендантом дерптским, первым с. — петербургским комендантом и, наконец, московским губернатором.

Дядя ее, Семен Кириллович Нарышкин, первый щеголь своего времени, бежал в царствование Анны Иоанновны, преследуемый

за приверженность к цесаревне Елизавете, во Францию и проживал там под именем Тенкина. Елизавета Петровна по восшествии своем на престол пожаловала его в камергеры и назначила посланником в Англию. Он там оставался всего шесть месяцев, назначен был гофмаршалом при великом князе Петре Федоровиче, а потом обер-егермейстером в 1757 году. Он известен тем, что был изобретателем знаменитой в прошлом столетии у нас роговой музыки.

Тетка Екатерины Ивановны, Софья Кирилловна, была замужем за бароном Сергеем Григорьевичем Строгановым.

Екатерина Ивановна лишилась родителей в раннем младенчестве и воспитывалась в доме дяди своего Александра Львовича, известного своею надменностью и женатого на графине Елене Александровне Апраксиной.

Таким образом, все детство свое, пока не была взятой ко двору, прожила она с двоюродными братьями своими, Александром и Львом Александровичами, столь известными в прошлом столетии любезностью и гостеприимством. В приданое получила она поло-

вину всего огромного состояния Нарышкиных. За княжной считалось 88 тысяч душ и, между прочим, дом на Воздвиженке (теперь графа Шереметева), подмосковные села Петровское (известное под именем Петровско-Разумовского), Троицкое, Котлы, огромные пензенские вотчины: Черниговская и Ерлово.

Вот описание свадьбы Кирилла Григорьевича, как оно значится в камер-фурьерском журнале 1746 года:

«27 октября сняли траур, который носили по французскому дофину. Сего же числа отправилась при дворе ее императорского величества свадьба камергера графа Кирилла Григорьевича Разумовского с фрейлиною Нарышкиною. Пополудни знатнейшего обоего пола особы съехались ко двору ее императорского величества в галерею, а в 6-м часу пополудни во дворец велено въехать придворным цугом, так же и других знатных персон каретам, в которые сев, чиновные по свадебной церемонии поехали по жениха на его двор, и в 7 часу привезен он во дворец, прямо к большому галерейному крыльцу, и препровожден в церковь. Потом обыкновенною церемониею, из

покоев ее императорского величества, через галерею, невеста ведена с литавры и трубы маршалом его сиятельством князем Трубецким с шафером и другими кавалерами. Невесту вел его императорское высочество; за ними следовали ее высочество государыня, великая княгиня и другие чиновные дамы в церковь и, по обвенчанию, такую же церемонию пошли в галерею и в парадные камеры, пока на приготовленные столы кушанья становили. И как поставили кушанья в покоях на стороне ее императорского величества, подле малой комнатной церкви, в трех покоях: в 1 большом 2 стола с балдахином на 80 персон; во 2-м — 2 стола на 80 же персон; в 3-м покое на 20 персон, то за столом обыкновенно под балдахином поместилась невеста подле ее матери, по правую сторону ее высочество государыня великая княгиня; по левую же ее светлость вдовствующая ландграфиня Гессен-Гомбургская; в конце стола, из высочайшей милости, изволила присутствовать ее императорское величество; подле ее величества по правую и левую сторону сидели господы послы; во время стола за стульями у по-

слов стояли камер-пажи; затем сидели знатнейшие дамы. За другим столом под балдахинном жених, отцы и братья и прочие знатные иностранные министры. Во время столов, на свадебной церемонии, обыкновенно, маршал с трубы и литавры, приводил ближних девиц и форшнейдера. Здоровья маршал с шаферами пить начал: 1) жениха и невесты; 2) отцов и матерей; 3) братьев и сестер; 4) форшнейдера и ближних девиц; 5) всех гостей. Форшнейдер был камергер граф Скавронский; шаферов, камергеров и камер-юнкеров 6 человек. А за прочим столом сидели так же знатные персоны 6 класса. В продолжение стола играла итальянская музыка. И по окончании стола возвратились в галерею и начались танцы; несколько потанцевав, с музыкою провожали до карет и отвезены жених и невеста в дом их. Того дня при дворе была надета статс-лирея.

28 числа октября, поутру, обыкновенно, помянутые камергер граф Разумовский с женою ее императорскому величеству всеподданнейшее благодарение приносили, также и их императорским высочествам, и того дня

при столе их величеств уняты были кушать. Того же дня пополудни собрались в галерею все знатнейшие персоны и начался бал; а, между тем в выше объявленных комнатах, в которых 27 числа кушали, таковые же столы приготовлены. И по окончании бала кушали вечернее кушанье; сидела обыкновенно невеста в своем месте под балдахинном; потом приведен граф Разумовский церемониею, при битии литавр и игрании труб, маршалом и, сорвав над своею графинею венец, посажен с нею. Ее императорское величество из высочайшей милости изволила при том столе присутствовать яко гостья, а ее высочество государыня великая княгиня и господа послы сидели подле ее императорского величества так, как в первый день. За другим столом его императорское высочество и прочие чиновные персоны и чужестранные министры. В продолжение стола была итальянская музыка. Здоровья кушали те же, которые в 1 день пили. По окончании стола разъехались по домам.

29 числа октября роздых.

30 числа октября пополудни ее император-

ское величество и их императорские высочества и все знатнейшие чужестранные лица были в доме упомянутого графа Разумовского; был бал и кушали вечернее кушанье».

На другой день после свадьбы, 28 октября, графиня Екатерина Ивановна была пожалована в статс-дамы. Между тем малороссийские депутаты Лизогуб, Ханенко и Гудович все еще находились при дворе, ожидая окончательного решения об избрании гетмана. Они, впрочем, сумели за это время выхлопотать много льгот для своей родины.

Наконец, 16 октября 1749 года подписан был Елизаветой Петровной указ об отправке графа Гендрикова для избрания гетмана и о передаче всех дел украинских из Сената в Коллегию иностранных дел. В это время были отпущены и депутаты. Дело об избрании графа Кирилла Григорьевича было решено в Петербурге, теперь следовало исполнить обряд выбора его вольными голосами.

15 января 1750 года приехал в Глухов граф Гендриков. Он привез жалованную грамоту и через два дня по его приезде, по его требованию, генеральные старшины съехались в ге-

неральную канцелярию и подписывались на «прошении в гетманы Кирилла Григорьевича». Гендриков после этого угощал напрапалую старшин, которые у него немало «гуляли и куликали».

14 февраля прибыл на избрание митрополит Киевский и архиерей Черниговский, а 17-го и все полковники, старшины и бунчужные, кроме рядовых казаков, которым не было указу являться к этому сроку. На другой день в квартире Гендрикова, или, как ее называли в Глухове, «квартире министерской», собраны были все полковники, бунчужные товарищи, полковые старшины, сотники, архиереи и все духовенство и им объявлено было избрание гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского, «а рядовых казаков при этом не было». Несколько дней посвящено было на подготовку самого избрания при обстановке, дотоле еще неизвестной на Украине.

Наконец, 22 февраля произошло самое торжественное избрание, или «элекция», как выражались современники. По прибытии утренней зари и данному сигналу из трех пушек народ толпою стал собираться со всех сторон

на площади, между церквами Николаевскою и Троицкою, где изготовлено было возвышение о трех ступенях, покрытое гарусным штофом и обведенное перилами, обитыми алым сукном. В то же время выступили к тому месту полки под главным начальством есаула Якубовича.

В 8 часов, по данному второму сигналу, собрались в дом полномочного министра графа Гендрикова генеральные и войсковые старшины, бунчуковые товарищи и знатное малороссийское шляхетство, а митрополит Киевский, Тимофей Щербацкий, с тремя епископами, печерским архимандритом Иосифом Орнатским и прочим духовенством, отправились в церковь Святого Николая Чудотворца.

В 9 часов третий сигнал возвестил народу о начале церемонии. Прежде всего выехали со двора великорусского полномочного шестнадцать выборных компанейцев в полном вооружении под предводительством их старшины. За ними следовали гетманские войсковые музыканты с литаврщиками, играя поход; потом в богатой карете, запряженной цугом, секретарь Коллегии иностранных дел,

Степан Писарев, вез высочайшую жалованную грамоту, которую держал в руках, на большом серебряном вызолоченном блюде. Все полки отдавали ей честь ружьями и наклонением знамен. По сторонам кареты шли двенадцать гренадер при ружьях. За каретой несли гетманские клейноды: большое белое знамя с русским гербом, подарок Петра Великого гетману Данииле Апостолу, гетманские булаву, бунчук и печать. Наконец, несли войсковой прапор. Затем цугом ехал в богатой карете граф Гендриков и его ассистенты, окруженные гренадерами и придворными лакеями.

Когда граф Гендриков приблизился к возвышению, внесены были на него царская грамота и гетманские клейноды и положены были на два стола. Государственное знамя держал Гамалей с двумя товарищами около стола, на котором лежала грамота. За ними поместилось духовенство в полном облачении. Около стола, где лежали клейноды, стояли генеральные старшины и бунчуковые товарищи, а вокруг возвышения все шляхетство. Посреди возвышения стал граф Гендриков.

— Ее императорское величество, — сказал он, — по прошению всего малороссийского народа всемилостивейше соизволяет быть попрежнему на всей Малой России гетману и повелевает избрать им себе из природных своих людей гетмана, по малороссийским своим правам и вольностям, вольными головами, для которого избрания я, с высокою намершею грамотою, сюда, в Малую Россию, и прислан.

После этого секретарь Писарев громогласно прочел всему собранию жалованную грамоту. По прочтении грамоты митрополит Киевский от имени малороссийского народа принес всеподданнейшее благодарение «за такое ее императорского величества к народу милосердие». Тогда граф Гендриков, обращившаяся на все стороны, громогласно несколько раз спросил:

— Кого желаете себе в гетманы?

На это духовенство, генеральные старшины, бунчуковые и войсковые товарищи, полковники, старшины и шляхта объявили, что, так как самым верным и неутомимым ходатаем за них постоянно был граф Алексей Гри-

горьевич Разумовский, то они за правое полагают быть в Малой России гетманом брату его, природному малороссиянину, ее императорского величества действительному камергеру, лейб-гвардии Измайловского полка подполковнику и Академии наук президенту, орденов Святого Александра Невского и Святой Анны кавалеру, графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому.

Народ тоекратным криком подтвердил избрание. Граф Гендриков поздравил тогда всех присутствующих с новоизбранным гетманом. Раздался сто один пушечный выстрел, и по полкам все казаки стали стрелять беглым огнем.

Грамота и гетманские клейноды были внесены в церковь Святого Николая, куда отправилось собрание. Началась литургия, после которой был отпет молебен с многолетием государыне, причем произведена была тоекратная пушечная и ружейная во всех полках пальба. Из церкви грамота и клейноды перенесены были в дом Гендрикова, а полки выведены были за город и распущены.

В следующие дни состоялось избрание де-

путатов, которые должны были ехать в Петербург, чтобы благодарить государыню и поздравить нового гетмана.

Странным показалась вся эта невиданная дотоле обстановка малороссиянам. Многие, конечно, радовались — имя гетмана имело для них все же что-то магическое. Старые казаки только, вздыхая, покачивали головами и чувяли, что настали другие времена, что прошла невозвратно пора Сагайдачного и Хмельницкого, при избрании которых и на ум никому не приходили все эти процессии, возвышения, обтянутые сукном, и богатые кареты, заложенные цугом, те простые, но веселые времена, когда громада казаков собиралась на площади и шапками забрасывала любимого избранника.

XXVII

Новые фавориты

Влияние Бестужева на дела государственные все усиливалось. Крайне пронырливый и подозрительный, неуживчивый и часто мелочный, он в то же время был тверд и непоколебим в своих убеждениях. Враг непримиримый, он был, однако, другом друзей своих, и тогда их покидал, когда они сами изменяли ему. С необыкновенным искусством умел он действовать даже через своих недругов, и долгое время Шуваловы служили его целям.

Замечательно, что на стороне своей он имел честнейших людей того времени; так, барон Иван Антонович Черкасов, кабинет-секретарь государыни, человек суровый и упрямый, но любивший порядок и справедливость, был его лучшим другом. Главной силой Бестужева была тесная связь его с Алексеем Григорьевичем Разумовским. Значение Алексея Петровича еще более возвысилось со времени женитьбы его сына на молодой графине

Разумовской. Императрица поставила Бестужева на такую близкую ногу, что не проходило почти вечера без приглашения его на маленькие вечеринки, и Елизавета Петровна дозволила ему говорить все, что он хочет. Эта «молодая графиня Разумовская», титулованная так и в камер-фурьерских журналах, была родная племянница Алексея и Кирилла Разумовских, дочь их покойного брата Данилы, Авдотья Даниловна, фрейлина императрицы.

18 декабря 1747 года, в день своего рождения, Елизавета Петровна обручила сына камергера, камер-юнкера графа Андрея Алексеевича, с фрейлиной Разумовской во время бала и в присутствии всех чужестранных министров и знатнейших особ обоего пола. Брак, совершенный 5 мая 1747 года, был несчастный. У молодых с первых же дней брака стали происходить домашние ссоры. Молодая графиня грозилась пожаловаться государыне и своему старшему брату, обещалась обратиться свое замужество в унижение великого канцлера и его семейства, настолько, насколько она до сих пор служила к их возвышению. В конце 1747 года графиня Авдотья

Даниловна поехала с мужем в Вену, куда молодой Бестужев был отправлен с поздравлением по случаю рождения эрцгерцога Леопольда.

Мария-Терезия, нуждаясь в союзе с Россией и зная, что Бестужев и Разумовский были сторонниками венского кабинета, осыпала любезностями графиню Бестужеву. Жила она недолго: беспутный муж скоро вогнал ее в могилу. Горячий сторонник союза с Англией, где он провел свою молодость, и с Австрией, дружественные отношения к которой были еще завещаны Петром Великим, Алексей Петрович Бестужев не мог равнодушно думать о Пруссии и Франции. Он знал, сколько денег потратили и Фридрих Великий, и версальский кабинет на то, чтобы его свергнуть, и направил все усилия к тому, чтобы окончательно уничтожить влияние этих двух держав в Петербурге. Он перехватил депеши приятеля Лестока — де Шетарди, полные дурных отзывов о Елизавете Петровне, и добился того, что французский посланник был со срамом выгнан из России.

Один враг был сломлен, но за Пруссию сто-

ял еще граф Лесток, которому государыня была многим обязана, но которого терпеть не мог граф Алексей Григорьевич и который сам открытым презрением ко всему русскому, бестактным поведением и необдуманноими словами приготовил себе погибель. 22 декабря 1747 года Лестока схватили, допрашивали, пытали и сослали сперва в Углич, а потом в Устюг Великий.

Другие враги Бестужева, Шуваловы и Воронцов, держались благодаря своим женам, но трепетали перед всемогущим канцлером. Великий князь, о котором Бестужев отзывался с величайшим презрением, лишенный своей голштинской свиты, которую канцлер выгнал без всяких церемоний из России, и великая княгиня, на которую он смотрел как на малозначащую девочку, окруженные соглядатаями, не могли ни двинуться, ни вымолвить слова без его ведома.

Вскоре после ссылки Лестока двор снова переехал в Москву. Там государыня обедала и ужинала у Разумовского, в Горенках, а 17 марта в селе Петровском было обеденное кушанье для тезоименитства его сиятельства гра-

фа Алексея Григорьевича; кушала ее императорское величество и их высочества и первого и второго класса обоего пола персоны. Палили из пушек при питии здоровьев. Вслед за двором приехал в Москву и граф Кирилл Григорьевич.

Вообще, когда двор покидал Петербург, то северная столица обращалась в совершенную пустыню. Не видно было более карет, и улицы зарастали травой.

В это пребывание в Москве Елизавета Петровна очень серьезно заболела. У нее сделались страшные спазмы, от которых она лишилась чувств и жизнь ее была в опасности. Придворные страшно переполошились, но болезнь хранилась под величайшим секретом. Даже великий князь и великая княгиня узнали о ней только случайно.

«Целую ночь, — пишет Линар, датский посланник, хорошо знакомый с тем, что делалось при дворе, так как он был принят как свой у Бестужевых, — были собрания и переговоры, на которых, между прочим, решено было главными министрами и военными властями, что, как скоро государыня сконча-

ется, великого князя и великую княгиню возьмут под стражу и императором провозгласят Иоанна Антоновича. Число лиц, замешанных в это дело, очень велико, но до сих пор никто друг друга не выдавал. Я подозреваю многих в том, что они принимали участие в заговоре, особенно же имеющих причины опасаться великого князя и весьма естественно ожидающих более милостей от принца, который всем им будет обязан».

Этим показанием объясняется начало совещаний Бестужева и Апраксина у Чеглоковых, о которых упоминает Екатерина II в своих воспоминаниях. Вероятно, и Алексей Григорьевич знал об этих планах. Ему, как истинно русскому человеку, не раз приходилось внутренне вздыхать ввиду иностранных замашек и вкусов наследника престола.

Опасения катастрофы, однако, исчезли, государыня скоро поправилась. Впрочем, как мы уже сказали, об ее болезни знали лишь самые приближенные лица. Всякий спрос о здравии императрицы мог бы любопытного привести прямо в Тайную канцелярию.

Елизавета Петровна вскоре переехала в

Перово, к Алексею Григорьевичу Разумовскому. Туда приглашен был и великий князь с великой княгиней. Каждый день бывали в Перове охоты, и мужчины возвращались домой поздно, усталые и нелюбезные, так, что дамам приходилось искать развлечения в себе самих. Государыня ежедневно принимала участие в охоте.

Великая княгиня усердно принялась за чтение, что составило исключение при дворе, где редко кто брался за книгу. Обер-гофмейстерина Чеглокова, состоявшая при Екатерине, горько жаловалась на скуку. Не с кем было поиграть в карты, до которых она была страстная охотница, да к тому же ее муж, которого она страшно ревновала, совсем отбился от рук. Благодаря подаренной ему собаке Цирцее он участвовал в каждой охоте и сделался предметом постоянных насмешек и шуток всей перовской компании. Его уверяли, что собака его не упускала ни одного зайца, и тщеславный Чеглоков был в восторге.

В Перове великая княгиня заболела, и здесь она увидела доказательство того обязательного влияния на приближенных, кото-

рым природа столь щедро ее наградила. Враждебная ей Чеглокова, приставленная к ней Бестужевым, чтобы следить за каждым ее шагом, с самой нежной заботливостью стала ухаживать за великой княгиней во время ее болезни и с этих пор совершенно переменилась в своих к ней отношениях. Вскоре после этой болезни захворала вторично и государыня. Она приказала перенести себя в Москву, и весь двор шагом ехал за нею.

Новый припадок спазма не имел последствий, и вскоре Елизавета Петровна отправилась на богомолье к Троице. Она дала обет пройти пешком все шестьдесят верст и начала свое путешествие от Покровского дворца. Пройдя в день версты три или четыре, императрица возвращалась в Москву в карете. Иногда она в экипаже отправлялась далее, к тому месту, где приготовлена была стоянка. После отдыха она снова возвращалась в карете туда, где остановилась в своем пешеходстве, и отсюда снова продолжала свое шествие. Таким образом, поход этот занял почти все лето, тем более что иногда императрица по нескольку дней отдыхала в Москве и селах

по дороге.

На время богомолья великий князь и великая княгиня переехали на троицкую дорогу и поселились в Раеве, именье Чеглоковых, близ Тайнинского. Государыня отправилась в Воскресенский монастырь. Граф Алексей Григорьевич сопутствовал ей, а также и некоторые из самых приближенных к ней лиц. Дорогой государыня останавливалась в принадлежащем Разумовскому селе Знаменском и там вечернее кушанье кушать изволила в ставках на лугу, подле Москвы-реки.

В это пребывание императрицы в Знаменском и произошло возвышение нового любимца, Ивана Ивановича Шувалова. Доказательством этого служило то, что он уговорил Разумовского уступить ему Знаменское, напомиравшее ему о начале его случая, а впоследствии подарил его сестре. Вряд ли Алексей Григорьевич уступил бы без особенных на то причин имение, подаренное ему в 1742 году государыней из собственных ее вотчин.

Как бы то ни было, но через месяц, накануне своих именин, которые она праздновала в Новом Иерусалиме, 4 сентября, императрица

пожаловала своего камер-пажа в камер-юнкеры. Это было событие при дворе.

Все на ухо друг друга поздравляли с новым фаворитом. Возвышение Ивана Ивановича Шувалова, который еще камер-пажом обратил на себя внимание Екатерины своим прилежанием и любовью к чтению, исподволь было подготовлено его родственниками. Графиня Мавра Егоровна Шувалова, женщина умная, ловкая и дальновидная, пользовалась разными случаями, чтобы обратить на красавца пажа внимание государыни, и благодаря ей Иван Иванович получил сперва золотые часы, потом пожалован был камер-пажом, а наконец, и камер-юнкером. С необычайною хитростью Шувалов так устроил дело, что Бестужев и Апраксин просили государыню пожаловать Ивана Ивановича в камер-юнкеры, и граф Александр Иванович приезжал к ним нарочно, будто просить, чтобы они сделали одолжение и ее величеству в удобное время доложили. Нет сомнения, что Бестужев и Апраксин обратились к другу своему Разумовскому и что добродушный Алексей Григорьевич сам же просил о возвыше-

нии своего соперника.

С этих пор нанесен был первый удар могуществу Бестужева, и Алексей Григорьевич стал мало-помалу удаляться на второй план. Алексей Петрович уступил, однако, не без борьбы. Он решился заменить нового фаворита своим собственным созданием, которое было бы его орудием, а не подмогой для недругов. В самом деле, вскоре стали замечать при дворе, что роскошнее всех бывал одет на представлении актеров-кадетов, о которых мы упоминали, красивый юноша Никита Афанасьевич Бекетов. Ему было лет восемнадцать или девятнадцать, и он исполнял роли первых любовников. Потом и вне театра показались на нем и бриллиантовые перстни, и кольца, и часы, и кружево, и все самое лучшее. Наконец, он вышел из корпуса и, несомненно, вследствие настояния Бестужева, ненавидевший всякие интриги Алексей Григорьевич взял молодого Бекетова к себе в адъютанты, что давало тогда капитанский чин.

Придворные не замедлили вывести из этого свои заключения. Стали говорить, что, ес-

ли граф Разумовский приблизил к себе Бекетова, это сделано с целью противопоставить его молодому камер-юнкеру Шувалову, так как бывший кадет обратил на себя особенное внимание государыни.

Придворные не ошиблись. Действительно, Бекетов был избран Бестужевым, чтобы отстранить Шувалова и его партию. Во всем этом деле явно была видна рука Бестужева. Он приставил к молодому и неопытному Бекетову другого адъютанта, состоявшего при графе Алексее Григорьевиче, Ивана Перфильевича Елагина, который в то же время служил и под его начальством в Коллегии иностранных дел. Жена Елагина — камер-фрау государыни доставляла Бекетову тонкое белье и кружева, а так как она не была богата, то ясно было, что деньги тратились не из ее кошелька.

Более года оба соперника жили при дворе. Бекетов был произведен в полковники, занял комнаты во дворце и, казалось, брал решительный перевес над Шуваловым. Положение же графа Алексея Григорьевича среди всей этой интриги для людей не посвященных во

все тайны придворной жизни, казалось неизменившимся. Государыня зимой гостила по три дня, а иногда по шести дней у него в Гостилицах и праздновала, по обыкновению, в его доме день святого Алексея — человека Божия, причем в продолжение обеденного и вечернего столов была обычная пальба из пушек, итальянская музыка и иллюминация. Брат его был назначен гетманом.

Казалось, все было по-прежнему, да, в сущности, оно и было, потому что положение новых фаворитов государыни было очень далеко от положения ее «тайного супруга», каким был Алексей Григорьевич Разумовский.

XXVIII

Жалованная грамота

Придворные жадно следили за соперничеством между двумя новыми фаворитами — Иваном Ивановичем Шуваловым и Никитой Афанасьевичем Бекетовым. С любопытством ждал исхода этой борьбы и вновь избранный гетман малороссийский, граф Кирилл Григорьевич Разумовский. Однако ему не довелось лично быть свидетелем окончания этого придворного эпизода.

Летом 1751 года, когда граф Кирилл был уже в Малороссии, Никита Афанасьевич Бекетов, любивший литературу и занимавшийся вместе с другом своим Елагиным писанием стихотворений, стал перекладывать стихи свои на музыку. Песни, им сочиненные, певали у него молоденькие придворные певчие. Некоторых из них Бекетов полюбил за их прекрасные голоса и в простоте душевной иногда гулял с ними по Петергофским садам.

Шуваловы поспешили ухватиться за это и стали мотивировать поведение Бекетова са-

мым отвратительным образом. Но этого оказалось недостаточно. Злонамеренность сплетни была слишком явной.

Тогда, чтобы окончательно погубить молодого любимца государыни, граф Петр Иванович Шувалов вкрался в доверие неопытного Никиты Афанасьевича. Он то и дело восхвалял его красоту, чрезвычайную белизну лица и для сохранения постоянной свежести дал ему притиранье. Доверчивый Бекетов поспешил им воспользоваться, и все лицо его покрылось угрями и сыпью. Графиня Мавра Егоровна немедленно обратила на это внимание государыни и осторожно посоветовала удалить Бекетова как человека зазорного поведения. На этот раз удар был верен.

Государыня, вследствие этой последней проделки, переехала в Царское Село, куда запрещено было следовать Бекетову. Несчастный Никита Афанасьевич остался с Елагиным и заболел горячкой, от которой чуть не умер. В бреду он постоянно говорил об императрице, которая, видимо, занимала все его мысли. Как только он оправился, его удалили от двора. Шуваловы торжествовали.

Ранее этого, в феврале 1751 года, стали поговаривать на Украине о беспокойствах со стороны татар. Мешкать было долее невозможно. 13 марта 1751 года новый гетман торжественно присягал в Санкт-Петербурге. Весь дипломатический корпус и знатные обою пола особы собрались во дворце на галерею, около придворной церкви, перед началом богослужения. Императрица, наследник и великая княгиня присутствовали на обедне. После обедни государыня с великим князем и великой княгиней вышла из церкви. В ней остались гетман, великий канцлер граф Бестужев-Рюмин, вице-канцлер граф Михаил Илларионович Воронцов и остальные мужчины.

Первенствующий член Синода Платон, архиепископ Митавский и Севский, вышел на середину церкви и стал перед аналоем, на котором находились Евангелие и крест. Великий канцлер взял гетмана за руку и повел его к аналою. Архиепископ Платон стал читать особо установленную присягу, которую гетман громко повторял, подняв вверх руку. После произнесенной присяги и приложившись к кресту и Евангелию, гетман подписался на

поднесенном ему канцлером присяжном листе. То же сделал и архиепископ.

По окончании обряда гетман и великий канцлер со всеми кавалерами вышли на галерею в аудиенц-камеру, куда были уже принесены все клейноды гетманские: богато украшенная дорогими камнями войсковая печать и серебряные литавры с богатыми, на бархате шитыми занавесками и с золотыми висячими кутосами.

Через час после выхода своего из церкви государыня прибыла в аудиенц-камеру. Советник Собакин поднес великому канцлеру положенную на золотое блюдо гетманскую булаву. Бестужев передал ее государыне, которая ее и другие клейноды вручила Разумовскому. Этим церемония окончилась.

В апреле месяце гетманша первая тронулась из Санкт-Петербурга в Москву. Сам же гетман ожидал жалованной грамоты и уволен был в Малороссию только 22 мая. Он уехал с неразлучным спутником своим Тепловым, со множеством экипажей, верховыми лошадьми, с поварами и музыкантами, с гайдуками и скороходами, сержантами Измай-

ловского полка и даже группой актеров.

В Москве Разумовский съехался с женой, и они вместе продолжали путь к Глухову.

В Ясмани гетмана встретили компанейские полки, запорожцы и депутация, состоявшая из архимандрита, протопопа, нескольких священников, генерального писаря Безбородки и десяти бунчуковых товарищей. После роскошного обеда в Ясмани гетман поднялся со всей своей свитой и выехавшей к нему навстречу депутацией. Когда он приблизился к Глухову, то генеральный есаул Волкевич с бунчуковыми товарищами и запорожскими казаками окружили гетманскую карету. Внутри города, от Севского въезда до гетманского дворца, поставлены были в два ряда шесть тысяч казаков. Они отдавали гетману честь с музыкою, битьем в литавры и со стрельбою, пока не раздалась пальба из пушек. Генеральные старшины и бунчуковые товарищи ожидали гетмана у городских ворот. Генеральный есаул Якубович приветствовал его речью.

Весь поезд направился сперва к церкви Святого Николая, где гомелевский архимандрит произнес предиду и окропил ясновель-

можного гетмана святою водою, а оттуда в гетманские палаты. В палатах снова встретили Разумовского генеральные старшины и бунчуковые товарищи. Генеральный подскарбий приветствовал его речью. Гарнизонный глуховский полк стоял в параде вокруг церкви и отдал на караул стрельбой, а рота, стоявшая на гетманском дворе, наклоном знамени и барабанным боем. На другой день сотники явились к гетману, а дамы к графине Екатерине Ивановне. Приглашены были на обед все генеральные старшины и полковники. Тотчас по приезде сделано было «повелительное объявление», чтобы старшины, полковники, шляхетство и прочие особы и люди всякого звания собрались в Глухове к 13 июля для торжественного и публичного объявления жалованной грамоты.

Тринадцатого июля, после пробития утренней зари, по данному сигналу из трех пушек все малороссийские полки вошли в город пешие и поставлены были по обеим сторонам дороги от гетманского дворца до церкви Святого Николая. Гарнизонный полк стоял около церкви. Когда последовал второй сигнал, ге-

неральные старшины, бунчуковые товарищи и прочие члены собрались во дворце, откуда, по третьему сигналу, двинулись в церковь.

Войсковая музыка, игравшая марш, открывала шествие. За нею шли пятьдесят компанийцев и шестьдесят реестровых казаков, затем два конюха вели коня в богатом уборе, на котором привешаны были пожалованные гетману серебряные литавры. По сторонам шли шесть бунчуковых товарищей, за ними ехал верхом, в сопровождении двенадцати бунчуковых товарищей, генеральный бунчужный Оболонский, державший гетманский бунчук. Затем верхом же генеральный хорунжий Ханенко с национальным знаменем, поддерживаемым двумя пешими бунчуковыми товарищами. Двадцать других бунчуковых товарищей следовали за Ханенкой. За ними в богатой карете цугом ехал генеральный писарь Андрей Безбородко, державший на богатой бархатной подушке войсковую печать. Шесть бунчуковых товарищей ехали верхом по бокам кареты, за которой шли шесть лакеев в богатых ливреях. Далее, в открытой богатой коляске, генеральный под-

скарбий Скоропадский держал на бархатной подушке гетманскую булаву. По сторонам ехали верхом опять шесть бунчуковых товарищей, а с обеих сторон и позади шли лакеи в богатых ливреях.

Потом следовал в богатой карете цугом Григорий Николаевич Теплов, в то время коллежский советник, державший перед собою на роскошной подушке высочайшую грамоту. Впереди кареты шли два скорохода. По сторонам два гайдука. Сзади четыре лакея. Двенадцать бунчуковых товарищей ехали верхом по сторонам.

За Тепловым в великолепной карете, запряженной в шесть богато убранных лошадей, ехал сам ясновельможный гетман. Впереди кареты верхами ехали графский конюший Арапкин, за ним бежали четыре скорохода и шли восемь лакеев, а по сторонам кареты четыре гайдука, все в богатых ливреях. За каретою ехали верхом два сержанта лейб-гвардии Измайловского полка. С правой стороны кареты ехал верхом генеральный есаул Якубович, и двенадцать человек бунчуковых товарищей ехали по обеим сторонам. Сорок

запорожских казаков и шестьдесят компанейцев замыкали шествие.

Грамота и клейноды были внесены в церковь и положены на стол, покрытый богатым персидским ковром. Посредине положили грамоту, по правую сторону булаву, а по левую — печать. По бокам стола стали генеральный бунчужный Оболонский с бунчуком и генеральный хорунжий Ханенко с знаменем в руках. Началась торжественная обедня. По окончании службы Григорием Николаевичем Тепловым была вслух «перед всем народом» прочитана жалованная грамота. Последовало благодарственное молебствие, при конце которого произведена была пушечная пальба из города и ружейная изо всех полков. Вечером весь город горел огнями.

В Глухове ожидали Кирилла Григорьевича его старушка-мать и сестра. Наталья Демьяновна впервые увидела свою невестку, которую знавала в девушках во время пребывания своего в Петербурге и в Москве. Граф Кирилл Григорьевич всеми силами старался удержать мать при себе, свято чтит все ее деревенские обычаи и нарочно для нее заказы-

вал привычные ей кушанья. Но и в Глуховском дворце, как и прежде во дворце царицы, старушке было не по себе. Не сошлась она и с невесткой, с детства привыкшей к придворному обхождению и воспитанной в доме надменного Александра Львовича Нарышкина, выискивавшего себе невест между дочерьми владетельных немецких князей. Впрочем, Наталья Демьяновна более года прожила с сыном, но наконец ей стало не в силу. Она вернулась в свою Алексеевщину в мирный Козелец.

Там начала она строить в 1752 году, с благословения киевского митрополита Тимофея Щербацкого, в честь святого Захария и Елизаветы (тезоименитой благодетельницы семейства ее) каменный двухъярусный собор. При соборе воздвигла она и каменную колокольню, по образцу той, которая находится в Киево-Печерской лавре. Глуховский двор был миниатюрной копией двора петербургского.

Граф гетман Кирилл Григорьевич зажил в Глухове царьком. В универсалах своих он употреблял старинную формулу: «Мы, нашим, того ради приказуем, дан в Глухов

и прочее».

При нем находилась, вроде телохранителей, большая конная команда под названием «команда у надворной хоругви», или гетманского знамени. Во дворце был целый придворный штат: капелан Юзефович, придворный капельмейстер, новгородский сотник Рочинский, конюшенный Арапкин и другие. На торжественные дни и семейные праздники бывал выход в Николаевскую и придворную гетманскую церкви и молебствия с пушечной пальбой. Во дворце гетманском давались банкеты с инструментальной музыкой, балы и бывали даже французские комедии.

Одним словом, придворная петербургская жизнь в сокращенном виде повторялась и в Глухове.

XXIX

При дворе

Веселы показались жителям Глухова 1751 и 1752 годы. У гетмана бал сменился комедией, комедия банкетом. На семейных праздниках гетманских вино лилось рекою. Как маленький властелин, он давал даже аудиенции старшинам после богослужения в придворной церкви, вручал торжественно пернач полковому судье миргородскому — Остроградскому, которого производил в полковники и на приемах у себя поздравлял кого с повышением, кого с наградой.

Иногда, впрочем, эти замашки его заходили слишком далеко, и из Петербурга спешили умерить его пыл. Там, впрочем, не особенно сильно гневались. Доказательством этому служила присланная 18 февраля 1752 года к гетману с капитаном-поручиком, лейб-компания вице-капралом Василием Суворовым, отцом знаменитого князя италийского, Андреевская лента.

Девятнадцатого февраля в Глухове было

торжество «ради привезенной кавалерии». Торжество продолжалось до 25-го числа и окончилось обедом в гетманском доме, балом и фейерверком.

В начале мая гетман, сопровождаемый Тепловым, генеральным писарем Безбородко, генеральным есаулом Якубовичем и десятью бунчуковыми товарищами, отправился осматривать малороссийские полки. Он сперва посетил Батурин, потом Стародуб и Чернигов, а оттуда проехал в степные полки и Киев. В гетманское отсутствие делами правили Скоропадский, Волкевич и Ханенко. Оболонскому была поручена экспедиция построек.

Гетман прежде всего поехал в Батурин. Путешествие продолжалось более двух месяцев. Гетмана везде принимали с радостью, везде устроены были пышные приемы. Вся Малороссия ликовала.

Один только случай, породивший толки в народе, смутил малороссов. Гетман в Чернигове объезжал городские укрепления. За ним ехала многочисленная свита и все чины Черниговского полка. Они подъехали к главному бастиону у церкви Святой Екатерины. Вдруг

вихрь сорвал с него Андреевскую ленту. Теплов, ехавший за ним, успел ее подхватить и хотел снова надеть, но гетман взял у него ленту, свернул и положил в карман. Ропот в народе и толки дошли до старухи Натальи Демьяновны. Она уговаривала сына удалить Теплова, предсказывая ему неизбежные несчастья, если он будет следовать советам своего любимца. Гетман, однако, не послушал матери.

Перед окончанием путешествия Разумовский еще раз посетил Батулин, где была его жена. Вскоре после приезда гетмана в Глухов умерла жена Григория Николаевича Теплова, а 22 октября у Разумовского родился сын, названный Андреем. Сын генерального подскарбия Скоропадского был отправлен курьером в Петербург с этим известием. Главные чиновники являлись ко двору гетманскому с поздравлениями, причем подносили гетманше «обычный презент».

Вскоре после торжественных крестин Наталья Демьяновна вернулась в Адамовку, а как скоро графиня Екатерина Ивановна оправилась от родов, оба Разумовские, по пригла-

шению государыни, поехали в Москву, где в то время находился двор. В свите гетмана находились: генеральный обозный Кочубей, генеральный писарь Безбородко, гадяцкий полковник Голецкий, шесть бунчуковых товарищей, старший канцелярист Туманский и другие.

Разумовский прибыл в Москву почти в одно время с двором, который 14 декабря тронулся из Петербурга. Вместе с двором приехал, разумеется, и граф Алексей Григорьевич, все еще могущественный, хотя уже не всемогущий, и единственный фаворит.

Великий канцлер Бестужев не сопутствовал двору. Дела и здоровье задерживали его в Петербурге. Грозная туча стояла на политическом горизонте, а при дворе ряды его приятелей заметно пустели. Много злобы накопилось в душе великого канцлера со времени падения Бекетова.

Кирилл Григорьевич между тем, несмотря на беспредельную, почти сыновнюю привязанность к брату, был в весьма хороших и даже близких отношениях не только с Иваном Ивановичем Шуваловым, но даже с графом

Михаилом Илларионовичем Воронцовым. С Шуваловым его сблизил их общий друг граф Иван Григорьевич Чернышев. О Чернышеве и Шувалове при дворе и в обществе иначе не говорили, как об Оресте и Пиладе. Втроем они составляли лучший цвет придворной молодежи того времени, любили и свет и веселье, но не забывали и ближних. Кирилл Григорьевич надеялся с помощью Ивана Ивановича и Чернышева примирить Бестужева с Шуваловым. Но дело между ними зашло слишком далеко. В борьбе канцлера с Петром Шуваловым о примирении не могло быть и речи.

Тем не менее гетман всеми силами старался привлечь канцлера в Москву, и когда наконец он был туда призван, старался облегчить ему путешествие и рекомендовал ему в спутники профессора и доктора Авраама Бергова, брата лейб-медика и тайного советника Германа Бергова. Сожаление и печаль относительно болезни вице-канцлера едва ли были совершенно искренни. Воронцов был в тесной связи с Шуваловым и с нетерпением ожидал минуты занять место Бестужева.

Хотя Алексей Петрович слепо верил в свое

счастье и, вполне сознавая свою тягость, рассчитывал на них твердо, однако он с беспокойством стал замечать, что царедворцы не скрываясь избегают его.

По приезде в Москву он лихорадочно начал искать себе союзников. Уже с некоторых пор остановила на себе его внимание молодая великая княгиня, старавшаяся в первой борьбе с ним воздавать ему по мере сил, око за око и зуб за зуб.

Стойкость и хитрость, с которой Екатерина защищала интересы и права мужа в вопросе о герцогстве Голштинском, доказали ему, что он имеет дело с женщиной далеко не обыкновенной. Бестужев знал, что в семейной жизни великая княгиня была несчастлива. Что касается до великого князя, Алексей Петрович уже давно понял, чего могла ожидать от него Россия. Он ненавидел его, кроме того, как друга Фридриха Великого и сторонника Шувалова. Беременность Екатерины давала надежду, что скоро родится наследник престола, а здоровье государыни, по свидетельству лечивших ее врачей, не давало надежды на долгое царствование.

Канцлер первый разгадал и понял Екатерину и решился с нею сблизиться. Через Сергея Васильевича Салтыкова узнала она, что канцлер ищет ее дружбы. Хотя немало накопело у нее злобы на сердце против Бестужева, однако шутить таким предложением было нечего. Голштинец Бремзен, вполне преданный канцлеру, служил при великом князе по делам его герцогства. Ему поручила Екатерина объявить Бестужеву, что она готова войти с ним в дружеские отношения. Заключен был тайный союз.

Канцлер стал всячески возбуждать Елизавету Петровну против ее племянника. Это было ему легко. Государыне давно опостылел ее племянник, и все его немецкие бестактные замашки были ей крайне противны. В записках к Алексею Григорьевичу Разумовскому и Ивану Ивановичу Шувалову она в самых резких и, по обыкновению, своему далеко не отборных выражениях отзывалась о великом князе. Но этого было недостаточно.

Бестужев решил, в случае кончины государыни, возвести на престол ее внука, а правительницей провозгласить Екатерину. С рож-

дением правнука Петра Великого об Иване Антоновиче никто уже не мог думать. Теперь на место Петра Федоровича, которого легко можно было или отправить в Голштинию, или заключить в какие-нибудь Холмогоры, представлялся наследником не иностранный принц, с детства заключенный в крепости, с именем которого соединены были все ужасы «бироновщины», а кровь и плоть Петровы. Следовало ко всему этому подготовить государыню. Дело это было крайне затруднительно, так как Елизавета Петровна страшно боялась смерти. Всякий намек на ее кончину мог бы дорого стоить тому, кто бы на него отважился.

В планах своих Бестужев нашел единомышленников. То был граф Алексей Григорьевич. Явное презрение ко всему русскому, пренебрежение всеми обрядами православной церкви, страсть ко всему немецкому уже давно отдалили старшего Разумовского от великого князя. Как ни избегал он всяких интриг, как ни держал себя вдали от дел государственных, но в этом случае он, видимо, охотно поддавался увещаниям Бестужева. Все

дело было, впрочем, содержимо в великой тайне. Шувалов ничего не подозревал, а великий канцлер не спал и втихомолку стал готовить план действий.

Между тем гетман среди беспрестанной придворной суеты не забывал Малороссии. Приехавшие с ним вместе малороссы были представлены государыне, принявшей их отменно милостиво. Еще в бытность гетманом в Глухове повелено было ему из Петербурга выслать две тысячи казаков для строения крепости Святой Елизаветы, нынешнего Елизаветграда. В Москве Кирилл Григорьевич сумел выхлопотать, чтобы вместо двух тысяч туда отправлены были только шестьсот одиннадцать человек. Из генеральной канцелярии были им вытребованы в Москву все бумаги, относящиеся до финансовых вопросов. Они были нужны ему для докладов государыне, вследствие которых разные сборы, заведенные Самойловичем и Мазепой на Украине и чрезвычайно обременительные для народа, были уничтожены. Таможня на границах Малороссии и Великороссии закрыта и объявлена свобода торговли между севером и югом.

Эти перемены сильно порадовали малороссиян. Молебствия раздавались по церквам. Были в Глухове и «водка» у генерального бунчужного, и банкеты у обозного в честь милостивого указа. Старшины, уехавшие с гетманом, почти целый год при нем оставались. Они попеременно дежурили при гетмане. Управление делами в Глухове было поручено Кочубею и Скоропадскому, но вскоре, вследствие ордера из Петербурга, место последнего занял Якубович.

Весной 1754 года двор из Москвы переехал в Петербург. За двором последовал и гетман с семейством и со свитой. Он снова поселился в хоромах своих на Мойке, тогда еще деревянных, и снова стал принимать у себя все петербургское общество.

Зима 1754 на 1755 год была одна из самых блестящих славившегося празднествами царствования Елизаветы Петровны. По случаю рождения великого князя Павла Петровича при дворе были беспрестанные приемы. Частные люди, со своей стороны, старались не отставать от двора и наперерыв друг пред другом устраивали у себя обеды, балы, маскара-

ды с иллюминациями и фейерверками. Между ними особенно отличались своей роскошью праздники Разумовских. Алексей Григорьевич принимал двор то в Аничковом дворце государыни, то в Цесаревнином доме, то на приморской своей даче, то в Мурзинке, то в Гостилицах. Государыня часто посещала его балы и вечера и иногда оставалась у него до пятого часа утра. Стол его славился по всему Петербургу, и поваров своих он выписывал из Парижа.

Граф Кирилл Григорьевич был тоже охотник полакомиться. Его праздники, балы и банкеты не уступали праздникам его старшего брата, но, кроме того, утонченные блюда, приготовленные французскими поварами, и вкусные особливые рыбки предлагались всем, а не одним только избранным и знакомым приятелям. У Кирилла Григорьевича был всегда открытый стол, куда могли являться и званые и незваные.

Дела между тем шли своим порядком. Указом от 17 января 1756 года, состоявшимся по прошению гетмана Разумовского, все дела малороссийские были переведены из Колле-

гии иностранных дел в Сенат. Таким образом, гетман стал зависеть от первой в государстве инстанции. В этой мере нельзя не видеть первого шага к уравниванию Малороссии с остальными частями империи.

В то время, когда в Петербурге весело праздновалось рождение великого князя Павла Петровича и заветные замыслы Бестужева и Екатерины через это рождение получили новую силу, события на Западе быстро шли вперед. Европа, умиротворенная Ахенским конгрессом, снова грозила загореться всеобщей войной. Алексей Петрович Бестужев справедливо гордился Ахенским миром и вполне имел право смотреть на него как на свое творение. Ахенский конгресс состоялся благодаря появлению на Рейне русского тридцатитысячного корпуса, содержимого Англией и Нидерландами. Россия, не теряя ни людей, ни денег, вдруг заняла в Европе первое место. Дружбы ее домогались первенствующие державы.

Это ли не была победа русской политики!

Борьба партий

На самом же деле Ахенский конгресс не решил ни одного из вопросов, волновавших тогда Европу. Вражда между Пруссией и Австрией не ослабевала, и обе державы только выжидали случая померить свои силы на поле битвы. Это было, скорее, перемирие, чем что-либо другое. Верный преданиям Петра Великого и своего недруга Остермана, Бестужев с самого начала царствования Елизаветы Петровны держался, как мы знаем, союза с Австрией.

С венским двором был заключен договор, по которому обе державы обязывались в случае нападения на владения одной из них выставить тридцатитысячный корпус на помощь союзнице. В то же время Бестужев искал союза с Англией, к которой был, как мы уже говорили, привязан лучшими воспоминаниями юности. От Пруссии и Франции отделяли его как интерес России, так и ложная вражда к Фридриху II и версальскому кабине-

ту, столь долго и неустанно, через Мардсфельда, ла Шетарди и Лестока, трудившихся над его падением.

Тройственным союзом между Россией, Англией и Австрией канцлер думал удержать status quo в Европе и помешать новому пролитию крови. Из Англии с целью заключить тесный союз отправлен был в Россию сэр Ганбюри-Вильямс, один из искуснейших политиков того времени.

Но императрица не скоро решалась закончить какое-нибудь дело. Месяцы текли за месяцами в нерешимости и бездействии, и в то время как подписание союза с Англией откладывалось со дня на день, в Европе произошла внезапная перемена, которой никто не ожидал и не предвидел и которая спутала соображения самых искусных дипломатов, а между ними и Бестужева.

Льстивые письма Марии-Терезии к всемогущей маркизе де Помпадур изменили всю политику версальского двора, а кстати и ловко употребляемое выражение «*ma cousine*» стерло те кровавые воспоминания, которые, казалось, навек должны были отделить Фран-

цию от венского кабинета. Освященные веками предания Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV были забыты. Франция протянула руку своему историческому врагу и, забыв недавнюю связь с Пруссией, открыто выступала против Фридриха Великого. Австрия, Франция и большая часть Германии соединились в одно. На стороне Пруссии осталась одна только Англия.

При таком неожиданном перевороте Бестужев более чем когда-либо стремился к союзу с сен-жерменским двором. Союз этот мог парализовать прежний договор с Австрией и спасти Россию от пагубной войны. Бестужев решился на всякий случай двинуть войска к границе и наготове выжидать удобного случая вмешаться в дела Европы, не теряя ни людей, ни денег. К несчастью Алексея Петровича и столь многих русских, павших на равнинах Пруссии, перемены в европейской политике произошли в то время, когда положение великого канцлера при дворе со дня на день становилось более критическим.

Несмотря на все свои огромные недостатки, на корыстолюбие, неразборчивость в

средствах для достижения своих целей, крайнее честолюбие, Бестужев все-таки оставался на шестнадцатом году царствования Елизаветы Петровны тем, чем был при начале его, то есть единственным человеком, способным управлять кормилом государства среди волнений внешней политики. С большой опытностью в делах дипломатических он соединял редкие познания и, несомненно, желал величия России, хотя иногда любовь к родине и подчинял личным выгодам. В описываемое нами время, когда труднее, чем когда-либо, было управление делами государственными, Бестужев должен был непрерывно бороться с сильными противниками, на каждом шагу наталкиваться на подкопы и интриги и видеть, как сокрушалось под меткими ударами врагов здание его политики, с таким трудом возведенное.

С другой стороны, влияние Шуваловых дошло до высшей степени. Иван Иванович, новый любимец государыни, был всемогущ, но влияние свое он, по мере сил, употреблял на пользу отечества, забывая о себе и довольствуясь личным расположением государыни.

Зато двоюродные его братья быстро достигли высших государственных должностей. Оба были андреевскими кавалерами и графами. Из них граф Александр Иванович, по смерти графа Ушакова, назначен был начальником страшной Тайной канцелярии, а граф Петр Иванович, настоящий глава всей шуваловской партии, в 1756 году получил место генерал-фельдцейхмейстера. Благодаря жене своей, графине Мавре Егоровне, некогда любимой камер-фрау, а теперь всемогущей напернице государыни, и двоюродному брату, часто, но, к сожалению, всегда безуспешно старавшемуся освободиться из-под его опеки, успел граф Петр Шувалов завладеть доверенностью Елизаветы Петровны.

Беспрестанные недуги ослабили нервы императрицы. Ей постоянно приходила на ум первая ночь ее царствования, и она опасалась, чтобы с нею не поступили точно так, как некогда поступила она с несчастной Анной Леопольдовной. У нее был поэтому даже особый телохранитель. Это был Василий Иванович Чулков. Простой служитель у цесаревны, он по восшествии ее на престол был сде-

лан камергером и получил несколько вотчин. Своим возвышением он обязан не красоте, как другие. Напротив, он был мал ростом и безобразен, но у него был чуткий сон, какой только можно себе представить, и это составило его счастье. Чтобы не быть захваченной врасплох, Чулков, по приказанию императрицы, должен был каждую ночь оставаться во дворце и дремать на кресле в комнате, смежной со спальней государыни. Сон был для него гораздо меньшей потребностью, чем для других. Слегка дремать на стуле было для него достаточным отдыхом, так что он не ложился спать и днем.

Этим настроением Елизаветы Петровны легко воспользовался Петр Иванович Шувалов. Он старался еще более усилить боязнь государыни, уверяя ее, что она окружена тайными недоброжелателями, готовыми на всякое преступление, и наконец ему вполне удалось убедить императрицу в том, что один он в состоянии оградить ее от действия скрытых врагов. В этом состояла главная сила его при дворе. Без всякой подготовки к делам государственным, лишенный образования и позна-

ний, крайне самонадеянный, Шувалов на самом деле способен был только к одним мелким придворным интригам. Слишком тщеславный и самолюбивый, он, несмотря на всю свою несостоятельность, стремился, однако, добиться исключительного влияния на дела и хотел стать во главе управления. Достигнув почти исключительного влияния, он, еще недавно с покорностью склонявший спину под батогами Алексея Григорьевича Разумовского, сделался теперь самым гордым временщиком двора Елизаветы Петровны. Даже многочисленные его клиенты, запрудившие все отрасли управления, были надменности невыносимой.

Не менее Бестужева падкий к деньгам, Петр Шувалов набивал свои карманы трудовой копеей народа, тогда как канцлер исключительно пользовался деньгами, получаемыми от иностранных держав. Разумеется, все действия Шувалова носили отпечаток мелкости его способностей. Все делалось наскоро, кое-как, без системы и логики.

Как при Петре были у нас в моде голландцы, при Екатерине I и Анне Иоанновне нем-

цы, так теперь, при Елизавете Петровне, со времен де ла Шетарди пошли в ход французы. Пышные праздники, блестящая свита и звонкие фразы французского посла сделали глубокое впечатление на поверхностных людей, а между ними и на Петра Ивановича Шувалова. Все французское стало в моде при дворе и в высшем свете, французский язык быстро вошел в общее употребление. К сожалению, в этом самом пристрастии грешен был и Иван Иванович, находившийся в деятельной переписке с Вольтером, который писал тогда по заказу русского двора историю Петра Великого.

Благодаря этому настроению высшего общества граф Петр Иванович стал открытым сторонником Франции. Тайный союз с версальским двором сделался его любимой мечтою. Не разбирая, выгоден ли союз этот для России и какие будут от него последствия, он стал всячески, без ведома Бестужева, стремиться к осуществлению своей цели. Благодаря его проискам отправлен был Бехтеев, довольно, впрочем, ничтожный человек, тайным агентом в Париж. Со стороны Франции

явились в Петербург известный шевалье, или, вернее, «шевальерша», д'Эон и шевалье Макензи-Дуглас.

Последний, человек ловкий и хитрый, вскоре стал домашним человеком у Шуваловых и Воронцова и, не имея, собственно, никакого официального положения при русском дворе, успел снова завести дипломатические сношения между Россией и Францией и подготовить путь к приезду посла — маркиза Лопиталья. Алексей Петрович Бестужев долгое время не верил успеху своих противников, слепо полагаясь на свое счастье, и слишком поздно стал думать о приобретении союзников. Он надеялся, что влияние старшего Разумовского, благодаря брачному союзу, соединившему последнего с императрицей, не оскудеет во все ее царствование. Но Алексей Григорьевич отказался теперь от всякого, даже косвенного, вмешательства в дела управления.

Австрийский посол граф Эстергази, некогда лучший друг канцлера, стал требовать не только исполнения договора, но еще и того, чтобы Россия всеми своими силами помогала

Марии-Терезии. Скоро понял он, что от Бестужева ожидать ему нечего, перешел на сторону Шувалова и Воронцова и из приятеля сделался злейшим врагом канцлера. Барона Черкасова, доброго помощника и советника, не было уже в живых. На стороне Бестужева оставалась одна великая княгиня, но в настоящем ее положении она могла мало принести ему пользы.

Екатерина принуждена была скрывать сочувствие свое к канцлеру, которое могло, в случае, если бы слухи о нем дошли до императрицы, сильно повредить и ей и Бестужеву. Против Шуваловых она могла действовать только орудием светской женщины. Она на каждом шагу выказывала им величайшее презрение, отыскивая их смешные стороны, и преследовала их своими насмешками и сарказмами, которые повторялись по всему городу.

Граф Шувалов своей нестерпимой гордостью успел нажать себе много недоброжелателей, потому всякий охотно смеялся и передавал знакомым колкости великой княгини. Кроме того, Екатерина более чем когда-ни-

будь ласкала Разумовских и этим досаждала Шуваловым, так как последние были в описываемое нами время открытыми врагами графа Алексея и Кирилла Григорьевичей. Императрица все продолжала хворать. Царедворцы ясно видели, что едва ли можно надеяться на ее выздоровление.

Таким образом прошли 1755 и 1756 годы. Со всех сторон готовились к войне. Бестужев не переставал надеяться, что, по крайней мере для России, до открытой войны дело не дойдет, и, верный своему плану, выдвинул к границе войска под начальством фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина, лучшего своего друга, находившегося тоже в самых дружеских отношениях с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским.

Против выбора главнокомандующего не восстали Шуваловы.

Дочь Апраксина, княгиня Елена Степановна Куракина, находилась в близких отношениях с графом Петром Ивановичем. Апраксину Бестужев предписал всячески избегать столкновения с пруссаками и как можно медленнее подвигаться к границе, а сам стал бо-

роться с врагами внутренними, трудиться над своим планом об удалении великого князя от престолонаследия и хлопотал о заключении тайного союза с Англией. С большим трудом успел он уговорить государыню подписать союз с Англией.

Сэр Ганбюри Вильямс торжествовал. Но торжество это продолжалось только сутки. На другой день от самого Бестужева он узнал, что Россия присоединилась к конвенции, заключенной в Марселе между Австрией и Францией. Союз с Англией делался, таким образом, одной пустой формальностью. Бестужев уже не в силах был бороться с ежедневно усиливавшейся партией Шуваловых.

Часть вторая

Двойники

I

В Зиновьеве

Вто время, когда в Петербурге и Москве при дворе Елизаветы Петровны кишели интриги, честолюбие боролось с честолюбием, императрица предавалась удовольствиям светской жизни, не имеющей никакого касательства с делами государственными, как внешними, так и внутренними. Россия все же дышала свободно, сбросив с себя более чем десятилетнее немецкое иго.

Не только в Петербурге, но и вообще во всей России немцы лишились своих мест и в канцеляриях и в войсках. Солдаты не хотели повиноваться офицерам, фамилии которых изобличали их немецкое происхождение. В Петербурге и других больших городах народ был так озлоблен против немцев, что готов был разорвать их на части. Духовенство называло их «исчадием ада» и сравнивало время

их господства с печальной памяти татарским владычеством. Были, конечно, места в России, где петербургские и московские придворные передраги не только не производили никакого впечатления, но даже и не были известны, так что и освобождение от немецкого нашествия чувствовалось в очень малой степени или даже совершенно не чувствовалось.

К таким благословенным уголкам принадлежало тамбовское наместничество вообще, а в частности, знакомое нам Зиновьево, где продолжала жить со своей дочерью Людмилой княгиня Васса Семеновна Полторацкая. Время летело с тем томительным однообразием, когда один день бывает совершенно похож на другой и когда никакое происшествие, выходящее из ряда вон, не случается в течение целого года, а то и нескольких лет, да и не может случиться по складу раз заведенной жизни.

Скука этой жизни, кажущаяся невыносимой со стороны, не ощущается теми, кто втянулся в нее и для которых она представляется именно такой, какой должна быть жизнь. Иной жизни они не знают и не имеют о ней

понятия. Жизнь для них заключается в занятиях, приеме пищи и необходимом отдыхе. Если им сказать, что они не живут, а прозябают, они с удивлением покачают головой, признавая его не в своем уме.

К таким лицам принадлежала и Васса Семеновна. Она выросла в деревне, в соседнем именье, принадлежавшем ее родителям и теперь составлявшем собственность ее брата, Сергея Семеновича. Она вышла замуж в деревне, и свадьба ее происходила в сельской церкви, и, наконец, поселилась в Зиновьеве, именье сравнительно большем, нежели именье, где жили ее родители, отданном ей в приданое, так как до замужества дочери старикам было, по их расчетам, несподручно жить в большом зиновьевском доме и они ютились в маленькой усадьбе соседнего хутора. Для княгини Полторацкой, которою стала их дочь, дом в Зиновьеве был отделан заново, именно на те средства, которые старики скопили своей экономией.

У князя были именья в других местностях России, но он, в силу ли желания угодить молодой жене, или по другим соображениям,

поселился в женином приданном имении. Князь Василий Васильевич был слаб здоровьем, а излишества в жизни, которые он позволил себе до женитьбы и вскоре и после нее, быстро подломили его хрупкий организм, и он, как мы знаем умер, оставив после себя молодую вдову и младенца дочь.

Васса Семеновна, любившая всего один раз в жизни человека, который на ее глазах променял ее на другую и с этой другой был несчастлив — Ивана Осиповича Лысенко, совершенно отказалась от мысли выйти замуж вторично и посвятила себя всецело своей маленькой дочери и управлению как Зиновьевом лично, так заочно и другими оставшимися после мужа имениями. Имения эти приносили значительный доход, так что княгиня Полторацкая могла жить широко и в довольстве, да еще и откладывать на черный день в традиционную «кубышку», которая заменяла в те добрые старые времена банки и сберегательные кассы.

Не зная совершенно жизни, выходящей из рамок сельского житья-бытья, если не считать редкие поездки в Тамбов, княгиня Васса

Семеновна, естественно, и для своей дочери не желала другой судьбы, какая выпала ей на долю, за исключением разве более здорового и более нравственного мужа. Хозяйственные и домашние заботы поглощали всю жизнь княгини, она свыклась с этой жизнью и находила совершенно искренно, что лучше и не надо. Ширь и довольство жизни заключались в постоянно полном столе, в многочисленной дворне, чистоте, даже почти изяществе убранства комнат — последнее заведено было покойным князем — и в всегда радушном приеме соседей, которых было, впрочем, немного и которые лишь изредка навещались в Зиновьево, особенно по зимам.

Летом жизнь несколько оживлялась. Приезжал гостить, как мы знали, сын Ивана Осиповича Лысенко — Ося. Навещивался и сам Иван Осипович. Наконец, неукоснительно каждое лето наезжал брат Вассы Семеновны — Сергей Семенович. Последнему сестра, несмотря на его протесты, давала всегда подробный и ясный отчет по управлению соседним, доставшимся ему от родителей имением. Так было первые годы после ее вдовства,

но затем все это круто изменилось.

Со времени исчезновения Осипа Лысенко отец его прекратил свои посещения Зиновьева, навевавшего на него тяжелые воспоминания. Сергей Семенович, со своей стороны, получив высшую и ответственную должность в петербургском административном мире, не мог ежегодно позволять себе продолжительных, в силу тогдашних путей сообщения, отлучек.

Прошло шесть лет со дня, вероятно не забытого читателями, происшествия в Зиновьеве, когда Иван Осипович Лысенко, лишившийся сына, нарушившего честное слово, уехал из княжеского дома, оставив княгиню и ее брата под впечатлением страшных слов:

— У меня нет сына!

Для Сергея Семеновича Зиновьева слова эти не могли иметь того значения, какое имели для Вассы Семеновны Полторацкой. Старый холостяк не мог, естественно, понять того страшного нравственного потрясения, последствием которого может явиться отказ родного отца от единственного сына.

Васса Семеновна, сама мать, мать строгая,

но любящая, сердцем поняла, что делалось в сердце родителя, лишившегося при таких исключительных условиях родного единственного и по-своему им любимого сына. Она написала ему сочувственное письмо, но по короткому, холодному ответу поняла, что несчастье его не из тех, которые поддаются утешению, и что, быть может, даже время, этот всеисцеляющий врач всех нравственных недугов, бессильно против обрушившегося на его голову горя.

Княгиня не ошиблась. Иван Осипович, вернувшись к месту своего служения, весь отдался своим обязанностям, и хотя и прежде не был человеком очень общительным, но с роковой поездки в Зиновьево уже совершенно удалился от общества и даже со своими товарищами по службе сохранил только деловые отношения. Вскоре узнали причину этого и преклонились перед обрушившимся на Лысенко новым жизненным ударом. Княгиня Васса Семеновна все же изредка переписывалась с Иваном Осиповичем, не касаясь не только словами, но даже намеком рокового происшествия в Зиновьеве.

В последнем жизнь, повторяем, текла своим обычным чередом. Старое старилось, молодое росло. Знакомые нам десятилетние девочки, княжна Людмила Полторацкая и ее подруга служанка Таня, обратились в вполне развившихся молодых девушек, каждой из которых уже шел семнадцатый год. С годами сходство их сделалось еще более поразительным, а отношения, естественно, изменились. Разница общественного положения выдвинулась рельефнее, и, видимо, это, даже постепенное, роковое для Тани открытие производило на нее гнетущее впечатление. Она стала задумчива и порой бросаемые ею на свою молодую госпожу взгляды были далеко не из дружелюбных.

Княжна Людмила, добрая, хорошая, скромная девушка, и не подозревала, какая буря подчас клокочет в душе ее «милой Тани», как называла она свою подругу-служанку, по-прежнему любя ее всей душой, но вместе с тем находя совершенно естественным, что она не пользуется тем комфортом, которым окружала ее, княжну Людмилу, ее мать, и не выходит, как прежде, в гостиную, не обедает

за одним столом, как бывало тогда, когда они были маленькими девочками.

— Она ведь дворовая...

Это было достаточным аргументом для тогдашнего крепостного времени даже в сердце и уме молоденькой девушки, не могущей понять, под влиянием среды, что у «дворовой» бьется такое же, как и у ней, княжны, сердце. Без гостей, у себя, в устроенной ей матерью уютненькой, убранной как игрушечка комнате с окнами, выходящими в густой сад, где летом цветущая сирень и яблони лили аромат в открытые окна, а зимой блестели освещаемые солнцем, покрытые инеем деревья, княжна Людмила по целым часам проводила со своей «милой Таней», рисовала перед ней свои девичьи мечты, раскрывая свое сердце и душу.

Хотя, как мы уже говорили, гости в Зиновьеве были редки, но все же в эти редкие дни, когда приезжали соседи, Таня служила им наравне с другой прислугой. После этих дней Татьяна по неделям ходила насупившись, жалуясь обыкновенно на головную боль. Княжна была встревожена болезнью своей любими-

цы и прилагала все старания, чтобы как-нибудь помочь ей лекарством или развеселить ее подарочками в виде ленточек или косыночек.

На самолюбивую девушку эти «подачки», как она внутренне называла подарки княжны, хотя в глаза с горячностью благодарила ее за них, производили совершенно обратное впечатление тому, на которое рассчитывала княжна Людмила. Они еще более раздражали и озлобляли Татьяну Савельеву — как звали по отцу Таню Берестову. Раздражали и озлобляли ее и признания княжны и мечты ее о будущем.

— И все-то ей это доступно, если мать умрет, все ее будет, княжна, богатая, красавица, — со злобой говорила о своей подруге детства Татьяна.

— Красавица, — повторяла она с горькой усмешкой, — такая же, как и я, ни дать ни взять как две капли воды, и с чего это я уродилась на нее так похожей?

Пока что этот вопрос для наивной Тани, при которой остальные дворовые девушки все же остерегались говорить о своих шаш-

нях, так как, не ровен час, «сбрехнет» «дворовая барышня» — данное ими Тане насмешливое прозвище — княжне, а то, пожалуй, и самой княгине, пойдет тогда разборка. В этих соображениях они при Татьяне держали, как говорится, язык за зубами.

— Красавица, значит, и я, — продолжала соображать со злобным чувством Татьяна, — однако мне мечтать так не приходится, высмеют люди, коли словом и чем-нибудь о будущем хорошем заикнусь, холопка была, холопкой и останусь.

Эти мысли посещали ее обыкновенно среди проводимых ею без сна ночей, когда она ворочалась на жестком тюфяке в маленькой комнатке, отгороженной от девичьей. Перегородка в комнате не доходила до потолка. Свет неугасаемой лампы, всегда горевшей в девичьей, полуосвещал сверху и это, сравнительно убогое, помещение подруги детства княжны. Татьяна со злобным презрением оглядывала окружающую обстановку, невольно сравнивая ее с обстановкой комнаты молодой княжны, и в сердце ее без удержу клочотала непримиримая злоба.

— Даром что грамоте обучили, по-французски лепетать выучили и наукам, а что в них мне, холопке, только сердце мне растравили, со своего места сдвинули. Бывало, помню, маленькая, еще когда у нас этот черноглазый Ося гостил, что после сгинул, как в воду канул, держали меня как барышню, вместе с княжной всюду, в гостиной при гостях резвились, а теперь, знай, видишь, холопка свое место, на тебе каморку в девичьей, да и за то благодарна будь, руки целуй княжеские... «Таня да Таня, милая Таня», передразнивала она вслух княжну Людмилу: «на тебе ленточку, на тебе косыночку, ленточка-то позапачкалась, да ты вычистишь...» Благодетельствуют, думают, заставят этим мое сердце молчать... Ох уж вы мне, благодетели, вот вы где, — указывала она рукою на шею, вскочив и садясь на жесткую постель, — кровопийцы...

Так, раздражая себя по ночам, Татьяна Берестова дошла до страшной ненависти к княгине Вассе Семеновне и даже к когда-то горячо ею любимой княжне Людмиле. Эта ненависть росла день изо дня еще более потому, что не смела проявляться наружу, а напро-

тив, должна была тщательно скрываться под маской почтительной и даже горячей любви по адресу обеих ненавидимых Татьяной Берестовой женщин. Нужно было одну каплю, чтобы чаша переполнилась и полилась через край. Эта капля явилась.

II

Тайна княжеского парка

Верстах в трех от Зиновьева находилось великолепное имение, принадлежавшее князьям Луговым. Владельцы этого имения жили всегда в Петербурге, вращаясь в тамошнем высшем свете и играя при дворе не последнюю роль, и не посещали своей тамбовской вотчины. На имение уже легла та печать запустения, которая, несмотря на заботу о нем со стороны управителя из крепостных, все же бывает уделом имения, в котором не живут сами хозяева. Но эта одичалость векового парка, эти поросшие травой дорожки и почерневшие статуи над газонами и клумбами, достаточно запущенными небрежностью садовников, не имеющих над собою настоящего

хозяйского глаза, придавали усадьбе князей Луговых еще большую прелесть.

Из Зиновьева часто, в виде прогулки, отправлялись в Луговое, как, по имени владельца, называлось это имение, и для княжны Людмилы и Тани Берестовой не было лучшего удовольствия, как гулять в княжеском парке. Огромный каменный дом, с причудливыми террасами, башнями по углам и круглым стеклянным фонарем посередине, величественно стоял на пригорке и своей белой штукатуркой выделялся среди зелени деревьев. Запертые и замазанные мелом двойные рамы окон придавали ему еще большую таинственность. В некоторых местах на стеклах меловая краска слезла, и можно было, особенно в солнечный день, видеть внутреннее убранство княжеских комнат.

Обе девочки, княжна Людмила и Таня, любили прикладываться глазами к этим чистым прогалинам оконных стекол и любоваться меблировкой апартаментов, хотя лучшие вещи, как-то: бронза и штофная мебель были под чехлами, но, быть может, именно потому они казались детскому воображению еще

красивее. Одним словом, дом в Луговом приобрел в их глазах почти сказочную таинственность.

Однажды, когда княжеский управитель, застав девочек прикладываявшихся личиками к окнам княжеского дома, предложил ее сиятельству Людмиле Васильевне, — как он величал маленькую княжну, — и Тане показать внутренность дома, то обе девочки, сопровождаемые, конечно, гувернанткой, со священным трепетом переступили порог входной двери и полной грудью вдохнули в себя тяжелый, несколько даже затхлый воздух княжеских апартаментов. Несколько недель шли рассказы об этом посещении и воспоминания разных мельчайших подробностей убранства и расположения комнат. Но, странное дело, сказочная таинственность дома как-то вдруг уменьшилась, и уже при входе в княжеский парк обе девочки перестали ощущать биение своих сердец в ожидании заглянуть в окна дома. Они знали в подробности, что находится за этими таинственными белыми окнами.

Дом перестал быть для них загадкой. Он

потерял половину интереса. Девочки перестали заглядывать в окна. Это не только детское, но общечеловеческое свойство — все незнакомое, неизвестное и неразгаданное имеет для людей свою прелесть, начиная с заморских земель и кончая женщиной.

Было, впрочем, одно строение в княжеском парке, которое носило на себе печать постоянной таинственности. Это было вроде не то беседки, не то часовни, восьмиугольное здание, с остроконечной крышей, семью узенькими окнами и железной дверью, запертой огромным болтом и громадных размеров железным замком. Окна были все из разноцветных стекол, вставленных причудливыми квадратиками, треугольниками и кружочками и огражденные железными решетками. Ослабленный интерес обеих девочек к княжескому дому весь сосредоточился на этом загадочном здании.

Рассеять или даже уменьшить этот интерес не мог уже управитель. По его словам, ключа от замка часовни или, лучше сказать, беседки, так как на ее шпиге находился не крест, а проткнутое стрелой сердце, видимо

когда-то позолоченное, у него не было, да он полагает, что его и никогда не было ни у кого, кроме лица, затворившего дверь и замкнувшего этот огромный замок. А заперта она была, как говорило предание, много десятков лет тому назад. Стояло оно в самой глубине княжеского парка. Место вокруг него совершенно одичало, так как, по приказанию владельцев, переходившему из рода в род, его и не расчищали.

То же предание утверждало, что в этой беседке была навеки заперта молодая жена одного из предков князей Луговых оскорбленным мужем, заставшим ее на свидании именно в этом уединенном месте парка. Похититель княжеской чести подвергся той же участи. Рассказывали, что князь, захватив любовников на месте преступления, при помощи дворни заковал их в кандалы и бросил в обширный княжеский подвал, находившийся под домом, объявив им, что они умрут голодной смертью на самом месте их преступного свидания.

На другой же день начали постройку этой беседки-тюрьмы под наблюдением самого

князя, ничуть даже не спешившего ее окончанием. Несчастные любовники между тем, в ожидании исполнения над ними сурового приговора, томились в сыром подвале на хлебе и на воде, которые им подавали через проделанное отверстие таких размеров, что в него можно было только просунуть руку с кувшином воды и краюхою черного хлеба.

Постройка продолжалась около года. Когда тюрьма была окончена, состоялся снова едиличный княжеский суд над заключенными, которые предстали перед лицом разгневанного супруга неузнаваемыми, оба были совершенными скелетами, а головы их представляли из себя колтуны из седых волос. После подтверждения заранее уже объявленного им приговора их отвели в беседку-тюрьму, и князь собственноручно заложил болт и запер замок, взяв ключ с собою. Куда девался этот ключ, неизвестно.

После смерти обманутого мужа, женившегося вскоре на другой, его не нашли, а на смертном одре умирающий выразил свою последнюю волю, которую он сделал обязательной для своих потомков, из рода в род, остав-

лять навсегда запертой беседку и не расчищать то место парка, где она стоит, грозя в противном случае своим загробным проклятием, которое принесет им страшное несчастье и даже уничтожит род. Потомки до сих пор свято исполняли эту волю.

Прогулки в парке князей Луговых продолжались из года в год из Зиновьева. В них принимал участие и Ося Лысенко, и на его пламенное воображение страстно действовала таинственная беседка. После его исчезновения из Зиновьева, исчезновения, смысл которого мало поняли его маленькие подруги, последние продолжали посещать Луговое и с сердечным трепетом подходить к таинственной беседке. Они знали сложившуюся о ней легенду, но смысл ее был темен для них.

За что наказал муж жену так жестоко? — этот вопрос, на который они, конечно, не получали ответа от взрослых, не раз возникал в их маленьких головках. С годами девочки стали обдумывать этот вопрос и решили, что жена согрешила против мужа, нарушила клятву, данную перед алтарем, виделась без позволения с чужим мужчиною. На этом и

остановилось разрешение вопроса. Оно успокоило княжну Людмилу.

Таня Берестова согласилась со своей госпожой, но внутренне — тогда уже началось брожение ее мыслей, — решила, что молодая женщина, вероятно, погибла безвинной от княжеской лютости. Она воображала себе почему-то всех князей и княгинь лютыми.

В описываемое нами время в окрестности разнесся слух, что в Луговое ожидается молодой хозяин, князь Сергей Сергеевич Луговой, единственный носитель имени и обладатель богатств своих предков. Стоустая молва говорила о князе, как будто бы его уже все видели и с ним говорили. Описывали его наружность, манеры, характер, привычки и тому подобное.

Из всего этого на веру можно было взять лишь то, что князь очень молод, служит в Петербурге, в одном из гвардейских полков, любим государыней и недавно потерял старуху мать, тело которой и сопровождает в имение, где около церкви находится фамильный склеп князей Луговых. Отец его, князь Сергей Михайлович, уже давно покоился в этом

склепе.

Как подтверждение этих слухов, княжна Людмила, совершив прогулку в Луговое, принесла известие, что там деятельно готовятся к встрече молодого владельца и праха старой княгини. Княгиня Васса Семеновна, уже давно прислушивавшаяся к ходившему говору о приезде молодого князя Лугового, обратила на известие, принесенное дочерью, особенное внимание. Она начала строить планы относительно ожидаемого князя.

«Конечно, — думала она, — князь после печальной церемонии погребения своей матери сделает визиты соседям и, несомненно, не обойдет и ее, княгиню Полторацкую, муж которой был не менее древнего рода, нежели князя Луговые, и даже считался с ними в отдаленном если не родстве, то свойстве».

Не будет ничего мудреного, что ее Люда, как звала она дочь, произведет впечатление на молодого человека, которое кончится помолвкой, а затем и свадьбой.

Когда княжне Людмиле пошел шестнадцатый год, княгиня Васса Семеновна начала серьезно задумываться о ее судьбе. Кругом, сре-

ди соседей, не было подходящих женихов. В Тамбове искать и подавно было не из кого. Девушка между тем не нынче завтра невеста. Что делать? Этот вопрос становился перед княгиней Вассой Семеновной очень часто, и, несмотря на его всестороннее обдумывание, оставался неразрешенным.

«Ехать в Петербург или Москву!» — мелькало в уме заботливой матери.

Она с ужасом думала об этом. О придворной и светской жизни на берегах Невы ходили ужасающие для скромных провинциалов слухи. Они не были лишены известного основания, хотя все, что начиналось в Петербурге комом снега, докатывалось до Тамбова в виде громадной снежной горы.

В Москве, как говорили, не отставали по части широкой, привольной и, главное, разнузданной жизни от молодой столицы. Частые поездки двора поддерживали это оживленное настроение старушки белокаменной.

«И в этот омут пуститься со своим ребенком», — с ужасом думала княгиня Васса Семеновна.

«Никогда!» — решила она.

Между тем при таком решении княгини Людмила рисковала «остаться в девках», выражаясь грубым языком описываемого нами времени.

«Что же делать?»

И вдруг известие о приезде молодого князя Лугового открыло для материнской мечты новые горизонты. Что, если повторится с ее дочерью судьба ее, Вассы Семеновны? Быть может, и Людмиле суждено отыскать жениха по соседству. Быть может, этот жених именно теперь уже находится в дороге.

Так мечтала княгиня Васса Семеновна Полторацкая. Дело это слишком переполнило ее сердце, чтобы она устояла поделиться им с дочерью, хотя, собственно, только потому, что это было единственное близкое ей в доме лицо. Сделала она это в очень туманной форме, но для чуткого сердца девушки было достаточно намек, чтобы оно забило тревогу.

Здоровое воспитание на лоне природы не по летам развило княжну Людмилу, и, несмотря на ее наивность и неведение жизни, в ее стройном, сильном теле скрывались все задатки страстной женщины. Ожидаемый

по соседству князь уже представлялся ей ее «суженым», тем суженым, которого, по русской пословице, «конем не объедешь». Сердце ее стало биться сильнее обыкновенного, и она чаще стала предпринимать прогулки по направлению к Луговому.

Не скрыла она туманных намеков матери от своей «милрой Тани», наперсницы всех ее дум. Сердце последней тоже забило тревогу.

Княжна, строившая планы своего будущего, один другого привлекательнее, рисовавшая своим пылким воображением своего будущего жениха самыми радужными красками, окончательно воспламенила воображение и своей служанки-подруги. Та, со своей стороны, тоже заочно влюбилась в воображаемого красавца князя и к немым злобствованиям ее против княжны Людмилы прибавилось и ревнивое чувство.

— Меня-то, чай, за кого ни на есть дворового выдадут... Михайло, выездной, стал что-то уж очень масляно на меня поглядывать... Княгинин любимец... Поклонится ведьме, как раз велят под венец идти, а дочке князя-красавца, богача приспособливает... У, кровопий-

цы... — злобно шептала она во время бессонных ночей, сидя на своей убогой кровати.

По последним собранным обеими молодыми девушками сведениям в Луговом, князя там ждали со дня на день.

III

В Луговом

В Луговом действительно шли деятельные приготовления к прибытию останков покойной княгини Луговой и молодого владельца, князя Сергея Сергеевича.

Не только уборкой комнат княжеского дома были заняты все дворовые люди, но для этой же цели были, выражаясь помещичьим языком того времени, сбиты множество деревенских баб. Мыли окна, полы, двери, и вскоре под руками этих многочисленных работников и работниц, за которыми зорко следили управляющие, дом стал неузнаваем. Он окончательно потерял свой таинственный вид, и яркое июньское солнце весело играло в стеклах его окон и на заново выкрашенной зеленой краской крыше. Побеленная штука-

турка дома делала впечатление выстроенного вновь здания, и, кстати сказать, эта печать свежести далеко не шла к окружающему вековому парку и в особенности в видневшемся в глубине его шпицу беседки-тюрьмы с роковым пронзенным стрелою сердцем.

Такое именно впечатление вынесли обе молодые девушки, княжна Людмила и Таня, когда увидели княжеский дом реставрированным. Несмотря на то что, как мы знаем, он потерял для них прежнее обаяние таинственности, из их груди вырвался невольный вздох. Они пожалели старый дом с замазанными мелом стеклами.

Впрочем, отделанный заново дом, как вернейший признак скорого прибытия «его», вскоре рассеял их грусть, заняв их ум другими мыслями.

Княжна Людмила предалась мечтам о будущем, мечтам, полным светло-розовых оттенков, подобным лучезарной летней заре. В будущем Тани проносились перед ее духовным взором темные тучи предстоящего, оскорбляя ее за последнее время до болезненности чуткое самолюбие. Полный мир и ка-

кое-то неопределенное чувство сладкой истомы царили в душе княжны Людмилы. Завистливой злобой и жаждой отмщения было переполнено сердце Татьяны Берестовой.

— Мама, мама, там уже все готово... — Быстро вошла в кабинет матери княжна Людмила Васильевна.

— Где там, что готово? — сразу не сообразила княгиня, занятая над толстой приходо-расходной книгой.

— В Луговом...

— А... вы там были?

— Там, мама, там, только что оттуда.

И княжна Люда пустилась подробно объяснять матери, как красиво и нарядно выглядит теперь старый княжеский дом. Княгиня Васса Семеновна рассеянно слушала дочь и более любовалась ее разгоревшимся лицом и глазами, нежели содержанием ее сообщения, из которого главное для нее было то, что «он» скоро приедет.

«Не может быть, — неслось в голове любящей матери, — чтобы такая красавица, такая молоденькая, княжна, с богатым приданым, не поразила приезжего петербуржца. Разве

там, в Петербурге или Москве, есть такие, как моя Люда? Голову закладываю, что нет... Бледные, худые, изможденные, с зеленоватым отливом лица, золотушные, еле волочащие отбитые на балах ноги — вот их петербургские и московские красавицы, — куда же им до моей Люды?»

Васса Семеновна, создав себе, по слухам о петербургских и московских нравах, портрет тамошних девушек, глубоко верила, что она рисует их как бы с натуры.

— Значит, приедет скоро? — спросила она дочь, когда та окончила свое повествование.

— На днях, не нынче завтра...

— Что же, это хорошо... Никто как Бог... — вздохнула княгиня.

— А если он к нам не приедет?

— Как можно, Людочка, светский, вежливый молодой человек... должен приехать... Конечно, не сейчас после погребения матери, выждет время, делами займется по имению, а там и визиты сделает, нас с тобой не обойдет... Мы ведь даже родственники.

— Родственники... — упавшим голосом произнесла княжна Людмила.

— Дальние, очень дальние, моя душечка, такое родство и не считается... — успокоила с улыбкой княгиня свою дочь.

— А-а... — покраснела молодая девушка.

— Ах, господи, кабы все так устроилось, как я думаю, — вслух выразила свою мысль княгиня Васса Семеновна.

Княжна Людмила не отвечала ничего. Она сидела на кресле, стоявшем сбоку письменного стола, у которого над раскрытой приходо-расходной книгой помещалась ее мать, и, быть может, даже не слыхала этой мысли вслух, так как молодая девушка была далеко от той комнаты, в которой она сидела. Ее думы, одинаково с думами ее матери, витали по дороге к Луговому, по той дороге, где, быть может, идет за гробом своей матери молодой князь Луговой.

Ни Вассу Семеновну, а тем более княжну Людмилу не смущало то соображение, что они строили свои матримониальные планы относительно князя у не погребенного еще тела его матери.

Княгиня Луговая, как это всем было известно, была больна уже несколько лет, и смерть

ее не была неожиданностью для сына. Он ожидал ее уже давно, а это ожидание порой не только ослабляет удар, но даже делает его почти совершенно нечувствительным. При этом, молодость всегда сказывается, и смерть родителей редко заставляет умолкнуть требования сердца, особенно у светских людей, легко относящихся не только к чужой, но и к своей собственной жизни. Так соображала по этому вопросу княгиня Васса Семеновна. Княжна же Людмила совершенно упустила его из виду. Вопрос этот даже не возникал в ее уме. Да и немудрено — она не знала, что такое смерть близкого человека. Ее отец умер тогда, когда она была грудным младенцем, ее мать и дядя, единственные близкие ей люди, были живы и здоровы.

Прошло несколько дней, и до Зиновьева действительно донеслась весть, что князь Сергей Сергеевич Луговой прибыл в свое имение. Прогулки в Луговое были прекращены.

Зиновьевский дом находился в состоянии ожидания. Это состояние не только было состоянием княгини Вассы Семеновны, княжны Людмилы и Татьяны, каждой по-своему заин-

тересованной в полученном известии о приезде молодого владельца Лутового, но именно состоянием всего княжеского дома и многочисленной княжеской дворни. Что бы ни говорили наши либералы, но в отмененном крепостном праве, среди его темных сторон, были стороны и очень светлые. К последним относились, главным образом, та подчас общая жизнь, которою жили крестьяне со своими помещиками, вообще, и в частности отношение к этим помещикам их дворовых людей.

Конечно, мы говорим о помещиках добрых и справедливых, хорошо понимавших ту истину, что их положение в хорошую или дурную сторону зависит всецело от положения подвластных им лиц в ту или другую сторону. Постепенно вымирающие на наших глазах типы крепостных людей до сих пор являются светлыми точками на затуманенном водкой, нерадением, ленью да дерзостью, граничащей с наглостью, фоне нашего современного крестьянства вообще и нашей прислугой в частности. Как далеки от последней эти светлые типы! Они жили со своими господами об-

щей жизнью и не иначе говорили, как «мы с барином».

Это служит теперь предметом насмешки, но если глубоко вдуматься в смысл этих простых, бесхитростных слов, то какая в них открывается глубина единения, как очерчивается тогдашний строй социальной жизни, в настоящее переживаемое нами время совершенно недостижимый. Семейное начало, положенное в основу отношения крепостных людей к помещикам, и было той светлой стороной этого института, которого не могли затемнить одиночные, печальные, даже подчас отвратительные, возмущающие душу явления помещичьего произвола, доходящего до зверской жестокости. Такого рода добрые, чисто родственные отношения соединяли дворянскую княгиню Полторацкой с барыней и барышней. Дворяне жили действительно одной жизнью с «их сиятельствами», радовались их радостями, печалились их печалью и разделяли их надежды.

Несмотря на то что княгиня Васса Семеновна только, как мы знаем, туманным намеком открыла дочери свои надежды на князя

Лугового, вся дворня каким-то образом основывала на нем такие же надежды и искренно желала счастья найти в нем суженого молодой княгине.

— Дай-то Бог нашей красавице княжне счастья...

В таком роде слышались восклицания дворовых людей княгини Полторацкой, надежды которых тоже, повторяем, вместе с надеждами княжны и княгини, направились в сторону Лугового.

В последнем между тем шли спешные приготовления к церемонии погребения старой княгини. Гроб был поставлен в церкви, где должен был простоять три дня, в которые определено было, чтобы крестьяне и дворовые люди прощались с прахом своей покойной помещицы земными поклонами пред ее гробом. Молодой князь Сергей Сергеевич, несмотря на естественную усталость с дороги, тотчас по прибытии отдал управителю соответствующие распоряжения. На управителя и остальных дворовых людей, которым всем он оказал барскую ласку, он произвел прекрасное впечатление.

— Князь-то наш, недаром что молод, деловит, степенен... Весь в покойного своего батюшку, царство ему небесное, настоящий был князь.

— Да и лицом и станом весь в покойного, две капли воды...

Так толковали старые княжеские дворяне.

— И раскрасавец же писанный... — добавляли женщины.

Согласно распоряжениям князя Сергея Сергеевича, нарочные, снабженные собственноручно написанными им письмами, запечатанными большой черной княжеской печатью, были разосланы по соседям. Письма были все одного и того же содержания. В них молодой князь с душевным прискорбием уведомлял соседей о смерти его матери и просил почтить присутствием заупокойную литургию в церкви села Лугового, после которой должно было последовать погребение тела покойной в фамильном склепе князей Луговых.

Одной из первых получила это приглашение княгиня Васса Семеновна Полторацкая.

На адресованном ей конверте была приписка: «с дочерью». Эта приписка появилась на конверте вследствие доклада, сделанного управителем, о том, что у княгини Полторацкой, ближайшей соседки Луговой, есть красавица дочь. Княгиню Вассу Семеновну она не только сильно польстила, но и укрепила питаемые ее сердцем надежды.

Значит, князь знает, что у меня есть дочь. Значит, ему об этом доложено, и, конечно, доложено с похвалой. Иначе бы не появилась эта приписка.

«Эти петербуржцы — тонкие люди! — самодовольно думала княгиня Васса Семеновна. — Даром слова не проронят, а не только что напишут».

С этими мыслями она читала полученное приглашение и с ними же села в карету, запряженную в шесть лошадей цугом, вместе со своей дочерью. Васса Семеновна и княжна Людмила были одеты в черные платья.

В церкви села Лугового к назначенному часу уже собрались все приглашенные. Никто из ближайших и даже дальних соседей не пренебрег приглашением молодого владель-

ца села Лугового — отдать последний долг его покойной матери. Были несколько семейств, приехавших, быть может, с теми же самыми надеждами, какие питала княгиня Васса Семеновна. Это было заметно по тому, с каким беспокойством и тщательностью осматривали матери костюм своих привезенных вместе с собою взрослых дочерей. Это хорошо поняла княгиня Полторацкая, но тщательный осмотр других претенденток на княжеский титул и богатство успокоил Вассу Семеновну.

Действительно, ни одна из девушек не могла выдержать ни малейшего сравнения с ее дочерью, даже не с точки зрения матери. Это были заурядные молодые лица, с наивными и в большинстве даже испуганными выражениями, нежные блондинки, бесцветные шатенки, каких много встречается в провинциальных гостиных, да и там они остаются незамеченными. Может ли на них обратить внимание избалованный князь-петербуржец? Этот вопрос княгиня Васса Семеновна разрешила отрицательно, с любовью и материнскою гордостью смотря на свою красавицу дочь, дивный цвет лица которой особенно

оттенялся черным платьем.

Княжна Людмила Васильевна действительно была очень эффектна. Об этом можно было более судить не по восхищению ее матери, а по завистливым взглядам, бросаемым на молодую девушку остальными матерями, взглядам, с грустью переводимым на своих собственных детей. Видимо, они делали сравнение и при всем желании не могли прийти к утешительному выводу.

Возле церкви стояло множество разнокалиберных экипажей, начиная с богатых карет и кончая скромными линейками и дрожками. Церковь была переполнена. Молодой князь прибыл в нее за час до назначенного времени и все время, как толковали в народе, молился у гроба своей матери. Затем он стал в дверях церкви принимать приглашенных.

Князь был высокий, статный молодой человек с выразительным породистым лицом, с теми изысканно-изящными манерами, которые приобретаются исключительно в придворной сфере, где люди каждую минуту думают о сохранении элегантной внешности. На лице его лежала печать грусти, деланной

или искренней — это, конечно, было тайной его сердца, но это выражение вполне гармонировало с обстановкой, местом и причиной приема. Все заметили, что князь с особой почитательностью поцеловал руку княгини Вассы Семеновны Полторацкой.

IV

Первая встреча

По окончании заупокойной литургии и погребения тела в фамильном склепе князь Сергей Сергеевич пригласил всех прибывших в свой дом помянуть, по русскому обычаю, покойную княгиню. В громадной столовой княжеского дома был великолепно сервирован стол для приглашенных. Не забыты были князем его дворовые люди и даже крестьяне. Для первых были накрыты столы в людской, а для последних поставлены на огромном дворе княжеского дома, под открытым небом.

Князь Сергей Сергеевич и в доме своем принимал своих гостей с тою же печальной сдержанностью, как и в церкви, но это ему не помешало быть с ними предупредитель-

но-любезным и очаровать всех своим истинно русским гостеприимством. Княгиня Васса Семеновна и княжна Людмила заняли почетные места у стола, и князь, имея по правую руку священника сельской церкви, а по левую княгиню, весь обед проговорил с ней о хозяйственных делах, о своих намерениях изменить некоторые порядки в имении, почти-тельно выслушивал ее ответы и советы. О покойной своей матери он сказал лишь несколько слов по поводу ее продолжительной и тяжелой болезни, не поддавшейся лечению лейб-медиков, присылавшихся императрицей. Более он о покойной не распространялся, так как княгиня Полторацкая совершенно не знала ее.

Между прочим, он счелся родством.

— Ну, что касается родства, то оно у нас очень отдаленно... — заметила княгиня.

— Да, если я не ошибаюсь, сто лет тому назад одна из княгинь Полторацких была замужем за князем Луговым...

— Может быть, может быть... — ответила княгиня.

При этом известии княжна Людмила на-

вострила уши.

«Что, если через сто лет это повторится...» — мелькнуло в ее уме.

Она густо покраснела. Это было кстати, так как молодой князь в этот самый момент обратился к ней с вопросом.

— Я слышал, что вы часто гуляли в здешнем парке... Мне очень приятно, что он вам нравится...

— У нас в Зиновьеве есть тоже хорошие места, но они не могут сравниться с вашим парком, — ответила за дочь княгиня, — моя девочка летом чуть не каждый день ходила сюда.

— Тем дороже для меня будет этот парк... — любезно произнес князь Сергей Сергеевич и, как заметили завистливые маменьки бесцветных дочек, метнул на княжну Людмилу довольно выразительный взгляд.

— Постыдился бы так явно ферлакурить... — злобствовались они между собой по окончании поминального обеда, когда были приглашены в гостиную и разбились на группы. — Мать только что опустил в могилу.

— Известно, петербуржец, — они безбож-

ники.

— Ишь увивается, смотреть противно.

Действительно, князь Сергей Сергеевич после поминального обеда почти не отходил от княгини и княжны Полторацких. Они первые поднялись после десерта и стали собираться домой. Князь Луговой проводил их до кареты.

— Надеюсь, увидимся... — сказала княгиня Васса Семеновна.

— Я не премину, княгиня, очень скоро лично у вас поблагодарить вас за сочувствие, которое вы выказали мне в память моей покойной матери, и за честь, которую вы оказали мне своим посещением.

После отъезда княгини и княжны стали разъезжаться и остальные гости. Князь все сумел сказать на прощанье что-нибудь приятное. Все, кроме огорченных маменек взрослых дочерей, уехали от него обвороченные.

Княгиня Васса Семеновна и княжна Людмила некоторое время молчали. Обе были под впечатлением давно ожидаемого ими свидания. На обеих князь произвел сильное впечатление.

Надежда, что ее дочь найдет в Луговом свою судьбу, превратилась в сердце княгини Вассы Семеновны в уверенность. Она видела, но, конечно, не показала виду, что заметила, какие восторженные взгляды бросал молодой князь на ее Люду, видела озлобленные лица других маменек и заключила основательно, что ее дочь одержала победу. Дальнейшие визиты князя, конечно, быстро решат интересное ее дело.

Княжна Людмила встретила в молодом князе Луговом олицетворение созданного ее воображением «жениха». Она мысленно таким воображала себе мужчину, который поведет ее к алтарю. Она чутьем девушки, которое никогда не обманывает, догадалась, что произвела на князя впечатление.

— Я ему понравилась, — неслось в ее уме, — а он, он... я в него влюблена.

Она вспыхнула при этом самопризнании. Наконец, княгиня Васса Семеновна нарушила молчание.

— Какой милый молодой человек этот князь... — сказала она.

Дочь молчала.

— Я даже этого не ожидала.

— А я напротив... — вырвалось у княжны Людмилы.

— Что напротив? — спросила удивленная мать.

— Я именно его таким себе и представляла.

— Представляла?..

— Да, мама, представляла... Ведь когда ты мне сказала, что было бы хорошо, если бы князь мне сделал предложение...

— Что ты, что ты? Когда я это говорила... — замахала руками княгиня.

— Если ты не так говорила, мама, то все что-то вроде того... Я теперь позабыла.

— Ну, положим... Что же дальше?

— Вот с тех пор, как ты мне сказала об этом князе, я начала думать...

Княжна остановилась.

— О чем же ты начала думать, моя крошечка?

— Я стала себе представлять его, какой он может быть на самом деле...

Девушка склонилась к плечу своей матери и опустила головку.

— И каким же ты его себе представила?

Княжна Людмила ответила не сразу.

— Говори же, деточка...

— Да, таким почти, как он есть... — уже совершенно склонившись на грудь матери, прошептала молодая девушка.

— Глупенькая моя, — потрепала княгиня по щеке свою дочь, но вдруг заметила, что эта щека мокрая.

Княжна плакала.

— О чем же ты плачешь, Людочка?

— Это так, мама, это пройдет.

— Но все же, о чем?

— Все это так странно...

— Что странно?

— Да то, что он именно такой, каким я себе его представляла.

— Значит, он тебе нравится?

Княжна молчала.

— Скажи же, родная?

— Да... — снова чуть слышно произнесла молодая девушка.

— Вот и хорошо... Кажется, и на него ты произвела впечатление.

— Ты заметила?..

— Да...

— Теперь, когда он придет, надо быть с ним любезной, но сдержанной... Надо помнить, что ты взрослая девушка, невеста. До сих пор мне не было необходимости говорить тебе об этом, так как не было человека, который бы мог претендовать на твою руку, а теперь, не скрою от тебя, я с удовольствием увидела бы тебя княгиней Луговой.

— Он скоро к нам придет? — вместо ответа задала вопрос княжна Людмила.

— Вероятно, на днях... Не станет медлить.

Они в это время подъехали к дому, и карета остановилась. Княжна Людмила прошла в свою комнату раздеваться. К ней, конечно, явилась Таня.

— Милая, хорошая, какой он красавец! — восторженно воскликнула молодая девушка, бросаясь на шею своей служанки-подруги.

— Да неужели же, ваше сиятельство?

— Что с тобой, ты опять на меня сердисься... — отшатнулась от Тани княжна Людмила.

— Смею ли я...

— Что это за тон...

Таня с некоторых только пор, а именно со времени начавшихся в Зиновьеве надежд на молодого князя Лугового, стала титуловать свою молодую госпожу, особенно как-то подчеркивая этот титул. Княжна Людмила Васильевна запрещала ей это, и Таня подчинялась в обыкновенные дни и звала ее просто Людмила Васильевна, но когда бывали гости и несколько дней после их визитов Татьяна, будучи в дурном расположении духа, умышленно не исполняла просьбу своей госпожи и каждую минуту звала ее «ваше сиятельство».

— Таня, милая, что я тебе сделала? — плаксиво заговорила княжна, не дождавшись ответа от Тани.

— Да ничего, что вы можете сделать мне, своей холопке, чтобы я смела рассердиться?

— Вот опять «холопки». Что это такое? Ты знаешь, что ты мой лучший и единственный друг.

— Какой же друг, крепостная.

— Что же из того? Я и мама любим тебя, как родную.

— Знаю, знаю и благодарна, — сквозь зубы проговорила Таня. — Но не об этом речь. Вы

говорили, что князь красавец.

— Ах, Таня, такой красавец, такой красавец, что я и не видывала.

— Лучше Оси?

Княжна задумалась. Будучи еще совсем маленькими девочками, они обе были влюблены в Осипа Лысенко, и чувство это с годами, несмотря на продолжительное отсутствие предмета детского чувства, а быть может, именно вследствие этого отсутствия, не изгладилось в их сердцах.

— Совсем в другом роде, — после некоторого молчания произнесла княжна.

— А...

Обе девушки снова замолчали. Таня занялась расстегиванием платья княжны, а последняя устремила куда-то вдаль мечтательный взор. О чем думала она? О прошлом или настоящем?

— Какой же он из себя? — первая нарушила молчание Татьяна.

Княжна Людмила вздрогнула, как бы очнувшись от сна, но это не помешало ей через минуту яркими красками описывать своей подруге-служанке церемонию погребения,

обед и в особенности внешность князя и сказанные им слова.

— Да вот ты увидишь его на днях. Он придет, — закончила княжна свой рассказ. — Ты тогда скажешь мне, права я или нет?..

— Коли удастся посмотреть в щелочку, скажу, — со злобною иронией сказала Таня.

Княжна Людмила не заметила этого. Вскоре они расстались. Княжна пошла к матери, сидевшей на террасе в радужных думах о будущем ее дочери, а Таня пошла чистить снятое с княжны платье. С особенною злобою выколачивала она пыль из подола платья княжны. В этом самом платье он видел ее, говорил с ней и, по ее словам, увлекся ею. Ревность, страшная, беспредметная ревность клокотала в груди молодой девушки.

«Сама увидишь, — дрожа от внутреннего волнения, думала она, — прикажут подать носовой платок или стакан воды, так увижу. На дворе, когда из экипажа будет выходить, тоже могу увидеть. В щелку, ваше сиятельство, и взаправду глядеть не прикажете ли на вашего будущего жениха».

И рука Татьяны, вооруженная платяной

щетки, нервно ходила по платью княжны.

В то время, когда все это происходило в Зиновьеве, князь Сергей Сергеевич Луговой медленно ходил по отцовскому кабинету, убранному с тою роскошной, массивной деловитостью, которой отличалась наша седая старина. Все гости разъехались. Слуги были заняты уборкой столовой и других комнат, а князь, повторяем, удалился в свой кабинет и присел на широкий дедовский диван с трубкой в руке.

Долго усидеть он не мог и стал медленно шагать из угла в угол обширной комнаты, пол которой был покрыт мягким ковром. Трубка, которую он держал в руках, давно потухла, а князь все продолжал свою однообразную прогулку. Он переживал впечатления дня, сделанные им знакомства, и мысли его, несмотря на разнообразие лиц, промелькнувших перед ним, против его воли сосредоточились на княжне Людмиле Васильевне Полторацкой. Ее образ носился неотвязно перед ним. Это его начинало даже бесить.

«Неужели я влюбился, как мальчишка, с первого взгляда?»

Для очень молодых людей, недалеко ушедших от возраста мальчиков, прозвище «мальчишка» является очень оскорбительным. Князь Сергей Сергеевич был именно таким молодым человеком.

«Впрочем, ведь она, несомненно, очень хороша».

И князь стал припоминать петербургских дам и девиц, у первых из которых он имел весьма реальные, а у последних платонические успехи. Некоторые из них хотя и не уступали красотой княжне Людмиле Васильевне, но все же были в другом роде, менее привлекательными для молодого, но уже избалованного женщинами князя. Здесь красота, красота, несомненно, выдающаяся, соединялась с обворожительной наивностью и чистым деревенским здоровьем. Женская мощь, казалось, kloкотала во всем теле княжны Людмилы, проявлялась во всех ее движениях, не лишая их грации. Эта сила, сила здоровой красоты, совершенно отсутствовавшая у столичных женщин и девушек, казалось, и поработала князя.

Он, выехавший из Петербурга с твердым

намерением как можно скорее вернуться туда и принять участие в летних придворных празднествах, теперь, с первого дня своего пребывания в поместье, решил пожить в нем, присмотреться к хозяйству и к соседям. Думая о последних, он, конечно, имел в виду лишь княгиню и княжну Полторацких.

«Надо вытащить их из этого захолустья. Надо уговорить хотя на зиму поехать в Петербург. Государыня любит красавиц, но не одного с нею склада лица. Княгиня может сделаться быстро статс-дамой, а княжна — фрейлиной».

«Какой эффект произведет ее появление на первом балу, а он их сосед, хороший знакомый, конечно, будет одним из первых среди массы ухаживателей, первый по праву старого знакомства. Можно и жениться. Она — княжна древнего рода. Терентьич, — так звали управляющего Лугового, — говорил, что она очень богата, да это мне все равно, я сам богат».

Вот те думы, которые после первой же встречи обуревали молодого князя, не позволяли ему усидеть на месте и потушили его

трубку, с которой он делал свою размеренную прогулку по кабинету. Нельзя сказать, чтобы эти думы в общих чертах не сходились с мечтами и надеждами, питаемыми в Зиновьеве. Исключение составляла разве проектируемая князем поездка в Петербург.

О ней, впрочем, думала и княгиня Васса Семеновна, но в несколько иной форме: «Женись и поезжай».

V

Беглый

Незадолго перед разнесшимся слухом о предстоящем приезде в свое имение князя Лугового тишь, гладь и Божья благодать жизни Зиновьева нарушило одно происшествие, сильно взволновавшее не только всю зиновьевскую дворню, но и самую княгиню Вассу Семеновну Полторацкую.

Случилось это ранней весной. Однажды, после вечернего доклада ее сиятельству, староста Архипыч, благообразный старик, бодрый и крепкий, с длинной седой бородой и добродушными с «хитринкой» глазами, оде-

тый в чистый, даже щеголеватый кафтан синего домашнего сукна, стал переступать с ноги на ногу, как бы не решаясь высказать, что у него было на уме.

— Теперь ступай, так все делай, как сказано... — заметила княгиня, думая, что староста ожидает от нее еще каких-нибудь приказаний.

Архипыч продолжал мяться.

— Еще что-нибудь есть? — спросила княгиня.

Староста откашлянулся.

— Говори...

— Никита вернулся...

— Что-о-о?.. — вскинула на него глазами княгиня Васса Семеновна.

— Никита вновь еще на заре пришел... В лесочке хоронился, а в обед в деревне объявился...

— Что же теперь делать? — как-то растерянно обводя вокруг себя как бы взывающим о помощи взглядом, сказала княгиня.

— Я-с, ваше сиятельство, и докладываю, как прикажете?

— Уж я и сама не знаю... Что он хочет?

— Чего ему хотеть, ваше сиятельство, в чем душа держится...

— Он болен?

— Этого сказать не сумею... Но только худ очень, и к работе его ни к какой не приспособишь...

— К какой там работе... И не надо, только бы жил тихо да зря не болтал несуразное.

— Это вестимо, ваше сиятельство, зачем болтать.

— Это ты так говоришь, а он...

— Я ему уж сказывал, о прошлом-де забыли, как я о тебе, о шельмеце, ее сиятельству доложу...

— Что же он?

— Он мне в ответ: что прошло, быльем поросло, умереть мне в родных местах охота...

Лицо княгини сделалось спокойнее.

— Если так, пусть живет, но где?

— В Соломонидину хибарку можно его поместить, — степенно заметил Архипыч.

— В Соломонидину, это где же?

— А за околицей, у березовой рощи... Избушка пустует со смерти Соломониды...

— Отлично, пусть живет, месячину ему от-

пускать по положению, как всем дворовым, только ты с ним строго поговори, накажи, чтобы язык держал за зубами...

— Уж будьте без сумления, ваше сиятельство...

Староста вышел. Княгиня Васса Семеновна осталась одна. Некоторое время она сидела в глубокой задумчивости. Доклад старосты, состоявший из двух слов: «Никита вернулся», всколыхнул печальное отдаленное прошлое княгини.

Никита Берестов был мужем Ульяны, матери Тани. Он служил дворецким при покойном князе Полторацком и, конечно, знал, какую роль при его сиятельстве играла его жена Ульяна. Когда князь задумал жениться, Никита вдруг стал грубить своему барину, и последний, выйдя из терпения, приказал выпороть его на конюшне. На другой день после наказания Никита сбежал. Ульяна Берестова осталась в ключницах и после женитьбы князя и считалась вдовой. Почти одновременно с молодой княгиней она родила дочку Таню, которая, таким образом, была на месяц или на два старше княжны Людмилы. Теперь этот

Никита возвратился.

Княгиня Васса Семеновна вздрогнула. Она под первым впечатлением жалости к больному человеку, каким оказался вернувшийся беглец, согласилась пустить его в Зиновьево, когда имела полное право отправить его в острог, как беглого, и сослать в Сибирь. Она упустила из виду, что Таня Берестова по бумагам считается его дочерью. Что, если он пожелает видеться с ней и даже расскажет ей об ее происхождении? Она, княгиня, и так сделала большую ошибку, допустив сближение в детском возрасте девочек, так разительно похожих друг на друга. Она сделала это из недальновидного великодушия к своей сопернице, а главное, для того, чтобы исполнить волю покойного князя, позаботиться об Ульяне и ее ребенке.

Странное чувство возбуждал в Вассе Семеновне ее муж. Она вышла за него замуж не любя, так как любила Ивана Осиповича Лысенко, и с первого дня брака почувствовала, какое преступление совершила против человека, с которым связала свою судьбу. Оргии, которым предавался князь через несколько

месяцев после свадьбы, продолжающаяся его почти явная связь с Ульяной — все это при тогдашнем своем настроении духа княгиня Васса Семеновна считала возмездием за свою вину. Она глубоко жалела князя, и когда он умер на ее руках, благословив ее и дочь, с просьбой позаботиться об Ульяне и Тане, ее замертво вынесли из его спальни.

Она впервые полюбила своего мужа мертвого. Полюбила до того, что стала жестоко после его смерти ревновать Ульяну к покойному и действительно, непосильной работой и вечными попреками ускорила исход и без того смертельной болезни молодой женщины.

Смерть Ульяны снова совершила в княгине Полторацкой нравственный переворот. Она горько оплакивала свою бывшую соперницу и, исключительно для самобичевания за совершенные ею, по ее мнению, преступления против мужа и его любовницы, взяла в дом Таню Берестову и стала воспитывать ее вместе со своею родной дочерью.

Годы шли. Девочки выросли, и княгиня постепенно стала исправлять свою ошибку и ставить Татьяну Берестову на подобающее ей

место дворовой девушки...

Мы видели, к какому настроению души бывшей подруги княжны привело это изменение ее положения. Если княжна Людмила недоумевала относительно состояния духа ее любимицы, то от опытного глаза княгини не укрывалось то, как она выражалась, «неладное», что делалось в душе Татьяны.

«Отогрела я, кажется, змею на груди...» — в минуту особенного пессимистического настроения говорила сама себе княгиня.

«Надо ее поскорее выдать замуж...» — решила для себя Васса Семеновна.

Таня, таким образом, была права, предчувствуя, что княгиня охотно выдаст ее замуж за первого, кто поклонится «ее сиятельству».

«Если она, Татьяна, теперь так ведет себя, то что будет, если она узнает свое настоящее происхождение? Надо поговорить с Никитой... Архипыч не сумеет, хоть и сказал он „будьте без сумления, ваше сиятельство“, в этом мало успокоительного... Самой лучше... Покойнее будет...»

Остановившись на этом решении, княгиня Васса Семеновна позвонила.

— Позвать ко мне Архипыча, — приказала княгиня вошедшей горничной.

— Слушаюсь, ваше сиятельство.

Через четверть часа внушительная фигура старосты уже появилась в дверях кабинета княгини.

— Вот что, Архипыч, приведи его ко мне.

— Кого-с, ваше сиятельство? — не сразу понял староста.

— Никиту.

— Когда прикажете?

— Да попоздней, когда барышня ляжет, да и в девичьей улягутся.

— Слушаю-с...

— Он где?

— Да уж на новом месте я его устроил, как приказали.

— Наказывал, что я тебе говорила?

— Как же, наказывал.

— И что же?

— Да я все перезабыл, что и было, чуть ли не два десятка лет прошло, говорит.

— Хорошо, но все же я сама ему накажу, крепче будет.

— Вестимо, ваше сиятельство, крепче, это

вы правильно, то наша речь, холопская, то княжеская.

— Так приведи.

— Будьте без сумления, ваше сиятельство.

Княгиня снова осталась одна в своем кабинете и пробовала заняться просмотром хозяйственных книг, но образ Никиты — мужа Ульяны, которого она никогда в жизни не видала, рисовался перед ее глазами в разных видах. Ей даже подумалось, что он явился выходцем из могилы, чтобы потребовать у ней отчета в смерти его жены. Княгиня задрожала. Это настроение было, по счастью, прервано докладом, что ужин подан.

В Зиновьеве ужинали рано. Княгиня почти ничего не ела. Ожидаемая после ужина беседа с Никитой, по мере приближения ее момента, все сильнее и сильнее ее волновала. Наконец, ужин кончился. Княжна Людмила, поцеловав у матери руку и получив ее благословение на сон грядущий, удалилась в свою комнату. Княгиня направилась в кабинет, в соседней комнате с которым помещалась ее спальня.

— Федосья! — окликнула она, подойдя к

полуоткрытой двери, ведущей в эту спальню.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — появилась в дверях горничная княгини, данная ей в приданое, от которой у княгини Вассы Семеновны не было тайн.

— Войди сюда.

Федосья приблизилась и стала перед барыней, опустившейся в кресло.

— Ты слышала, Никита вернулся?

— Слышала, ваше сиятельство, слышала, как с неба упал.

— Что ты об этом думаешь?

— Да что же думать, ваше сиятельство, побродил, побродил, добродился, что, говорят, кожа да кости остались, ну, домой и пришел умирать.

— А не ровен час болтать будет?

— Какой уж болтать. Говорят, еле дышит.

— Так-то так, а все же я велела Архипычу привести его сюда, наказать ему хочу держать язык за зубами, а главное, не видеться с Таней.

— Относительно Татьяны разве... Оно, конечно... — глубокомысленно сообразила Федосья.

— Да, именно относительно Татьяны, чтобы он ей чего в голову не вбил.

— Это вы правильно, ваше сиятельство, тогда с ней совсем сладу не будет, и теперь уж...

Федосья остановилась.

— Что теперь? — взволнованно спросила княгиня и даже задвигалась на кресле.

— Девки болтают, может, и так...

— Что болтают?

— Будто она по ночам не спит, сама с собой разговаривает, плачет.

— Замуж девку отдать надо.

— Вот это, ваше сиятельство, истину сказать изволили. Ох, надо пристроить бы девку, да в дальнюю вотчину.

За дверями в кабинете раздался в это время топот ног.

— Вот они и пришли, потом поговорим,пусти, Федосья.

Федосья пошла к двери, и вскоре на ее пороге появился Архип в сопровождении другого мужика. Княгиня невольно вздрогнула, когда посмотрела на последнего.

«Выходец из могилы», — мелькнула в ее уме мысль, пришедшая ей до ужина.

Действительно, вошедший вместе со старостой Никита Берестов имел вид вставшего из гроба мертвеца. Пестрядинные шаровары, рубаха и рваный зипун какого-то неопределенного цвета висели на нем, как на вешалке. Видимо весь он состоял из одних костей, обтянутых кожей. Лицо, землистого цвета, с выдавшимися скулами, почти сплошь обросло черными волосами, всклокоченными и спутанными, такая же шапка волос красовалась на голове. И среди этой беспорядочной растительности горели каким-то адским блеском, в глубоко впавших орбитах, черные как уголь глаза. Он взглянул ими на княгиню и, казалось, приковал ее к месту.

Это было одно мгновение. Он уже упал в ноги ее сиятельству и жалобным, надтреснутым голосом произнес:

— Не губите, ваше сиятельство.

Несколько оправившись от брошенного на нее взгляда, княгиня Васса Семеновна пришла в себя. Когда она обдумывала это свидание с беглым дворецким ее мужа, она хотела переговорить с ним с глазу на глаз, выслав Архипыча и Федосью, но теперь она на это не

решилась. Остаться наедине с этим «выходцем из могилы», как она мысленно продолжала называть Никиту, у ней не хватало духа...

«И кроме того, — неслось в голове княгини соображение, — и Архипыч и Федосья — свидетели прошлого, они знают тайну рождения Татьяны и тайну отношений покойного князя к жене стоявшего перед ней человека».

Их нечего стесняться. Она решила их оставить в кабинете.

— Встань! — властно сказала она. — Бог тебя простит.

Беглец приподнялся с полу, но остался на коленях. Глаза его были опущены долу. Они не смотрели на княгиню, и последняя внутренне была этим очень довольна.

— Живи, доживай свой век на родине, но только чтобы о прошлом ни слова, — сказала княгиня. — Дочь твоей жены у меня на дворе, так с ней тебе и видеться незачем... — после некоторой паузы с усилием произнесла княгиня.

— На что мне она... — как-то конвульсивно передернувшись, произнес тихо Никита. — Не до нее, умирать пора.

— Зачем умирать, поправляйся, живи на покое, но не смутьянь, а то чуть что замечу, не посмотрю, что хворый, в Сибирь сошлю.

В голосе княгини слышались грозные ноты.

— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, отсохни мой язык, коли слово о прошлом вымолвлю. Вот оно где у меня, прошлое! — указал Никита на шею. — А девчонку-то эту и видеть не хочу.

— Тогда будет тебе хорошо, теперь ступай, я все сказала.

Никита с трудом поднялся с колен и поплелся вслед за вышедшим из кабинета Архипычем.

VI

Роковое открытие

Архипыч с Никитой вышли из барского дома и направились по направлению к деревне. Оба шли некоторое время молча. Первый нарушил молчание староста:

— Княгиня-то у нас, что говорить, душа-барыня...

— Добрая?.. — протянул Никита.

— И какая еще добрая... Оно под горячую руку к ней даже не приступайся, а потом отойдет...

— Ишь какая...

— Теперича, хоть тебя взять. Пожалела, как я сказал, что хворый ты. Умирать пришел.

— Известное дело, умирать.

— Я к тому и говорю, пожалела, а на тебя тоже как властно да строго зыкнула, а все же говорит: живи, поправляйся...

— Сердобольная...

В голосе Никиты прозвучала чуть заметная ирония.

— Ну, теперь подь к себе, спи спокойно, значит... — сказал староста, поравнявшись со своей избой.

— Прощенья просим... — отвечал Никита, снимая шапку.

Староста прошел в ворота своего дома. Никита Берестов направился далее к околице, за которою стояла отведенная ему избушка Соломонида.

Последняя была одинокая вдова-бобылка, древняя старуха, когда-то, только уже по преданию, бывшая дворовая, фаворитка отца княгини Полторацкой, когда он был холост. После женитьбы она была сослана из барского дома и поселена в построенной ей нарочно избушке, в стороне от крестьянских изб. Избушка эта для того времени отличалась от изб других крестьян если не размером, то удобством. В ней было две комнаты с чисто вытесанными стенами, узорчатое крылечко. Тут же был навес для лошадей, а от двора, огороженное тыном, шло место для огорода. Соломонида жила в ней, получая увеличенную месячину, как говорили крестьяне, «всласть», с единственным запретом ходить на барский

двор. Там она и состарилась.

Исполнить запрет было ей тем легче, что вскоре после женитьбы отец княгини Вассы Семеновны, как мы знаем, покинул Зиновьево и поселился в соседнем, принадлежавшем ему маленьком именье. Барский дом стоял пустым, дворня была переведена в Введенское, как звали это именье отца княгини Полторацкой. На барский двор и так ходить было незачем. Он оживился только с выходом замуж Вассы Семеновны, поселившейся с мужем в Зиновьеве, но в нем начались новые порядки, в обновленной дворне были новые люди, с которыми у Соломонида не было ничего общего. Она сама представляла для них лишь памятник прошлого.

Старуха жила уединенно. Она не только избегала, вследствие барского запрета, тогда уже, конечно, не имевшего смысла, ходить на барский двор, но даже сторонилась от крестьян. Она как бы ушла в самое себя и жила не настоящим, а прошлым. По селу она прослыла «знахаркой», и к этому, как и до сих пор бывает в захолустных деревнях и как в описываемое нами время было повсюду в Рос-

сии, присоединялось подозрение в колдовстве. Последнему способствовала уединенная жизнь и нелюдимость Соломонида, а главное, огромный черный кот, старый-престарый, вечно сидевший на крыльце ее избушки.

Соломонида пользовала крестьян разными травами, прыскала наговоренной водой «с глазу», словом, проделывала такие таинственные манипуляции, которые в то темное, суеверное время заставляли ее пациентов быть уверенными, что она, несомненно, имеет сношение с «нечистой силой». Старый кот окончательно убеждал их в этом.

Месяца за два до появления в Зиновьеве Никиты Берестова Соломонида умерла. Умерла она так же таинственно для людей, как и жила. Никто не присутствовал при ее смерти. Никто не голосил у ее постели. За несколько дней до ее кончины ее видели копошащейся около своей избы. Затем не видали ее несколько дней. Нужды до нее по деревне не было, а потому на это обстоятельство не обратили особенного внимания. Ее зачастую не видали по несколько дней. Только случайно

зашедшая в ее избу бабенка, посоветоваться об усилении удоя «буренки», увидела Соломонидау лежавшею на лавке. Около лавки на полу лежал вытянувшись старый кот. Баба, преодолев суеверный страх, подошла к Соломониде, думая, что ей неможется или же она заснула.

Соломонида лежала вытянувшись, со сложенными на груди руками. Баба дотронулась до этих рук и, взвизгнув на всю избу, как шальная бросилась вон. Прибежав в деревню, она, конечно, всполошила всех. Староста Архипыч с двумя крестьянами отправились в избу Соломониды и действительно убедились, что она умерла. Кот тоже оказался околелшим.

Доложили ее сиятельству, и по ее приказанию, несмотря на то что, как говорили крестьяне, «колдунья» не сподобилась христианской кончины, ее похоронили после отпевания в церкви на сельском кладбище и даже поставили большой дубовый крест. Батюшка, отец Семен, как говорили в народе, имел перед погребением Соломониды долгий разговор с «ее сиятельством» и вышел от ее крас-

ный, как из бани. Кота зарыли в огороде.

Избушку заколотили до времени, хотя не было надежды, что найдется человек, который бы решился в ней поселиться. Она простояла бы так пустая, быть может, много лет, когда в Зиновьеве объявился беглый Никита. Когда возник вопрос, куда девать его на деревне, у старосты Архипыча, естественно, возникла в уме мысль поселить его в избушке Соломонида.

«Мужик он бывалый, — соображал он, — в бегах, разные виды видывал, не струсит».

Да и пропал он почти двадцать лет, именно то время, за которое сложилась среди суеверных крестьян страшная репутация Соломонида. В его время она была только опальной «барской барыней» — это не представляло ничего пугающего. Действительно, когда староста сказал Никите Берестову о свободной избушке Соломонида, тот не моргнув глазом согласился поселиться в ней и даже «дюже поблагодарил», как выразился Архипыч, рассказывая, как было дело, своим односельчанам. Староста, как мы знаем, доложил «ее сиятельству» княгине Вассе Семеновне, а

та одобрила его выбор местожительства для Никиты. Избушка за околицей снова приобрела странного жильца, тоже находящегося под некоторым запретом.

Никита Берестов между тем с того момента, как Архипыч скрылся на своем дворе, совершенно иначе зашагал по деревне, которая, кстати сказать, была совершенно пуста, так как крестьяне уже все спали. Куда девалась расслабленная походка, еле волочащиеся ноги, сгорбленность стана и опущенная долу голова. Никита выпрямился и скорыми шагами почти побежал к околице. Дойдя до своей избы, он вошел в нее, плотно закрыл дверь, высек огня, засветил светец и, сбросив с себя зипун, тряхнул головой, отчего волосы его откинулись назад и приняли менее беспорядочный вид, пятерней расправил всклокоченную бороду и совершенно преобразился.

Мерцающее слабое пламя лучины осветило внутренность избы, действительно, в настоящем виде представляющей много таинственного, могущего действовать на суеверный люд. В комнате был образ, но совершенно почерневший, так что не было возможно-

сти разглядеть лик изображенного на нем святого. Сливаясь с почерневшими от времени и копоти стенами, образ был почти незаметен. Черневшее отверстие большой печи, не закрытое заслонкой, завершало ужасную обстановку этой «избы колдуньи», как продолжали звать избу Соломонида на деревне.

Но Никита Берестов, действительно, как предполагал Архипыч, видевший в бегах виды, был не из суеверных. Он совершенно спокойно стал ходить по горнице избы, даже заглянул в другую темную горницу, представлявшую из себя такой же, если не больший склад трав, кореньев, шкур животных и крыльев птиц, этих таинственных и загадочных предметов. Он несколько времени ходил молча, время от времени ухмыляясь в бороду. Его горящие, бегающие по сторонам глаза принимали несколько раз сосредоточенное выражение. Это было как раз в то время, когда он останавливался и что-то ворчал себе под нос.

— Ишь старая карга, сразу догадалась, Таньку тебе видеть незачем, когда в Таньке-то вся суть... — подумал он вслух, складывая на лавку свой зипун в виде изголовья.

Затем он потушил светец и впотьмах добрался до лавки и растянулся на ней во весь рост. Некоторое время слышалось невнятное ворчанье, но вскоре избу колдуньи огласил богатырский храп. Никита Берестов заснул.

Несмотря на принятые княгиней Вассой Семеновной меры предосторожности, в девичьей не только узнали о возвращении Никиты Берестова, о чем знала вся дворня, но даже и то, что он был принят барыней и по ее распоряжению поселен в Соломонидиной избушке. Некоторые из дворовых девушек успели, кроме того, подсмотреть в щелочку, каков он из себя.

Все это произошло без Тани, бывшей в это время в комнате княжны, которой она помогала совершать свой ночной туалет. Когда она вернулась в свою комнатку, отделенную, как мы знаем, от девичьей лишь тонкой не доходящей до потолка перегородкой, шушуканье между дворовыми девками было в полном разгаре.

Тане, конечно, было известно, что в Зиновьево, после почти двадцатилетнего отсутствия, вернулся беглый Никита, но при ней

ни разу не называли его прозвища: «Берестов», а потому она особенно им и не интересовалась. С детства отдаленная от двора, она, естественно, не могла жить их интересами, слишком мелочными для полубарышни, каковою она была. Когда она разделась и легла на свою постель, то невольно, мучимая, как всегда, бессонницей, стала прислушиваться к говору неспавших и, видимо, находившихся в оживленной беседе, хотя и лежавших на своих ложах дворовых девушек. Тут впервые донеслось до нее прозвище Никиты.

— И страшный какой этот Никита Берестов... — сообщила одна из девушек, успевших посмотреть на «беглого» в замочную скважину, когда он шел с Архипычем к ее сиятельству...

— Кто он такой будет?

— Кто? Наш брат дворовый.

— А...

— Дворецким служил при покойном князе, здесь поблизости именье у его сиятельства было, брату двоюродному он подарил перед женитьбой, а его, Никиту, да жену его Ульяну

сюда перевести приказал, в дворню нашу, значит, только тот сгрубил ему еще до перевода, и князь его на конюшне отодрал, он после этого и сгинул.

— Чего же он сюда пришел, родимая-то сторона его не тут...

— Не тут, а все же поблизости, Замятино знаешь?

— Это за болотом?

— Оно самое.

— Туда бы и шел...

— Уж не знаю, может, потому, что дочка здесь...

— Дочка, чья?

— Известно, чья, его... Баяла тебе, он муж Ульяны...

— И откуда ты все это знаешь? — раздался третий голос.

— Бабушка Агафья сегодня в застольной гуторила, — отозвалась рассказчица.

— А дочка евонная кто? — слышался вопрос.

— Известно кто! Татьяна Берестова, наша дворовая барышня.

Таня Берестова с момента произнесения ее

прозвища еще чутче стала прислушиваться к доносившейся до нее беседе. Когда же оказалось, что эта беседа касалась исключительно ее, она вскочила и села на постели. С широко открытыми глазами Татьяна как бы замерла после слов:

— Известно кто! Татьяна Берестова, наша дворовая барышня.

Таким образом, этот «беглый Никита», о котором еще сегодня возбуждали вопрос, отправят ли его в острог и сошлют в Сибирь или княгиня над ним смилуется, — ее, Тани, отец.

— Может, потому, что дочка здесь... — гудело в ушах ошеломленной молодой девушки.

— А что, если княгиня отдаст ее отцу и она должна будет поселиться в Соломонидиной избушке, к которой с детства вместе с княжной она питала род суеверного страха?

Холодный пот выступил на лбу Тани. Нечего и говорить, что она провела ночь совершенно без сна. Думы, страшные, черные думы до самого утра не переставали витать над ее бедной головой.

VII

В избушке колдуньи

Дни шли за днями. Тревога, возникшая в сердце и уме Тани, постепенно улеглась. Княгиня, видимо, не намерена была водворить ее на жительство к ее отцу. Положение ее ничуть не изменилось со времени появления в Зиновьеве «беглого Никиты». Последний, видимо, сторонился не только дворовых людей, но и крестьян. Он оказался страстным охотником и, получив с разрешения княгини из барского арсенала ружье, порох и дробь, по целым дням пропадал в лесу и на болоте. Ни один из княжеских дворовых охотников не доставлял к обеденному столу столько дичи, сколько «беглый Никита». Прозвище «беглый» так и осталось за ним со времени прибытия в Зиновьево.

Таня, повторяем, успокоилась и даже почти забыла о существовании на деревне отца, тем более что к этому именно времени относится появление в Зиновьеве первых слухов о близком приезде в Луговое молодого его вла-

дельца, князя Сергея Сергеевича. Порой, впрочем, в уме молодой девушки возникала мысль о таинственном «беглом Никите», жившем в Соломонидиной избушке, но эта мысль уже не сопровождалась страхом, а, скорее, порождалась любопытством.

Приезд князя, восторженное состояние княжны Людмилы Васильевны после первого свиданья с Сергеем Сергеевичем подействовали, как мы видели, на нервную систему Татьяны Берестовой: она озлобилась на княжну и на княгиню и, естественно, старалась придать своим мыслям другое направление. Ожидаемый со дня на день приезд князя особенно раздражал ее. Она старалась не думать ни о княгине Людмиле, ни о старой княгине, а главное, о князе-соседе. Для этого, однако, ей необходимо было думать о чем-нибудь другом. Вследствие этого-то она задумалась о беглом Никите.

«Отец он мне или не отец? — неслось в ее голове. — Может, сбrehнули девки. Если бы был отец, так ужли на дочь родную даже взглянуть не хочет... Чудно что-то...»

Раз появившаяся мысль начала развивать-

ся и, подгоняемая женским любопытством, привела молодую девушку к решению повидаться с «таинственным» обитателем избушки Соломонида. Суеверный страх, внушенный с детства этой избушкой, стал понемногу пропадать под наплывом упорного желания разрешить поставленный в уме Тани вопрос.

— Отец он мне или нет?

Свободного времени у Тани было в это время больше, нежели прежде, так как княжна Людмила была чаще с матерью, обсуждая на все лады предстоящий визит князя Сергея Сергеевича и форму приема желанного гостя. Таня, не любившая сидеть в девичьей, уходила в сад, из него в поле и как-то невольно, незаметно для себя оказывалась близ Соломониной избушки. Постоянно приглядываясь к ней, она уже перестала находить в ней что-нибудь страшное.

— Живет в ней человек и ничего с ним не делается... — соображала она.

Избушка во время прогулок Тани всегда была заперта.

Никита в это время бродил с ружьем далеко от своего жилища. Он обыкновенно воз-

вращался только поздним вечером.

Однажды, уложив княжну, Таня как-то совершенно машинально не отправилась в свою комнату, прошла девичью и вышла на двор. Ночь была теплая, почти жаркая, темно-синее небо было усеяно мириадами звезд. Луна ярко освещала расстилавшиеся перед Таней поля, около которых вела тропинка за задами деревни. Молодая девушка пошла по тропинке и вскоре очутилась у таинственной избушки. В одном из окон ее светился огонек. «Он» был дома. Этот мерцающий свет лучины в затускневшем окне блеснул в глаза молодой девушки ярким заревом. Она остановилась, ошеломленная.

Первое чувство ее было чувство страха, она хотела бежать, но казалось, именно этот обуявший ее страх сковал ее члены. Она не могла двинуть ни рукой, ни ногой и стояла перед избушкой как замороженная, освещенная мягким светом луны. Через несколько мгновений дверь избушки скрипнула, отворилась, и на крыльце появился Никита. Стоявшая невдалеке Таня невольно бросилась ему в глаза.

— Чего тебе надобно здесь, девушка? — окликнул ее он.

Таня молчала. Никита стал спускаться с крыльца. Молодая девушка не тронулась с места. Страх у нее пропал. Никита был теперь далеко не так страшен, как в первый день появления в Зиновьеве. Он даже несколько пополнил и стал похож на обыкновенного крестьянина, каких было много в Зиновьеве.

А между тем минута, которую она так томительно ожидала, приближалась по мере того, как Никита спускался со ступенек крыльца.

— Ты кто же такая будешь? — приблизился к ней Никита.

— Татьяна Берестова... — несколько дрогнувшим голосом отвечала Таня.

— А, вот ты кто... — воскликнул Никита.

В голосе его слышались радостные ноты.

— Ты зачем же сюда попала? — спросил он после некоторой паузы.

— Так, гуляла...

— Вот что значит отцовское сердце дочке весть подает... — со смехом произнес Никита, как-то особенно подчеркнув слова «отцов-

ское» и «дочке».

— Так ты на самом деле отец мне? — смело глядя ему в глаза, спросила Таня.

— Отец, девушка, отец... — ответил Никита Берестов.

Молодая девушка молча глядела на него.

— Да что мы тут-то гуторим, хоть и поздно, а неровно чужой человек увидит... княгине доложит.

— А пусть докладывают... Мне што...

— Тебе, может, и ничего... А мне ведь княжеский запрет положен с тобой видеться.

— Вот как...

— Схоронимся-ка лучше в избу, верней будет, я тебе порасскажу... Недаром я сказал, что сердце сердцу весть подает. Я все эти дни мерекал, как бы с тобой, девушка, повидаться...

Он пошел снова по направлению к избешке. Таня последовала за ним. Когда она переступила порог Соломонидиной избешки, сердце у нее болезненно сжалось. Ей сделалось страшно, но только на мгновенье.

— Садись, гостья будешь... — сказал Никита, указывая вошедшей за ним девушке на лавку.

Татьяна села и с любопытством оглядела внутренность избы. Внутренность эта уже потеряла свой загадочный характер. Никита выбросил все травы и шкурки, и изба приняла совершенно обыкновенный вид. Никита между тем поправил светец и подвинул его на столе поближе к сидевшей Татьяне.

— Дай поглядеть на тебя, девушка... Ишь какую уродилась, вылитая княжна... намедни я ее на деревне встретил.

— Да, мы очень схожи с княжной... — отвечала Таня.

— Да оно так и должно быть...

Молодая девушка воззрилась на него и вся превратилась в слух.

— Это как то есть?..

— Да так, с чего же вам похожими не быть, одного корня деревца...

Татьяна молчала, вопросительно глядя на Никиту Берестова.

— Одного отца детки, как же тут сходству не быть?

— Одного отца?.. — удивленным голосом произнесла Татьяна. — Княжна, значит?..

— Моя дочь, што ли?.. Ну и дура же ты, дев-

ка...

Никита захохотал. Молодая девушка не сводила с него глаз.

— Ты, краля, дочь княжеская, князя Василия дитя родное...

— Я?

— Да, ты... От князя да от жены моей непутевой, Ульянки, вот что...

Никита пришел в ярость и даже руками ударил себя по бедрам. Воспитанная вместе с княжной, удаленная из атмосферы девичьей, обитательницы которой, как мы знаем, остерегались при ней говорить лишнее слово, Татьяна не сразу сообразила то, о чем говорил ей Никита. Сначала она совершенно не поняла его и продолжала смотреть на него вопросительно-недоумевающим взглядом.

— Я-то, как ты родилась, уже около двух лет в бегах состоял, какая же ты мне дочь. Ты это сообрази... Известно, дворовая, да замужняя родила, по мужу, по мне, тебя так и записали.

Татьяна продолжала молчать, но вопросительно-недоумевающее выражение ее взгляда исчезло. Она начала кое-что соображать.

— Значит, мать... — начала она.

— Что мать... Оно, конечно, назвал я ее сейчас непутевой... А только ежели по душе судить, ее дело тоже было подневольное... Князь, барин... Замуж-то он за меня ее выдал для отвода глаз только... Перед женитьбой его дело-то это было... Я Ульянку любил, видит Бог, любил, была она девка статная, красивая, кровь с молоком, повенчали нас с ней, и только я ее и видел, меня-то дворецким сделали, а ее к князю... Не стерпел я, сердце загорелось, и уж этого князя стал я честить, что ни на есть хуже... Известно, он, князь, барин властный... На конюшню меня отправил да спину всю узорами исполосовали... Отлежался я и задумал в бега уйти... Парень я был рослый, красивый, думал, что Ульяна за меня тоже не за знамо для князя шла, что люб я ей... Грех ее, думаю, подневольный, грех прощу... Вместе убежим... Старушка у нас на дворе в те поры жила, Матреной кликали, душевная старушка... Ей наказал жене передать, что за околицей ждать ее буду... Всю ночь прождал... Не сменила на меня князя, подлая...

Никита остановился, видимо не будучи в

состоянии продолжать от охватившего его волнения при воспоминании о прошлом. Молодая девушка, вся превратившаяся в слух, молчала.

— Оно, конечно, теперь дело прошлое, нелегко и ей было, сердечной, судьбу свою переменить, — продолжал Никита, — из холи, из сласти княжеской с голышом, беглецом мужем в бега пуститься... Баба, известно, труслива, куда пойдет... Все бояться будет, вот-вот накроют... А в бегах труса праздновать не годится, надо с прямым лицом идти, никто и не заподозрит... На первых-то порах проклял я ее, бабу-то непутевую, а потом, как сердце спало, жалость меня по ней есть начала, до сей поры люблю я ее, а эту княгиню с отродьем ее, княжной, ненавижу...

— За что же?

— Оно, конечно, князь надо мной надругался, ну да князь и любил все же Ульяну, по-своему, по-барски любил, а эта змея извела ее, как только князь глаза закрыл...

— Извела? Мою мать! — воскликнула Татьяна.

Глаза ее загорелись огнем бешенства. Уже

тогда, когда Никита заявил, что ненавидит княгиню и княжну, в сердце молодой девушки эта ненависть мужа ее матери нашла быстрый и полный отклик. В ее уме разом возникли картины ее теперешней жизни в княжеском доме в качестве «дворовой барышни» — она знала это насмешливое прозвище, данное ей в девичьей — в сравнении с тем положением, которое она занимала в этом же доме, когда была девочкой.

«У, кровопийцы!» — мелькнуло в ее голове, ее за последнее время обыкновенное мысленное восклицание по адресу княгини и княжны во время бессонных ночей.

Теперь же, когда она узнала, что княгиня, по словам Никиты, она верила — человек охотно верит тому, чему хочет — извела ее мать, чувство ненависти к ней и ее отродью, как назвал тот же Никита княжну Людмилу, получило для нее еще более реальное основание. Оно как бы узаконилось совершенным преступлением Вассы Семеновны.

— Известно, извела... Я тоже, хоть и в бегах был, однако из своих мест весточки получал исправно... Стала ее гнуть княгиня, овдовев,

так гнуть да работой неволить, что Ульяна-то быстрее тонкой лучины сгорела... Вот она какова, ваша княгинюшка.

— У, кровопийцы!.. — уже вслух произнесла Таня.

— Прямое дело, кровопийцы, это ты, девушка, правильно сказала... Кровопийцы... Она, конечно, как уложила в гроб Ульяну, то зачала душу свою черную перед Господом оправлять, за тебя взялась, за своего же мужа, отродье, барышней тебя сделала... Да на радость ли...

— Уж какая радость... Сослали теперь опять в девичью...

— Знаю, и не то еще знаю...

— А что?

— Замуж тебя выдать норовят.

— Что-о-о! — громко взвизгнула Татьяна и как ужаленная вскочила с лавки.

Никита, казалось, не обратил на это внимания и спокойно продолжал, пристально, однако, смотря на дочь своей жены:

— В дальнюю вотчину... Вот оно что...

— Ну, этому не бывать... — заскрежетала зубами Татьяна.

— И я говорю, девушка, не бывать... Положись только на меня, вызволю...

— Родимый, что делать надо, все сделаю...

— Садись, — указал он ей на лавку, а сам сел рядом.

Наклонившись к самому лицу Татьяны, он стал что-то тихо говорить ей. На ее лице то выражался ужас, то злорадная улыбка. Они проговорили далеко за полночь.

VIII

Первый визит

Татьяна Берестова благополучно пробралась назад в девичью. На ее счастье, дверь позабыли запереть, и когда она осторожно проскользнула в нее, то в смежной с ее камеркой большой комнате, отведенной для ночлега дворовых девушек, все уже спали. Никто, видимо, не заметил ее отсутствия. Она тихо разделась и легла.

Заснуть, впрочем, она, конечно, не могла. После всего, только что услышанного ею от Никиты, можно ли было даже думать о сне. Голова ее горела. Кровь била в висках, и она

то и дело должна была хвататься за грудь — так билось в этой груди сердце.

«А что, если все действительно сделается так, как он говорит, — неслось в голове Тани, — и тогда она успокоится, она жестоко будет отомщена. И чем она хуже княжны Людмилы? Только тем, что родилась от дворовой женщины, но в ней, видимо, нет ни капли материнской крови, как в Людмиле нет крови княгини Вассы Семеновны. Недаром они так разительно похожи друг на друга. Они дочери одного отца — князя Полторацкого, они сестры».

«Почему же, — продолжала работать ее мысль, направленная ловким Никитою, — она должна терпеть такую разницу их положения? Ей все — мне ничего. У ней общество, титул, красавец будущий жених, счастье. У меня — подневольная жизнь дворовой девушки и в будущем замужество с мужиком и отправка в дальнюю вотчину».

При одной мысли о возможности подобной отправки холодный пот покрывал все тело молодой девушки. Нервная дрожь пробежала по всем членам, и голова наливалась как

бы раскаленным свинцом.

«Нет, не будет этого, не будет... — внутренне убеждала она себя, — я возьму то, что принадлежит мне по праву. Я возьму все, раз они не хотят делиться со мной добровольно. Правмой названный отец, тысячу раз прав».

Она всю ночь не сомкнула глаз и лишь под утро забылась тревожным сном.

Шум, поднявшийся в девичьей, вывел ее из этого полузабытья или полусна. Она вскочила, наскоро оделась и умылась холодной водой из колодца. Это освежило ее. Сделав окончательно свой незатейливый туалет, она вошла в комнату княжны как ни в чем не бывало и даже приветливо поздоровалась с нею.

«Потешу ее сиятельство напоследок», — злорадно думала она.

Княжна с помощью ее оделась и вышла пить с матерью утренний чай. Татьяна Берестова удалилась к себе. Волнение ночи постепенно улеглось в ее душе. Присев к себе на кровать, она задумалась.

Ей вдруг представилось все, что говорил ей вчера Никита, до того страшным, до того невозможным, что она уже решила в своем

уме, что он просто сбрехнул по злобе.

«А если это возможно? Если адский план, придуманный Никитой, действительно осуществим? Что тогда?»

В сердце молодой девушки, независимо от ее воли, закралась жалость к своей подруге.

«Она ведь не виновата! Все княгиня. Но что же делать, тут нельзя разбирать большую или меньшую вину. Пусть она без вины виновата, а все же виновата. Не пропадать же мне так, не дожидаться же, когда отправят в дальнюю вотчину».

И снова мысль о возможности подобной отправки подняла целую бурю в душе и сердце молодой девушки.

«А может, княгиня обеспечит ее, даст приданое, и она выйдет замуж за кого-нибудь из городских, из тамбовских, за чиновника».

Мечта выйти за чиновника уже давно жила в уме Тани. С этим исходом она бы примирилась. Она не может только примириться с отправкой в дальнюю вотчину. Думы в этом роде, одна другой противоречащие, неслись в ее голове. Она сидела неподвижно, с устремленными в одну точку глазами. Она очнулась

от этой задумчивости, когда ее позвали к княжне. Последняя встретила ее радостным восклицанием:

— Он приедет сегодня! Он приедет сегодня!

— Кто приедет? — не сразу поняла Татьяна.

— Князь, князь приедет... Мама ведь устроила так, чтобы нам дали знать из Лугового, когда князь сделает нам визит, сейчас нарочный оттуда был... Сказал, что сегодня... Мама приказала мне одеться получше, но вместе с тем и попроще, как будто я в домашнем платье... За этим я и позвала тебя.

— Ага... — протянула Таня.

— Что же мне надеть?

Княжна и ее подруга-служанка занялись сперва обсуждением туалета, а затем и самым туалетом, который вскоре и был окончен. Княжна осталась довольна и пошла показаться матери.

«Посмотрим, что за чудище такое заморское», — думала Татьяна Берестова, возвращаясь в девичью.

Там ожидал ее новый удар. Горничной княгини Вассы Семеновны Федосьей было вы-

несено приказание об отправке десяти дворовых девушек в дальний лес по ягоды. В число этих десяти была назначена и Татьяна Берестова.

Это был первый случай, чтобы Таню отправляли вместе с дворовыми девушками на общую работу. Молодая девушка до крови закусил губу. Слезы готовы были брызнуть из ее глаз, но она употребила все усилие воли, чтобы сдержаться. Она поняла: «Удалить хотят, от княжеских глаз схоронить».

Она не показала и виду, что это распоряжение княгини ее удивило, а, напротив, с неподдельной, казалось, радостью пошла вместе с остальными дворовыми девушками в дальний лес. Под этой наружной веселостью скрывался целый вулкан злобы, бушевавшей в ее груди.

«Поплатитесь вы мне, поплатитесь, — мысленно грозила она. — А я, дура, только что жалела их. У, кровопийцы!..»

Князь Сергей Сергеевич Луговой между тем действительно приехал. Он был встречен княгиней Вассой Семеновной в гостиной, с видом приема неожиданного гостя.

— Моя девочка в саду, — сказала княгиня. — Она, вероятно, сейчас прибежит. Такая егоза, не посидит на месте.

— Молодость! — глубокомысленно умозаключил князь.

Минут через десять появилась и княжна Людмила. Она тоже как бы вспыхнула от неожиданности, вбежав в гостиную, но это не помешало ей грациозно присесть князю. Княжна пригласила князя Сергея Сергеевича на террасу, куда были поданы прохладительные напитки.

День был действительно жаркий, и терраса, вся увитая вьющимися растениями и уставленная цветами, представляла из себя в доме самый прохладный уголок, тем более что построена была в северной части дома. Разговор завязался. Князь, впрочем, говорил больше один.

Он рассказывал о петербургском житье-бытье и, видимо, старался увлечь своих слушательниц и поселить в них желание самим видеть невскую столицу. В особенности он живо описывал как придворные праздники, так и праздники, даваемые обоими бра-

тъями Разумовскими.

— Празднества гетмана Кирилла Григорьевича в особенности бывают оживленны, так как на них являются и званые и незваные...

— Как, все, кто хочет? — удивилась княгиня.

— То есть, конечно, не подлый народ, а из благородных...

— Все-таки... Это должно стоить громадных денег...

— Разве есть для Разумовских громадные деньги, — усмехнулся Сергей Сергеевич.

— Да, говорят, они страшные богачи...

— Еще бы...

— И делают много добра, как слышно...

— Кирилл Григорьевич в особенности добр... Когда я уезжал из Петербурга, то весь город только и говорил о двух случаях, бывших с гетманом. У Кирилла Григорьевича, как я вам говорил, всегда и для всех был открыт стол, куда могли являться и званые и незваные. Правом этим воспользовался прошлую зиму бедный офицер, живший по тяжбыным делам в Петербурге. Каждый день обедывал он у гетмана и, привыкнув наконец

к дому, взошел однажды после обеда в одну из внутренних комнат, где граф играл, по обыкновению, в шахматы. Разумовский сделал ошибку в игре, офицер не мог удержаться от восклицания. Гетман остановился и спросил у бедняка, в чем состоит ошибка. Сконфуженный офицер указал на промах графа. С тех пор Разумовский, садясь играть, всегда спрашивал: «Где мой учитель?» Но недавно учитель не пришел к обеду, гетман велел навести справки, почему его не было. С трудом дознались, кто был незванный гость графа. Несчастный был болен и в крайности. Кирилл Григорьевич отправил к нему своего доктора, снабжая его лекарствами и кушаньями, и после выздоровления помог ему выиграть тяжбу и наградил деньгами.

— Ах, какой он хороший!.. — наивно воскликнула княжна Людмила.

— А ведь из простых... — заметила княгиня.

— Простой казак... — отвечал князь Сергей Сергеевич. — Другой случай еще интереснее... Пршлую зиму у Кирилла Григорьевича обещал однажды австрийский посол граф Эстер-

гази и показывал за столом богатую табакерку, подаренную ему государыней. Все ею любовались, и табакерка обошла вокруг стола. Под конец обеда посол захотел понюхать табаку; он стал искать табакерку, но не находил ее. Все присутствующие, из которых многие были вовсе неизвестны хозяину, поставлены были этим в самое неприятное положение. Посол стал намекать на то, что табакерка украдена. Гетман тогда встал, вывернул свои карманы и громко сказал: «Господа, я подаю добрый пример, надеюсь, что все ему последуют и таким образом успокоят господина посла». Все бросились подражать графу, один только бедно одетый старичок, сидевший на отдаленном конце стола, отказался от этого и со слезами на глазах объявил, что желает наедине объясниться с гетманом. Разумовский вышел в соседнюю комнату, за ним последовал его гость, на которого со всех сторон устремились косые взгляды. Когда хозяин и старик очутились наедине, последний сказал: «Ваше сиятельство, я в крайней бедности и единственно прокармливаю себя и свое семейство вашими обедами, мне стыдно было в

этом признаться перед вашими гостями, не взыщите с меня; я честный человек и живу праведным трудом». При этом он стал вынимать разную провизию из карманов. В эту минуту пришли сказать, что табакерка нашлась у посла: она провалилась между кафтаном и подкладкой. Бедняку гетман назначил пожизненный пенсион.

— Бедняжка... — протянула княжна.

— Как это благородно и великодушно... — заметила княгиня.

В разговорах время летело незаметно. Князь просидел на террасе около двух часов и, наконец, поднялся с места и начал прощаться. Княгиня пригласила его бывать за просто. Князь Сергей Сергеевич обещал воспользоваться этим любезным приглашением и уехал.

Княгиня Васса Семеновна была очень довольна его визитом. Она заметила, что молодой человек во время разговора не спускал глаз с княжны.

Победа была одержана. Оставалось только ловко повести дело, и цель будет достигнута. Ее Люда станет княгиней Луговой.

Княжна Людмила, ничего не зная об отправке Тани княгиней «по ягоды», тотчас побежала разыскивать свою любимицу, чтобы, во-первых, передать ей впечатление визита князя, а во-вторых, узнать, понравился ли он Тане.

«Она, наверное, подсмотрела и видела его...» — думала княжна.

Каково же было ее удивление, когда она узнала, что Таня, по распоряжению княгини, послана с остальными девушками в дальний лес.

— Мама! — вбежала она снова на террасу. — Зачем ты услала Таню в лес?.. Ведь она никогда не ходила ни по грибы, ни по ягоды с остальными девушками.

— Так просто, душечка... Я думала, что это доставит ей удовольствие... Пусть погуляет, погода такая хорошая, — сконфуженно стала оправдываться княгиня Васса Семеновна.

Княжна Людмила заметила, что поставила этим вопросом свою мать в неловкое положение, пристально поглядела на нее и замолчала. Она сообразила.

— Таня на меня так похожа... Мама не хо-

тела, чтобы князь видел ее... Но почему же она на меня так похожа?..

Этот вопрос несколько раз уже возникал в уме княжны, но оставался без ответа и забывался. Она хотела не раз задать его матери, но какое-то странное чувство робости, не бывшее в натуре княжны, останавливало ее. И теперь вопрос этот лишь на мгновенье возник в уме молодой девушки.

Мысли о князе, о том, скоро ли он приедет, опять отодвинули на задний план все остальные вопросы, а в том числе и вопрос о причине сходства ее, княжны, с Таней. Она вышла в сад и углубилась в аллею из акаций, под сводом которых было так прохладно и так располагало к мечтам. Княжна и начала мечтать.

IX

Холопская кровь

Прошло три недели.

Князь Сергей Сергеевич зачастил своими визитами в Зиновьево. Он приезжал иногда на целые дни и в конце концов сделался своим человеком в доме княгини Полторацкой. Княгиня Васса Семеновна, сделав должное наставление своей дочери, стала оставлять ее по временам одну с князем Сергеем Сергеевичем. Княжна Людмила и князь часто гуляли по целым часам по тенистому зиновьевскому саду. При таких частых и, главное, неожиданных приездах князя, конечно, нельзя было скрыть от его глаз Татьяну Берестову.

Княгиня Васса Семеновна после первого же раза сама осудила эту свою политику, тем более что из разговора с дочерью поняла, что последней не по сердцу была эта отправка ее любимой дворовой девушки, подруги ее детства, на общую работу с другими дворовыми девушками. Княгиня решила не принимать больше мер.

«Будь что будет! Не влюбится же он в холопку».

Таню оставили в покое. Она видела князя уже несколько раз, но незаметно для него. Он произвел на нее впечатление, впечатление сильное, которое еще более увеличило ее злобу против княжны Людмилы, за которой князь явно ухаживал.

Все в доме называли уже его женихом, хотя предложения он еще не делал. Таня, однако, скрыла от княжны Людмилы свое восхищение молодым соседом и на вопрос, заданный ее госпожой после второго посещения князя, ответила деланно-холодным тоном:

— Ничего, красивый...

— Как ничего, он прелесть как хорош! — обиженно воскликнула княгиня.

— Ваш муж будет, вам и судить... Холопка я, холопий у меня вкус... — отвечала Таня.

— Ты опять!

— Что опять, ваше сиятельство?.. Я правду говорю... Вот ваш князь в вас по уши влюбился, а на меня, хоть и похожа я на вас, и посмотреть, может, не захочет...

— Ты думаешь, что он в меня влюблен?

— Конечно же... Да и в кого же ему здесь влюбиться, в окружности, кроме вас...

— Значит, и ты ему также понравиться?..

— Наверяд, потому я холопка, а ему красавицу, да и княжну надо... — иронично отвечала Татьяна.

— А вот я спрошу его.

— Спросите...

— В следующий раз я позабуду носовой платок, ты мне принесешь, когда мы будем в саду. Его поближе увидишь и он тебя.

— Зачем это?

— Нет, уж сделай ты для меня, милочка... — Бросилась княжна Людмила на шею Тане.

— Хорошо-с, слушаю-с...

Несмотря на то что Татьяна Берестова отказывалась от предложенного ей княжной Людмилой средства видеть поближе князя Сергея Сергеевича, в душе она все-таки этого очень желала, особенно же интересовало мнение, которое о ней выскажет князь. Она даже решила сама подслушать его, схоронившись в кустах или чаще деревьев, смотря по месту, в котором она застанет «воркующую

парочку».

Последнее определение князя и княжны она произнесла мысленно с особенною злобою.

«Княжна скроет, что он скажет, уменьшит хорошее, смягчит дурное, — думала Татьяна, — а свои уши надежнее всего...»

Так она и решила.

Действительно, в следующий же приезд князя Сергея Сергеевича, когда после обеда княжна отправилась в сад, Таня, взяв носовой платок княжны, пошла спустя некоторое время разыскивать «воркующую парочку». Она нашла князя и княжну на скамейке в той самой аллее из акаций, куда княжна Людмила удалялась мечтать после первого посещения князем Зиновьева. Подав платок княжне, молодая девушка хотела удалиться, но первая задержала ее.

— Ах, благодарю, милая Таня, я забыла его... А где мама?

— Ее сиятельство у себя в кабинете...

— А...

Видимо, княжна вела этот разговор исключительно для того, чтобы дать время князю

разглядеть Татьяну, а Татьяне князя. Когда, наконец, княжна сказала «а», давая этим понять, что Таня может уходить, последняя быстро вышла из аллеи, но, тотчас обогнув ее по траве, чуть слышно прокралась к тому месту, где стояла скамейка, на которой сидели князь и княжна. Она не слыхала, в какой форме спросила княжна у князя мнение о ней, но ответ последнего донесся до нее отчетливо и ясно.

— Да, есть кой-какое сходство, — небрежно ответил князь, — но только кажущееся... Где же ей до вас... Сейчас видна холопская кровь...

«Дурак...» — мысленно послала Татьяна по адресу князя и едва удержалась, чтобы не произнести вслух этого далеко не лестного для него эпитета.

Она так же осторожно ушла с места своего наблюдения, как и пришла к нему. Сердце ее теперь уже прямо разрывалось от клокотавшей в нем злобы.

«Холопская кровь... — мысленно повторяла она до физической боли тяжелое для нее оскорбление, — я тебе покажу эту холопскую

кровь, князь Луговой...»

Когда князь уехал, Таня была позвана княжной в ее комнату.

— Вообрази, Таня, князь не нашел особенно большого сходства между мной и тобой... — сказала княжна.

— Вот как... — протянула Татьяна, стараясь казаться совершенно покойной. — Это, впрочем, так понятно...

— Почему?

— Да потому, что влюбленные, во-первых, как известно, слепые по отношению всех, кроме предмета их любви, а во-вторых, любясь вами, он, конечно, не может допустить и мысли, что есть другая, похожая на вас...

— Значит, ты думаешь, что он в меня влюблен?

— Если до сих пор я это думала, то теперь я в этом уверена.

— Что так?..

— Я видела, как он на вас смотрит.

— Как же?

— Да как кот на сало.

Княжна покраснела. Татьяна Берестова все же из атмосферы девичьей вынесла некото-

рую несдержанность в выражениях.

— Ах, если бы ты была права! — воскликнула княжна.

— Не беспокойтесь, ваше сиятельство, права я, права.

По последнему вопросу о чувствах князя Сергея Сергеевича к княжне Людмиле разговоры повторялись почти каждый день. Деланное спокойствие Тани, с которым она была принуждена вести эти разговоры, все более и более внутренне озлобляло ее против княжны и князя. Все чаще и чаще приходило ей на мысль его выражение: «холопская кровь» и вслед за этим слагалась мысленно же угроза: «Я тебе покажу, князь Луговой, холопскую кровь!»

Во время одной из прогулок князя и княжны по зиновьевскому саду они подошли к стеклянной китайской беседке, стоявшей в конце сада над обрывом. Из беседки открывался прекрасный вид на поле и лес. Был шестой час вечера, и солнце уже не обжигало земли своими все же ослабевшими после полудня лучами. Княжна Людмила и князь Сергей Сергеевич вошли в беседку.

— Ах, князь, как я боялась одного места в вашем парке, — вдруг сказала княжна, когда они опустились на круглую скамейку, устроенную внутри беседки и окружающую столик.

— Какого?

— Этой таинственной беседки, замкнутой громадным замком.

— Чего же вы ее боялись?

— Разве вы не знаете, князь, легенду о ней?

— Как же, слышал, и несколько раз.

— И знаете, князь, я вам теперь признаюсь, когда вы за обедом у вас, после погребения вашей матери, сказали, что лет сто тому назад один из князей Луговых был женат на княжне Полторацкой, я подумала...

Княжна Людмила вдруг остановилась и густо покраснела. Она только сейчас сообразила, что напоминание с ее стороны об этих словах князя похоже на вызов, на предложение.

«Это может совершиться и теперь, если только она меня любит», — промелькнуло в уме у князя Сергея Сергеевича, и он особенно

любовно посмотрел на покрасневшую, как маков цвет, княжну Людмилу.

Яркий румянец, разливающийся во всю щеку, особенно идет к брюнеткам. Лицо блондинки прелестно только тогда, когда румянец на нем нежен, как лепестки еще не совсем распустившейся розы.

— Что же вы подумали, княжна?

— Нет, я не скажу...

— Почему же?

— Все это глупости... Может быть, это и не так.

— Скажите... Вы окончательно измучаете меня... Я любопытен.

— Говорят, это качество свойственно только женщинам... — повернула было разговор княжна, но князь не отставал.

— Скажите, пожалуйста, скажите...

— Я подумала, что не эту ли самую бывшую княжну Полторацкую замуровал ее муж, князь Луговой, в этой беседке.

— Если эта княжна Полторацкая, жившая сто лет тому назад, была так же хороша, как вы, княжна, то я понимаю своего предка, при условии, впрочем, если эта легенда справед-

лива.

— А вы ей не верите? — спросила княжна Людмила, все еще красная как рак, но теперь уже от последних слов князя, не поднимая на него глаз.

— Конечно, не верю... Бабушки рассказы, и больше ничего... Просто там заперты какие-нибудь садовые инструменты, лопаты, грабли...

При этих словах княжна взглянула на князя. Смущение ее уже прошло.

— Было бы очень интересно это узнать наверняка...

Князь вздрогнул. Желая порисоваться перед любимой девушкой, он усомнился в верности передававшейся из рода в род семейной легенды, а отступление теперь считал для себя невозможным.

«Пустяки, конечно, ничего подобного не было, бабушки рассказы», — пронеслись в его голове как бы убеждающие его самого мысли.

Молодость и вольнодумство во все времена идут рука об руку, а в описываемое нами время в столичную жизнь вместе с французским влиянием последнее стало приливать с

особенной силой. Князь Луговой не избег этого влияния. Если он не был в глубине своей души вольнодумцем, то старался хотя показаться им. Это-то старание и побудило его усомниться перед княжной в семейной легенде.

— Нет ничего легче убедиться в этом, — с напускной небрежностью уронил князь.

— Как же это?

— Я завтра прикажу сбить замок, вычистить беседку, а послезавтра я попрошу княгиню, вашу матушку, прокатиться с вами в Луговое, и мы будем пить чай в этой самой беседке.

— Что вы, князь, нет, нет, не делайте этого, — взволнованно сказала княжна.

— Почему?

— Да разве вы не знаете... На эту беседку наложен запрет под угрозой страшного несчастья тому из князей Луговых, который осмелится открыть ее.

— Говорю вам, княжна, что все это бабьи рассказы.

— Нет, князь, нет, не делайте этого, — продолжала умолять княжна.

Эта настойчивость молодой девушки еще

более раззадорила князя. Ему показалось, что она упрашивает его потому, что догадалась, что он сам трусит. Так как это было действительно правдой, то она-то и бесила его.

— Говорю вам, княжна, что это пустяки, вы сами убедитесь в этом... Послезавтра мы пьем чай в этой страшной беседке... Это решено бесповоротно.

— Я не буду от страха спать ночей! — воскликнула княжна.

— Стыдитесь, как можно верить в таинственное, — продолжал бравировать князь Сергей Сергеевич.

Разговор перешел на другие темы. Когда они вернулись в дом и князь стал прощаться, он действительно пригласил княгиню Вассу Семеновну на послезавтра вечером приехать в Луговое. Княгиня дала свое согласие.

Княжна Людмила, конечно, не преминула рассказать Татьяне о роковом решении князя.

— А что если там действительно окажутся они? — упавшим голосом спросила княжна.

— Это уже его дело...

— Но, милая Таня, ведь ты знаешь, что говорят, что на того из князей Луговых, кто от-

кроет эту беседку, обрушится несчастье...

— Ну, может, это и пустяки...

— Ты думаешь?

Княжна искала успокоения, и, конечно, малейшее сомнение в возможности избежать для князя последствий прадедовского заклатья находило в ней желанную веру.

— Конечно, это пустяки, — еще раз подтвердила Татьяна, как-то загадочно улыбнувшись.

Княжна отпустила Таню и легла. Но заснуть долго не могла. Несмотря на некоторое утешение, принесенное ей словами Тани, все же мысль о том, что найдут в беседке, и пройдет ли это благополучно для князя Сергея Сергеевича, не давала ей долго сомкнуть глаза.

Не спала и Татьяна Берестова.

«Сам в пасть лезет князюшка!» — думала она.

Решение князя Сергея Сергеевича нарушить заклятие предков почему-то в уме Тани подтверждало возможность плана «беглого Никиты», высказанного им ей, Татьяне, в роковую ночь их первого свидания в Соломониной избушке.

Х

Страшное приказание

Князь Сергей Сергеевич вернулся к себе в Луговое в отвратительном состоянии духа. Это состояние, как результат посещения Зиновьева, было с ним в первый раз. Происходило оно вследствие той душевной борьбы, которая в нем происходила по поводу данного им княжне обещания под влиянием минуты и охватившего его молодечества ни за что не отступить от него. Между тем какое-то внутреннее предчувствие говорило ему, что открытием заповедной беседки он действительно накликает на себя большое несчастье.

Он лег спать, но сон бежал от его глаз. Когда он потушил свечу, ему явственно послышались тяжелые шаги в его спальне. Ощущение, что кто-то приближается к его кровати, охватило его. Князь дрожащими руками зажег свечу. В комнате никого не было.

«Какое ребячество!» — подумал князь, но свечи не погасил.

Вошедший утром камердинер князя нашел

ее оплывшею и еле горевшею. В комнате было чадно.

Князь спал, видимо, тревожным сном, забывшись на заре. Ему снился какой-то старец, одетый в боярский костюм, грозивший ему пальцем. Этот палец рос на его глазах и наконец уперся ему в грудь. Князь чувствовал на своей груди тяжесть этого пальца. Словом, с ним был кошмар.

Проснулся князь с тяжелой головой. Было ли это следствием копоти свечи, которой был испорчен воздух его спальни, происходило ли это от кошмара-сна, князь об этом не думал. Он был мрачен. Только выйдя на террасу, всю залитую веселым солнечным светом, и вдохнув в себя свежий воздух летнего утра, князь Сергей Сергеевич почувствовал облегчение.

Выпив кружку молока с домашней булкой, он вернул к себе окончательно прежнее жизнерадостное настроение. Все происшедшее вчера и даже случившееся ночью представилось ему совершенно в ином свете. Он стал припоминать свой разговор с княжной Людмилой. Теперь он уже не раскаивался, что дал ей обещание отворить заповедную беседку.

Ведь это самое решение, высказанное им, выдало ему с головой княжну Людмилу, открыло ему ее чувство к нему, князю.

«Как она испугалась, что со мной случится несчастье, — припоминал он. — Так испугаться может только девушка, которая любит».

«Любит!» — это слово чудной гармонией звучало в ушах влюбленного князя.

«А как я вчера мальчишески струсил... Мне стало даже мерещиться что-то. Целую ночь я не сомкнул глаз, поневоле под утро мне стала сниться всякая чертовщина, — продолжал беседовать мысленно сам с собою князь Сергей Сергеевич. — Этот палец старика... И откуда может забраться все это в голову...»

Вошедший лакей доложил князю о приходе управителя с докладом.

— А вот, кстати, зови его сюда...

Через несколько минут Терентьич уже стоял перед его сиятельством. Это был древний, но еще бодрый старик, с седой как лунь бородою и такими же обстриженными в скобку волосами на голове, но с живыми, почти юношескими глазами, не потерявшими свой се-

рый цвет и глядевшими прямо и честно. Еще при деде князя Сергея Сергеевича Терентьич, или, как его называли более почтительно, Степан Терентьич, служил в казачках и прозывался Степкою.

Степкой, несмотря на почтенный уже возраст, звал его до самой смерти и отец князя Сергея Сергеевича. Терентьич был предан всему роду князей Луговых, как верная собака. Он жил жизнью их сиятельств, радовался их радостям и печалился их печалью. За князей Луговых он был готов пожертвовать жизнью и перегрызть горло всякому, кто бы решился заочно отозваться о ком-нибудь из них с дурной стороны.

Степенно, твердым, хотя и старческим голосом, поклонившись князю поясным поклоном, Терентьич произнес:

— С добрым утром, ваше сиятельство.

— Здравствуй, Терентьич, здравствуй, — весело встретил его князь Сергей Сергеевич, — ну, что скажешь?

Старик начал обстоятельный доклад о произведенных вчера работах и о намеченных на сегодня. Князь внимательно слушал, из-

редка затягиваясь трубкой и выпуская изо рта громадные клубы дыма, расстилавшегося в синеве прозрачного утреннего воздуха.

— Все, значит, идет хорошо... — заметил он, когда управитель кончил свой доклад.

— Все благополучно, ваше сиятельство...

Терентьич замолчал. Молчал некоторое время и князь Сергей Сергеевич.

— Не будет ли, ваше сиятельство, каких-либо приказаний? — нарушил наконец молчание Терентьич.

Князь вздрогнул и снова на некоторое время оставил этот вопрос без ответа, сделав сильную затяжку трубкой. Затяжка эта была последней, трубка захрипела и погасла. Князь Сергей Сергеевич тряхнул головой, как бы отгоняя от себя назойливую, мысль и, наконец, произнес:

— Вот что, Терентьич, сбей-ка народ в парке... Надо будет очистить место, где стоит старая беседка.

— Ваше сиятельство... — с мольбой в голосе осмелился перебить князя старик.

— Да и самую беседку отворить и вычистить надо всю, внутри и снаружи... — про-

должал князь, не обратив, видимо, внимания на возглас Терентьича. — Слышишь?..

Князь Сергей Сергеевич, отдавая это приказание, не глядел на Терентьича. Когда же, не получая долго ответа, он взглянул на него, то увидел, что старик стоит перед ним на коленях.

— Что такое? Что тебе надо?..

— Ваше сиятельство, послушайте старика, пса вашего верного, не делайте этого...

— Что за вздор! Не век же самому лучшему месту парка быть в запустении и не век же стоять этой красивой беседке без всякой пользы и только нагонять страх на суеверных...

— Не губите себя, ваше сиятельство, — продолжал, стоя на коленях, умолять старик.

— Встань, не глупи... Стыдись, ты стар, а веришь всяким бабьим рассказням... Вот увидишь сам, что в беседке не найдется ничего, кроме разве какого-нибудь хлама...

— Ваше сиятельство!.. — попробовал было снова начать свои убеждения Терентьич, но князь рассердился.

— Встань, говорю тебе, и делай, что тебе

приказано... Я не люблю послушников.

Старик покорно встал с колен и произнес лаконично:

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

— Так-то лучше, ступай и прикажи начать работы сейчас же, — сказал князь.

Старик пошел, но при уходе бросил на молодого князя взгляд, полный искреннего сожаления. На его светлых глазах блестели слезы. На князя Сергея Сергеевича эта сцена между тем произвела тяжелое впечатление. Он стал быстро ходить по террасе, стараясь сильным движением побороть внутреннее волнение. Он, однако, решился во что бы то ни стало поставить на своем. Препятствие, в виде неуместного противоречия Терентьича, еще более укрепило его в этом решении. Он стал с нетерпением ожидать прибытия в парк рабочих.

Время шло, а рабочие не являлись. Он уже взялся за звонок, стоявший на столе, чтобы позвать лакея, как последний появился на пороге двери и доложил его сиятельству о приходе отца Николая. Отец Николай был священник церкви села Лугового.

Это был тоже один из древних старожилів княжеской вотчины. Более полувека уже священствовал он в сельской церкви и считал себе лет под девяносто. Он давно овдовел и был бездетен. Жизнь вел чисто монашескую и возбуждал в своей пастве к себе не только уважение, но и благоговение. Небольшого роста, с редкими, совершенно седыми волосами на голове и такой же редкой бородкой, в незатейливой крашеной ряске, он по внешнему своему виду не представлял, казалось, ничего внушительного, но между тем при взгляде на его худое, изможденное лицо, всегда светящееся какой-то неземной радостью, невольно становилось ясно на душе человека с чистою совестью и заставляло потуплять глаза тех, кто знал за собой что-либо дурное.

— Глаза «батюшки», светло-карие и блестящие, глядели прямо в душу, — говорили крестьяне, — и ничего-то от них укрыться не могло.

«Провидец», — прозвали его не только в Луговом, но и далеко в округности.

Из Тамбова приезжали молиться в церковь села Лугового и получить благослове-

ние, совет и утешение от отца Николая. Бывали случаи, когда он отказывал в них приезжавшим к нему и всегда за тем открывалось за этими лишенными благословения отца Николая какое-нибудь очень дурное дело.

К его-то помощи и прибег Терентьич для вразумления молодого князя. Старик прямо с барского двора погнал что есть духу свою лошадку на село и явился пред лицо маститого «батюшки». В коротких словах передал ему Терентьич об отданном молодым князем страшном приказании и со слезами на глазах просил отца Николая сейчас же пойти вразумить его сиятельство не готовить себе и своему роду гибель. Отец Николай, конечно, знал о проклятии, переходящем из рода в род князей Луговых, относительно неприкосновенности беседки, стоявшей в глубине парка, и вместе с другими верил в возможность несчастья, грозившего послушнику прадедовской воли.

— Попробую, сын мой, — сказал он Терентьичу, — вразумить юного князя. Подкрепи меня, Господи! — возвел он очи к небу.

Обрадованный Терентьич, вполне уверен-

ный, что слова «батюшки» не пропадут даром, усадил отца Николая в свою тележку и быстро погнал лошадку снова по направлению к княжескому дому.

Таким-то образом и случилось, что князь Сергей Сергеевич, ожидавший нетерпеливо рабочих, получил совершенно неожиданный доклад о приходе отца Николая.

«Этому что надо?» — с раздражением подумал князь, однако не принять не решился.

Отец Николай с первого же свидания с ним произвел на него то же впечатление, которое производил и на других. Быть может, это впечатление не особенно укрепилось в душе князя Сергея Сергеевича, но все же образ почтенного старца, служителя алтаря, внушал ему невольное уважение.

— Приси, — сказал он доложившему лакею и поставил в угол трубку, которую, несмотря на то что она давно потухла, продолжал держать в руке.

Через несколько минут на террасе появился отец Николай. Князь Сергей Сергеевич почтительно подошел к нему под благословение.

— Добро пожаловать, батюшка.

Князь сам пододвинул стул старику. Отец Николай сел и некоторое время хранил молчание, неотрывно смотря на князя Сергея Сергеевича, тоже севшего к столу, стоявшему на террасе. Князю показалось это молчание целую вечность.

— Что скажете, батюшка? — начал он.

Отец Николай откашлялся, заслоняя рот рукою.

— Духовный сын мой, Степан Терентьев, сейчас был у меня.

— Вероятно, жаловался на меня, — усмехнулся князь, — за то, что я задумал привести в порядок парк и почистить старую беседку?

— Порядок вещь хорошая, ваше сиятельство, но то, что веками сохранялось, едва ли следует разрушать... — начал отец Николай, но князь перебил его:

— Вы, батюшка, скажите мне без обиняков, верите вы в легенду об этой беседке?

Отец Николай замялся.

— Говорят, — ответил он после некоторой паузы, — что запрет на нее положен для сохранения его из рода в род.

— Мне, батюшка, отец ничего не говорил об этом. Положим, я не присутствовал при его смерти. Он умер в Москве, когда я был в Петербурге, в корпусе. Но мать умерла почти на моих руках и тоже ничего не сообщила мне об этом запрете.

— Все-таки... — начал снова отец Николай. — Лучше, ваше сиятельство, по-моему, отречься, это смутит крестьян.

— Почему смутит? — возразил князь. — Если там не найдут ничего, кроме старогохлама, в чем я почти уверен, то никакого смущения не будет, уничтожится лишь повод к суеверию.

— Оно так-то так, а если...

— Если... Хорошо, допустим, что там найдут тех, о которых говорит старая сказка, то и тогда я совершаю этим далеко не дурное дело. Они оба искупили свою земную вину строгим земным наказанием, за что же они должны быть лишены погребения и кости их должны покоиться без благословения в этом каменном мешке? Вы, как служитель алтаря, батюшка, можете осудить их на это?

Князь Сергей Сергеевич вопросительно по-

смотрел на отца Николая.

— Нет... Не могу... — с усилием произнес священник.

— Вот, видите, батюшка, значит, во всяком случае, должно открыть беседку. Вы же приехали кстати. Если, в самом деле, там найдутся человеческие кости, мы их положим в гробы, вы их благословите и похороните на сельском кладбище.

Отец Николай сидел в глубокой задумчивости. Князь смотрел на него торжествующе.

— А если от этого, действительно, что-нибудь приключится дурное для вас, как говорит то же предание?.. Подумайте, ваше сиятельство.

— Позвольте, батюшка, вы под влиянием народных толков и в заботе обо мне забыли слова Писания о том, что ни один волос с головы человеческой не спадет без воли Божией.

Отец Николай ничего не отвечал и сидел с поникшей головой. Он не мог не согласиться с доводами князя.

Внутри беседки

— Конечно, — начал снова князь Сергей Сергеевич, — Терентьич отложил исполнение моего приказания до окончания беседы с вами. Он где?

— Он привез меня сюда... — грустно отвечал отец Николай.

Князь позвонил. Положение отца Николая было из затруднительных. Как старожил этой местности, сжившийся со своей паствой, он невольно разделял некоторые ее предубеждения, основанные на преданиях, во главе которых стояло заклятие из рода в род на неприкосновенность старой беседки. Отец Николай верил чистою верою ребенка в это заклятие, но редко думал о нем и еще реже рассуждал по этому поводу. Он был убежден, что никто из князей Луговых не решится нарушить его, тем более что для этого не могло быть никаких серьезных причин, кроме разве праздного любопытства.

«Из-за чего же рисковать!» — думалось от-

цу Николаю.

Князь поставил вопрос, совершенно им неожиданный и непредвиденный. Действительно, если внутренность беседки не подтвердит сложившейся о ней легенды, то уменьшится один из поводов людского суеверия, если же там на самом деле найдутся останки несчастных, лишенных христианского погребения, то лучше поздно, чем никогда исправить этот грех. Ни против того, ни против другого возражения молодого князя не мог ничего ответить отец Николай как служитель алтаря. Потому-то он и умолк.

Явившемуся на звонок лакею князь приказал позвать Терентьича. Старик бодро вошел на террасу в полной уверенности, что сейчас он получит отмену «страшного приказания». Потому-то он широко раскрыл глаза, когда князь встретил его довольно сурово.

— Что я тебе приказал? — крикнул он.

Терентьич молчал.

— Я тебе приказал, — продолжал взволнованным тоном князь Сергей Сергеевич, — собрать рабочих для расчистки парка, а ты побежал на меня жаловаться батюшке.

— Виноват, ваше сиятельство, я думал... — дрожащим от волнения голосом произнес старик.

— То-то виноват, но чтобы впредь этого не было. Твоя обязанность не думать, а исполнять мои приказания. Мы с батюшкой решили оба присутствовать при вскрытии беседки.

Терентьич был совершенно уничтожен последними словами князя Сергея Сергеевича. Он перевел свой недоумевающий печальный взгляд с князя на отца Николая и встретился с его ясным взглядом.

— Да, сын мой, и в Писании сказано: «Рабы, повинуйтесь господам своим».

— Ступай и исполняй, что приказано, — повторил князь.

Старик вышел, окончательно пораженный.

— Вот оно что, Господи Иисусе, и отец Николай ничего не поделал... Тоже на руку его сиятельству погнул, — рассуждал он сам с собою.

Когда он приехал в деревню и отдал приказание идти работать в княжеский парк для очистки старой беседки, то крестьяне, наря-

женные на эту работу, были прямо ошеломлены.

— Господи, Иисусе Христе, да ведь нельзя этого, Терентьич, николи мы этого делать не станем, поколи крест на шее имеем, ослобони, будь отец милостивый.

— Таков княжеский приказ, — объяснил управитель.

— Князь что, князь молод, ты бы вразумил его, — заметили некоторые из крестьян.

— Пробовал уже, православные.

— И что же?

— Ломай, говорит, да и весь сказ.

— Дела... А нас все же ослобони, Терентьич, — настаивали крестьяне.

— Как же я вас ослобоню, коли князь сказал, беспременно сейчас... Отец Николай у него, так при нем чтобы.

— Отец Николай... Благословляет, значит.

— Благословляет.

— Тогда нечего и толковать, православные... Отец Николай даром не благословит...

Хотя отец Николай действительно не благословил работ, а лишь сказал о повиновении рабов господину, но Терентьич пошел на эту

ложь, которая бывает часто во спасение, так как по угрюмым лицам крестьян увидал, что они готовы серьезно воспротивиться идти на страшную для них работу. Имя отца Николая должно было изменить их взгляд, по мнению Терентьича.

Он и не ошибся. Известие о том, что будут ломать княжескую беседку, с быстротой молнии облетело все село. Крестьяне заволновались. Бабы даже стали выть. Но когда передававшие это известие добавляли, что при этом будет присутствовать сам отец Николай, волнение мгновенно утихло и крестьяне, исто-во крестясь, степенно говорили:

— Видно, так и надо.

Не в меру разревевшихся баб они строго обрывали:

— Ну, вы, долгогривая команда, что завыли!..

Наряженные на работу в княжеском парке крестьяне между тем тронулись из села. За ними отправились любопытные, которые не работали в других местах княжеского хозяйства. Поплелся старый да малый. Князь Сергей Сергеевич после ухода Терентьича сошел

с отцом Николаем в парк и направился к тому месту, где стояла беседка-тюрьма.

— Самое лучшее место в саду... — говорил князь, пробираясь через чащу деревьев к беседке, — и вследствие людского суеверия остается целые сотни лет в таком запущении.

Оба они подошли к самой беседке, стоявшей на полянке, заросшей густой травой, до которой, видимо, никогда не касалось лезвие косы. Тень от густо разросшихся кругом деревьев падала на нижнюю половину беседки, но верхушка ее, с пронзенным стрелой сердцем на шпиге, была вся озарена солнцем и представляла красивое и далеко не мрачное зрелище.

— Какое красивое здание! — невольно воскликнул, залюбовавшись беседкой, князь Сергей Сергеевич.

Отец Николай задумчиво произнес:

— Ужели, действительно, она строена по внушению злобы?..

— Я убежден, батюшка, что это выдумки...

— Посмотрим, князь; те соображения, которые вы мне высказали, ни разу не приходили мне в голову, они заставили умолкнуть

мои уста, на которых была просьба оставить эту, казалось мне, бесцельную затею, могущую не ровен час действительно быть для вас гибельною, но теперь, повторяю, и не стыжусь сознаться в этом, я изменил свое мнение и охотно благословлю начало работы...

В это же самое время к месту, где находилась беседка и где беседовали князь и священник, прибыли рабочие-крестьяне, с Терентьичем во главе. Сюда же явились и садовники.

— Позвать слесаря... — распорядился князь.

Терентьич бросился исполнять приказание.

— Вы, ребята, расчищайте-ка дорожку, которая должна соединиться с ведущей сюда дорожкой парка, повычистите отсюда весь мусор да живо принимайтесь за работу... Садовники укажут, что делать.

Двенадцать прибывших крестьян-работников и четверо садовников молча выслушали приказание и все, точно по команде, обратили свои взоры на отца Николая, стоявшего рядом с князем Сергеем Сергеевичем.

— Благослови вас Господь... — твердым голосом произнес отец Николай.

— Слушаем-с, ваше сиятельство... — в один голос только тогда отвечали рабочие.

Работы по очистке аллеи вокруг беседки начались. Вскоре явился снова Терентьич и привел слесаря с инструментом. Последний шел за управителем, испуганный и бледный. Его трясло как в лихорадке. При виде этого бледного как смерть человека князь невольно вздрогнул и как-то инстинктивно с умоляющим взором обернулся к отцу Николаю.

— Успокойся, сын мой, — сразу понял священник немую просьбу князя и подошел к стоявшему неподвижно слесарю, — надеюсь, ты веришь своему духовному отцу... Я благословлю тебя...

Отец Николай перекрестил слесаря и положил ему обе руки на голову. Слесарь, видимо, сразу ободрился духом.

— Надо сломать этот замок... — указал князь ему на громадный замок, висевший у двери беседки.

— Слушаю-с, ваше сиятельство! — с дрожью в голосе отвечал слесарь и быстро, как

бы чувствуя, что если он остановится, то не решится на такое дело, бросился к двери без сидки.

Прошло томительных полчаса, пока наконец, после невероятных усилий и множества проб всевозможных отмычек, тяжелый замок был отперт. Но он так заржавел в петле, на которой был надет железный болт, что его пришлось выбивать молотком. Этим же молотком пришлось расшатывать болт. Удары молотка звучно раздавались по княжескому парку и отдавались гулким эхом внутри без сидки.

Наконец болт упал на своей заржавевшей петле с каким-то визгом, похожим на человеческий стон. Все невольно вздрогнули и на мгновение как бы оцепенели. Первый пришел в себя князь Сергей Сергеевич.

— Отворяй! — крикнул он слесарю.

Тот потянул за скобку окованной железом двери, но она не поддавалась. Он напряг все усилия, но они были тщетны. Князь приказал позвать на помощь рабочих, расчищавших парк. Усилиями пяти человек дверь подалась.

— Ух! — раздался возглас рабочих.

Дверь распахнулась. Рабочие отскочили, попятнулись и князь, отец Николай и Терентьич, несмотря на то что последние стояли в отдалении. Первые минуты в раскрытую дверь беседки не было видно ничего. Из нее клубом валила пыль какого-то темно-серого цвета. Пахнуло чем-то затхлым, спертым.

Отец Николай истово перекрестился. Его примеру последовали и другие. Перекрестился невольно и князь Сергей Сергеевич. Когда пыль наконец рассеялась, князь, в сопровождении отца Николая и следовавшего сзади Терентьича, приблизился к беседке. То, что представилось им внутри ее, невольно заставило их остановиться на пороге.

На каменном полу, покрытом толстым слоем пыли, верхние пласты которой только всколыхнулись при ворвавшемся внутрь беседки чистом воздухе, прислонившись к стене, прямо против двери, полулежали, обнявшись, два скелета. Кости их были совершенно белые, и лишь на черепах виднелись клочки седых волос. Какую страшную иронию над взаимною любовью, над пылкой страстью людей, увлекающихся и безумствующих,

представляли эти два обнявших друг друга костяка, глазные впадины которых были обращены друг на друга, а рты, состоящие только из обнаженных челюстей с оскаленными зубами, казалось, хотели, но не могли произнести вслух, во все времена исторической и доисторической жизни людей лживые слова любви.

Все остановились ошеломленные, уничтоженные открывшейся перед ними картиной. Основная часть легенды, таким образом, оказалась истиной. Беседка служила действительно тюрьмой-могилой для двух человеческих существ.

Весть о страшном открытии князя тотчас облетела всех рабочих, и они, пересилив страх перед могущим обрушиться на них гневом князя, собрались толпой у дверей беседки. Когда первое впечатление рокового открытия прошло, князь Сергей Сергеевич упавшим голосом обратился к отцу Николаю:

— Батюшка, что нам делать?

— Предать их земле, — спокойно отвечал священник.

— Затворите дверь, — приказал князь.

После некоторого замешательства, происшедшего в стоявшей кругом толпе рабочих и пробравшихся крестьян, два смельчака исполнили приказание князя.

— Прикажи сейчас же сделать два гроба, — обратился князь Сергей Сергеевич к Терентьичу.

— А как насчет работы? — спросил затем управляющий.

— Очистку сада продолжать. Батюшка, позвольте вас просить ко мне, пока все готовится.

Рабочие, под наблюдением садовников, принялись за работу, гуторя между собой о страшной находке. Любопытные из крестьян бросились обратно в село, чтобы рассказать о слышанном и виденном. Князь Сергей Сергеевич, посоветовавшись с отцом Николаем, отдал приказание вырыть могилы у церкви близ родового склепа князей Луговых.

На князя находка в беседке произвела, надо признаться, тяжелое впечатление, хотя он и старался это скрыть. Теперь, когда дело было уже сделано, в сердце его невольно закралось томительное предчувствие о возможно-

сти исполнения второй части легенды — кары за нарушение дедовского завета. Для того чтобы скрыть свое смущение, он начал беседовать с отцом Николаем о состоянии его прихода, о его жизни и тому подобных предметах, не относящихся к сделанному ими роковому открытию в беседке.

Часа через два было доложено, что гробы сколочены. Все снова отправились к беседке, где костяки были бережно уложены рабочими в гробы и отнесены на сельское кладбище и, после благословения их отцом Николаем, опущены в приготовленные могилы. К вечеру того же дня часть парка, прилегающая к беседке, и сама беседка была очищена.

XII

Призрак

Известие об открытии князем Луговым заповедной беседки и о найденных в ней двух скелетах в тот же вечер достигло до Зиновьева.

Княгиня Васса Семеновна и княжна Людмила сидели в это время за вечерним чаем. Новость, полученную из Лугового, сообщила им Федосья.

— Сейчас только со двора ушел луговской паренек, все, как есть, подробно рассказывал, сам видел.

— Сумасшедший, зачем он это сделал! — воскликнула княгиня.

Княжна вся вспыхнула, а затем страшно побледнела.

— Ты знаешь? — воззрилась на нее мать.

Княжна рассказала вчерашний свой разговор с князем в китайской беседке.

— Безумец... Надо было упросить его, чтобы он этого не делал, убедить его.

— Я просила и убеждала, — с виноватым

видом отвечала княжна.

— Просила и убеждала, — передразнила ее княгиня Васса Семеновна. — Надо было вчера же сказать мне при нем. Я бы с ним переговорила, как мать, а ты что. Самой, чай, интересно было знать, что в этой беседке проклятой.

Княжна потупилась. Она действительно почти всю ночь и весь сегодняшней день интересовалась именно этим вопросом.

— Ах, молодежь, молодежь! — продолжала между тем причитать княгиня. — Ничего-то у них нет святого...

Княжна молчала. Федосья, стоя за стулом ее сиятельства, одобрительно качала головой.

— Ни за что ни про что... Ни за понюх, что называется, табаку беду на себя накликать... И ты туда же. Ведь и на тебя беда-то эта может обрушиться...

— На меня?.. — подняла княжна Людмила на мать испуганно-недоумевающий взгляд.

— Конечно же и на тебя... Ведь сама понимаешь, что недаром князь к нам зачастил... Не нынче завтра предложение сделает, замуж за него выйдешь, не чужой человек будет, ес-

ли что случится...

— Мама... — умоляющим голосом почти простонала княжна Людмила.

Княгиня оборвала свою речь. Она сама поняла, что зашла слишком далеко в своих мрачных предсказаниях. Она могла, таким образом, напугать так дочь, что та ни за что не согласится выйти замуж за обреченного на несчастье князя. Хотя княгиня Васса Семеновна внутренне была сильно обеспокоена поступком князя, и особенно могущими быть от него последствиями, но видеть в этом поступке препятствие к браку его с ее дочерью, браку, мечта о котором не переставала жить в ее уме и сердце, а теперь так близка к осуществлению, она не решалась. Надежда, что, может быть, все это обойдется и благополучно, закралась в ее сердце и несколько ее успокоила.

— Ну, ну, не пугайся, — мягко продолжала она, — может, ничего и не случится... Я только говорю, какое ребячество... Чай пить будет в этой беседке... Меня пригласил... Да я ни за что и близко к ней не подойду...

— Теперь и сам князь этого не предложит... — степенно заметила Федосья.

— Конечно же, конечно... — подтвердила ее слова оправившаяся от смущения княжна Людмила.

Княгиня не отвечала. Она занялась своей чашкой чая. Княжна тоже умолкла. Обе были погружены каждая в свои мысли, но мысли эти вертелись у одного пункта, и этим пунктом был князь Сергей Сергеевич Луговой.

— Мы завтра все же поедem, мама? — первая нарушила молчание княжна Людмила.

Она произнесла этот вопрос упавшим голосом и обратила на свою мать взор, полный немой мольбы.

— Конечно, поедem, отчего же не ехать... — отвечала княгиня Васса Семеновна.

Княжна облегченно вздохнула. Она очень опасалась, чтобы мать, рассердившись на князя, не отменила поездки. Ехать теперь в Луговое представляло для нее двойной интерес. Несмотря на то что слова матери снова подняли в душе княжны мрачные опасения за будущее, любопытство увидеть беседку превозмогло даже этот страх, который княжна Людмила чувствовала к ней после рассказа о сделанной в ней роковой находке.

«Это он сделал для меня...» — мелькало в уме княжны как самое лучшее оправдание в глазах женщины самого безумного поступка мужчины.

Ни княгиня, ни княжна не спали хорошо эту ночь и до самого отъезда на другой день в Луговое были в нервно-напряженном настроении.

Наконец час отъезда наступил. Мать и дочь сели в карету и поехали по хорошо знакомой княжне Людмиле дороге. Князь встретил дорогих гостей на крыльце своего дома. Он был несколько бледен. Это сразу заметили и княгиня и княжна. Да это было и немудрено, так как он не спал почти целую ночь.

После того как место парка около беседки-тюрьмы было приведено в порядок и сама беседка тщательно вычищена, князь Сергей Сергеевич сам осмотрел окончательные работы и приказал оставить дверь беседки отворенной. Вернувшись к себе, он выпил свое вечернее молоко и сел было за тетрадь хозяйственного прихода-расхода. Но долго заниматься он не мог. Цифры и буквы прыгали перед его глазами. Он приказал подать себе све-

жую трубку и стал ходить взад и вперед по своему кабинету.

Нервы его были страшно возбуждены. Два скелета, найденные им в роковой беседке, стояли перед ним неотступно. Он приказал оседлать себе лошадь и помчался куда глядят глаза. Он скакал до полного изнеможения и вернулся домой только к ужину. Несмотря на сделанный моцион, есть он не мог. Выкурив на сон грядущий трубку в своем кабинете, князь Сергей Сергеевич удалился в спальню.

Усталость и нравственная и физическая взяла свое, и князь заснул. Вдруг он был разбужен тремя сильными ударами, раздавшимися в стене, прилегавшей к его кровати. Князь Сергей Сергеевич вздрогнул и проснулся. То, что представилось его глазам, так поразило его, что он остался недвижим на своей кровати. Он почувствовал, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой, хотел кричать, но не мог издать ни одного звука.

Вся спальня была наполнена каким-то белым фосфорическим светом. У самой его кровати стоял тот самый старый боярин, который являлся ему во сне прошлой ночью. Но

видение вчерашней ночи было смутно. В памяти князя остался лишь легкий абрис сонного видения да грозящий ему невероятной величины палец, который затем уперся ему в грудь так сильно, что он с трудом дышал.

Теперь же боярин стоял перед ним как живой. Князь Сергей Сергеевич даже уловил некоторое сходство стоявшего с его отцом и с ним самим.

— Ты нарушил положенное мною заклятие, — сказал призрак, — твое спасение в любимой тобой девушке. Береги ее... Адские силы против вас...

Голос призрака, казалось, шел из пространства, он не шевелил губами, произнося слова, и смотрел на князя строгим, суровым взглядом. Едва он окончил свою речь, как мгновенно исчез. С его исчезновением потух и фосфорический свет, наполнявший спальню князя.

К последнему возвратилась между тем способность движения. Первым его делом было вскочить и зажечь свечу. В спальне, конечно, не было никого, и дверь в кабинет была плотно затворена.

«Ужели это был сон?» — мелькнуло в голове князя, но он тотчас отбросил эту мысль.

Троекратный стук, которым он был разбужен, еще до сих пор отдавался в его ушах. Присутствие старого боярина было для него так ясно, что он не только видел его, но ощущал всем своим существом это его присутствие в комнате. Сказанные им слова глубоко запали в память князя.

— Ты нарушил положенное мною заклятие, твое спасение в любимой тобою девушке. Береги ее! Адские силы против вас! — повторил несколько раз князь Сергей Сергеевич слова призрака.

Сердце его болезненно сжалось. Опасность стережет, значит, не его одного, а и княжну Людмилу. При этой мысли князь Сергей Сергеевич почувствовал приток в организме свежих сил.

О, он не даст в обиду княжну! За нее он готов бороться даже с адскими силами. Надо поскорей получить право быть ее настоящим защитником. Надо сделать предложение, но прежде объяснить с ней самой.

Так решил князь. Это решение не только

совершенно успокоило его, но даже окрылило надежды на радужное будущее. Если действительно предок его вышел из гроба и явился к нему, то, несомненно, из его слов можно заключить, что он не очень рассержен за нарушение им, князем Сергеем Сергеевичем, его векового завета. Иначе он был бы грозней, суровей и не предостерегал бы его от беды, которая висит над головой любимой им девушки.

— Твое спасенье в любимой тобою девушке.

Эти слова призрака с особенным внутренним удовлетворением вспоминал князь Сергей Сергеевич. Он видел в них благословение предка на брак с княжной Людмилой, благословение, дать которое явился выходец из могилы.

Было ли в этом какое-либо дурное предзнаменование?

Этот вопрос князь Сергей Сергеевич не задумываясь решил отрицательно. Он, впрочем, после долгого размышления, нашел нужным скрыть от княжны Людмилы его ночное видение. Она, как еще очень молодая девуш-

ка, естественно, может придать преувеличенное значение таинственному явлению и сообщению с того света. Это напугает ее и даже может отразиться на ее здоровье.

Рассудив все таким образом, князь начал свой день обычным образом, отдав приказание людям приготовить к пяти часам вечера чай на террасе.

«Я обещал ей пить чай в беседке... Но это невозможно... До Зиновьева уже, вероятно, успело дойти известие о вчерашней находке, а потому она поймет...» — мелькнуло в голове князя.

Он всецело отдался приготовлению к вечернему приему желанных гостей. Лично сам отправился в великолепные оранжереи, чтобы выбрать лучшие фрукты, и долго совещался с главным садовником по поводу двух букетов, которые должны были красоваться на чайном столе перед местами, назначенными для княгини и княжны. Из оранжереи князь пошел бродить по парку. Говорят, что преступника всегда как-то особенно тянет к месту его преступления. Этим странным явлением в психической жизни человека часто

пользовалось земное правосудие для открытия виновного.

Князь Сергей Сергеевич, незаметно для себя, направился именно к тому месту парка, которое было расчищено вчера по его приказанию. Заросшую часть парка нельзя было узнать. Вычищенные и посыпанные песком дорожки, подстриженные деревья ничем, казалось, не напоминали о диком, заросшем, глухом, таинственном месте, где над кущей почти переплетавшихся ветвями деревьев высился шпиль заклЯтой беседки с пронзенным стрелой сердцем.

Только она одна, эта каменно-железная свидетельница давно минувшего, которую нельзя было совершенно изменить и преобразить волею и руками человека, указывала, что именно на этом месте веками не ударял топор и по траве не скользило лезвие косы. Но и самая беседка все же несколько изменилась и сбросила с себя большую часть таинственности.

Это произошло отчасти от сумрачной окружающей местности, ставшей более открытой и не бросавшей на нее мрачную тень,

и, наконец, от отворенной двери, вымытого пола, стекол и даже стен. Беседка как будто даже манила к себе гуляющего. Такое, по крайней мере, впечатление произвела она на князя Сергея Сергеевича.

Он совершенно спокойно вошел в нее и опустился не смутясь на одну из двух поставленных в беседке по его же приказанию скамеек. Внутри беседки было положительно уютно. Ничего не говорило о смерти, несмотря на то что только вчера вынесены были отсюда останки жертв разыгравшегося здесь эпилога страшной семейной драмы, несмотря на то что эта беседка, несомненно, служила могилой двум любившим друг друга существам. Быть может, именно эта их любовь и смягчала впечатление о их смерти.

Любовь не умирает. Она всегда говорит о жизни. Она сама — жизнь.

XIII

В могиле заживо погребенных

Встретив княгиню и княжну, как мы сказали, на крыльце, князь Сергей Сергеевич провел дорогих гостей на террасу, где был изящно и роскошно сервирован стол для чая.

— Зачем это все, мы запросто... — заметила княгиня Васса Семеновна, окидывая все же довольным взглядом сделанные приготовления, доказывавшие, что она с дочерью в доме князя действительно дорогие, желанные гости.

— Помилуйте, княгиня, для меня сегодня праздник...

Князь выразительно посмотрел на княжну Людмилу Васильевну. Последняя покраснела, а княгиня, перехватив этот взгляд, улыбнулась и села на приготовленное для нее место за серебряным самоваром. Княжна села рядом с князем с боку стола.

— А вы тут что, князь, набедокурили... — начала княгиня.

— Я?.. — удивленно спросил князь.

— Да, вы на всю окрестность страх нагнали... Зачем вам понадобилось тревожить неприкосновенность старой беседки?

— А, вы об этом, княгиня, в чем же тут бедокурство?

— Ах, князь, я еще смягчила название вашего поступка. Согласитесь, что это безумство так negliжировать семейные преданья...

— Я не вижу, в чем тут negliжирование, простите, княгиня...

— Как, вы ведь знали, что на эту беседку было наложено вековое заклятье...

— Знал, то есть слышал, хотя мне лично ни мой отец, ни моя мать не говорили серьезно ничего подобного.

— Странно!

— Они, вероятно, и сами не считали это серьезным... Я, напротив, взглянул на это дело серьезнее их и других моих предков и свой взгляд высказал вчера, прежде нежели приступить к работе, отцу Николаю.

— Отцу Николаю? — переспросила княгиня Васса Семеновна.

— Да, ведь в его присутствии и с его благословения открыли беседку.

— Вот как, я этого не знала... Что же вы сказали ему?

Князь Сергей Сергеевич в коротких словах передал княгине Вассе Семеновне свой вчерашний разговор с отцом Николаем. Княгиня Полторацкая была одна из самых ярых почитательниц луговского священника, а потому для нее участие отца Николая в казавшейся ей до сих пор безумной затее князя Лугового делало эту затею совершенно иной, освещало ее действительно в смысле почти богоугодного дела.

— Вот как, это другое дело... Как же все это произошло?

Князь Сергей Сергеевич начал подробный, красноречивый и даже картинный рассказ о вчерашних работах и особенно о моменте, когда отворили беседку и глазам присутствующих представилась, после рассеявшегося столба пыли, картина двух сидевших в объятиях друг друга скелетов.

— Ах, какой ужас, — почти в один голос воскликнули княгиня Васса Семеновна и княжна Людмила, до сих пор молча слушавшая разговор матери с князем и рассказ по-

следнего.

— Беседка теперь совершенно вычищена и неузнаваема... Я не решился приказать подать туда чай только потому, что все же с ней соединены тяжелые воспоминания...

Он, как бы извиняясь, взглянул на княжну.

— Вот что еще выдумали, да я близко не подойду к ней, а не то что пить чай... Глотка сделать нельзя бы было... Все они бы мерещились... — заволновалась княгиня.

— Я говорю это потому, что, когда третьего дня мы разговаривали с княжной, я обещал ей сегодня пить чай именно в этой беседке...

— Говорила мне она, говорила об этом... Я даже не хотела по этому случаю ехать совсем к вам, да потом подумали мы с Людой, что вы будете настолько благоразумны, что этого не сделаете...

— Я действительно на это не решился...

— И хорошо сделали...

— Но пройтись посмотреть на беседку не мешает, вы совершенно не узнаете то место, где она стояла, ни самую беседку...

Князь, говоря последнюю фразу, более обращался к княжне, а не к княгине.

— Это интересно... — отвечала последняя.

— Может быть, это и интересно, но я ни за что не пойду туда... Идите вы, если хотите, я посижу здесь и подожду вас, вечер так хорош...

Вечер действительно был восхитительный. Солнце склонялось уже к западу, обливая своими мягкими лучами княжеский парк, придавая ему особую манящую прелесть. Радостная улыбка появилась на лице князя Сергея Сергеевича при этом данном княгиней Вассой Семеновной позволении. Он с мольбой взглянул на княжну Людмилу и заметил промелькнувшую на ее лице довольную улыбку. Позволение матери пришлось ей, видимо, по сердцу. Молодые люди поспешили кончить свой чай.

Оставив княгиню одну любоваться в покойном кресле картиной залитого красноватым отблеском солнечных лучей парка, князь Сергей Сергеевич и княжна Людмила спустились по отлогой лестнице террасы и пошли по разбитому перед ней цветнику. Цветник этот занимал довольно большое пространство и состоял из затейливых клумб, газонов

и цветущих кустарников. С террасы он виделся как на ладони, а потому княгиня Васса Семеновна могла довольно долго любоваться идущей парочкой.

Парочка действительно была прелестна и не для одних материнских глаз. Высокий, стройный князь Сергей Сергеевич был головой выше княжны Людмилы, тоже статной и грациозной девушки. Радостная, самодовольная улыбка играла на губах княгини. Судьба дочери устраивалась на ее глазах, согласно ее желанию. Тревоги об этой судьбе, уже с год как змеей вползавшие в ее сердце, исчезли. Молодой князь, видимо, по уши влюбился в ее дочь, и предложение с его стороны вопрос очень близкого времени.

«Поскорей бы!» — все же мелькало в уме княгини, так как мысль о полном осуществлении ее мечты, как это всегда бывает, омрачалась все-таки всевозможными и даже невозможными сомнениями.

Не ожидала княгиня Васса Семеновна, что этот момент очень близок.

Князь Сергей Сергеевич и княжна Людмила прошли между тем цветник и повернули в

одну из аллей парка. Они шли прямо к тому месту, где высилась заветная беседка, верхняя часть которой была красиво освещена красноватым отблеском солнечных лучей.

— Вот видите, князь, я была права, говоря, что легенда о беседке не сказка.

— Признаюсь вам, что я сам то же думал.

Княжна посмотрела на него вопросительно.

— Я почти был убежден, что найду в ней этих несчастных.

— Зачем же вы открыли ее? — удивилась княжна Людмила.

— Именно потому и открыл, что знал, что найду там...

— Я вас не понимаю.

— Меня понял, однако, отец Николай...

— Для того чтобы предать их земле...

— Да, это одна из причин, но не единственная, для отца Николая она оказалась достаточная.

— Значит, есть и другие?

— То есть другая...

— Какая же, это не секрет?

— Для вас — нет...

Они уже дошли до выхода на полянку, среди которой высилась беседка. Княжна вдруг остановилась.

— Мне страшно.

Князь Сергей Сергеевич подал ей руку.

— Чего вы боитесь?.. Посмотрите, как изменилось и самое место, и беседка...

— Это так, но все-таки...

Княжна взяла его под руку, и он повел ее. Он чувствовал, как дрожала ее рука. Они вошли в беседку. Внутренность ее уже не представляла ничего страшного. Князь усадил княжну на скамейку и сел рядом.

— Так вы хотите знать другую причину того, что хотя мы и не пьем чай сегодня в этой беседке, то все-таки сидим в ней?

Княжна Людмила отвечала не сразу. Ее волнение еще не улеглось, сердце усиленно билось, и, кроме того, она предчувствовала, что эта причина близко касается именно ее.

Князь молчал, ожидая ответа.

Наконец она совладала с собой.

— Какая же это причина, князь?

— А та, что в те дни, когда над этим домом, и над этим парком, и надо мной должна за-

няться заря нового счастья, я не хотел, чтобы здесь оставался памятник семейного несчастья моего предка, несчастья, которое он увековечил ужасным злодеянием...

Княжна Людмила не сразу поняла князя Сергея Сергеевича. Она некоторое время смотрела на него недоумевающе-вопросительно. Его взгляд, полный бесконечной любви и восторженного благоговения, казалось, пояснил ей его туманную фразу. Она вдруг покраснела и опустила глаза. На лице князя тоже заиграл румянец. Он взял за руку княжну Людмилу. Она не отнимала руки.

— Здесь, в этой недавней могиле заживо погребенных, могиле, которая является не как обыкновенный памятник победы смерти, а, скорее, памятник победы любви, именно здесь, княжна, я хочу заговорить с вами, заговорить впервые об этом чувстве... Я люблю вас, люблю безумно, беззаветно...

Князь опустился на колени перед княжной Людмилой. Она сидела, низко опустив голову, и молчала.

— Княжна... Людмила... — с мольбою начал князь.

Княжна Людмила Васильевна протянула ему руки, но вдруг вскочила со скамейки.

— Не здесь, не здесь!

Князь торопливо встал, но княжна уже успела выбежать из беседки и пошла по направлению одной из тенистых аллей парка. Князь догнал ее и пошел с ней рядом. Некоторое время они шли молча.

— Княжна, простите, я... я обидел вас своим признанием?.. — начал князь.

Княжна Людмила Васильевна обернула к князю свое лицо. На ее чудных глазах блеснули слезы.

— Княжна, вы плачете, — сам со слезами в голосе начал князь, — простите, я не знал, что это может вас обидеть.

— Не то, князь, не то... — дрожащим голосом произнесла княжна и пошатнулась.

Если бы князь не поддержал ее, она бы упала. Он бережно довел ее до ближайшей скамейки и усадил.

— Что же с вами, княжна, скажите... О чем вы плачете?

Княжна вынула носовой платок и отерла глаза.

— Ни о чем... Мне там показалось вдруг так страшно...

— Так это не потому, что я позволил себе... — начал князь, обрадованный и ободренный.

— Нет, нет... Что же тут обидного, если я сама...

— Княжна, Людмила, дорогая! — схватил ее руки князь и стал покрывать их горячими поцелуями.

Княжна не отнимала рук. Она сидела, низко опустив голову, так что когда он поднял свою, чтобы посмотреть на нее, то лица их оказались так близко друг от друга, что невольно их губы встретились и слились в жарком поцелуе.

В этот самый момент где-то в глубине парка раздался резкий, неприятный смех. Князь и княжна отскочили друг от друга и стали оба испуганно озираться.

— Это там... — чуть не в одно слово сказали они.

Им обоим показалось, что смех раздался в стороне старой беседки.

— Это сова... — после некоторой паузы, по-

казавшейся им обоим целою вечностью, сказал князь Сергей Сергеевич.

— Сова! — упавшим голосом повторила княжна. — Боже мой, как все это странно.

— Мы просто с вами нервно настроены... Вот и вся причина... Успокойтесь, дорогая моя!

Он взял ее руку и поднес ее к своим губам.

— Успокойтесь, я около вас и всегда буду на страже.

Он вспомнил свое ночное видение и вздрогнул, но тотчас же вернул себе самообладание.

— Что с тобой? — вырвалось у княжны Людмилы.

При этом первом сказанном невзначай сердечном «ты» князь Сергей Сергеевич забыл все видения, откинул все опасения о будущем, подвинулся к княжне Людмиле и, взяв ее за талию, привлек к себе.

— Дорогая, милая, хорошая...

Она доверчиво лежала своей головой на его плече, точно позабыв на минуту щемившее ее сердце томительное предчувствие, недавний страх и этот вдруг раздавшийся ад-

ский хохот.

Он и она были счастливы настоящим.

Для них не существовало ни прошедшего, ни будущего.

Княжна Людмила Васильевна очнулась первая от охватившего их обоих очарования.

— Что скажет мамаша... Мы так долго, — прошептала она.

— Завтра я буду в Зиновьеве, чтобы просить у княгини твоей руки... — сказал князь.

— Милый...

Он подал ей руку, и они так дошли до конца аллеи, примыкающей к цветнику. При входе в цветник княжна Людмила высвободила свою руку, и они пошли рядом.

— Что вы так долго? — деланно строгим тоном спросила княгиня, пытливо смотря на дочь.

От зоркого глаза матери не ускользнуло пережитое молодой девушкой волнение.

— Мы обошли весь парк... — сказал князь, причем голос его дрогнул.

— А-а... — протянула княгиня. — Однако пора и восвояси. Прикажите подавать лошадей.

Князь позвонил и отдал явившемуся слуге соответствующее приказание.

Лошади были тотчас поданы.

Князь проводил княгиню и княжну до кареты.

— До свидания... — сказала княгиня.

— До скорого... — с ударением ответил князь Сергей Сергеевич.

С княжной они простились взглядами, которые были красноречивее всяких слов.

XIV

После признания

— Не скажешь ли чего мне, Люда? — пытливо спросила дочь княгиня Васса Семеновна, когда карета выехала из ворот княжеского дома и покатила по дороге в Зиновьево.

— Он приедет завтра, мама, — чуть слышно отвечала княжна Людмила Васильевна, не поднимая на мать глаз.

— Вот как, может быть, ты мне скажешь и зачем он приедет?

— Он будет просить моей руки.

— А сегодня просил у тебя? Это по-модному, по-петербургски, — с раздражением в голосе заметила княгиня.

— Мама, ты сердишься? — подняла голову княжна Людмила и посмотрела на мать.

— А ты думаешь, шучу. У нас это не так водится, не для того я его с тобой иногда одну оставляла, чтобы он перед тобой амуры распускал. Надо было честь честью сперва ко мне бы обратиться, я бы попросила время подумать и переговорить с тобой. Протянула бы денька два-три, а потом уже и дала бы согласие. А они на, поди... Столковались без матери. Завтра приедет просить твоей руки. А я вот возьму да завтра не приму.

— Мама! — воскликнула княжна Людмила.

В голосе ее слышались ноты искренней мольбы.

— Что мама... Уж семнадцать лет я тебе мама.

Княгиня серьезно рассердилась на такое нарушение со стороны князя освященных обычаев старины, но радость, что все-таки так или иначе цель достигнута, возобладала, и княгине очень хотелось расспросить дочь

подробно.

— Но ведь это случилось так нечаянно, — точно угадывая мысли матери, жалобно продолжала княжна.

Княгиня Васса Семеновна окончательно смягчилась.

— Ну его, Бог его простит, шалый он, петербургский.

— Дорогая мамаша!

Княжна схватила руку матери и горячо ее поцеловала.

— Ну, расскажи, плутовка, как это так нечаянно случилось? — погладила княгиня Васса Семеновна дочь по опущенной голове.

Княжна Людмила Васильевна начала свой рассказ. Она подробно рассказала, как они пришли и сели в эту вновь открытую беседку.

— И ты не боялась?

— Потом, мама, мне сделалось вдруг страшно.

Она передала матери форму, в которой князь начал ей признание в любви в беседке.

— Ну, не права ли я, что он шалый, нашел место! — воскликнула княгиня Васса Семеновна.

— Но, мамочка, ведь я и ушла. А потом случилась страшная вещь.

Княжна покраснела. Ей надо было передать предложение, признание князя и тот поцелуй, которым они обменялись, но княжна Людмила решила не говорить о последнем матери. Это был не страх перед родительским гневом. Нет, это было, скорее, инстинктивное желание сохранить в неприкосновенной свежести впечатление первого поцелуя, данного ею любимому человеку.

— Что же случилось? — нетерпеливо спросила княгиня.

Княжна рассказала, что когда князь окончил признанье, то вдруг раздался резкий хохот.

— Хохот? — испуганно переспросила княгиня Васса Семеновна и даже побледнела.

— Да, хохот, мама, и такой неприятный. Нам обоим показалось, что он был слышен со стороны... этой... беседки... — с дрожью в голосе подтвердила княжна Людмила Васильевна.

— И вы действительно оба его слышали? Впрочем, что же я спрашиваю. Какой-то

странный звук слышала и я, он раздался именно с той стороны парка.

— Князь сказал, что это сова.

— Сова?

— Да.

— А знаешь ли, он, может быть, и прав. Мне самой показалось, что это был крик совы.

Собственно говоря, княгине ничего подобного не показалось, но она ухватилась за это предположение князя Сергея Сергеевича с целью успокоить не только свою дочь, но и себя. Хотя и крик совы, совпавший с первым признанием в любви жениха, мог навести на размышление суеверных — а княгиня была суеверна, — но все-таки он лучше хохота, ни с того ни с сего раздавшегося из роковой беседки. Из двух зол приходилось выбирать меньшее. Княгиня и выбрала.

— Но почему же, мама, сова крикнула всего один раз? — озабоченно спросила княжна Людмила.

— Да потому, матушка, что ей, вероятно, хотелось крикнуть только один раз, — с раздражением в голосе отвечала княгиня.

Этот вопрос дочери нарушил душевное равновесие княгини Вассы Семеновны, которое она умела восстанавливать внутри себя путем самоубеждения. Остановившись на крике совы, княгиня несколько успокоилась, а тут вдруг совершенно неуместный, но вместе с тем и довольно основательный вопрос дочери. Княгиня начала снова задумываться и раздражаться. К счастью, карета въехала на двор княжеской усадьбы и остановилась. Княгиня и княжна молча разошлись по своим комнатам.

Таню, пришедшую в комнату княжны Людмилы, последняя встретила радостным восклицанием.

— Таня, милая Таня, он меня любит!

— Сказал?

— Да, Таня, и как было страшно.

— Страшно? — удивленно взглянула на нее Татьяна Берестова.

— Страшно, Таня, страшно.

— Что же тут страшного?

Княжна Людмила подробно рассказала своей служанке-подруге прогулку свою с князем Сергеем Сергеевичем по парку, начало

объяснения в беседе и крик совы после окончания объяснения на скамейке аллеи.

— Ха-ха-ха! — захохотала Таня.

Княжна вздрогнула. В этом хохоте ей вдруг послышалось сходство с хохотом, раздавшимся несколько часов тому назад в княжеском парке. Впрочем, это было на минуту. Княжне самой показалась смешной мелькнувшая в ее голове мысль.

— Чему ты смеешься?

Таня продолжала хохотать, но сдержаннее.

— Я не понимаю.

— Как же, барышня, не смеяться, совы испугались, точно маленькие дети.

— Если бы ты слышала!

— Сколько раз слыхала. Да и вместе с вами.

— Действительно, я тоже слыхала, но, значит, это вследствие другой обстановки.

— Расчувствовались... да разнежились.

Княжна густо покраснела. Она вспомнила о подаренном ею князю поцелуе, который скрыла не только от матери, но и от подруги детства.

— Он говорил с княгиней? — спросила по-

следняя.

— Он придет завтра делать предложение.

— Что же, поздравляю.

Княжне опять показалось, что ее служанка-подруга высказала это поздравление слишком холодно, но она снова осудила через минуту себя за подозрительность.

«Чего ей не радоваться... Если мы поедem в Петербург, я возьму ее с собою, — мелькнуло в голове княжны Людмилы Васильевны, — ей там будет веселее в большом городе».

Она сейчас же высказала эту мысль Тане.

— Ваша барская воля, — отвечала Татьяна Берестова.

— Опять, Таня... Что с тобой?

— Ничего... Я говорю, ваша воля.

— А самой разве тебе не хочется?

— Мне все равно...

— Все равно? — повторила княжна.

— Конечно... Где ни служить, в деревне ли, в городе...

— Но там же веселей.

— Господам.

— Всем.

— Какое веселье холопкам? Одна

жизнь... — с горечью заметила Татьяна.

— Опять ты за старое... Холопка... Какая ты холопка, ты мой лучший друг.

— В деревне...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Да очень просто... В городе у вас найдутся друзья богатые и знатные, вам ровня... Что я...

— Ты нынче опять не в духе...

— С чего же мне быть не в духе?

— Не знаю...

— Я говорю, что думаю... Вы заняты другим... Вы не думаете о жизни... А я думаю...

— Довольно, Таня... Я не хочу сегодня ни говорить, ни думать ни о чем печальном.

— Слушаю-с...

Княжна переоделась и пошла к ужину.

Таня вернулась к себе в комнатку. Когда она осталась наедине сама с собой, лицо ее преобразилось. Злобный огонь засверкал в ее глазах. На лбу появились складки, рот конвульсивно скривился в сардоническую улыбку.

— Вот как, ваше сиятельство, вы желаете получить меня в приданое. Вы делаете мне

честь, будущая княгиня Луговая, избирая себе в горничные... Красивая девушка, хотя и видна холопская кровь... Для Петербурга это нужно... Посмотрим только, удастся ли вам это... — злобным шепотом говорила сама с собой Татьяна Берестова.

— Надо нынче повидать отца... — сквозь зубы продолжала она, — поведать ему радость семейства княжеского... Пусть позаботится обо мне, своей дочке...

Слово «отец» и «дочка» она произнесла со злобным ударением.

Княгиня и княжна между тем, обе успокоившиеся от охватившего их волнения, первая все же не ожидала такого скорого исполнения ее заветной мысли, а вторая первого признания любимого человека, мирно беседовали о завтрашнем визите князя и об открывающемся будущем для княжны.

— Увезет тебя молодой муж в Петербург...

— А ты, мама, разве не поедешь с нами?

— Куда мне на старости лет трясти себе такую даль кости...

— Мама... — умоляюще начала дочь.

— Может, когда устроитесь совсем, подни-

мусь да и приеду навестить, но чтобы совсем переселяться в этот Вавилон... Этого я не смогу... Я привыкла к своему дому, к своему месту...

— Мама, я возьму Таню...

— Таню... Зачем?

— Мне же будет нужна горничная... Я ей уже говорила.

— Что же она?

— Говорит, ваша барская воля.

— И только?

— Да, мне даже показалось, что она этому не рада.

— Мм... — произнесла княгиня.

— Вообще, она за последнее время стала какая-то странная...

— Замуж ее надо тоже выдать.

— Таню, замуж?.. За кого же?..

— За кого?.. За такого же дворового, как и она! — с невольной резкостью в тоне сказала княгиня. — Не графа же выбирать. Мало ли у меня холостых на дворе на нее заглядывается.

— Князь говорил, что она далеко не похожа так на меня... Он сказал, что это только ка-

жущееся сходство... — вдруг заметила княжна.

— Конечно же... Для свежего человека это виднее... Мы так уже пригляделись к этой случайности...

— Он говорил, — продолжала княжна Людмила, — что все-таки в ней видна холопская кровь.

— Конечно, конечно... — подтвердила княгиня.

Из груди ее вырвался облегченный вздох. Надо заметить, что всегда, когда разговор между ею и дочерью касался Татьяны Берестовой, а это случалось почти каждый день, княгиня Васса Семеновна непрестанно боялась, что ее дочь задаст ей вопрос о причине такого необычайного сходства между ней, княжной, и ее дворовой девушкой. Хотя у княгини было приготовлено объяснение, но она все же думала иногда, что этот ответ не удовлетворит Люду и ее мысль начнет работать в этом направлении, а старые княжеские слуги, не ровен час, и сболтнут что лишнее. Особенно беспокоил княгиню этот вопрос со времени возвращения в Зиновьево «беглого

Никиты».

Теперь она могла успокоиться. Мысль о сходстве действительно пришла в голову дочери, но она высказала ее не ей, матери, а князю Луговому; последний же в форме комплимента, разумеется, отрицал это сходство дворовой девушки с понравившейся ему княжной. Понятно, что княжна Людмила, увлекшаяся князем, поверила ему на слово, и вопрос для нее был решен окончательно — она к нему более не возвратится. Надо лишь не допустить ей взять Татьяну в Петербург. В светских столичных и придворных кругах не только сейчас обратят внимание на это поразительное сходство княгини и служанки, но даже начнут непременно делать выводы, близкие к истине.

— Если ты хочешь, мама, выдать ее замуж, то, значит, она должна будет остаться здесь?

— Конечно же, душечка.

— Я очень люблю ее.

— Если это так, то ты должна желать ей счастья. Неужели ты пожелаешь, чтобы она для тебя на весь свой век осталась в девках?

— Конечно же нет, но...

— Какое же но... Ты можешь выбрать себе девушку, даже двух или трех, из других... Мне же позволь позаботиться о судьбе Тани. Я ведь с детства воспитала ее как родную дочь... Ужели у меня нет тоже сердца... Хотя сходство ее с тобой и небольшое, но все же она будет несколько напоминать мне тебя... Я устрою ее счастье, будь покойна... Я ведь тоже люблю ее...

Деланная искренность княгини ускользнула от княжны Людмилы.

— Какая ты добрая, мама! — воскликнула она и стала покрывать руки княгини Вассы Семеновны горячими поцелуями.

Предложение

Когда после ужина княжна Людмила Васильевна прошла к себе и, конечно, встретила ожидавшую ее Таню, она не преминула сообщить ей содержание своего разговора с матерью.

— Мне казалось, Таня, что за последнее время ты стала сомневаться в любви к тебе, как моей, так и мамы.

— Что вы, когда я сомневалась, — ответила та.

— Может быть, это мне только показалось, но все же я очень рада, что могу доказать тебе сегодня, что не только я — это ты видишь сама, — но и мама тебя очень любит.

— Я верю, верю...

— Нет, все-таки послушай, — и княжна Людмила передала почти дословно беседу со своей матерью за ужином.

— Я очень благодарю княгиню за это, — покорно и даже, как показалось княжне, с чувством ответила Таня.

— Вот видишь ли, видишь... Мне очень жаль расстаться с тобой, но я понимаю маму... Ей со мной и тобой сразу тяжело расстаться, и к тому же я не хочу мешать твоей судьбе, пусть мы будем счастливы обе.

— Благодарю вас, ваше сиятельство...

— Опять «сиятельство», ты неисправима, Таня.

— Виновата, я забыла.

— Скажи мне, Таня, откровенно, так же как я говорю обо всем с тобою. Тебе кто-нибудь нравится?

— Кто нравится? — с испугом спросила молодая девушка.

— Ну, кто-нибудь из наших мужчин?

— Каких мужчин, барышня?

— Ну, вот, например, Михайла, Сергей... Они холостые.

Михайла был дворецким, Сергей — выездным лакеем.

— А-а... Вы об этих...

В тоне Тани Берестовой прозвучало нескрываемое презрение.

— Скажи.

— Нет, никто не нравится.

— Я к тому это спрашиваю, что, если бы кто-нибудь тебе нравился, я бы сейчас сказала маме и ты тоже была бы невестой, как и я.

Таня улыбнулась.

— Зачем вам это?

— Когда чувствуешь себя счастливой, так приятно видеть и вокруг себя счастливых людей.

— Это правда... А когда несчастна, то счастливых людей видеть очень неприятно. Только усугубляет несчастье.

— Ты несчастна?

— С чего это вы взяли, — спохватилась Таня, — я просто к слову.

— А... Но как все-таки жаль, что тебе никто не нравится из наших.

— Странная вы, барышня, но если бы даже нравился, ведь и его спросить надо, нравлюсь ли я.

— Это само собою разумеется. Каждый из них будет счастлив, если бы имел надежду сделаться твоим мужем.

— Вы думаете?

— Конечно, ведь ты красивее наших дворовых девушек.

— Не по хорошу мил, а по милу хорош...

— Жаль, жаль... — повторила княжна, уже ложась в постель.

Таня вышла из ее комнаты и через девичью, не заходя в свою каморку, вышла на заднее крыльцо, спустилась с него и, быстро пробежав двор, очутилась в поле. Она вздохнула полною грудью.

— Ишь ты, ее сиятельство забота обо мне одолела, — со злобным смехом заговорила она сама с собою, пробираясь по задворкам деревни за околицу, — люблю ее, дочь мне будет напоминать... Судьбу ее устрою... Не хочешь ли замуж за дворового... Эх, ваше сиятельство, я и за князя вашего замуж выйти не захочу. Вот что!

Быстро пробежала она небольшую деревню и очутилась у Соломонидиной избышки. В окне светился тусклый огонек.

— Дома... — радостно прошептала Таня и уже без всякого страха, видимо по привычке, быстро вбежала по трем подгнившим и покосившимся ступенькам крыльца и отворила дверь.

Никита сидел на лавке перед лучиной и

чинил дратвой кожаный мешок, служивший ему ягдташем. Он, видимо, ничуть не удивился появлению Татьяны Берестовой, спокойно поднял голову при шуме отворенной двери, окинул ее пронизательным взглядом.

— Здравствуй, Никита Спиридонович, — так было отчество «беглого Никиты», — сказала она.

— Здравствуй, красная девица... Что так запыхалась?

— Бегом бежала.

— Ишь, али очень я понадобился... Садись.

Таня села и несколько времени молча тяжело дышала.

— Сказывай...

— Князь завтра свататься приедет наконец! — каким-то надтреснутым голосом произнесла молодая девушка.

— Завтра... Ты откуда знаешь?

— Княжна сказала.

— Ей, значит, открылся...

— Сегодня.

Таня подробно рассказала Никите, со слов княжны Людмилы, обстановку первого признания и смех, их испугавший, который они

приняли за крик совы.

— Совы!.. Как бы не так... — угрюмо сказал Никита. — Да разве совы при солнце кричат...

Это «он» над ними потешается.

— Кто «он»? — спросила Таня.

— Известно кто, не к ночи будь помянут.

— А-а... — догадалась Таня.

— Да, по всему видно, что им судьбы своей не миновать...

— Не миновать... Какое уж не миновать... свадьбу, чай, быстро устроят, да и уедут в Питер... Поминай как звали...

— Ну, сейчас видно, что девка ты дура... Коли я сказал не миновать, так Никита Берестов, должна ты это знать, слова даром не вымолвит...

— Уж ты прости меня... Томит меня очень... Раздумье мучит, — заметила Татьяна Берестова.

— А ты плюнь и не думай, положишься на меня...

Никита Берестов встал, тихо прошел несколько раз по избе и наконец сел на лавку рядом с Таней.

— Ты вот послушай лучше, что я тебе ска-

жу.

— Для того и пришла... Сердце все выболело от злости.

Он придвинулся к ней еще ближе и стал говорить ей что-то пониженным шепотом. По мере того как он говорил, лицо Татьяны Берестовой прояснилось, на губах радостно-злая улыбка сменялась улыбкой торжества.

— Эх, кабы все это так и сделалось! — воскликнула она.

— Сделается как по писаному, — ответил вслух Никита и снова стал шепотом говорить Татьяне.

Совершенно успокоенная, радостная и довольная, возвратилась молодая девушка в девичью и прямо в свою каморку. В эту ночь, перед отходом ко сну ее даже не посетили обыкновенные злобные думы по адресу княгини и княжны. Она быстро зевнула, и сны ее были полны радужных картин, предстоящих ей в будущем, картин, которые только что нарисовал ей, нашептывая на ухо, «беглый Никита». Она проснулась, как не просыпалась давно, в прекрасном расположении духа.

Второй туалет княжны, после утреннего

чая, занял в этот день больше времени, чем обыкновенно. Княжна Людмила считала себя невестой и старалась тщательнее обыкновенного одеться для своего жениха. Одно совещание о выборе платья занимало более получаса времени. Таня проявила весь свой вкус, отнять которого у нее было нельзя, и княжна Людмила осталась совершенно ею довольна. У нее даже снова мелькнула мысль, нельзя ли как-нибудь уговорить маму отпустить Таню в Петербург. Она там может выйти замуж за одного из лакеев князя Лугового, лакеи эти, как петербургские, конечно, франтоватее и лучше деревенских и кто-нибудь из них может приглянуться разборчивой дворовой девушке.

Так думала княжна Людмила, когда совещание о выборе платья было окончено и Таня ловко и легко причесала голову княжны. Мысль о матери, остающейся в скором времени совершенно одинокой в Зиновьеве, заставила, однако, княжну Людмилу Васильевну отказаться от этого плана.

«Бедная мама, — замелькало в ее голове, — она так любит Таню, кроме того, она будет на-

поминать ей обо мне... Нет, не надо быть эгоисткой... Здесь она будет даже счастливее... Пройдет время, кого-нибудь да полюбит... Ведь я до князя никого не любила, никто даже мне не нравился... А у нас бывали же гости из Тамбова, хотя редко, да бывали, даже офицеры... Так и с ней может случиться... Теперь никто не нравится, а вдруг понравится...»

В таком роде слагались в голове княжны мысли о будущем Тани. В этих мыслях нельзя было искать логики — влюбленные страдают ее отсутствием. Княжна была влюблена. Наконец туалет был окончен.

Княжна Людмила отправилась к матери, находившейся на террасе. Княгиня осталась ею довольна.

— Когда князь приедет, — сказала она, — ты уйди в свою комнату.

— Зачем? — удивленно вскинула на нее глаза дочь.

— Так водится... Он должен со мной объясниться с глазу на глаз, а потом я, может быть, позову тебя...

— Может быть... — печально повторила княжна.

У нее покраснели глаза, как это бывает перед тем, когда наворачиваются слезы.

— Полно, ты, кажется, собираешься плакать... Я пошутила... конечно, позову... Что с вами поделаешь. Совсем вы от рук отбились. По старине бы следовало сразу не согласиться, попросить время подумать...

— Мама! — жалобно воскликнула княжна Людмила.

— А попробуй я по старине начать... Слез от тебя не оберешься. Так будь по-вашему... Скажу, что согласна, и тебя позову...

— Мамочка, какая вы добрая!.. — бросилась княжна целовать руки матери.

В это время где-то вдали чуть слышался звон колокольчика.

— Это он едет! — встрепенулась княжна Людмила.

— Где он? — спросила княгиня.

— Слышите?

Звон колокольчика становился все явственнее и явственнее, даже для немного тугой на ухо княгини Вассы Семеновны.

— Да, действительно, это княжеские колокольчики, — заметила она.

С террасы была видна часть дороги, шедшей по пригорку. На ней вскоре показался знакомый экипаж князя Сергея Сергеевича, запряженный четверкой лихих серых лошадей, замечательно подобранных по масти. Это были любимые лошади княжны Людмилы. Она ими всеми любовалась и даже своеручно кормила хлебом.

— На серых! — воскликнула она.

— Ступай к себе...

Княжна Людмила сперва была удивлена, посмотрев на мать, потом вдруг, как бы что-то вспомнив, встала и ушла с террасы. Она, действительно, первую минуту совершенно позабыла о том, что князь Сергей Сергеевич Луговой приедет просить ее руки, что ей, по словам матери, нельзя встречаться с ним тотчас же, до переговоров с ним Вассы Семеновны, а между тем она именно хотела его встретить сегодня и потрепать по мягкой шелковистой шерсти своих любимых серых. Но, повторяем, через мгновение она вспомнила все и тотчас подчинилась приказанию матери.

Экипаж князя Лугового между тем въехал на двор и остановился у подъезда. Князь Сер-

гей Сергеевич был в полной парадной форме. На его лице была написана особая торжественность переживаемых им минут. Он с особенною серьезностью приказал доложить о себе лакею княгини Вассы Семеновны, несмотря на то что за последнее время входил обыкновенно без доклада.

— Пожалуйте. Их сиятельство на террасе... — отвечал возвратившийся слуга.

Князь прошел на террасу.

— А, дорогой князь, милости просим! — воскликнула княгиня и, как бы только сейчас заметив, что князь одет в полную форму, добавила: — Что это вы сегодня в полном параде?

Князь между тем поцеловав руку Вассы Семеновны, сел на кресло, стоявшее против кресла княгини, с которого только что за несколько минут перед ним спорхнула княжна Людмила Васильевна. Он не сразу ответил и несколько минут хранил глубокое молчание, как бы собираясь с мыслями, как бы приготавливаясь к первому торжественному акту в его жизни. Княгиня смотрела на него деланно вопросительным взглядом.

— Я приехал, княгиня, переговорить с вами по одному очень серьезному для меня делу.

— По серьезному делу? — повторила княгиня Васса Семеновна.

— Да, для меня, княгиня, и не только серьезному, но имеющему для всей последующей моей жизни очень важное, решающее значение.

Он остановился.

— Я полюбила вас, несмотря на короткое время нашего знакомства, как сына, князь, а потому готова выслушать вас и, в чем могу, помочь.

— Я имею честь просить у вас руки вашей дочери... — вдруг выпалил князь Сергей Сергеевич.

Княгиня сделала вид, что она поражена неожиданностью. Несколько минут она молчала. Очередь глядеть вопросительно наступила для князя.

— Я благодарю за честь... — начала княгиня Васса Семеновна. — Я, право, не знаю... Люда еще молода, и притом я не могу ее неволить... Как она сама.

— Княжна Людмила согласна... — сказал князь Сергей Сергеевич.

— Согласна?.. А вы почему знаете?

— Я вчера имел удовольствие выразить ей свои чувства и получил благоприятный ответ.

Удивление княгини, казалось, росло с каждой минутой.

— Вчера... Так вот что вы так долго делали в парке... Это непорядок, князь! Вы должны были обратиться сперва ко мне, как к матери.

— Простите, княгиня, это вышло так нечаянно...

Княгиня Васса Семеновна едва удержалась от улыбки, вспомнив, как вчера и ее дочь уверяла, что это случилось нечаянно.

— Бог вас простит... Что сделано, не исправись... Но все-таки скажу вам: может, в Петербурге у вас это водится, а у нас нет.

Княгиня умолкла.

— Могу я надеяться, княгиня? — после некоторой паузы с дрожью в голосе спросил князь.

— Коли вы все уже без меня устроили, так мне остается дать согласие, и я даю его.

Князь вскочил с кресла, бросился на колени перед княгинею и, схватив ее руки, стал покрывать их поцелуями.

XVI

Петербургский гость

Княгиня Васса Семеновна позвонила.

— Попроси сюда княжну Людмилу Васильевну... Она, вероятно, где-нибудь в саду, — отдала она приказание явившемуся на звонок лакею.

— Ее сиятельство княжна изволят быть у себя в комнате, — почтительно отвечал лакей.

— А... Так попроси ее сюда.

— Слушаю, ваше сиятельство.

Лакей вышел.

— Пусть плутовка повторит при мне то, что вчера говорила вам, пользуясь дозволением прогуляться с вами в парке... — шутливо заметила княгиня.

Князь, уже снова сидя в кресле, счастливо улыбался.

В это время в дверях террасы появилась

Людмила Васильевна. Она была особенно хороша. Несколько смущенный, растерянный вид придавал ее лицу и всей ее фигуре особую прелесть.

— Вы меня звали, мама? — сказала она после небольшой паузы.

Князь вскочил с кресла при ее появлении. Княжна как-то особенно церемонно присела ему.

— Да, звала, плутовка... Нечего из себя строить наивную овечку, — начала княгиня. — Ты знаешь, зачем сегодня пожаловал к нам князь в полной амуниции?

Княжна удивленно вскинула свои глаза на мать, но тотчас сообразила, что та не желает, чтобы князь Сергей Сергеевич знал о вчерашнем ее разговоре с матерью. Она бросилась к ней.

— Мама, простите...

— Чего прощать-то... Нет, ты нам скажи, знаешь или нет?

— Знаю... — смущенно отвечала княжна, бросив искоса взгляд на князя Сергей Сергеевича.

Тот положительно пожирал ее влюблен-

НЫМ ВЗОРОМ.

— Ну, так и ответь ему сама...

Княжна молчала. Княгиня с улыбкой смотрела на нее.

— Стыдно, князь, говорить на девушку неправду, — вдруг обратилась она к князю Луговому, — ишь что выдумали, что моя Люда согласилась вчера на ваше предложение быть вашей женой. Бедная девочка, какую небылицу возвел на тебя князь!

Последняя фраза относилась уже к дочери.

— Мама, он сказал правду, — произнесла, вся вспыхнув, княжна Людмила Васильевна.

— Вот как, ну, значит, извините, князь, поклепала на вас понапрасну. Дочка-то моя, видно, без меня разговорчивее. Значит, ты знаешь, — вдруг оставила она шутливый тон и обратилась к дочери, — что князь приехал просить твоей руки. Ты согласна, согласна и я.

Князь уже стоял около своей невесты. Они оба преклонили колена перед тоже вставшей княгиней Вассой Семеновной. Та положила им на голову руки, затем обоих перекрестила и поцеловала.

— А теперь пойдете завтракать, — заметила княгиня.

Все двинулись в столовую. Завтрак прошел очень оживленно. Княгиня продолжала шутить с дочерью и своим будущим сыном, но на княжну Людмилу эти шутки не производили уже того конфузящего впечатления, как первый шутливый вопрос матери на террасе.

Конечно, не только весь зиновьевский двор, но и все Зиновьево быстро узнало о событии в барском доме, о том, что «ангел-княжна», — иначе не называли княжну Людмилу не только дворовые, но и крестьяне, — невеста. После завтрака жених и невеста вышли в парк, чтобы на досуге помечтать о радужном, казалось им, будущем, открывавшемся перед ними.

Князь остался в Зиновьеве обедать и пить вечерний чай и только поздним вечером возвратился к себе в Луговое. Там ожидала его новая радость. К нему неожиданно приехал гость из Петербурга, друг его детства и товарищ по полку, граф Петр Игнатьевич Свиридов.

Это был красивый, высокий, статный блондин, с темно-синими большими бархатными глазами, всегда смотревшими весело и ласково. Вместе с князем Луговым он воспитывался в корпусе, вместе вышел в офицеры и вместе с ним вращался в придворных сферах Петербурга, деля успех у светских красавиц. До сих пор у приятелей были разные вкусы, и женщины не являлись для них тем классическим «яблоком раздора», способным не только ослабить, но и прямо порвать узы мужской дружбы.

— Петя, хороший, какими судьбами! — радостно встретил князь Сергей Сергеевич своего друга, вышедшего на крыльцо навстречу хозяину-приятелю.

— Благодаря тетушке, дружище...

Друзья обнялись и расцеловались...

— Какой тетушке?

— Ты знаешь, их у меня в России такое бесчисленное множество, что не только я не знал их всех в лицо, но даже и по имени.

— Так что же?

Приятели вошли в это время в кабинет князя.

— Так вот, я получил известие, что в Тамбове умерла одна из этих тетушек, графиня Надежда Ивановна Загряжская, умерла бездетной, и единственный ее наследник являюсь я, твой покорнейший слуга.

— И давно умерла?

— Умерла она с полгода, но мне дали знать об открывшемся наследстве всего с месяца полтора тому назад. Я, конечно, взял отпуск и покати сюда. Устроив кое-как дела, хотя и не окончив их, я решил отдохнуть от милого Тамбова, где положительно задыхался от пыли и жары, где-нибудь на берегу струй, и вдруг вспомнил, что твое имение здесь поблизости и, главное, что ты находишься в нем... Я тотчас айда к тебе.

— И отлично сделал, более чем отлично, это просто счастливый случай.

— А что?

— Потом, потом, а теперь позволь мне переодеться. Я весь день пробыл в парадной форме.

— Куда ты ездил этаким франтом?

— Сейчас все узнаешь... Так позволишь?

— О чем тут спрашивать! — улыбнулся

граф Петр Игнатьевич.

Князь позвонил. С помощью явившегося камердинера он начал переодеваться, не переставая задавать вопросы усевшемуся в покойном кресле приезжему другу.

— И большое тебе досталось наследство?

— Как тебе сказать. Приехать стоило.

— А именно?

— Два дома в городе. Имение небольшое в пяти верстах от Тамбова, душ около трехсот. Дом, конечно, с полной обстановкой, усадьба тоже — полная чаша.

— А деньгами?

— Тысяч около шестидесяти.

— Это ты верно сказал, что стоило приезжать... И неужели ничего не растащили?

— Вообрази, ни одной нитки. Там такие сторожа сторожат, каких я в первый раз в жизни вижу.

— Какие же?

— Старик со старухой — обоим лет более двухсот, но здоровы и бодры и так держат всю дворню, что те по струнке ходят. Они-то мне все с рук на руки и передали. «Ни синь пороха, батюшка-барин, ваше сиятельство, не про-

пало после покойной вашей тетушки», — говорят. И я им верю.

— Да, — задумчиво проговорил князь, — здесь такие люди встречаются, но в Петербурге и Москве народ испортился.

— Это ты правильно, вор народ стал.

Туалет князя был кончен, и вошедший лакей доложил, что подано ужинать. Друзья отправились в столовую. Беседа снова полилась.

— Скажи мне, кстати, Сергей, что у тебя здесь на днях произошло? — спросил граф Свиридов.

— А что такое?

— Да на последнем привале мой кучер и лакей выслушали от содержателя постоянного двора целую историю о какой-то чертовщине, которая здесь, у тебя, произошла, будто ты раскрыл какую-то старую беседку, где и нашел два скелета.

— Это правда, — отвечал князь Луговой.

— Как правда?

— Говорю, правда.

— Вот так штука. А я готов был держать пари, что все это одна сплошная сказка.

— Я и сам думал, а вышло не то.

Князь Сергей Сергеевич подробно рассказал графу Свиридову о легенде, окружающей заветную беседку в парке, легенде, оправдавшейся в первой ее половине страшной находкой, о ходе работ, проведенных для того, чтобы открыть ее, похоронах найденных человеческих останков, словом, обо всем, происшедшем два дня тому назад.

— Завтра я покажу тебе эту беседку.

— Завтра, почему же не сегодня?

— Сегодня? — спросил князь, и голос его дрогнул.

Он невольно посмотрел в окно, выходящее в парк. На землю уже спустилась темная летняя ночь. В тенистых аллеях парка мрак был еще гуще. Граф Петр Игнатьевич заметил смущение князя Сергея Сергеевича и поймал этот взгляд.

— Ты что это, брат, — насмешливо заметил он, — в деревне-то стал трусить не только живых, но даже мертвых.

— Какие пустяки! — вспыхнул князь Сергей Сергеевич. — Пойдем после ужина.

Князя более всего взбесило то, что его при-

атель угадал причину, почему он хотел показать беседку не сейчас, а завтра.

— Если очень страшно, то уж пойдем лучше спать, — все еще насмешливым тоном заметил граф Свиридов.

— Ты, брат, не валишь ли с больной головы на здоровую, кажется, сам труса празднуешь, — отпарировал князь Луговой.

— Ну, это, брат, стара штука. Способ простой, когда совестно сознаться.

— Самое лучшее, посмотрим, кто струсит, — отвечал князь.

— Съедем последнее блюдо и пойдем. А вот тебе наливка для храбрости.

— Не забудь и себя.

— Не забуду, выпью.

Князь налил наливку в серебряные бокалы. Друзья с наслаждением выпили душистую влагу из сока черешен. Встав из-за стола, они вышли на террасу.

Парк был действительно окутан мраком, но в цветнике было сравнительно светлее, так как на него падал слабый матовый свет последней четверти лунного диска. Князь Луговой, взяв под руку графа Свиридова, спу-

стился с террасы в цветник и направился к той аллее, которая вела к заветной беседке. Несмотря на то что место где стояла эта беседка, было, как мы знаем, вычищено, все же деревья на нем были гуще, нежели в остальном парке, а потому вечером это место казалось мрачнее. Князь Сергей Сергеевич и граф Свиридов молча шли по дорожке, в конце которой виднелась полянка, на которой высилось теперь темное здание беседки.

Луна в это время, как нарочно, скрылась за облаками. Оба были нервно настроены. Оба готовы были бы с удовольствием вернуться в уютную столовую или в менее уютный кабинет, но обоих удерживал стыд сознаться друг перед другом в этом чувстве, которое они оба называли трусостью. Они подошли уже к выходу на полянку, как вдруг луна вышла из-за скрывавшего ее облачка и ее матовые лучи пробрались на полянку и осветили открытую дверь беседки.

Оба друга остановились как вкопанные невдалеке от входа в нее. Они оба увидели, что на одной из скамеек, стоявших внутри беседки, сидели близко друг к другу две челове-

ческие фигуры, мужчина и женщина. Абрисы этих фигур совершенно ясно выделялись при слабом лунном свете, рассмотреть же их лица и подробности одежды не было возможности. Оба друга заметили только, как потом и передавали друг другу, что эти одежды состояли из какой-то прозрачной светлой материи.

— Однако, — первый заметил граф Петр Игнатьевич, — видно, для здешней молодежи не особенно страшна эта беседка, когда они тотчас же стали ее избирать для любовных свиданий.

Князь Сергей Сергеевич ничего не отвечал. Он стоял рядом со своим другом, бледный, с остановившимся на представшем перед ним видении взглядом. Он сразу понял, что перед ним не живые люди, а призраки, что это духи умерших в беседке людей посетили свою могилу.

— Что с тобой? — дрожащим голосом спросил граф Свиридов, который вдруг сам почувствовал какой-то инстинктивный страх, физически выразившийся в том, что по телу графа, особенно по спине, забегали мурашки.

Но не успел князь ответить, или, лучше

сказать, не успел граф Петр Игнатьевич повторить свой вопрос, так как князь Сергей Сергеевич стоял по-прежнему точно в столбняке, как за беседкой, в нескольких шагах от них, раздался дикий, безумный хохот и слышались удаляющиеся шаги.

— Это он, — произнес князь Сергей Сергеевич и пошатнулся.

Граф Свиридов, несмотря на охвативший его тоже почти панический страх, успел подхватить приятеля и не дать ему упасть. Когда он посмотрел снова на дверь беседки, внутри последней никого не было.

— Он имеет выход с другой стороны? — спросил он почти бесчувственного князя Лугового, продолжая держать его в своих объятиях.

— Нет... — после большой паузы, несколько придя в себя, произнес князь Сергей Сергеевич.

— Не может быть! — возразил граф Петр Игнатьевич.

— Ты видишь, все исчезло. Можешь убедиться, — заметил князь, уже совершенно овладев собою. — Войдем.

Они вошли в беседку, представлявшую, как известно, круглую башню с одной дверью.

— Это странно! — взволнованно воскликнул граф Свиридов.

— Я тебе порасскажу еще много странных вещей, — ответил князь Сергей Сергеевич.

Друзья возвратились в дом, нельзя сказать, чтобы под хорошим впечатлением от всего ими виденного и перечувствованного.

XVII

До рассвета

Князю Сергею Сергеевичу Луговому и графу Петру Игнатьевичу Свиридову, когда они вернулись в дом, было, конечно, не до сна. Они уселись в уютном кабинете князя Сергея Сергеевича, мягко освещенном восковыми свечами, горевшими на письменном столе и в двух стенных бра.

Окна в парк были открыты, и в них тянуло тою свежестью летней ночи, которая укрепляет тело и бодрит дух. Нервы обоих друзей были напряжены до крайности. Оба

еще находились под свежим впечатлением перечувствованного ими перед роковой беседкой. Некоторое время они молчали.

— Чем же это объяснить? — первый нарушил это молчание граф Петр Игнатьевич.

— Объяснить... Ну, брат, объяснить это едва ли чем можно... Надо принимать так...

— Это ужасно!.. Я бы, кажется, будь на твоём месте, сейчас бы уехал из такого страшного места.

— А я между тем не уезжаю, хотя сегодня не первый раз испытываю проявление этой таинственной силы...

— Не в первый раз? — удивился граф Свиридов.

— Да, дружище, не в первый.

Князь Сергей Сергеевич передал своему другу о своём сне накануне того дня, когда была открыта беседка, и видение, которое было на другой день...

Тот слушал внимательно и, когда князь кончил, воскликнул снова:

— Это ужасно!

— А ты ещё считал меня трусом...

— Прости, я ведь не знал...

— Когда мы шли по твоему настоянию в беседку, я чувствовал, что что-нибудь да случится, — заметил князь Луговой.

Снова оба замолчали.

— Кстати, — первый начал Петр Игнатьевич, — призрак говорил тебе о любимой девушке, в которой твое счастье... Она-то у тебя есть?

— Есть... — отвечал князь Сергей Сергеевич, — ведь я сперва на радостях встречи, а затем вследствие этого переполоха позабыл тебе сказать, что я женюсь...

— Ты... женишься...

— Да... Я сегодня сделал предложение и получил согласие.

— То-то ты был в таком параде. На ком?

— На княжне Полторацкой.

— Вот как! Где же ты откопал такое существо, которое оказалось способным пленить твое ветреное сердце?.. Она должна быть совершенством, так как мы с тобой, несмотря на то, что у нас разные вкусы, разборчивы.

— Ты не ошибся, княжна Людмила действительно совершенство...

— Покажешь, конечно?

— Непременно.

— Где же она живет?

— У ее матери имение в нескольких верстах от Лугового...

— Ага, значит, соседка...

— Ближайшая...

— Какова же она из себя?

Князь Луговой, совершенно оправившийся от недавнего волнения, восторженно стал рисовать перед своим приятелем портрет княжны Людмилы Васильевны Полторацкой. Любовь, конечно, делает художника льстецом оригиналу, и, несмотря на то, что княжна, как мы знаем, была действительно очень красива, из рассказа влюбленного князя она выходила прямо сказочной красавицей — действительно совершенством.

Граф Петр Игнатьевич слушал друга улыбаясь. Он понимал, что тот преувеличивает.

— Посмотрим, посмотрим, — заметил он, когда князь кончил описание физических и нравственных достоинств своей невесты, — если ты прикрасил только наполовину, то и тогда она достойна быть женою князя Лугового.

— Достояна! — воскликнул князь Сергей Сергеевич. — Она-то достойна. Достоеен ли я... Ты увидишь сам, что я не только не преувеличивал ничуть, но даже не в силах был воспроизвести перед тобой ее образ в настоящем свете... Это выше человеческих сил.

— Одним словом, ни в сказке рассказать, ни пером описать, — засмеялся граф Свиридов.

— Не смейся, убедишься.

— Тебе же хуже.

— Чем?

— Я влюблюсь и начну отбивать...

— Ты этого не сделаешь!

Голос князя как-то порвался. Шутка друга больно кольнула ему сердце.

— А что, если действительно княжна Людмила полюбила его только потому, что жила в глуши, без людей, без общества? Нельзя же в самом деле считать обществом тамбовских кавалеров...

При этой мысли князь Сергей Сергеевич почувствовал, как похолодела в нем вся кровь.

Граф Петр Игнатьевич заметил произве-

денное его шуткой впечатление.

— Да ты, кажется, всерьез принимаешь шутку и впрямь испугался моего соперничества, — сказал он.

— Нет, не то, голубчик! Только прошу тебя, не шути так, мое чувство слишком серьезно.

— Хорошо, хорошо, не буду.

— Мало ли что на самом деле может случиться! — как бы думая вслух, произнес князь Сергей Сергеевич.

— Ну, ты действительно влюбился до сумасшествия! — воскликнул граф Свиридов. — На тебя даже нельзя и обижаться. За кого же ты меня принимаешь, если думаешь, что я способен, даже при полной возможности, отбить невесту у приятеля.

— Ты можешь это сделать невольно.

— Как так?..

— Да так... Ты слышал, что «он» сказал: «Адские силы против вас».

— Спасибо и за то, что, по твоему мнению, я одна из адских сил...

— Они могут действовать через тебя.

— Нет, голубчик, у меня на груди крест есть. Но оставим этот разговор. Можешь, если

опасаешься, даже совсем меня не знакомить с твоей невестой.

— Нет, отчего же... Мы пойдем к ним завтра же. Прости меня, я действительно говорил несообразности. Я так взволнован... У меня нет-нет, да и до сих пор звучит этот смех...

— Какой смех?

— Да тот, который мы слышали у беседки.

— А я так позабыл его.

— Я слышу его второй раз.

— Второй раз!

Князь Сергей Сергеевич рассказал графу обстановку первого его любовного признания княжне Людмиле Васильевне, подаренный ему первый поцелуй, после которого послышался тот же резкий смех около беседки.

— Она очень испугалась?

— Да, но я успокоил ее, первый придя в себя, и объяснил ей, что это крик совы.

— Разве совы так кричат?.. Я ведь безвыездно жил в Петербурге и встречал сов только при дворе, в виде старых статс-дам... Те не кричат, а ворчат и злословят, — с улыбкой сказал граф Свиридов.

— Да, совы кричат почти так.

— Может быть, это и действительно кричала сова?

— Нет... Я-то знаю, что это не сова, а «он».

— Почему же ты так уверен?

— Да потому, что тогда, когда мы слышали этот смех издали, солнце еще не заходило, а совы кричат только ночью...

— А сегодня?

— Сегодня мы слышали этот смех совсем близко. Он совсем не похож на крик совы. Так они не кричат.

— Гм, — промычал граф Свиридов, — тебе и книги в руки. Но бросим этот разговор. Успокойся только, если ты даже настоишь на том, чтобы я поехал к твоей невесте и познакомился с ней, я за ней ухаживать не буду.

— Верю я тебе, верю. Говорю, прости меня... Ведь простил?

— Что же с тобой делать, ты сумасшедший. Расскажи-ка лучше мне, как начался этот твой деревенский роман.

Князь подробно стал описывать свою первую встречу с княжной при погребении его матери, затем визиты его в Зиновьево, прогулки по саду и недавний разговор о бе-

сидке.

— Так это она тебя натолкнула на мысль открыть беседку?

— Она.

— Этого я ей никогда не прощу.

— Как не простишь?

— Не исполни ты ее каприза, мы бы сегодня не были свидетелями всех этих ужасных вещей и давно бы спокойно спали. А теперь посмотри, ведь светает, — заметил граф Петр Игнатьевич.

Действительно, в открытые окна кабинета лился уже свет утренней зари, мешавшийся с тусклым, мерцающим светом догоравших в подсвечниках и бра свечей.

— Пожалуй, действительно, этого бы не было, — улыбнулся князь Сергей Сергеевич.

— Конечно, ишь какая... Пусть ты из-за нее не спишь ночей. Она будет твоей женой. А я тут при чем, что по ее милости должен тоже не спать. Слуга покорный. Пойдем-ка в самом деле спать.

— Я велел поставить тебе постель в моей спальне.

— Отлично, поболтаем еще немного...

Только чур, больше не вести никаких разговоров с призраками.

— Не накликай.

— Ты, кажется, заставляя меня спать в одной комнате с тобой, пускаешься на хитрость, надеясь, что мы вдвоем-то с ними справимся.

— Ты не исправим, Петя... Все тебе смешки.

— Да что ж прикажешь мне, плакать, что ли... Пусть существуют призраки и привидения. Они сами по себе, а я сам по себе. Я им не мешаю, пусть не мешают мне и они. Я смотрю на вещи эти проще. Готов верить и готов и не верить.

— Тебе хорошо, это тебя не касается.

— И тебя, мой милый, едва ли касается. Во всем этом все-таки есть доля расстроенного воображения.

— И даже в том, что ты видел и слышал в беседе? — удивленно посмотрел на него князь Сергей Сергеевич.

— Да, быть может, это все была лишь игра лунного света.

— Если ты так сам себя умеешь успокаивать — благо тебе.

Князь позвонил.

— Так идемте спать, — зевнул граф.

— Идем.

В сопровождении вошедшего камердинера оба друга отправились в спальню, разделались и легли, но еще долго не засыпали, беседуя о всевозможных вещах. Впрочем, их разговор не касался теперь ни Лугового, ни Зиновьева, граф Свиридов рассказывал своему другу о петербургских новостях. Они заснули наконец, когда солнышко уже поднялось над горизонтом.

Проснулись оба друга после полудня, но свежие и бодрые. Молодость и здоровье делают то, что несколько часов подкрепляющего сна перерождает совершенно человека. Все испытанные потрясения вчерашнего дня как не бывали. Сомнения, тревоги и предчувствия исчезли из ума и души князя Сергея Сергеевича. Друзья с аппетитом позавтракали и закурили трубки, когда вошедший лакей доложил, что лошади поданы.

— Ты едешь? — спросил граф Петр Игнатьевич.

— Мы едем, конечно, вместе.

Граф Свиридов отвечал не сразу.

— Ты не хочешь? — тревожно спросил его князь Луговой.

— Нет, отчего же, поедем... Надо еще переодеться...

— Конечно.

Через полчаса оба друга на лихой четверке уже неслись по направлению к Зиновьеву.

Княгиня Васса Семеновна с истинно русским радушием встретила товарища будущего мужа своей дочери. Княжна Людмила грациозно присела графу Свиридову. Он, глядя на нее, не мог внутренне не сознаться, что князь Сергей Сергеевич отнюдь не пел ей вчера особенно преувеличенных дифирамбов.

Счастье, озарившее, подобно солнцу, всю ее, придавало особый блеск ее красоте.

«Она произведет положительно фурор в Петербурге!» — мелькнуло в голове графа Петра Игнатьевича.

Побеседовав с полчаса на террасе, княгиня извинилась хозяйственными делами и отпустила молодых людей погулять в саду до обеда.

— Но, княгиня... — начал было граф.

— Вы не вообразили ли себе, что приехали

с официальным визитом? Мы не в Петербурге, у нас, по-деревенски, это не водится, без хлеба и соли не отпущу...

— Благодарю вас...

— Притом вы свой... Вы друг князя, а друзья моего будущего сына мои друзья...

Граф раскланялся. Княгиня ушла во внутренние комнаты, а княжна Людмила, в сопровождении жениха и графа Свиридова, спустилась в сад.

Граф не произвел на нее особого впечатления. Вся поглощенная созерцанием своего милого «Сережи», как княжна уже мысленно давно называла князя, она не обратила внимания на характерную, хотя совершенно в другом роде, красоту графа Петра Игнатьевича.

Оценила эту красоту другая. Это была Таня Берестова. Она не только сумела незамеченной посмотреть на приезжего офицера, но даже пробралась в сад и, незаметно скользя между кустов, хоронясь и затаив дыхание, все время следила за статным белокурым красавцем.

«Это вот не чета князю... — думала моло-

дая девушка. — Он перед ним совсем пропадает... В Петербурге, может, и еще лучше есть... Это здесь, в глуши, нам все за диковину кажется».

Таня мечтой неслась на берега Невы и создавала в своем воображении царские дворцы, палаты вельмож, роскошные праздники, блестящие балы, с толпой блестящих же кавалеров. Обо всем этом она имела смутное понятие по рассказам княжны, передававшей ей то, что говорил князь Сергей Сергеевич, — фантазия Тани была неудержима, и она по ничтожному намеку умела создавать картину.

Для графа Петра Игнатьевича, не говоря уже о князе Луговом, день, проведенный в Зиновьеве, показался часом. Освоившаяся быстро с другом своего жениха, княжна была обворожительно любезна, оживлена и остроумна. Она рассказывала приезжему петербуржцу о деревенском житье-бытье, в лицах представляла провинциальных кавалеров и заставляла своих собеседников хохотать до упаду. Их свежие молодые голоса и раскатистый смех доносились в открытые окна княжеского до-

ма и радовали материнский слух княгини Вассы Семеновны.

Далеко не радовали эти звуки Татьяну Берестову. Веселье в саду, долетавшее в окно ее каморки, хотя и выходящее на задний двор, до физической боли резало ей ухо и заставляло нервно вздрагивать.

— Ишь, раскатываются! Весело! — злобствовала она, уже успевшая достаточно разглядеть друга князя Лугового и налюбоваться на него.

— Посмеется хорошо тот, кто посмеется последний, — вспоминалась ей почему-то французская пословица, которую она слышала от мадам, отпущенной из дома княгини Полторацкой с год тому назад.

XVIII

Убийство

Дни шли за днями. Они летели быстро, как мгновения, для главных действующих лиц нашего повествования: княгини Полторацкой, княжны Людмилы и его друга графа Свиридова.

В доме княгини Вассы Семеновны шла спешная работа, несколько десятков дворовых девушек, среди которых было несколько швей, учившихся портняжному мастерству в Тамбове и даже в Москве, шили приданое княжны Людмилы Васильевны под наблюдением Федосьи и Тани.

Командировка последней для наблюдения была, собственно, номинальной, так сказать, почетной. С одной стороны, княгиня Васса Семеновна не хотела освободить ее совершенно от спешной работы и таким образом резко отличить от остальных дворовых девушек, а с другой, зная привязанность к Тане Берестовой своей дочери, не хотела лишить ее общества молодой девушки, засадив ее за работу с

утра до вечера.

— Пусть наговорятся напоследок, — рассуждала княгиня, — уедет, там в Питере мигом позабудет, а я здесь с ней справлюсь, быстро обломаю и замуж выдам.

Княжна Людмила действительно в отсутствие жениха была неразлучна с Таней. Для девушки-невесты иметь поверенную ее сердечных тайн является неизбежною необходимостью. Княжна передавала своей служанке-подруге во всех мельчайших подробностях ее разговоры с женихом и с его другом, спрашивала советов, строила планы, высказывала свои мечты.

Таня Берестова слушала внимательно и, видимо, сочувственно относилась к своей барышне, которой скоро суждено сделаться из княжны княгиней. Она рассудительно высказывала свои мнения по тем или другим вопросам, которые задавала княжна, и спокойно обсуждала со своей госпожой ее будущую жизнь в Петербурге. Чего стоили ей эта рассудительность и это спокойствие, знала только ее жесткая подушка, которую она по ночам кусала, задыхаясь от злобных слез.

Князь Сергей Сергеевич, то один, то со своим другом, конечно, ежедневно приезжали в Зиновьево и проводили там большую часть дня.

Наступило 6 августа, день Спаса Преображения — престольный праздник в Зиновьевской церкви. Весело провели князь Луговой и граф Свиридов этот день в доме княгини Вассы Семеновны. Дворовые девушки были освобождены на этот день от работы и водили хороводы, причем их угощали брагой и наливкой. На деревне шло тоже веселье. В застольной стоял пир горой.

Общее окружающее барский дом веселье было заразительно, и день в Зиновьеве прошел оживленно. В этот день граф Свиридов впервые увидел близко Таню Берестову. Он был поражен.

Выбрав минуту, когда они остались вдвоем с князем Сергеем Сергеевичем, он сказал:

— Ты видел двойника княжны?

— Какого двойника?

— Помилуй, ты чаще меня бываешь здесь и бывал раньше меня, неужели ты не заметил дворовую девушку, как две капли воды

похожую на княжну?

— А, это Таня.

— Значит, ты знаешь?

— Знаю, но это сходство только с первого взгляда. Оно действительно бросается в глаза, но когда ты приглядишься к этой девушке, то, конечно, убедишься, что у княжны с ней далеко не одни и те же лицо и фигура.

— Может быть, но меня сразу это сходство поразило.

Друзья пробыли в Зиновьеве долее обыкновенного и вернулись домой поздним вечером в самом хорошем расположении духа.

— Твоя невеста прямо восхитительна... И как она тебя любит, — говорил граф Свиридов, ложась спать.

— Да, голубчик, я счастлив, так счастлив, что мне становится страшно...

— Почему же страшно?

— А потому, что мне кажется, что на земле не может и даже не должно быть такого полного счастья, что оно непременно будет чем-нибудь омрачено.

— Что за мысли?

— Я говорю тебе, что чувствую.

— Перестань... Ты просто так настроил свои нервы, что тебе во всем везде кажется, что вот-вот должно случиться какое-нибудь несчастье...

— Истинно, ты угадал. Таково мое настроение.

— Это болезненно, мой друг, и тебе следует самому себя взять в руки и не допускать подобных мыслей в голову.

— Как же не допускать, когда они лезут без моего спросу... Вот и теперь... Мы так прекрасно провели сегодняшний день... Вернулись в таком хорошем настроении, а я ложусь и думаю, что-то будет завтра...

— То же, что было сегодня.

— В том-то и дело, что мне кажется, и уже давно, что должно что-нибудь случиться такое, что будет совершенно неожиданно и притом очень ужасно...

— Полно говорить пустяки...

— Эта мысль гнетет меня со дня открытия этой беседки... И зачем только я открыл ее?..

— Позднее раскаяние, друг, и ни к чему не ведущее.

— Так-то так, но я не могу все-таки отде-

латься от воспоминания слов призрака.

— Мы, кажется, с тобой, дружище, условились не говорить о призраках, особенно на ночь... Ты хочешь, кажется, и мне расстроить нервы.

— Не буду, не буду... Постараюсь уснуть. Хотя сегодня меня особенно томит какое-то тяжелое предчувствие.

— Плюнь, не думай.

— Покойной ночи.

Князь погасил свечу. Тяжелое предчувствие, оказалось, не обмануло его. Обоих приятелей разбудили в шестом часу утра.

— Князь, ваше сиятельство!.. Извольте проснуться!.. — вбежал в спальню камердинер.

— Что, что случилось? — вскочил князь Сергей Сергеевич и сел на кровати.

Граф Свиридов тоже приподнялся.

— Несчастье в Зиновьеве... — продолжал камердинер.

— Что? Какое несчастье? — воскликнул князь Луговой.

— Ее сиятельство княгиня и горничная княжны убиты.

— А княжна? — не своим голосом закрычал князь Сергей Сергеевич.

— А княжна пропала.

— Лошадей... Оседлать...

Оба друга вскочили и как безумные смотрели друг на друга.

— Ужели начинается... — произнес князь Луговой.

Граф Свиридов сделал над собой страшные усилия.

— Успокойся, узнаем все на месте... быть может, все преувеличено.

— Ах, не говори... Может быть, и княжна убита, но ее труп не нашли.

— Что ты говоришь!

— Увидишь, что это так и есть... Недаром у меня было вчера такое тяжелое предчувствие.

Князь Сергей Сергеевич и граф Свиридов быстро оделись, бросились на лошадей и во весь опор поскакали по дороге в Зиновьево.

Там ожидало князя все же несколько успокоившее его известие. Княжну Людмилу Васильевну в одном ночном белье нашли в саду в кустах, лежавшею без чувств. Дворовые де-

вушки отнесли ее в ее комнату, где она была приведена в чувство, но вскоре снова впала в забытие.

— Конечно, ей ничего не сказали о несчастье? — спросил князь Федосью, докладывавшую ему о княжне.

— И конечно же нет, ваше сиятельство, надо постепенно приготовить.

Несчастье на самом деле было ужасно. Воспользовавшись тем, что подгулявшие дворцовые люди все были в застольной избе и в доме оставались лишь княгиня, княжна и Таня Берестова, неизвестный злодей проник в дом и ударом топора размозжил череп княгине Вассе Семеновне, уже спавшей в постели, потом проник в спальню княжны, на ее пороге встретился с Таней, которую буквально задушил руками, сперва надругавшись над ней. Она была найдена мертвой, лежавшей на полу около комнаты княжны Людмилы Васильевны. Кругом валялись клочья ее платья и белья. Злодей сорвал с нее всю одежду.

Картина этого зверского убийства и насилия, представившаяся обоим друзьям, заставила их задрожать. Трупы до прибытия вла-

стей лежали там, где были обнаружены, только тело Тани Берестовой прикрыли простыней.

Княжна Людмила спаслась каким-то чудом. По всей вероятности, она услышала шум в соседней комнате, встала с постели, приотворив дверь и увидав отвратительную и ужасную картину, выскочила в открытое окно в сад, бросилась бежать куда глаза глядят и упала в изнеможении в кустах и лишилась чувств.

— А ты где в это время была? — спросил князь Сергей Сергеевич Федосью, рассказавшую все вышеизложенное и показавшую приедем господам трупы своей госпожи и Тани.

При этом рассказе Федосья заливалась слезами.

— Попутал меня бес окаянную тоже в застольную пойти... Ирод Михайло плясал там под гармонику... Загляделась я на старости лет да заслушалась, ну и рюмочку для праздничка лишнюю тоже выпила... До самой смерти греха не замолить такого...

Федосья снова залилась горькими слезами.

— Ради Бога, охраняй княжну... — с дрожью в голосе обратился к ней князь Сергей Сергеевич.

— Пуще глаза буду беречь, ваше сиятельство, не извольте беспокоиться.

— Главное, подготовьте ее исподволь к известию о смерти матери и Тани...

— Слушаю-с, ваше сиятельство... Подготовлю.

Оба друга остались в Зиновьеве до вечера, дождались прибытия командированного из Тамбова чиновника для производства следствия. Князь Луговой боялся, чтобы этот последний не вздумал бы допрашивать еще не оправившуюся и к вечеру княжну Людмилу и таким образом не ухудшил бы состояние ее здоровья.

Несколько минут разговора с чиновником было достаточно, чтобы уладить дело в желательном для князя Сергей Сергеевича смысле.

— Будьте покойны, ваше сиятельство, княжну я не потревожу теперь, зачем тревожить, и без того горя у ней много, испуг такой, — заявил чиновник.

— Когда окончите свое дело, приезжайте

ко мне в Луговое, я сумею поблагодарить вас...

— За счастье и честь почту, ваше сиятельство, — почтительно ответил чиновник.

Отдав еще раз приказание Федосье не отходить от барышни, князь Сергей Сергеевич и граф Свиридов уехали к себе. Они ехали обратно почти шагом. Князь был задумчив и молчал.

— Какое страшное злодеяние! — воскликнул тоже после довольно продолжительного молчания граф Петр Игнатьевич.

Князь не отвечал.

— Я не могу понять одного, какая причина... Быть может, она была очень строга...

— Кто, княгиня? Да ее все, не только ее крестьяне и дворовые, но даже мои луговские любили как родную мать! Строга! Что такое строга. Она действительно была строга, но только за дело, а это наш крестьянин и дворовый не только любит, но и ценит...

— Странно, — задумчиво произнес граф Свиридов.

— То есть более чем странно... Прямо загадочное преступление... За что убита Таня?

— Ну, она-то просто под руку подвернулась... Злодей шел убивать княжну...

— Едва ли этому чинуше удастся до чего-нибудь доискаться...

— Я тоже в этом сильно сомневаюсь...

Мнения обоих друзей о «чинуше» оказались, однако, ошибочными. Когда на другой день князь один утром поехал в Зиновьево, он застал там производство следствия в полном разгаре.

— Что княжна? — были первые его слова.

— Сегодня на заре изволили прийти в себя и даже скушать молока, но еще слабы, теперь започивали... — доложила Федосья.

— Она знает?

— Они все знают... Видели, оказывается, как злодей душил Таню.

— А о матери?

— Я им осторожно доложила.

— И что же она?

— Поглядела на меня так жалостливо и промолчала... Видно, горе-то таково, что слез нет... Смекаю я, они не в себе.

— То есть как не в себе?

— Помутились...

Федосья сделала выразительно жест около лба.

«Боже, ужели ты пошлешь мне и это страшное испытание?» — мысленно произнес князь.

— Обо мне не спрашивала? — вслух продолжал он.

— Никак нет-с.

Князь сделал движение губами, как бы собираясь что-то сказать, но не сказал. Он хотел приказать Федосье провести его к княжне, но не решился.

«Это еще более может взволновать ее, — подумал он, — пусть успокоится... Быть может... Господь милосерд».

Князь уехал.

В тот же вечер в Луговое явился производивший следствие чиновник.

— Ну, что, придется предать дело воле Божьей? — первый спросил его граф Свиридов.

Князь Сергей Сергеевич был в таком угнетенном состоянии вследствие сообщения Федосьи о состоянии княжны Людмилы, что почти не понимал, что вокруг него происходит и что ему говорят.

— Никак нет-с... Убийца известен.

— Арестован?

— Никак нет-с... Он скрылся.

— Кто же это?

— Никита Берестов, известный в Зиновьеве под прозвищем «беглый», — отец убитой Татьяны.

— Отец? — воскликнули в один голос граф Свиридов и потрясенный ужасом подобного сообщения князь Луговой.

— Как вам сказать, ваше сиятельство, он ей отец и не отец.

— Как так?

Чиновник рассказал обоим друзьям всю историю «беглого Никиты», записанную им со слов свидетелей, уже известную нашим читателям.

ХІХ

Началось

— Значит, это убийство из мести? — заметил граф Петр Игнатьевич.

— Несомненно! — ответил чиновник. — Княгине он мстил за жену, а Татьяну убил как дочь князя от его жены.

— Вот почему княжна и эта девушка были так похожи друг на друга, — обратился граф к князю Сергею Сергеевичу, задумчиво сидевшему в кресле у письменного стола кабинета, в котором происходил этот разговор.

— Это действительно ужасно! — задумчиво произнес князь, как бы отвечая, скорее, самому себе, а не своим собеседникам.

Чиновник рассказал еще некоторые более интересные подробности только что оконченного им следствия и при этом добавил, что княжна Людмила Васильевна, хотя несколько и поправилась, но не выходит из своей комнаты, и он не решился ее беспокоить.

— Надо будет приехать в другой раз, — меланхолически заметил он.

— Я дам вам знать, когда будет можно, — встрепенулся князь Сергей Сергеевич. — Дайте ей оправиться совершенно, напишите ваш адрес, по которому я мог бы послать нарочного.

— Слушаюсь, ваше сиятельство.

— Вот чернила и перья.

Князь встал. Чиновник сел за письменный стол, написал требуемые сведения и стал прощаться. Он уехал, довольный поднесенным ему князем денежным подарком.

Друзья остались одни, но остальной вечер и ночь прошли для них томительно долго. Разговор между ними не клеился. Оба находились под гнетущим впечатлением происшедшего. Поужинав без всякого аппетита, они отправились в спальню, но там, лежа без сна на своих постелях, оба молчали, каждый думая свою думу.

В Зиновьеве между тем тела убитых княгини и Тани обмыли, одели и положили под образа — княгиню в зале, а Татьяну в девичьей. К ночи прибыли из Тамбова гробы, за которыми посылали нарочного. Вечером, после отъезда чиновника, отслужили первую панихиду

и положили тела в гроб. Об этой панихиде не давали знать князю Луговому, и на ней не присутствовала княжна Людмила, для которой, бросив работу над приданым, спешно шили траурное платье.

Князь Сергей Сергеевич и граф Свиридов прибыли на другой день к утренней панихиде. К ее началу вышла из своей комнаты и княжна. Она страшно осунулась и побледнела, что еще более оттенялось ее траурным платьем с широкими плерезами. Князь пошел к ней навстречу. Она церемонно присела ему, не поднимая на него глаз. Он хотел ей высказать свое сочувствие, но язык не повиновался ему — таким безысходным горем, недоступным человеческому утешению, веяло от всей ее фигуры. Сердце его больно сжалось, и он остановился рядом со своей невестой, которая так же церемонно приветствовала и его друга.

Панихиды, как и вчера, служили по очереди, сперва в зале у гроба княгини, а затем в девичьей, у гроба Татьяны Берестовой.

«По окончании служб я улучу минуту, чтобы переговорить с ней», — мелькнуло в уме

князя Сергея Сергеевича.

Но на этот раз ему это не удалось. При конце второй панихиды княжна, видимо, не выдержала и упала без чувств на руки следившей за ней Федосьи. С помощью нескольких дворовых девушек ее унесли в ее комнату.

— Что княжна? — справился князь Луговой у вызванной им Федосьи.

— Уложили опять, бедную. В забытьи лежат или дремлют, не разберешь.

— Пошлите за доктором. Впрочем, я распоряжусь сам.

Князь, вернувшись в Луговое в сопровождении своего друга, тотчас послал лошадей в Тамбов за доктором, которого приказал доставить к нему в имение.

— Я сам с ним поеду в Зиновьево, — высказал он свои соображения графу Свиридову.

— Это, конечно, будет лучше, — заметил тот. — Кстати, — добавил он, — прикажи запрягать и моих лошадей, мне надо быть завтра в Тамбове.

— Зачем? — взволновался князь. — Ты меня оставляешь?

— Ведь я не могу тебя утешить. Ты именно

В таком состоянии, когда человеку надо быть одному, когда тяжело иметь возле себя даже самого близкого друга. Я понимаю это, мне тоже тяжело, что я как будто своим приездом принес тебе несчастье.

— Что за вздор? Я сам заслужил его.

— Но ведь любимая тобою девушка жива.

— Что же из этого? Свадьбу придется отложить на год, а год много времени. Она, кроме того, совсем другая.

— Не можешь же ты требовать от нее, чтобы она была весела и довольна.

— Конечно, но...

— Какое «но»? Никакого я не вижу тут «но». Перенести для молодой девушки такое несчастье... Взглянуть в глаза опасности, почти смерти. Мы бы с тобой заболели, а не то что она.

— Это ты верно. Я сам начинаю мешаться. Я это чувствую.

— Успокойся, сообрази все наедине и после похорон поговори с ней о будущем. Быть может, она согласится переехать в Петербург и отдаться в качестве твоей невесты под покровительство государыни.

Омраченное все время лицо князя прояснилось.

— Вот спасительная мысль, которая пришла тебе в голову, дружище. Я поговорю с ней об этом. Я прямо настояю на этом по праву жениха. Не может же она оставаться на год в Зиновьеве, где все ей будет напоминать ужасное происшествие.

— Я думаю, она и сама на это не решится.

— Конечно, конечно, это было бы безумие.

— А меня все же ты отпусти. Мне надо окончить еще все дела в Тамбове, да пора и в Петербург. Приезжай и ты скорей туда со своей невестой.

— Если дела, то я не хочу тебя задерживать, тем более что теперь со мной невесело, — грустно отвечал князь Сергей Сергеевич.

— Э, голубчик, перемелется, все мука будет. Надо пережить только первые дни. Время лучший врач. Вы оба любите друг друга. Если Бог допустил умереть княгине такой страшной смертью — Его святая воля, надо примириться, и ты и она примиритесь. В Петербурге год пролетит незаметно, и вы будете счастли-

ВЫ.

— Кабы твоими устами да мед пить.

— И будешь пить, и я с тобой, — почти весело сказал граф Свиридов.

Он приказал своему лакею укладываться и через какой-нибудь час времени, простившись со своим другом, покатыл в Тамбов.

Князь Сергей Сергеевич остался один. Он пошел бродить по парку и совершенно неожиданно для самого себя очутился у роковой беседки. Он вошел в нее, сел на скамейку и задумался. Мысли одна другой безотраднее неслись в его голове. С горькой улыбкой вспоминал он утешения только что покинувшего его друга.

«Началось! — упорно мысленно твердил он. — Только началось и еще будет. Но что? Вот страшный вопрос».

Если бы человек знал заранее, какое горе постигнет его, какое несчастье на него обрушится, тогда жестокость удара ослабевала бы наполовину. Неизвестность, неожиданность — в них сила несчастья. Иначе человек мог бы приготовиться, привыкнуть к мысли о предстоящем и встретить удар.

«Адские силы против нас», — вспомнил князь Сергей Сергеевич слова призрака.

Как бороться с этими силами? С какой стороны они направят свои удары? Разве третьего дня, уезжая из Зиновьева, оставив всех там веселыми и здоровыми, он мог ожидать, что в ту же ночь рука злодея покончит с двумя жизнями и что его невеста будет на волосок от смерти?

Так и теперь! Разве он может быть спокойным хотя минуту? Может ли быть он уверен, что если не злодей, то сама смерть не отнимет у него дорогую жизнь его невесты, потрясенной, видимо, и нравственно и физически? Перед ним восставал образ княжны Людмилы в траурном платье, какую он видел ее сегодня утром.

«Краше ведь в гроб кладут», — мелькнуло в его голове.

Подобно светлomu лучу, озаряющему вдруг непроглядную тьму, вспомнились князю Луговому слова графа Петра Игнатьевича: «Как она тебя любит!»

Он стал вспоминать слова княжны Людмилы Васильевны, выражение ее прекрасного

лица, все мелкие детали обращения с ним, все те чуть заметные черточки, из которых составляются целые картины. Картина действительно составила. Эта картина была упоительна для князя Сергея Сергеевича. Он глубоко убедился в том, что княжна действительно его любила. А если это так, то он охранен от действия адских сил. Провидение, видимо, для этого спасло ее.

«Она не в себе... Помутилась!» — вдруг пришли ему на память слова Федосьи.

«Господи, ужели!» — мысленно воскликнул он.

Что, если действительно княжна сошла с ума от испытанного потрясения? Тогда все кончено. Он не видел сегодня ее глаз. Веки ее были опущены. О, сколько бы он дал, чтобы сейчас посмотреть ей в глаза. Ужели эти дивные глаза омрачились? Ужели в них он прочтет вместо ласки и приветов — безумие?

И снова мрачные мысли темными силуэтами стали проноситься перед ним. Тревожное состояние его то увеличивалось, то уменьшалось... Это была, положительно, лихорадка отчаяния. Так прошло время до вечера.

Князь вошел в свою спальню и с каким-то почти паническим страхом посмотрел на постель. Он чувствовал, что благодетельный и умиротворяющий сон будет его уделом нынешнюю ночь. Он стал ходить по комнате. Вдруг взгляд его упал на висевший у его постели образок Божьей Матери в золотой ризе, которым благословила его покойная мать при поступлении в корпус.

Восковая свеча, стоявшая на тумбе перед кроватью, отражалась в кованой золотой ризе, но блеск золота мерк перед, казалось, лившим лучи неземного света ликом Заступницы сырых, убогих и несчастных — Царицы Небесной. Князь Сергей Сергеевич остановился, как бы озаренный какою-то мыслью. Спустя минуту он уже стоял на коленях у постели и горячо молился.

В детстве его учила молиться мать, которая была глубоко религиозная женщина и сумела сохранить чистую веру среди светской шумной жизни, где религия хотя и исполнялась наружно, но не жила в сердцах исполнителей и даже исполнительниц. Князь помнил, что он когда-то ребенком, а затем маль-

чиком любил и умел молиться, но с годами, в товарищеской среде и в великосветском омуте тогдашнего Петербурга, утратил эту способность.

«Гром не грянет, мужик не перекрестится» — пословица эта одинаково, и даже в большей степени, относится и к интеллигентным классам России, где религиозный индифферентизм, к сожалению, нашел себе благодарную почву.

То же произошло и с князем. Разразившийся над ним удар заставил его обратиться к Тому Высшему Существованию, о котором он позабыл в этом довольстве и счастье, в гордом, присущем человеку сознании, что жизнь зависит от него самого, что он сам для себя может создать и счастье и несчастье. Богатый, знатный, молодой, баловень света, он не знал препятствий для исполнения своих желаний, даже своих капризов. По мановению его руки все, казалось, были только тем и озабочены, чтобы доставить ему приятное, чтобы окружить его всевозможным комфортом. Встреча с красавицей княжной, без труда и без борьбы сделавшейся его невестой, довершила са-

мообольщение.

И вдруг...

Тревога и страх объяли князя Сергея Сергеевича. Это чувство усугублялось еще, видимо, связанными с разразившимся над головой князя ударом таинственными происшествиями и предсказаниями. Князь Сергей Сергеевич окончательно потерял голову.

«Началось!» — эти слова, выразившие полнейшую покорность ударам судьбы, окончательно лишили нравственных и физических сил бедного князя.

И ниоткуда он не видел себе помощи и поддержки. Взгляд, брошенный случайно на икону — благословение матери, — сразу изменил его душевное настроение. Он упал на колени в горячей молитве. Уста его не шептали слов. Это была молитва души, та подкрепляющая молитва, которая не требует ни человеческого ума, ни человеческого языка. Человек молится всем своим существом. Всем существом своим он отдается Богу, не с просьбой, не с мольбой, а лишь с твердым упованием на Его неизреченную милость, в какой бы форме с точки зрения человеческой эта ми-

лость ни проявилась. Пусть это будет несчастье, гибель, страдание, с житейской точки зрения, но если такова воля Божья — да будет так.

Таков был смысл горячей, продолжительной молитвы князя Сергея Сергеевича Лугового. Слезы неудержимо текли из его глаз, но это не были слезы безысходного отчаяния, которое еще так недавно владело его душой. Это были покорные слезы ребенка перед своей горячо любимой и беззаветно любящей матерью. Молитва совершенно переродила и успокоила князя.

— Да будет воля Твоя! — прошептал он последний раз в постели и заснул спокойным сном.

XX

Погребение

Через два дня состоялись похороны несчастных жертв страшного злодеяния. Похороны отличались особенной торжественностью и многолюдством. Все соседние помещики, все тамбовские власти, во главе с наместником и почетными лицами города, явились отдать последний долг титулованной помещице, погибшей такой трагической смертью.

Большинство, конечно, влекло к исполнению этого долга не чувство к покойной, так как многие из прибывших знали ее только в лицо, а некоторые даже понаслышке, а любопытство присутствовать при одном из актов трагедии жизни, с романическим оттенком, придаваемым положением осиротевшей княжны-невесты. Слухи о том, что князь Луговой объявлен женихом княжны Полторацкой, уже успели облететь чуть ли не все наместничество.

В натуре человеческой есть одно весьма

некрасивое свойство, прикрытое обыкновенно тогой сочувствия к ближнему в постигшем его несчастье, — это самодовольное сознание, что случилось это несчастье с другим, а не с сочувствующим, на долю которого выпал приятный жребий высказывать сочувствие. Тут далеко до искренней радости. Не следует верить людям, которые говорят, что совершенно убиты горем своего друга, или же, что привалившее приятелю счастье делает их самих счастливыми. Это ложь, так как во все времена и у всех народов сохраняет свою силу известное римское изречение: человек для человека — волк.

Все эти сочувствующие несчастью, обрушившемуся на дом княгини Полторацкой, собрались, повторяем, в Зиновьеве отдать последний долг покойной. Они рассыпались перед молодым князем в своих сожалениях и тревогах за будущее несчастной сироты — княжны.

— Я думаю, что государыня согласится заменить ей мать, как моей невесте, — отвечал Сергей Сергеевич.

— Это более чем нужно, — замечали сочув-

ствующими.

Княжна Людмила, которую также донимали непрощенные радетели о ее будущей судьбе, отделивалась полусловами, короткой благодарностью. Любопытные оставались ею далеко не удовлетворенными.

— Гордячка! — заключали некоторые.

Другие качали головой.

— Кажется, испуг на нее сильно подействовал... Она какая-то странная, совершенно непохожа на себя.

Это мнение долетело до ушей и князя Лугового и заставило болезненно сжаться его сердце.

— Ужели Федосья права и княжна помутилась?

Прибывший из Тамбова доктор, которого князь тотчас же отвез в Зиновьево, осмотрев больную, хотя и успокоил Сергея Сергеевича за исход нервного потрясения, но был так сосредоточенно глубокомыслен по выходе из комнаты больной, что его успокоительные речи теряли, по крайней мере, половину своего значения. Кроме того, этот жрец медицинской науки, безусловно, запретил говорить с

княжной о чем-нибудь таком, что может ее взволновать.

— Мне нужно будет переговорить с ней о нашем будущем... Ей надо как-нибудь устроиться, — возразил князь.

— Надо повременить, ваше сиятельство.

— Но сколько же времени?

— С неделку, в крайнем случае хоть несколько дней...

Князь вздохнул. Приходилось подчиняться. Он с радостью увидел, что княжна в день похорон, видимо, чувствовала себя бодрее. Она разговаривала с некоторыми из подхлывших к ней. С князем она поздоровалась менее холодно, даже протянула ему руку, которую он почтительно поцеловал.

Сколько стоил ему этот почтительный поцелуй! Ему хотелось бы осыпать горячими поцелуями эту дорогую, отданную ему руку, но расстроенный вид молодой девушки и присутствие посторонних лиц заставили его сдержаться. Эта сдержанность причиняла ему страшные страдания.

Печально-торжественна, глубоко-потрясающая была картина, когда поднятые на руках

гробы с жертвами убийцы выносили из дома и процессия со священниками во главе потянулась к сельской церкви села Зиновьева. Луговской священник отец Николай принял тоже участие в похоронном служении. Впереди несли богатый гроб, в котором покоились останки княгини Вассы Семеновны. За этим гробом шла княжна, опираясь на руку князя Лугового, как своего жениха. Далее следовали многочисленные провожатые, начиная с тамбовского наместника и других почетных лиц города, до старых заслуженных дворовых. В хвосте печальной процессии дворовые девушки несли простой дощатый гроб, окрашенный в желтую краску, с телом несчастной Татьяны Берестовой, самоотверженно погибшей у порога комнаты своей госпожи-подруги. За гробом последней шла небольшая кучка дворовых и крестьян.

В довольно просторной деревянной церкви Зиновьева было приготовлено возвышение недалеке от амвона, на которое и поставили гроб с прахом княгини Полторацкой. Сзади него, отступя на несколько шагов, нашел себе место гроб с телом дворовой девуш-

ки. Служба началась.

По окончании заупокойной литургии и отпевания гроб с телом княгини Полторацкой был опущен в родовой склеп Зиновьевых, где шестнадцать лет тому назад нашел себе упокоение и муж Вассы Семеновны. Склеп был устроен около церкви и над ним возвышалась часовня с множеством образов святых. Татьяну Берестову похоронили на кладбище, тоже расположенном при церкви, и над ее могилой водрузили большой черный деревянный крест с белой надписью, просто гласившей с одной стороны креста: «Здесь лежит тело рабы Божьей Татьяны Никитиной Берестовой», а с другой: «Упокой, Господи, душу ее в селениях праведных». Этот крест был водружен по распоряжению княжны Людмилы Васильевны.

После того как гроб опустили в могилу, все приглашенные возвратились в дом, где был уже накрыт поминальный обед. Для дворовых людей был накрыт стол в застольной, а для крестьян на дворе, под открытым небом.

Княжна, несмотря на то что казалась вначале бодрой, несколько раз в церкви лиша-

лась чувств и наконец унесена была замертво с кладбища, так как в момент опущения гроба с телом ее матери в склеп с ней сделался истерический припадок. Князь Сергей Сергеевич, в качестве жениха молодой хозяйки, распоряжался за поминальным обедом.

По окончании обеда княжна, однако, снова появилась среди гостей, которые стали уже разъезжаться.

— Могу я остаться, побеседовать с вами? — улучив минуту, спросил ее князь Луговой.

— Не сегодня, князь. Не сегодня. Я положительно еле стою на ногах, — сказала княжна.

Князю Сергею Сергеевичу оставалось только откланяться. Он уехал домой.

Несколько дней подряд он ездил в Зиновьево с целью переговорить с княжною, но княжна не принимала его.

— Что с нею, она больна? — допытывался князь Сергей Сергеевич у Федосьи.

— Слабы очень, а не то чтобы больны были, — докладывала Федосья, — немножко посядут, а все больше в постельке. Каждый день плачут.

— А-а, — протянул князь.

— Да и как не плакать, ваше сиятельство, такое горе.

— Это верно, но...

Князь не закончил своей фразы.

— Не узнаю я совсем ее сиятельство. Точно подменили, — продолжала между тем словоохотливая Федосья.

— А что?

— Да так. Точно она, и точно не она.

— Что ты за вздор мелешь?

— Это я к тому, ваше сиятельство, что как горе-то меняет.

— В чем же ты находишь перемену?

— Да, к примеру сказать, хоть относительно вас, ваше сиятельство; еще с неделю тому назад только вы, ваше сиятельство, у нее и на языке были, а теперь — ведь я своим глупым умишком раскидываю, следовало бы им вас принять, а то не могу да не могу. И какая тому причина, ума не приложу.

— Пускай отдохнет, выплachtetся, — со вздохом ответил князь.

— Оно так-то так, но все-таки... — начала было снова Федосья, но князь Сергей Сергеевич резко перебил ее:

— Ну, хорошо, хорошо, это уже наше с ней дело. Идите к ней и, главное, ничем ее не раздражайте. Если спросит обо мне, то скажите, что я был несколько раз и прошу ее уведомить, когда она меня сможет принять.

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

Князь Сергей Сергеевич уехал и действительно целую неделю не показывался в Зиновьеве, ограничиваясь присылкой ежедневно нарочного «справляться о здоровье ее сиятельства».

Наконец, посланный вернулся однажды с утешительным известием, что ее сиятельство чувствует себя лучше и просят его сиятельство завтра пожаловать к ним. Не надо описывать радость, которую испытал князь Сергей Сергеевич при этом известии. Он не спал всю ночь, дожидаясь часа желанного свидания. Наконец, этот час настал, и князь поехал в Зиновьево.

Княжна Людмила Васильевна приняла его в бывшем кабинете ее покойной матери.

«И она и не она!» — мелькнуло в его уме выражение Федосьи, высказавшейся неодобрительно об изменившихся отношениях

княжны к нему, ее жениху.

Хотя князь, как мы видели, тотчас же прекратил этот разговор, но слова старой служанки запали в его голову. В эту неделю своего невольного затворничества в Луговом он часто возвращался к воспоминанию об этих словах.

Ему казалось, что он нашел причину перемены княжны в отношении к нему. Пораженная обрушившимся несчастьем, она, как и он, приписала его легкомысленному поступку князя, из простого любопытства, из желания угодить ее капризу открывшему роковую беседку. Ее, княжну, поразили удар за это нарушение дедовского завета, как близкое к нарушителю существо, как невесту его, князя Лугового. Естественно, что она, разбитая и нравственно и физически последствием, не могла отнестись равнодушно к причине. Причиною же она считала его, князя. Она обвиняла его.

«Это пройдет, конечно, пройдет со временем, — думал князь Сергей Сергеевич. — Не может же она не рассудить, что у него не было в данном случае никакого желания, ни да-

же мысли причинить ей зло. Она ведь знает, как он любит ее, знает, что он готов пожертвовать для нее жизнью. Разорвать отношения только вследствие этой сумасбродной мысли — это было бы сумасшествием».

«Она не в себе, помутилась», — мелькало в его уме выражение Федосьи.

Тогда, конечно, можно было ожидать всего, но Бог не допустит этого.

Утром и вечером князь Сергей Сергеевич горячо молился, и молитва укрепляла его, посеяла надежду в его истерзанном сердце. Он терпеливо ждал свидания, которое должно было, по его мнению, разъяснить все.

Наконец, он дождался его.

Княжна Людмила Васильевна встала с кресла при входе его в кабинет и пошла к нему навстречу усталой походкой. Князь наклонился к поданной ею ему руке и горячо поцеловал ее. Чуть заметная усмешка мелькнула на побелевших губах княжны.

— Садитесь, князь! — тихо сказала она.

Он не узнал ее голоса, но повиновался и, только тогда, когда сел в кресло, противоположное тому, в которое снова опустилась

княжна, взглянул на нее.

Она страшно изменилась. Бледная, худая, с опухшими от слез глазами, она была неузнаваема.

— Княжна, поберегите себя, — невольно вырвалось у него восклицание.

— Зачем? — почти шепотом начала она. — Судьба отняла у меня двух самых близких мне людей: мою мать, которую я боготворила, Таню, которая была моей подругой детства и которую я так любила.

При последнем слове голос княжны дрогнул.

— Вы забываете, княжна, что есть еще один человек, который готов за вас умереть! — заметил князь Сергей Сергеевич.

— Я не забываю этого, князь... и благодарю вас. Но судьба, видно, против того, чтобы этот человек сделался мне близким...

— Что вы говорите, княжна! — побледнел князь.

— По крайней мере, в скором времени. Вы, конечно, понимаете, что после всего случившегося нельзя думать о свадьбе ранее истечения года.

— Я понимаю это, — упавшим голосом проговорил князь.

— А год — много времени. Может все переменится. Вы уедете в Петербург.

— Я полагал, что и вам следовало бы ехать туда же. Жизнь здесь, полная тяжелых воспоминаний, невыносима.

— Вы правы, я тоже поеду туда.

— В качестве моей невесты государыня не откажет взять вас под свое покровительство.

— С этим я не согласна, князь. Что будет через год, я не знаю; если вы не изменитесь в ваших чувствах и возобновите ваше предложение, я, быть может, приму его, но теперь я освобождаю вас от вашего слова и надеюсь, что вы освободите и меня. Я написала дяде и найти покровительство государыни могу в качестве его племянницы или даже просто в качестве княжны Полторацкой.

Князь не верил своим ушам. Он сидел бледный, уничтоженный.

XXI

Неожиданное решение

Княжна Людмила заметила впечатление, произведенное на жениха ее последним словом. Ей, видимо, стало жалко его.

— Это не разрыв, князь, это только необходимая отсрочка...

Князь Сергей Сергеевич, казалось, не слышал этих слов. Он продолжал смотреть на княжну почти безумными глазами.

«И она и не она... Не в себе... Помутилась...» — пронеслись в его голове эти слова Федосьи.

Только через несколько минут он овладел собой.

— Вы отказываете мне в вашей руке, княжна?

— Ничуть... Я повторяю вам, князь, что это лишь неизбежная отсрочка... Вы сами согласитесь со мной, что до истечения года траура не может быть речи о свадьбе...

Княжна остановилась, как бы желая слышать подтверждение от своего жениха. Князь

молча наклонил голову.

— Целый год быть женихом и невестой, — продолжала княжна Людмила Васильевна, — это будет стеснительно и для меня и для вас...

Князь Сергей Сергеевич сделал жест возражения. Княжна остановилась, видимо желая дать ему высказаться, но он молчал. На лице его проходили одна за другой тени, указывавшие на переживаемые им внутренние страдания.

— Я не говорю, что я через год отказываюсь быть вашей женой, я только против того, чтобы это было оглашено преждевременно и наложило бы таким образом на меня и на вас трудноисполнимые пути. Лучше будет, если мы будем свободны. Вы уедете в Петербург, я приеду туда же. Мало ли с кем столкнет вас и меня судьба. Мало ли что меня и вас может заставить изменить решение.

— Только не меня, княжна... — с необычайным волнением сказал князь Луговой.

— Дай Бог... Быть может, и я не изменюсь к вам, и тогда наш союз перед Богом будет совершенно свободным, а не вынужденным обязательством, принятым на себя за целый

год вперед.

— Ваша воля, княжна!.. — после некоторой паузы произнес князь Сергей Сергеевич.

В тоне его голоса слышалось беспредельное отчаяние.

— Я знала, что встречу в вас сочувствие моему плану. С вашей стороны было бы невеликодушно воспользоваться данным словом девушки, ничего и никого не выдавшей, и, таким образом, взять на себя тяжелую ответственность в случае, если она после венца сознает свою уже непоправимую ошибку... Я много думала об этом за эти дни и рада, что не ошиблась в вас.

Князь молча поклонился.

— Год жизни в Петербурге достаточен будет для меня, чтобы я узнала свет и людей и сознательно решила свою участь. Я думаю, князь, что пальма первенства останется все-таки за вами.

Она протянула ему руку. Он не заметил этого движения княжны и сидел в глубоком раздумье. Княжна убрала руку и спросила с особым ударением:

— А ваш друг?..

— Он уехал... — вышел из задумчивости князь.

— Уехал?.. Отчего?..

— Ему необходимо было быть в Тамбове, а оттуда он спешит в Петербург.

— Мне очень жаль, что не удалось с ним проститься, — заметила княжна.

Князь Сергей Сергеевич быстро и внимательно посмотрел на нее. Она сидела с опущенным вниз взглядом. В глазах князя мелькнул ревнивый огонек. Уже не графу ли Свиридову обязан он, князь, изменившимися к нему отношениями княжны Людмилы? Нехорошее чувство шевельнулось в его душе к его другу, но князь тотчас же осудил себя мысленно за это чувство.

«Нет, это не то, — неслось в его голове, — просто она считает меня обреченным на несчастье и хочет так или иначе от меня отделаться».

Эта мысль холодила ему сердце, но самолюбие вступило в свои права, и князь не нашел возможным просить любимую им девушку изменить ее решение.

«Будь что будет, — решил князь. — Да бу-

дет воля Твоя!» — вспомнилась ему суть его молитв последних дней.

— Он, конечно, с вашего позволения, не преминет сделать вам визит в Петербурге, — деланно холодно сказал князь Сергей Сергеевич.

— Я буду рада... — уронила княжна.

— Я передам ему... Я еду завтра в Тамбов и с ним вместе с Петербург, — продолжал князь.

— Значит, до свидания на берегах Невы... — быстро встала княжна.

Князю Сергею Сергеевичу Луговому снова понадобилось много силы воли, чтобы остаться наружно спокойным, когда горячо любимая им девушка так явно выразила свою радость при известии, что он уезжает из Лугового. Он рассчитывал, что княжна Людмила выразит хотя бы сожаление о его отъезде или попросит его повременить этим отъездом, чтобы помочь ей устроить дела по имению. И вдруг она его почти прогоняет. Сделав над собой это усилие воли, князь встал.

— До свиданья, княжна, — сказал он упавшим голосом.

— До свиданья, до лучших времен... Простите, князь, что, быть может, я невольно действовала не так, как вы бы того хотели.

— Помилуйте, княжна.

— Вы сами, раздумав, убедитесь, что я права, предложив вам не связываться до поры до времени ни себя, ни меня...

— Я уже говорил вам, княжна, что это ваша воля...

— Вы меня ведь совсем не знаете, быть может, теперь, сделавшись самостоятельной, я себя покажу вам совсем в ином, далеко для вас не привлекательном виде...

— Не утешайте меня, княжна, — не выдержал наконец князь Сергей Сергеевич, — я не нуждаюсь в этом утешении, хотя не скрою от вас, что ваше неожиданное решение до боли сжало мне сердце... Но я не хочу вам навязываться в мужа, и если вы действительно хотите в этот год испытать меня и себя, то я преклоняюсь перед этим и не боюсь, со своей стороны, этого испытания; если же вы избрали этот путь как деликатный отказ мне в вашей руке, то и в этом случае мне остается только покориться вашей воле и ждать, когда для ме-

ня станет ясно то или другое ваше намерение... До свидания.

Княжна подала ему руку.

— Мне жаль, князь, что мы расстаемся при условии, что я оставила в вашем сердце некоторое сомнение и раздражение, но время покажет, что вы ошибаетесь, теперь же я не могу вам сказать ничего более того, что сказала. До свиданья в Петербурге.

Последнее слово княжна подчеркнула. Князь поцеловал ее руку, на этот раз с далеко не деланною холодною почтительностью, и вышел. Он не помнил дороги до Лугового. Только в тиши своего кабинета князь стал всесторонне обдумывать свое положение.

Любимая им девушка, видимо, старалась отделаться от него. Он, князь, таким образом, снова свободен, снова одинок.

— Твое спасение в любимой девушке, — пришли ему на память слова призрака.

— Теперь, значит, спасенья нет... Будь что будет... Да будет воля Твоя...

На князя напало хладнокровие обреченного человека.

Для того чтобы совершенно успокоиться,

по крайней мере, насколько это было возможно, ему надо было переменить место. Он отдал приказание готовиться к отъезду, который назначил на завтрашний день. На другой день князь призвал в свой кабинет Терентьича, забрал у него все наличные деньги, отдал некоторые приказания и после завтрака покати́л в Тамбов. По въезде в этот город князь приказал ехать прямо к графу Свиридову, к дому графини Загрязской.

Дом был, как оказалось, прекрасный и стоял на лучшей улице города. Граф Петр Игнатьевич был дома и, увидев в окно открытый экипаж, в котором сидел князь Луговой, выбежал встретить его на крыльце.

— Что с тобой? Что случилось? — встретил он его восклицанием.

Действительно, прошедшие с момента последнего свидания с княжной Людмилой Васильевной Полторацкой с небольшим сутки отразились роковым образом на лице князя Сергей Сергеевича Лугового. Он страшно осунулся и исхудал. Глаза получили какой-то тревожный, лихорадочный блеск.

— Говори же, говори! — озабоченно спра-

шивал князя граф Петр Игнатьевич, вводя его в угловую большую комнату, служившую ему кабинетом и спальней.

В доме своей покойной тетки граф Свиридов жил, как он выражался, на «биваках».

— Ничего особенного, — нехотя отвечал князь.

— Ты со мной не хитри... Если бы не случилось ничего особенного, ты бы не уехал из Лугового чуть ли не в погоню за мной, а во-вторых, не выглядел бы так страшно... Ведь на тебе лица нет...

— Я просто устал с дороги, — деланно хладнокровно отвечал князь Сергей Сергеевич, опускаясь действительно с видом крайнего утомления на диван, покрытый тисненым коричневым сафьяном. Он действительно был утомлен, не столько, впрочем, дорогой, сколько пережитыми треволнениями.

— Нет, брось томить меня, говори, что случилось? — повторил граф Петр Игнатьевич, нервно ходя по кабинету.

— Говорю тебе, что ничего особенного... Княжна Людмила Васильевна находит это даже разумным и полезным.

— Ты говорил с ней... Что же она?

— Она просила до истечения года траура забыть, что мы с ней благословлены ее покойной матерью.

— Вот как! — широко раскрыл глаза граф Свиридов. — Почему же это?

Князь Сергей Сергеевич передал почти дословно разговор свой с княжной Полторацкой, разговор, каждое слово которого глубоко и болезненно запечатлелось в его памяти. Граф Петр Игнатьевич слушал внимательно своего друга, медленно ходя из угла в угол комнаты, пол комнаты был устлан мягким ковром, заглушавшим шум шагов. Когда князь кончил, граф выразил свое мнение не сразу.

— Знаешь что, — начал он, сделав сперва молча несколько концов взад и вперед по комнате, — она отчасти права.

— Как права?.. — сделал гневное движение князь Сергей Сергеевич.

— Да так... Проведи она этот год в деревне, конечно, у ней не могло бы и явиться мысли, что она может предпочесть тебя кому-нибудь другому, но она решилась поехать в Петер-

бург, и там на самом деле, быть может, она встретится с человеком, который произведет на нее большее, чем ты, впечатление. Ты прости меня за откровенность...

— Гм... — промычал князь.

— Неужели тебе было бы приятно, если бы она вышла замуж за тебя только в силу принятого за год до свадьбы на себя обязательства?

— Избави Бог! — воскликнул князь Сергей Сергеевич. — Я совершенно понял ее и согласился с ней, но ты, кажется, понимаешь, что от всего этого я не могу ощущать особого удовольствия...

— Это я понимаю... Но будь мужчиной... Призови, наконец, на помощь свое самолюбие...

— Я все это сделал... Я здесь и отсюда еду с тобой в Петербург.

— Вот это дело... Женщины, мой друг, любят только тех, кто ими пренебрегает... Истинную любовь, восторженную привязанность, безусловную верность они не ценят... Им, вероятно, начинает казаться, что мужчиной, который так дорожит ими, не дорожат

другие женщины... Они начинают искать в обожающем их человеке недостатки и всегда, при желании, если не находят их, то создают своим воображением. Считая такого мужчину своей неотъемлемой собственностью, они привыкают к нему и он им надоедает...

— Ну, все это едва ли может относиться к княжне, еще не искушенной светом... Она просто влюбилась в другого и не смела сказать об этом матери...

— В другого, в кого же? — даже остановил свою прогулку по комнате граф Петр Игнатьевич.

— В тебя... — в упор сказал ему князь Сергей Сергеевич.

Граф расхохотался.

— Ну, брат, ты действительно помутился.

— Не смейся... Я не ревную, доказательством чего служит то, что я приехал прямо к тебе... Ты не виноват в чувстве, которое поселил в княжне, но это ты...

— Из чего же ты это заключаешь?

— Я заметил это сегодня, когда она спрашивала о тебе.

— А она спрашивала? — с плохо подавляе-

мым волнением спросил граф Свиридов.

— Да, и даже очень жалела, что не успела проститься с тобой; выразила желание, чтобы ты посетил ее в Петербурге.

— Это простая любезность, — с деланным равнодушием бросил граф Петр Игнатьевич.

— Может быть, может быть, время покажет.

— В одном я даю тебе слово, что до тех пор, пока ты сам не откажешься от нее и не скажешь об этом мне, я не подам тебе повода ревновать ко мне... Коли хочешь, я даже буду избегать с ней встречи.

— Зачем?.. Поставленные тобою препятствия будут только разжигать ее чувство. Будь что будет! Переменим этот разговор.

От ревнивого зоркого взгляда князя Сергея Сергеевича не ускользнуло впечатление, произведенное на графа его сообщением, что княжна Людмила Васильевна влюблена в него.

«Он сам влюблен в нее... Да и как не быть в нее влюбленным», — неслось в его голове.

Прятели действительно переменяли разговор, и граф стал рассказывать князю о лег-

кой интрижке, заведенной им с одной из представительниц тамбовского света. Интрижка оказалась, впрочем, непродолжительной, и друзья недели через полторы покатали восвояси, в Петербург, куда и мы, дорогой читатель, за ними последуем.

XXII

В Петербурге

Петербург описываемого нами времени представлял из себя город разительных контрастов. Рядом с великолепным кварталом стоял дикий и сырой лес; с огромными палатами и садами — развалины, деревянные избушки, построенные из хвороста и глины лачуги.

Но всего поразительнее было то, что все это изменялось быстро, как бы по волшебству. Вдруг исчезали целые ряды деревянных домов и вместо них появлялись каменные, хотя и неоконченные, но уже заселенные.

С точностью определить границы города было трудно. Границею считалась Фонтанка, левый берег которой представлял предместья

от взморья до Измайловского полка — Лифляндское, от последнего до Невской перспективы — Московское и от Московского до Невы — Александро-Невское. Васильевский остров по 13-ю линию входил в состав города, а остальная часть, вместе с Петербургской стороною, по речку Карповку, составляла тоже предместье. В предместьях определялось строить дома: по набережной Невы каменные, не менее как в два этажа, а по Фонтанке можно было делать и деревянные, но не иначе как на каменном фундаменте. Весь берег Фонтанки был занят садами и загородными дачами вельмож того времени.

Первый деревянный мост через Фонтанку был Аничков, сделанный в 1715 году. Название он получил от примыкавшей к нему Аничковской слободы, построенной подполковником М. О. Аничковым. Позднее, в 1726 году, Аничков мост был подъемный, и здесь были караульные дома для осмотра паспортов у лиц, въезжающих в столицу. Первый же исторический мост был Петровский, на реке Ждановке — он соединял Петербургский остров с крепостью. После него были выстроены

еще три моста по Фонтанке, а затем уже, в 1739 году, стало вдруг в Петербурге сорок мостов, все эти мосты были тогда безымянные.

Где стоит теперь дворец князя Сергея Александровича (бывший дом князей Белосельских), в Елизаветинское время находился дом князя Шаховского. Рядом с ним было Троицкое подворье, затем дом гоф-интенданта Кормедона, купленный после Бироном и при Елизавете Петровне конфискованный и отданный духовнику императрицы Дубянскому. Напротив, на другой стороне Фонтанки, стоял на углу, где теперь кабинет Его Величества, двор лесоторговца Д. Л. Лукьянова, купленный Елизаветою Петровною 6 августа 1741 года для постройки Аничковского дома для графа Алексея Григорьевича Разумовского.

Ранее этого императрица подарила Разумовскому дворец, в котором сама жила до восшествия своего на престол. Дворец этот, как мы знаем, был известен под именем Цесаревнина и находился на Царицыном лугу, недалеко от Миллионной, на месте нынешних Павловских казарм.

По принятии двора Лукьянова в казну императрица Елизавета Петровна приказала фон-интенданту Шаргородскому, архитектору Земцову, чтобы они «с поспешением» исполняли подготовительные работы. Вскоре после того начали вбивать сваи под фундамент дворца, делать гавань на Фонтанке и разводить сад.

Спустя три года были представлены императрице архитектуры гезелем Григорием Дмитриевым для апробаций шестнадцать чертежей дворца. Елизавета Петровна одобрила план постройки каменных палат, которая и была начата. Главным наблюдателем над работами был назначен граф Растрелли. Отделка дворца продолжалась до 1749 года.

В 1746 году императрица приказала поставить на крыше дворца два купола: один с крестом на Невской перспективе, где будет церковь, и для симметрии, на другой противоположной части дворца, на куполе утвердить звезду. Железный крест, четырехаршинной величины, был сделан на сестрорецких заводах. На золочение креста пошло один фунт шестьдесят восемь золотников червонного

золота, или двести два иностранных червонца.

Аничковский дворец был очень большой, стоял он в те времена на открытом месте, в вышину был в три этажа и имел совершенно простой фасад. На улицу выходил на сводах висячий сад, равный ширине дворца. Другой обыкновенный дворцовый сад и службы занимали все пространство до Большой Садовой и Чернышева моста, то есть всю местность, где теперь находится Александринский театр, Екатерининский сквер, Публичная библиотека, здание театральной дирекции и дом против него, который принадлежит министерству внутренних дел, по Театральной улице. Подъезд со стороны Фонтанки, теперь не существующий, в былое время давал возможность подъезжать на лодке к ступеням дворца. Главные ворота, впрочем, и тогда, как и теперь, были с Невского проспекта.

На месте Александринского театра стоял большой павильон, в котором помещалась картинная галерея Разумовского, а в другой комнате, напротив, в том же павильоне, дава-

лись публичные концерты, устраивались маскарады, балы и прочее. За двором шел вдоль всей Невской перспективы пруд с высокими тенистыми берегами и против нынешней Малой Садовой бил фонтан. Долгое время, еще в тридцатых годах текущего столетия, видны были фрески работы Гонзаго на полуобвалившихся стенах садовых павильонов и у решетки на Невском проспекте держался еще небольшой храмик Фемиды.

Где стоит Публичная библиотека, был питомник растений, позади шли оранжереи, по Садовой улице жили садовники и дворцовые служителя, а на улице, против Гостиного двора, стоял дом управляющего Разумовского Ксиландера. На другой стороне, на углу Невской перспективы и Большой Садовой улицы, находился дом Ивана Ивановича Шувалова, в то время только что оконченный и назначенный для жительства саксонского принца Карла. Шувалову принадлежал весь квартал, образуемый теперь двумя улицами — Малой Садовой и Итальянской.

В этой же местности, где теперь дом министерства финансов, помещалась Тайная кан-

целярия. При переделке последнего здания, в сороковых годах нынешнего столетия, открыт был неизвестно куда ведущий подземный ход, остовы людей, заложенный в стенах за- стенок с орудиями пыток, большой кузнеч- ный горн и другие ужасы русской инквизи- ции.

В 1747 году 4 декабря Елизавета Петровна указом повелела выстроить церковь в но- востроящемся дворце, что у Аничкова моста, во имя Воскресения Христова, в больших па- латах, во флигеле, что на Невской перспекти- ве. Работы по устройству церкви продолжа- лись до конца 1750 года, под надзором графа Растрелли. Место для императрицы было по- ручено сделать столярному мастеру Шмидту, по рисунку Баджелли, резные же работы бы- ли отданы мастеру Дункорту.

В 1751 году церковь торжественно освяще- на в честь Воскресения Христа Спасителя все- ми жившими тогда в Петербурге архиерея- ми-малороссами, приятелями графа Алексея Григорьевича Разумовского. Императрица и весь двор присутствовали на освящении хра- ма. Церковь занимала второй и третий этажи

флигеля, выходящего на Невский. Иконостас был тоже трехъярусный, вызолоченный, богатой резьбы, вышиною в пять сажен, шириною в одну сажень 2 аршина 10 вершков. В настоящее время он находится в верхней церкви Владимирской Божьей Матери, вместе с образами и Евангелием, взятым из Аничковского дворца; тогдашние царские ворота теперь заменены новыми.

Елизавета Петровна, как известно, никогда не жила в Аничковском дворце, но, как гласит камер-фурьерский журнал, по праздникам нередко посещала храм. В 1757 году Елизавета пожаловала «собственный каменный дом, что у Аничкова моста, со всеми строениями и что в нем наличностей имеется», графу Алексею Григорьевичу Разумовскому «в потомственное владение».

В царствование Елизаветы Петровны церквей в Петербурге было немного. Все церкви тогда были низкие, невзрачные, стены в них увешаны вершковыми иконами, перед каждой горела свечка или две-три, отчего духота в церкви была невообразимая. Дьячки и священники накладывали в кадиланицы много

ладану, часто поддельного, из воска и смолы, отчего к духоте примешивался и угар. Священники, отправляясь кадить по церкви «на хвалитех», держали себя так, что правая рука была занята кадельницей, а левая протянута к публике. Добрые прихожане клали в руку посильные подачки — кто денежку, кто копейку, рука наполнялась и быстро опускалась в карман и опять, опорожненная, была к услугам прихожан.

Доходы священников в то время не отличались обилием: за молебен платили им три копейки, за всенощную — гривенник, за исповедь — копейку. Иногда прихожане присылали им к празднику муку, крупу, говядину и рыбу. Но для этого нужно было заискивать у прихожан.

Если же священник относился строго к своим духовным детям, то сидел без муки и крупы и довольствовался одними пятаками да грошами. А эти пятаки в ту пору далеко не могли служить обеспечением. Случалось тогда и то, что во время богослужения являлся в церковь какой-нибудь пьяный, но богатый и влиятельный прихожанин и, чтобы показать

себя, начинал читать священнику нравоучения, и, нуждающийся в его подачке, священник должен был выносить все эти безобразия.

Иногда в церкви подгулявшие прихожане заводили между собою разговоры, нередко оканчивавшиеся криком, бранью и дракой. Случалось также, что во время службы раздавался лай собак, забежавших в церковь, падали и доски с потолка. Деревянные церкви тогда сколачивались кое-как и отличались холодом и сыростью.

Причинами такого положения построек храма были, с одной стороны, печальное положение государственных финансов, а с другой — крайняя недобросовестность строителей, прежде всего заботившихся о том, чтобы поскорей и получше найти себе в постройках источник для обогащения.

Торжественностью богослужения отличалась только одна придворная церковь. Императрица Елизавета Петровна очень любила церковное пение и сама певала со своим хором. К страстной и пасхальной неделе она выписывала из Москвы громогласнейших диаконков, и почтмейстер, барон Черкасов, чтобы

как можно лучше исполнить державную волю, не давал никому лошадей по московскому тракту, пока не проедут диакона. Православие Елизаветы Петровны было искренно, и наружные проявления религиозности были в обычае и ее придворных.

Из документов описываемого нами времени видно, что императрица не пропускала ни одной службы, становилась на клиросе, вместе с певчими, и в дни постные содержала строжайший пост. Тогдашние руководители православия — архиепископ Феодосий и протоиерей Дубянский — были, как мы имели уже случай заметить, скорее, ловкие, властолюбивые царедворцы, прикрытые рясою, нежели радетели о благе духовенства. Закон того времени позволял принимать и ставить в духовный чин лиц из всех сословий, лишь бы нашлись способные и достойные к служению в церкви. Если прихожане церкви просили о ком-нибудь, чтобы определить его к службе церковной, то от них требовалось свидетельство, что они знают рекомендуемое ими лицо; «не пьяницу, в домостроении своем не ленивого, не клеветника, не сварливо-

го, не любодейца, не убийцу, в воровстве и мошенничестве не обличенного; сии бо наипаче злодействия препинают дело пастырское и злообразие наносят чину духовному». Из дел консистории видим в духовных чинах лиц всех званий: сторожей, вотчинных крестьян, мещан, певчих, купцов, солдат, матросов, канцеляристов, как учившихся в школе, так и необучавшихся.

Хотя указом еще от 8 марта 1737 года требовалось, чтобы в духовные чины производились лишь те, которые «разумели и силу букваря и катехизиса», но на самом деле церковные причты пополнялись выпущенными из семинарии лицами «по непонятию науки», или по «безнадежности в просодии», или «за урослием». Ставились на иерейские должности и с такими рекомендациями: «школьному учению отчасти коснулся», или «преизряден в смиренномудрии и трезвости», или «к предикаторскому делу будет способен». Поступали с аттестациями и такого сорта: «без всякого подозрения честен», «аттестован достойным за благонравие и обходительство» или «дошел до риторики и за перерослостью,

будучи 27 лет, уволен». Встречались «нотаты» и такие: «проходил фару и инфиму на своем коште, и за непонятие уволен»[3].

Не отличаясь грамотностью, петербургское духовенство описываемого нами времени отличалось ужасной грубостью нравов. В среде его то и дело слышалась брань, частые ссоры между собою и даже с прихожанами в церквах. Впрочем, на главы виновных сыпались и тяжкие кары.

XXIII

Зимний дворец

Не больший порядок был и в самом Петербурге и даже в его центральной части, где помещались дворцы. Современник императриц Анны и Елизаветы майор Данилов рассказывает, что в его время был казнен на площади разбойник князь Лихутьев: «голова его вздернута была на кол». Разбои и грабежи были тогда сильно распространены в самом Петербурге. Так, в лежащих вокруг Фонтанки лесах укрывались разбойники, нападавая на прохожих и проезжих. Фонтанка в то время, как

мы знаем, считалась вне городской черты.

Дом графа Шереметьева считался загородным, как и другой такой же дом графа Апраксина, где жил Апраксин, когда был сослан с запрещением въезда в столицу. Полиция обязала владельцев дач по Фонтанке вырубить леса, «дабы вора́м пристанища не было». То же самое распоряжение о вырубке лесов последовало и по Нарвской дороге, на тридцать сажен в каждую сторону, «дабы впредь невозможно было разбойникам внезапно чинить нападения».

Были грабежи и на «Невской перспективе», так что приказано было восстановить пикеты из солдат для прекращения сих «зол». Имеется также известие, что на Выборгской стороне, близ церкви Сампсония, в Казачьей слободе, состоявшей из двадцати двух дворов, разные непорядочные люди имели свой притон. Правительство сделало распоряжение перенести эту слободу на другое место.

Бывали случаи грабительства даже в самом Петербурге, которые в судебных актах того времени назывались «гробокопательствами». Так, в одной кирхе оставлено было на

ночь тело какого-то знатного иностранного человека. Воры пробрались в кирху, вынули тело из гроба и ограбили. Воров отыскиали и казнили смертью.

Для прекращения разбоев правительство принимало сильные меры, но меры эти не достигали своей цели. Разбойников преследовали строго, сажали живых на кол, вешали и подвергали другим страшным казням, а разбои не унимались. Одно подозрение в поджоге неминуемо влекло смерть. Так, по пожару на Морской улице Тайная канцелярия признала поджигателями, «по некоторому доказательству», крестьянского сына Петра Петрова, называвшегося «водолаз», да крестьянина Перфильева. Их подвергли таким страшным смертным пыткам, что несчастные, «желая продолжить живот свой», вынуждены были облыжно показать, будто их подкупали к поджогу другие люди, которые на самом деле были не причастны. В конце концов Петрова и Перфильева сожгли живыми на том месте, где учинился пожар.

Вообще облыжные показания и доносы в то время делались даже от самых близких лю-

дей, например, от жен и мужей; доносчики получали хорошие награды.

Капитан морской службы Александр Возницын, православной веры, будучи в Польше у жида Бороха Лейбока, принял жидовство с совершением обрезания. Жена Возницына, Елена Ивановна, учинила на него донос. Возницын был жестоко пытаем на дыбе и сожжен на костре, а жена, сверх законной части из имения мужа, от щедрот императрицы получила еще сто душ с землями «в вознаграждение за правый донос».

Императрица Елизавета Петровна особое почтение имела к духовенству и очень часто приглашала во дворец членов Святейшего Синода, беседовала с ними и особенно, как мы знаем, приблизила к себе своего духовника Федора Дубянского. Это был человек внушительно-благообразной физиономии, обладавший даром слова и, что важнее, умевший пользоваться благоприятными для себя минутами.

Императрица часто, как мы знаем, от увеселения переходила к посту и молитвам. Начинались угрызения совести и плач о грехах.

Она требовала к себе духовника. И являлся он, важный, степенный, холодный, и тихо и плавно лились из уст его слова утешения. Мало-помалу успокаивалась его державная духовная дочь и в виде благодарности награждала его землями, крестьянами и угодьями. Одно его имение на Неве стоило больших денег.

К замечательным постройкам описываемого нами времени, кроме упомянутых нами, должны относиться дома графов Строгановых на Невском, Воронцова на Садовой улице, теперь пажеский корпус, Орлова и Разумовского, ныне Воспитательный дом, Смольный монастырь и ставший гордостью императорского дома — Зимний дворец.

Первый Зимний дворец, в царствование императрицы Анны, расположен был в виде неправильного квадрата в четыре этажа, имел в длину 65, в ширину — 50 и в высоту был 11 сажень. Он занимал место, на котором при Петре находился обширный дом адмирала графа Ф. М. Апраксина, по смерти которого дом, по завещанию, достался императору Петру II. Императрица Анна Иоанновна, возвра-

тившись из Москвы с коронавания, остановилась в этом доме, ранее этого, в декабре 1730 года, приказав гоф-интенданту Мошкову сделать к нему пристройки, как-то: церковь, четыре покоя для кабинета, четыре для мыльни, три для конфетных уборов и т. д. Работы были возложены на полковника Трезини, который и выполнил их в семь месяцев, и к осени все было готово для принятия государыни.

Императрица медлила, ожидала зимнего пути, в январе выпал снег, и весь двор в трое суток прибыл из Москвы в Петербург. Императрица, вступив на крыльцо адмиральского дома, навсегда утвердила его дворцом русской столицы. Несмотря на сделанные пристройки, адмиральские палаты не могли доставить всех удобств, каких требовал двор императрицы. Крытые гонтом, тесные, они не заключали в себе ни одной порядочной залы, где бы прилично можно было поместить императорский трон.

Являлась настоятельная потребность строить новый дворец, и 27 мая 1732 года он был заложен и окончен внутренней отделкой к 1737 году. Для работ употреблялись почти все

находившиеся в Петербурге рабочие силы, даже от строения Александро-Невского монастыря были отняты каменщики и другие мастера. Все здание вмещало в себе: церковь, тронную залу с аванзалой, семьдесят разной величины покоев и театр. Дворец первоначально покрыт был гонтом. Впоследствии же, однако, его перекрыли железом, а весь гонт из разобранной крыши императрица пожаловала на казармы Измайловского полка.

Пристройки и переделки к Зимнему дворцу не могли все-таки сообщить зданию удобств. При этом самая странность вида дворца, примыкавшего с одной стороны к адмиралтейству, а с противоположной стороны к ветхим палатам Рагузинского, не могла нравиться обладавшей эстетическим вкусом императрице Елизавете Петровне. От ворот по правую руку, с луговой стороны местность, кроме того, представляла пестро-грязный, недостойный дворца вид. Длинный ряд деревянных построек, сараи, конюшни — все это некрасиво, кое-как лепилось к дворцу.

Поэтому в 1754 году императрица решилась заложить новое здание, сказав, что «до

окончания переделок будет жить в Летнем новом доме», приказав строить временный дворец на порожном месте бывшего Гостиного двора, на каменных погребках у Полицейского моста. В июле начали бить сваи под новый дворец. Нева усеялась множеством барок, и на всем пространстве от дворца к Мойке рассыпались шалаши рабочих. Словом, работа закипела.

Императрица Елизавета Петровна внимательно следила за ней, но, увы, ей не довелось видеть ее окончания. Постройка шла очень медленно. Для рабочих не могли найти крова, они жили в шалашах и землянках на лугу или же в отдаленных частях города. Лучших мастеров с трудом разместили на Крюковом дворе, в Мусин-Пушкинском, Панинском. Несмотря ни на какие усилия, Растрелли не мог исполнить приказания императрицы насчет поспешного окончания работ.

Первой остановкою работ была невыдача денег рабочим. Вместо 120 тысяч отпускали в год 70 тысяч или даже 40 тысяч рублей.

Растрелли от огорчения заболел. Больной, он, однако, не переставал действовать. Пред-

писания и рапорты подписывал за него бывший при нем помощник Фельтен. Независимо от неудобств местоположения Зимнего дворца, переделка его и постройка нового — временного исходили из странной, усвоенной особенно в последние годы царствования императрицей Елизаветой Петровной привычки переезжать из одного дворца в другой, так что самые близкие придворные государыни не знали, где и в каком дворце ее величество будет проводить ночь.

Любимым местопребыванием Елизаветы Петровны вне Петербурга было Царское Село, где она не только проводила лето до поздней осени, но часто уезжала туда и зимою.

XXIV

Царское село

Таким со своей внешней стороны и по своей внутренней жизни являлся Петербург в тот год, когда в великосветских его залах и гостиных должна была появиться из глубины тамбовского наместничества княжна Людмила Васильевна Полторацкая, появиться, но вместе с тем, волею судеб, не возвращаться только исключительно среди придворной знати, к которой принадлежала по своему рождению, а близко соприкоснуться и с «подлым народом», как называли тогда простолюдинов, и даже с самыми низменными, упомянутыми нами, его подонками. Тлетворные миазмы этого гнилого болота не могли не отразиться на едва распускающемся цветке, придавая ему более яркую окраску, ускоряя его цветение, а вместе с тем и гибель.

Но не будем опережать события.

Возвратившиеся на стогны невской столицы гораздо ранее прибытия в нее княжны Полторацкой, князь Сергей Сергеевич Луго-

вой и граф Петр Игнатьевич застали Петербург запустелым. Двор еще находился в Царском Селе.

Царское Село было собственностью императрицы Елизаветы Петровны еще тогда, когда она была цесаревною. Она и тогда любила это свое поместье и заботилась о его украшении и благолепии. Так, когда в Царском Селе сгорела до основания от удара молнии Благовещенская церковь, цесаревна повелела в 1734 году заложить на этом месте Знаменскую церковь. Закладка отличалась особенною торжественностью, на ней присутствовала сама цесаревна и множество придворных. При кладке камней происходила пушечная пальба.

Мысль построить церковь во имя Знамения Божьей Матери возникла у цесаревны не случайно. По преданию известно, что находящаяся в этом храме икона с древних времен составляла собственность, цареградских патриархов, и один из них, святой Афанасий, посетив в 1656 году царя Алексея Михайловича в Москве, поднес ему эту икону, и она с тех пор находилась во дворце, благоговейно по-

читаемая и называвшаяся фамильною. Она переходила от венценосных родителей к их наследникам как драгоценный знак родительского благословения. Елизавета Петровна на себе испытала особенные милости через эту икону и прославила ее как чудотворную.

В честь этой иконы и основала она каменную церковь. Последняя была освящена в 1747 году, когда Елизавета Петровна была уже императрицею. Освящение было тоже очень торжественное, икона была перенесена из петербургского дворца с крестным ходом, в котором участвовала сама императрица. Кроме главного алтаря во имя Знамения, были приделы: правый во имя святой Екатерины и левый — Захария и Елизаветы.

Другая историческая драгоценность этого храма — напрестольный серебряный крест, очень древний, имеющий четыре конца, каждый в виде трех полукругов, соединенных между собою. В кресте находятся многие частички мощей святых. Крест этот принадлежал Петру Великому, от него перешел к Елизавете Петровне, а ею пожертвован перед

освящением храма.

С 1725 года мыза Сарская в бумагах официально называется «Царским Селом». В следующем году здесь построен новый кирпичный завод и устроен третий уступ в саду позади леса к малому каналу и нижнему, или мельничному, пруду. В 1726 году, по именному указу Петра II, Царское Село поступило во владение цесаревны Елизаветы Петровны. Первая постройка, возведенная здесь ею, — деревянная конюшня ниже ручья Вангиза, против сада. На этот конюшенный двор было прислано шесть человек матросов для караула, чтобы никого без билета не пропускать, по царскосельской перспективной дороге, от Средних Рогаток.

В бытность свою цесаревной Елизавета Петровна, после невольного переезда из Москвы в Петербург, почасту и подолгу жила в Царском Селе. Она заботилась о разведении фруктовых деревьев в садах, в прудах разной рыбы, устроила зверинец для оленей, последних цесаревна ловила живыми, и была лосей, оленей со своими придворными в окрестностях. Забавлялась Елизавета Петров-

на и тетеревами, охотясь на чучела. На двух брусках, сделанных вроде полозьев, ставились будки, снаружи их убирали ельником, внутри ставили печку, потолок, стены и пол обивали войлоком и выбеленной холстиной. Будки перевозились с места на место и ставились там, где было более тетеревов.

Елизавета Петровна любила, как мы уже знаем, жизнь тихую, мирную, вдали от двора и столицы. По вступлении своем на престол она указом от 19 февраля 1742 года освободила приписанных к селу Царскому крестьян на два года от всяких работ и повинностей. Императрица Елизавета Петровна посетила Царское Село после коронации, по прибытии из Москвы 3 февраля 1743 года. В этот день там состоялось большое празднество, а вечером была зажжена роскошная иллюминация.

В этом же году начата пристройка правого и левого флигеля ко дворцу. Собственно, указ о постройке большого дворца был дан графу Растрелли императрицей в 1744 году, в январе месяце. При ней на всем дворцовом здании было устроено девять высоких балюстрад с тумбами, на которых поставлены были вазы,

статуи, деревянные, позолоченные.

Здание дворца, которое поручила Елизавета Петровна построить графу Растрелли, должно быть построено в три этажа, длиною четырнадцать сажен, шириной в девять и вышиной до семи, — дворец со всем блеском украшений, приличный жилищу владетельницы обширной империи. Искусный зодчий сделал все, чего требовала изысканная роскошь того времени.

Самая замечательная комната во дворце, дивившая современников, была, бесспорно, янтарная комната. По свидетельству Георги, она была прислана императрице Анне Иоанновне прусским королем.

Вот что он говорил про нее: «Золотая комната обита вместо обоев янтарными дощечками и украшена четырьмя досками, на которых пять чувств изображены мозаической работою... Король прусский Фридрих-Вильгельм I подарил императрице Анне Иоанновне эти янтарные дощечки, а императрица ему обратно восемьдесят больших рекрут».

Старший архивариус К. Щученко проверял указание Георги относительно янтарной ком-

наты и нашел, что оно неверно. Янтарная комната прислана января 13-го 1717 года в дар государю Петру I прусским королем. Французский мастер, делавший ее, жил в Данциге, фамилия его Гоффрин Тусо.

Янтарная комната первоначально устроена была в малом Зимнем дворце, в котором жил и скончался Петр Великий, где теперь эрмитажный театр, у Зимней канавки.

Перенесена она была в Царское Село архитектором графом Растрелли. У Яковнина имеется свидетельство, что 1 августа 1755 года началась уборка янтарем одной комнаты, которую называли потом янтарной.

Император Петр I отправил к королю за эту комнату с камер-юнкером Толстым в июне месяце 1718 года не восемьдесят, а пятьдесят пять самых великорослых рекрутов[4].

В числе роскошных комнат дворца оригинальны и драгоценны два яшмовых и порфирных кабинета, известных под именем «агатовых комнат».

Самое Царское Село не переставало, в описываемое нами время, украшаться новыми постройками.

В 1745 году начата постройка «Пустыньки», или Эрмитажа, по плану графа Растрелли.

Здание это было окружено каналом с каменной балюстрадой, за которой все пространство до здания устлано было шахматными белыми и синими мраморными плитами, берега и дно канала были выложены сперва деревом, а потом камнем, через канал были красивые подъемные мостики.

Все наружные украшения, как и на большом дворце, были густо вызолочены, все здание построено крестообразно.

В зале Эрмитажа был любопытный стол, устроенный в верхнем этаже таким образом, что тарелки и бутылки поднимались и опускались посредством особого механизма, будто по волшебству. В этом зале можно было обедать без всякой прислуги: стоило только написать, что желаешь, на аспидной доске грифелем, положить на тарелку, дернуть за веревку, зазвонить колокольчиком, тарелка быстро опускалась и почти мгновенно представляла требуемое.

Посреди этого здания есть колодезь с пре-

восходной студеной водой; вода в нем всегда находится на одинаковой высоте, посредством особого механизма.

В Эрмитаже всех столов подъемных было пять и тридцать пять труб, по которым подымались тарелки.

В 1745 году в царскосельскую церковь был доставлен иконостас, бывший на Петербургской стороне, в Троицком соборе, подле домика Петра I.

В 1748 году построен был в зверинце павильон.

За все это время на постройку в Царском Селе употреблено 299 072 рубля 68 копеек.

Любимая тема

Другим любимым загородным местом императрицы Елизаветы Петровны была так называемая «Собственная дача». Она лежала у Нижней Ораниенбаумской дороги, в расстоянии трех верст от большого Петергофского дворца.

По преданию, имение это было подарено Петром I известному его сподвижнику по образованию российской иерархии — псковскому и новгородскому архиепископу Феофану Прокоповичу. По смерти Феофана эта его приморская дача поступила во владение великой княгини Елизаветы Петровны. Последняя еще при жизни Феофана очень часто навещала этот загородный дом владыки, любовалась местоположением и не раз выражала свое желание приобрести его. При вступлении на престол императрица наименовала имение Феофана «Собственною дачею».

Здесь в загородной тиши государыня отдыхала от трудов и развлекалась фермерным хо-

зьяйством, имела всегда при себе от кладовых ключи, почему в «Собственную дачу» не дозволялось никому из мужчин входить без доклада. Елизавета Петровна часто в разговорах вспоминала бывшего владельца ее любимой дачи — сподвижника ее отца и рассказывала разные эпизоды из его жизни.

Родом Феофан Прокопович был из купеческого звания, родился в Киеве и назван был Елеазаром. Осиротел он еще в младенчестве и на восьмом году вторично оказался без родных, потеряв своего дядю, киевского иеромонаха Феофана Прокоповича, приютившего его как сына. С этих лет его взял один из граждан киевских и поместил его в Киевскую академию.

Семнадцати лет он отправился в Литву, где назвался униатом и вступил в братство Бичевского Базилианского монастыря, причем был наречен Елисеем. Отличные успехи его в науках обратили на себя внимание, и он был отправлен в Рим в тамошнюю академию.

Оставив Россию, Елисей, под видом путешественника, возвратился через Венецию и Австрию в Польшу, пришел в православный

Почаевский монастырь и там постригся, приняв имя Самуила. В 1704 году киевский митрополит Варлам Ясинский вызвал к себе Самуила и поставил его в Киевскую академию учителем стихотворства. При следующем монашеском постриге Самуил принял имя своего дяди Феофана.

Наставническая карьера Феофана продолжалась семь лет. В эти годы он обучал юношей риторике, философии, арифметике, геометрии и даже физике. За эти годы он умел возвыситься до префекта академии, и в 1706 году он, в присутствии Петра Великого, посетившего Киев, отличился весьма красноречивою проповедью, а в следующем году имел счастье приветствовать полтавского победителя пышным и великолепным «панегириком» и вслед за тем всенародно произнес слово о князе Меншикове, сказав, между прочим, гордому временщику:

— Мы в Александре видим Петра и его священнейшему величеству в твоём лице поклоняемся.

С этих дней карьера Прокоповича была сделана, и он в 1711 году сопровождал госуда-

ря в прусский поход, затем назначен игуменом киево-братского монастыря и ректором академии, а в 1716 году, по высочайшему повелению, был вызван в Петербург. Он прибыл в столицу и не застал Петра, который уехал за границу. К приезду монарха ему было поручено написать три речи: первую от лица двухлетнего сына царя Петра Петровича, вторую от лица царевен Анны и Елизаветы и третью от лица российского народа. Когда Петр приехал в Петербург и в тот же день вошел в комнату своего сына, то первую из речей произнес Меншиков, вторую — старшая царевна, а третью — сам Феофан.

С этого времени начался ряд проповедей этого красноречивого витии, которыми ознаменовывались все торжественные случаи жизни Петра I и его преемников.

Через год после первой проповеди Феофан в присутствии самого царя был хиротонисан во епископы псковские и новгородские, и в тот же день, в знак особого отличия, получил саккос, которого не имели все прочие епископы, священнодействующие в фелони с одним только омофором.

По поручению царя Феофан Прокопович написал «Духовный регламент». Этим сочинением он вооружил против себя и навлек на себя гонение местоблюстителя патриаршего престола Стефана Яворского, который заподозрил Феофана даже в неправославии. Петр лично защищал Феофана от наветов Стефана.

Феофан был одним из священнодействующих лиц при кончине Петра Великого. Приготовление к смерти императора имело особый характер. По его приказанию близ его спальни была поставлена подвижная церковь. Государь два раза причащался святых тайн, приказав выпустить из застенков колодников. В городе и окрестностях молились во всех церквях об его выздоровлении.

Когда больной, видимо, стал приближаться к кончине, к нему были приглашены два епископа, Феофан и Феофилакт, и затем еще чудовский архимандрит. Умиравшие уста монарха, слушавшего предсмертные молитвы, по временам произносили:

— Сие только услаждает меня и умаляет мою жажду. Верую и уповаю!

Эти слова он повторил много раз. Прича-

стившись святых тайн вторично, Петр стал спокойнее, и после, когда Феофилакт прочитал отходную, государь умер с великою болью и с великими верою, терпением, благочестием и надеждою на Бога.

При погребении Петра I преосвященный Феофан произнес свое знаменитое слово, которое не изгладилось и сейчас из предания.

— Что се есть? — так начал владыка надгробие. — Что видим? Что делаем, о россияне! Петра Великого погребаем.

При этих словах церковный вития, тронутый до глубины души, сам прослезился и извлек слезы у присутствующих. Феофан в надгробном слове называл Великого Петра за учреждение флота «российским Иафетом», за мужество — «российским Самсоном», за закон — «Моисеем», за великий смысл и премудрость — «российским Соломоном» и за духовное правительство — «российским Давидом и Константином».

Императрица Елизавета Петровна рассказывала о погребении своего отца и надгробном слове Феофана всегда со слезами на глазах.

Жизнь Феофан, по словам императрицы Елизаветы Петровны, вел далеко не монашескую. Он имел у себя лучшую, какая только быть тогда могла, музыку, инструментальную и вокальную. Иностранные министры находили удовольствие искать в нем дружество, часто посещали его и были угощаемы постным столом. Такие пирушки иногда продолжались далеко за полночь.

— Знаменитый сей человек, — говорила императрица, — пользуясь этим, проникал в самые секретнейшие их планы и сообщал оные монарху, почему и было ему угодно таковое сего архиерея обращение.

Но это не нравилось духовенству, и преимущественно митрополиту Стефану Яворскому, который и жаловался на это государю. Один из архиереев, узнав однажды, что иностранные министры ужинают у Феофана, донес о том императору. Государь сказал ему:

— Хорошо, поедем к нему с тобой и увидим, правда ли то...

Для поездки государь назначил самую полночь.

Феофан жил в то время в своем доме на Ап-

текарском острове, на берегу речки Карповки. В назначенный час государь с архиереем в простых санях подъехали к дому Феофана и слышали звуки музыки и голоса пирующих. Государь с архиереем вошли в собрание. Случилось так, что хозяин в то самое время держал в руках кубок вина. Увидав государя, он дал знак, чтобы музыка умолкла, и, подняв руку, с большим громогласием произнес:

— Се жених грядет в полунощи и блажен раб, его же обрящет бдяща, недостоин же, его же обрящет унывающа. Здравствуй, всемило-стивейший государь!

В ту же минуту поднесли всем присутствующим по такому же бокалу вина, и все выпили за здоровье его величества. Государь, обратившись к сопровождавшему его архиерею, сказал:

— Ежели хотите, то можете остаться здесь, а буде не изволите, то имеете волю ехать домой, а я побуду в столь приятной компании.

Архиерей остался.

Феофан принимал у себя много знаменитых лиц, посещавших столицу. У него гостили китайские послы, посещал его принц Бе-

вернский, впоследствии супруг Анны Леопольдовны, угощал он у себя и гданских депутатов. Посетила его приморскую мызу и императрица Анна Иоанновна. На этот случай Феофан написал стихи на латинском языке и русском.

Жил Феофан очень роскошно, денежные доходы и хлебные и прочие сборы с принадлежащих его новгородскому архиепископскому дому сел и деревень были очень велики.

Экономом, ведающим хозяйством владыки, был у Феофана иеромонах Герасим.

По следственному делу Волынского между множеством лиц был взят и отец Герасим для объяснения, какие он делал подарки Волынскому.

Эконом показал, между прочим, что однажды, когда он был у Волынского, последний спросил его между разговором:

— Говорят, у вас хороший солод?

Герасим счел это за намек известного рода и послал кабинет-министру пятнадцать четвертей солоду.

Феофан умер 8 сентября 1736 года, на пятьдесят пятом году жизни. Умирая, он приста-

вил ко лбу указательный палец и произнес:

— О главо, главо! Разума упившись, куда ее преклонишь.

После его-то смерти приморская дача и поступила во владение цесаревны Елизаветы Петровны.

На приморской даче стояла деревянная церковь во имя святой Троицы, одноголовая, без колокольни, и каменный двухэтажный дом, похожий архитектурой на существующий в нижнем саду Петергофа домик Марли, построенный Елизаветой Петровной в память Петра I. Воспоминания о великом отце, которого Елизавета Петровна беззаветно любила, делали то, что она привязывалась к каждому месту, с которым были соединены эти воспоминания. Оттого-то в памяти государыни и сохранилась так живо и ясно почти вся жизнь ее отца, не говоря уже о выдающихся ее моментах.

Эта жизнь прошла мимо нее в раннем детстве и глубоко запечатлелась в ее детской памяти. Кроме того, она охотно слушала разных современников и соратников ее отца о его жизни и деятельности и запоминала их. В

кругу своих близких придворных она часто отдавалась воспоминаниям, подобным приведенным в этой главе, за которую, хотя не относящуюся прямо к нашему повествованию, надеюсь, не посетует на нас читатель.

Императрица любила Петербург как создание своего отца и благоговела перед каждым памятником, напоминавшим великого преобразователя.

С грустью смотрела государыня в будущее.

Наследник ее Петр Федорович был только тезкой великого государя, но далеко не приближался к нему ни одной чертой своего ума и характера. Он был «внук Петра Великого» только по имени. Императрица Елизавета не могла, конечно, подозревать, что достойной преемницей ее великого отца на русском престоле будет великая княгиня Екатерина Алексеевна.

Молодой двор

Остававшиеся в Петербурге товарищи и знакомые князя Сергея Сергеевича Лугового и графа Петра Игнатьевича Свиридова, конечно, поделились с ними петербургскими новостями и рассказали обо всем случившемся за время их отсутствия.

Внимание всех в описываемое нами время было обращено на так называемый «молодой двор», то есть на великого князя Петра Федоровича и великую княгиню Екатерину Алексеевну вообще и на их отношения между собою в частности.

Несмотря на то что князь Луговой и граф Свиридов прибыли в Петербург в сентябре месяце, в городе еще не переставали говорить о происшествии в Гостилицах, именье Алексея Григорьевича Разумовского, происшествии, чуть не стоившем жизни великому князю и великой княгине. Вот как передавали о случившемся со слов последней.

В исходе мая, в Вознесение, оба двора, «ста-

рый» и «молодой», с многочисленной свитой поехали в Гостилицы к графу Разумовскому. 23-го числа того же месяца государыня пригласила туда императорского посла, барона Претлаха. Он провел там вечер и ужинал с императрицей. Ужин этот продолжался далеко за полночь, так что когда великий князь и великая княгиня со свитой возвратились в отведенный им маленький домик, солнце уже вошло. Этот деревянный домик стоял на небольшом пригорке у катальной горы. Положение этого дома им понравилось еще зимой, когда они были на именинах у обер-егермейстера, и, чтобы сделать удобное их высочествам, он им его отвел.

Дом был двухэтажный, в верхнем этаже были лестницы, зала и три комнаты; великий князь и великая княгиня спали в одной, великий князь одевался во второй, в третьей жила госпожа Крузе, внизу расположились Чеглоковы, фрейлины великой княгини и ее камер-фрау. Возвратившись с ужина, они все улеглись спать.

Около шести часов утра некто Левашев, сержант гвардии, приехал из Ораниенбаума

переговорить с Чеглоковым насчет построек, которые там производились. Найдя тех еще спящими, Левашев сел около часового и ему слышалось, что что-то трещит. Это возбудило в нем подозрение.

Солдат сказал ему, что, с тех пор как он стоит на часах, треск уже несколько раз повторялся. Левашев обошел дом и увидел, что из-под дому вываливались большие камни. Он тотчас разбудил Чеглокова и сказал ему, что фундамент дома опускается и что надо из него всех вывести.

Чеглоков схватил халат и побежал наверх. Там стеклянные двери были заперты. Он велел выломать замки и, дойдя до комнат, где спали великий князь и великая княгиня, отдернул занавески, разбудил их и сказал, чтобы они скорее вставали и уходили, так как под домом провалился фундамент.

Великий князь спрыгнул с кровати, схватил шлафрок и убежал. Екатерина Алексеевна сказала Чеглокову, что выйдет вслед за ним, и он ушел. Она торопилась одеться, одеваясь, вспомнила про мадам Крузе, которая спала в соседней комнате. Великая княгиня

поспешила разбудить ее; но, так как она спала очень крепко, то она едва добудилась ее и насилиу могла ей растолковать, что надо скорее выходить из дому. Она помогла ей одеться, и, когда она была совсем готова, они пошли в залу.

Но едва успели они переступить порог, как все провалилось, и они услышали шум, похожий на тот, который бывает при спуске корабля на воду. Мадам Крузе и великая княгиня упали на пол. В эту минуту из противоположной двери, со стороны двора, вошел Левашев. Он поднял Екатерину Алексеевну и вынес из комнаты.

Случайно она взглянула в ту сторону, где была катальная горка. Она стояла прежде в уровень со вторым этажом, а теперь, по крайней мере, на аршин была выше.

Левашев дошел с великой княгиней до лестницы, по которой взошел. Ее уже не было — она провалилась. Несколько человек взобрались наверх по обломкам. Левашев передал великую княгиню ближайшему, тот дальше, и, таким образом, переходя из рук в руки, она очутилась в сенях, откуда ее вынес-

ли на луг. Там она нашла великого князя в шлафроке.

Выйдя из дому, великая княгиня стала пристально рассматривать то, что происходило там, и увидела, как некоторые выбирались и выносили окровавленных людей. В числе наиболее пострадавших была фрейлина великой княгини, княжна Гагарина. Она хотела выбраться из дому, как все другие, но только что успела перейти из своей комнаты в следующую, как печка стала рушиться, повалила экран и опрокинула ее на стоявшую там постель, на которую посыпались кирпичи. С ней была одна девушка, и обе они очень пострадали.

В этом же нижнем этаже находилась небольшая кухня, где спали несколько человек из прислуги. Трое из них были задавлены.

Но это еще было ничего в сравнении с тем, что произошло между фундаментом дома и нижним этажом. Там спали шестнадцать работников, приставленных смотреть за катальной горой. Все они до одного погибли под осевшим зданием.

Весь фундамент состоял из четырех рядов

известкового камня. В сенях первого этажа архитектор велел поставить двенадцать деревянных столбов. Ему надо было ехать в Малороссию, и, уезжая, он сказал гостилицкому управляющему, чтобы до его возвращения он не позволял трогать этих подпорок. Несмотря на запрещение архитектора, управляющий, как скоро узнал, что великий князь и великая княгиня со свитой займут этот дом, тотчас приказал вынести эти столбы, которые безобразили сени.

С наступлением оттепели все строение село на четыре ряда известковых камней, которые от этого расползлись в разные стороны, и вместе с тем самый дом начал скатываться с горы, на которой стоял, до маленького пригорка, который и остановил дальнейшее падение.

Великая княгиня отделалась несколькими синяками и страшным испугом, вследствие которого ей пустили кровь. Все были до того испуганы, что в продолжение долгого времени после происшествия каждая громко захлопнутая дверь заставляла их вздрагивать.

В тот же день, как скоро прошел первый

страх, императрица Елизавета Петровна, обитавшая в другом доме, призвала к себе великого князя и великую княгиню. Ей не верилось, чтобы опасность, в которой они находились, была велика, потому что все старались представить ее незначительной, а иные даже утверждали, что опасности вовсе никакой не было. Испуг великой княгини очень не понравился государыне и, она за него несколько дней на нее дулась. Алексей Григорьевич Разумовский был в отчаянии и говорил даже, что с горя застрелится.

— Но, видно, ему отсоветовали, потому что он остался жив, — с присущим ей сарказмом заметила великая княгиня, рассказывая об этом событии.

Понятно, что обо всем этом, не исключая и последнего ядовитого замечания великой княгини Екатерины Алексеевны, говорил весь Петербург.

«Молодой двор», повторяем, составлял центр, на который было обращено внимание не только политиков того времени и высших придворных сфер, но и вообще всего петербургского общества.

Известия о нем ловили и, понятно, с прикрасами пускали по всему городу. Все замечали, что здесь готовится драма.

«Внук Петра Первого», как сказано было в манифесте Елизаветы Петровны, не таинственный незнакомец для русских, сын Анны Петровны Петр Федорович долго был страшным лицом русских венценосцев, как призрак.

Анна Иоанновна и Анна Леопольдовна ненавидели этого голштинского «чертушку».

Елизавета Петровна решилась заклясть призрак тем, что вызвала его из далекой тьмы на русский свет. Но она это сделала так потаенно, что не знали ни Сенат, ни сам Бестужев.

Петр Федорович рано осиротел и получил жалкое воспитание. Дядька, «способный лишь обучать лошадей», умел только сечь его и внушил ему отвращение к наукам. Став императором, питомец выбросил латинские книги из своей библиотеки. Даже Елизавета Петровна была поражена невежеством племянника и приставила к нему академика, который, впрочем, мог обучать его только кутежам.

В 1745 году, когда Петру Федоровичу было семнадцать лет, его женили, и он проявил свой нрав как человек уже самостоятельный. Болезненный, бесчувственный телом и бешеный нравом, с грубыми чертами вытянутого лица, с неопределенною улыбкою, с недоумевающими глазами под приподнятыми бровями, «ужасно дурной» после оспы, по словам его жены, Петр Федорович не скрывал радости при победе пруссаков над русскими.

Он любил только свою Голштинию, завел родную обстановку, окружил себя шлезвигскими офицерами, собирался отдать шведам завоевания своего деда, дабы они помогли ему отнять Шлезвиг у Дании.

Еще была у него, как мы знаем, страсть к Фридриху II. Он благоговел перед «величайшим героем мира» и готов был продать ему всю Россию. Ему были известны имена всех прусских полковников за целое столетие.

Фридрих основывал свои расчеты на этом своем слепом орудии в Петербурге. Он надеялся также на жену Петра Федоровича, отец которой состоял у него на службе. Говорили даже, что, когда он пристраивал ее к русско-

му престолу, она дала ему слово помочь Пруссии. Но в этой женщине ошиблись все, кто думал сделать ее своим орудием.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна, которая было только годом моложе Петра Федоровича, родилась в Штеттине, где ее отец был губернатором. Когда ей минуло пятнадцать лет, ее мать, снабженная наставлениями Фридриха II, привезла ее в Петербург. Через год она была обвенчана, вопреки предостережениям врачей насчет болезненности жениха, вопреки ропоту духовенства — Петр Федорович приходился ей двоюродным братом по матери. Почти девочка, из «крошечного» немецкого двора она попала в глубокий омут козней. Ее окружили распри царедворцев, осложненные борьбой с Фридрихом, подозрительность императрицы, разжигаемая фаворитами, и раздоры с мужем. Через несколько лет после брака муж открыто высказывал ей свою ненависть.

В течение восемнадцати лет Екатерина Алексеевна одна выдерживала борьбу со всеми, начиная с Бестужева, который, как мы видели, сначала негодовал на нее и тотчас вы-

проводил ее мать домой.

Уже тогда великая княгиня говорила:

— Как скоро я давала себе в чем-нибудь обет, то не помню, чтобы когда-либо не исполнила его.

Тогда же она сказала себе:

— Умру или буду царствовать здесь!

«Одно честолюбие поддерживало меня», — признавалась Екатерина; «и оно все преодолевало», — подтверждают посланники держав.

Удалившись от большого двора, сторонясь мужа, великая княгиня в своем невольном уединении много училась и наблюдала. Ей скоро надоело чтение романов, она взялась за историю и географию. Ее стали увлекать Платон, Цицерон, Плутарх и Монтескье, в особенности же энциклопедисты и именно Вольтер, которого она называла своим «учителем». У нее была книжка в кармане, даже когда она каталась верхом — ее любимое занятие. Сильно подействовал на нее Тацит.

Она стала полагаться лишь на себя и не доверяться людям. Она во всем доискивалась причин, так что посланники прозвали ее «фи-

лософом». Цесаревна научилась притворяться. То лежала больной при смерти, то танцевала до упаду, болтала, наряжалась, разыгрывала смиренницу, угождала императрице и ее фаворитам, подавляя отвращение к мужу.

Она выказывала любовь ко всему русскому, даже соблюдала посты, скоро много узнала о стране, научилась говорить по-русски в совершенстве, вскакивала даже по ночам, чтобы долбить русские тетрадки.

К описываемому нами времени уже выяснялось блестящее будущее. Петр терял уважение окружающих и возбуждал к себе недоверие русских; даже враги Екатерины не знали, как отделаться от него. Великая княгиня была лишена даже материнского утешения. Когда у нее в 1754 году родился сын Павел, Елизавета Петровна тотчас же унесла ребенка в свои покои и редко показывала его ей.

Это увеличивало сочувствие, которое наследница престола приобретала с каждым днем. Ее уже уважали и противники. Подле нее образовался кружок приверженцев из русских. Ей тайком предлагали свои услуги даже Шуваловы и Разумовские. К ней повер-

нулся лицом сам Бестужев, ненавидевший друга Фридриха — Петра.

Такое было положение «молодого двора» вообще и в частности великой княгини Екатерины Алексеевны в придворных петербургских сферах. Даже самые ловкие и юркие придворные чувствовали себя в положении пловцов посреди реки, недоумевающих, к которому берегу им пристать. Наружное спокойствие водной поверхности у обоих берегов казалось им злоещим и могущим скрывать глубокий омут.

Положение это было обострено до крайности в то время, когда в великосветских гостиных Петербурга разыгралась таинственная история, которая послужит предметом последней части нашего правдивого повествования.

Часть третья

Мертвая петля

I

Доклад камердинера

Что ты за вздор болтаешь?
— Не вздор, ваше превосходительство, а только докладываю, что на дворе гуторят, и не было бы нам оттого какого лиха... Доложить ведь отчего не доложить, а там как прикажете.

— Что же мне приказывать?

— Розыски прикажете учинить или запрет об этом говорить положите, ваша барская воля.

— Да откуда это пошло? Кто такой слухливый пустил?

— Разно говорят, ваше превосходительство... Одни бают, что Егорка кучер в кабаке от прохожего слышал, а другие, что странник в людскую заходил, поведал.

— Странник?

— Странник, ваше превосходительство, из

тамошних мест.

— А ты спрашивал Егора?

— Спрашивал.

— Что же он?

— Исклялся, проходимец, что ничего не слышал, никакого прохожего не видел и в кабаке не был.

— А пьян ежедневно?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Где же он напивается?

— Я ему это тоже в линию ставил, а он, охальник, несуразное говорит.

— Что же несуразное?

— Николи, говорит, я пьян не бываю.

— Вот как. Вели-ка всыпать ему полсотни горячих.

— Слушаю-с.

— А странника-то видел?

— Никак нет, ваше превосходительство, бабы болтают.

— Пришел, значит, в людскую странник и сказал, что-де княжна-то, что к вам в побывку приехала, не княжна?

— Так точно-с. Оно, значит, как бают, изда-дека начал о том, как, то есть, князь Сергей

Сергеевич беседку открывал.

— Слышал, слышал от княжны Людмилы.

— Да между слов и сказал... А княжна-то у вас из холопок... Тут к нему и пристали: как так из холопок? Ну, он и поведал.

— Гм...

— Все, как я вам докладывал, и выложил... Убита княжна и лежит в могиле, а над ней, над могилой то есть, крест и надпись, что погребена здесь Татьяна Берестова. А Татьяна-де эта живехонька, в княжну вырядилась и айда в Питер.

— Вот как...

— Точно так, ваше превосходительство.

— А где же этот странник?

— Не могу знать, ваше превосходительство... Известно, Божий человек... Ему пути не заказаны...

Разговор этот происходил в одно прекрасное утро в конце ноября 1756 года в кабинете действительного статского советника и кавалера Сергея Семеновича Зиновьева между ним и его старым камердинером Петром во время утреннего туалета его превосходительства. Сергей Семенович некоторое время мол-

чал.

— Так как же прикажете?

— Разумеется, приказать держать язык за зубами и не повторять всякого вздору, сочиненного разными проходимцами... Мне ли не знать мою племянницу...

Последние слова Зиновьев произнес с некоторою расстановкою, как бы в раздумье.

— Слушаю-с! — ответил Петр и не спеша вышел из кабинета.

Сергей Семенович остался один, но, прежде чем собрать нужные ему на сегодня в месте его служения бумаги и выехать из дому, стал ходить взад и вперед по кабинету, поправляя свой парик, который сидел хорошо на голове и, казалось, не требовал поправки. Этот жест, впрочем, был обыкновенен у Сергея Семеновича, когда он находился в волнении.

Доклад, переданный ему Петром, несмотря на то что он отнесся к нему при камердинере с полным равнодушием, сильно смутил брата покойной княгини Вассы Семеновны Полторацкой.

Перед смертью сестры он несколько лет не

виделся с нею, так как дела задерживали его в Петербурге.

В царствование Елизаветы Петровны необходимо было быть постоянно на глазах монархини, если чиновник занимал высокий пост и желал из честолюбия наград и повышений.

Сергей Семенович именно занимал подобный пост и был крайне честолюбив.

В числе милостей государыни было, между прочим, и сватовство ему Якобины Менгден, на которой он женился лет шесть тому назад.

Эта Якобина, если помнит читатель, была любимой фрейлиной императрицы Анны Иоанновны и невестой Густава Бирона, брак с которым был разрушен дворцовым переворотом, арестом жениха и его ссылкой.

Хотя Густав Бирон был в начале царствования Елизаветы Петровны возвращен, но прожил в Петербурге не долго и скончался внезапно. Говорили, что он сам отравился в припадке умственного расстройства, которое началось со дня его внезапного ночного ареста, но насколько верны были эти слухи — неизвестно.

Якобине Менгден от этого было не легче, и она даже с грустью стала примиряться с мыслью остаться в старых девах, когда заботливая о ней со дня восшествия на престол государыня возымела мысль выдать ее замуж за Зиновьева, тоже уже почти решившего остаться старым холостяком.

Само собою разумеется, что брак этот, заключенный по воле государыни, не имел ни малейшей романической подкладки, что, впрочем, не помешало бывшей Якобине Менгден, ныне Елизавете Ивановне Зиновьевой (она приняла православие вскоре после восшествия на престол государыни и сохранила свое второе имя Елизавета), забрать совершенно в руки своего мужа.

Расположение императрицы Елизаветы Петровны к Лизе, как она называла запросто Зиновьеву, делало то, что супружеское ярмо, которое надел на себя закоренелый холостяк Сергей Семенович, было не так-то легко сбросить.

Да он этого и не пытался делать.

Уступки жене вознаграждались повышением по службе, да и кроме того, в домашнем

быту он не мог ни на что жаловаться.

В доме царила немецкая аккуратность; на хозяйство, хотя после брака Зиновьевы, соответственно их положению в Петербурге, жили широко, Елизавета Ивановна сравнительно мало тратила денег.

Кроме того, несмотря на то что супруге Сергея Семеновича было сорок лет по самому дамскому счету, она еще очень сохранилась и обладала теми женскими прелестями и качествами, найти которые в жене такому пожилому человеку, как Зиновьев, не всегда удается.

За невестой он получил, кроме связей, и довольно значительное приданое, от милостей императрицы, так что и с этой стороны его брак не являлся невыгодным.

Достигнув тех лет, где при усиленной еще государственной деятельности требуется уже относительный домашний покой и комфорт, Сергей Семенович был доволен. Он дошел даже до того, что малейшая неприятность служебная и домашняя волновала его в сильной степени, как человека, привыкшего, чтобы его жизнь текла спокойным ручейком в глад-

ком песочном русле.

Сильно поэтому, почти до болезни, встретило Сергея Сергеевича письмо его племянницы княжны Людмилы Васильевны Полторацкой, которая в ярких красках описывала ему обрушившееся на нее несчастье — трагическую смерть ее матери, а его сестры, и служанки-подруги — Тани. Говорилось в письме о предшествовавшем катастрофе сватовстве князя Сергея Сергеевича, на которое выразила полное свое согласие покойная княгиня Васса Семеновна, сватовстве, объявление о котором, конечно, теперь отложено на время годовичного траура и о котором племянница просила дядю сохранить тайну. В конце письма княжна Людмила Васильевна уведомила Сергея Сергеевича, что прибывает в Петербург, и просила приюта в его доме до своего устройства в этом городе, покупки дома или же найма квартиры.

Сергей Семенович, посоветовавшись со своей супругой, отписал племяннице как выражение своего искреннего соболезнования, так и согласие и даже особое «родственное удовольствие» видеть ее в Петербурге и вре-

менно в своем доме. На слове «временно» особенно настаивала Елизавета Ивановна, вследствие своей немецкой бережливости опасавшаяся, чтобы племянница, хотя и богатая, пожалуй, долго проживет на хлебах дядюшки и, конечно, придет не одна, а в сопровождении дворовых людей в подобающем ее княжескому достоинству количестве.

В последнем Елизавета Ивановна не ошиблась.

В конце октября месяца княжна Людмила Васильевна прибыла в Петербург в сопровождении двенадцати дворовых людей — восьми мужчин и четырех женщин и поселилась в доме дяди на Морской улице.

Сергей Семенович и Елизавета Ивановна Зиновьевы встретили свою племянницу с родственной сердечностью.

Елизавета Ивановна, никогда не выдавшая княжну, конечно, не могла заметить в ней странной перемены, на которую обратил внимание Сергей Семенович, но приписал ее пережитому молодой девушкой потрясению и, кроме того, многолетней с нею разлуке.

Ему бросились в глаза некоторая резкость

манер и странность суждений молодой девушки, которые, по его мнению, не могли проявляться в ней, воспитанной под исключительным влиянием его покойной сестры, этого идеала тактичной и выдержанной женщины, несомненно, и своей дочери прививавшей те же достоинства.

«Сколько лет я с ней перед смертью не виделся... Может, и изменилась с годами...» — думал Сергей Семенович при каждой особо шокировавшей его выходке племянницы, выходке, далеко, впрочем, не выходявшей из рамок светского приличия, но, как ему казалось, не долженствовавшей иметь места у дочери княгини Вассы Семеновны.

Таинственный доклад камердинера Петра через месяц после приезда княжны Людмилы Васильевны, в связи с этими появлявшимися подчас в его голове мыслями, несказанно поразил его.

«Ужели и это самозванка?» — мысленно задавал он себе вопрос, ходя по кабинету, забыв и про деловые бумаги, и о том, что ему время отправляться на службу.

II

Самозванец

Мысли Сергея Семеновича Зиновьева невольно перенеслись за год тому назад, когда случилось происшествие, тоже сильно его взволновавшее и послужившее причиной далеко не шуточного столкновения между ним и его супругой Елизаветой Ивановной. Последняя одержала верх, но и теперь, при одном воспоминании о допущенной им, Сергеем Семеновичем, отчасти по слабости характера, отчасти из любви к покою, мистификации, он чувствовал, как под париком у него шевелились волосы. Он до сих пор принужден порой играть роль в этой неприглядной истории, утешая себя, впрочем, тем, что, нарушая законы дружбы, он действует по законам родства.

Дело в том, что с небольшим год тому назад Сергей Семенович, вернувшись в один далеко для него не прекрасный день со службы, застал в гостинной жены еще сравнительно не старую, кокетливо одетую красивую даму и

молодого, лет двадцати четырех или пяти, человека поразительной красоты. С первого беглого взгляда можно было догадаться, что это мать и сын. Так разительно было их сходство, особенно выражение глаз, черных как уголь, смелых, блестящих.

Сергей Семенович, увидав гостей, остановился пораженный, сделав несколько шагов по гостиной. Картины минувшего, казалось, вместе с этой дамой и молодым человеком широкой лентой потянулись перед его духовным взором. Он как-то сразу, внезапно узнал их. Перед ним сидела Станислава Феликсовна Лысенко и ее сын Осип.

Зиновьев стоял как замороженный, между тем как молодой человек встал с кресла и почтительным, но гордым поклоном приветствовал хозяина дома.

— Позволь тебя познакомиться, Серж, — раздался, и, как показалось Сергею Семеновичу, откуда-то издали, голос его жены, — моя сводная сестра, графиня Станислава Свянторжецкая, и ее сын Иосиф Янович. Прошу их любить и жаловать.

Сергей Семенович перевел свой почти бес-

смысленный взгляд с гостей на жену и обратно, пробормотал какое-то приветствие, поцеловал, по обычаю того времени, руку сестры своей жены и грузно опустился на кресло. Его голову, казалось, давила какая-то тяжесть. Он потерял способность соображать.

«Жена Ивана Лысенко — Станислава... Его сын — Осип... Графиня и граф Свянторжецкие...» — все это какими-то обрывками мыслей неслось в его голове, но не могло уложиться в ней в какую-либо определенную формулу.

Он ничего не понимал.

— Стася приехала ко мне уже устроившись в Петербурге... Я попеняла ей за это, — продолжала между тем Елизавета Ивановна. — Теперь она просит меня устроить ей представление ее величеству, которой одной она решается поручить сына. Ей необходимо будет уехать за границу... Ты, конечно, ничего не будешь иметь против того, чтобы я устроила ей это...

— Пан будет ласков, — вставила полурусским, полупольским языком Станислава Феликсовна.

— Почему же... Конечно... Это твое дело, — пробормотал Сергей Семенович, зная очень хорошо цену обращения со стороны жены за его согласием.

Эту комедию своей супружеской подчиненности Елизавета Ивановна неукоснительно проделывала при посторонних.

— Я завтра же утром буду у ее величества, а ты приезжай с Осей обедать, — решила Елизавета Ивановна, обращаясь к гостю.

Приезжие родственники поднялись со своих мест, простились и вышли из гостиной. Елизавета Ивановна пошла их провожать. Сергей Семенович остался сидеть в глубокой задумчивости, из которой его вывела возвратившаяся супруга вопросом:

— Что с тобой, Серж?

Зиновьев вскинул на нее глаза и пристально посмотрел.

— Послушай, матушка, что это за мистификация?..

— Какая мистификация? — с недоумением уставилась на него Елизавета Ивановна.

— Помилуй, какие же это графы Святоржецкие?

— То есть как какие?

— Да так... ведь это Станислава Феликсовна Лысенко и ее сын Осип Иванович Лысенко.

— А ты почему знаешь?

— Как же мне не знать? Муж этой госпожи и отец этого франта мой старый и лучший друг.

— Мне остается поздравить тебя с такими друзьями, — ядовито заметила Елизавета Ивановна. — Действительно, моя бедная Стася имела несчастье быть замужем за этим армейским извергом, но долго не могла вынести совместной с ним жизни и бежала от него со своим ребенком.

— Это она так рассказывает?!

— Я это знаю.

— Знаешь, да не совсем. Иван Осипович Лысенко развелся с ней много лет тому назад. Она была обвинена, и сын был оставлен при отце, но лет десять тому назад она его украла.

— И отлично сделала, — закончила Елизавета Ивановна торжественное сообщение мужа, которым он предполагал окончательно ошеломить ее.

Этот чисто женский вывод, в свою очередь,

поставил в тупик Сергея Семеновича.

— Кроме того, он никогда не был графом.

— Это уж ты ошибаешься. Свянторжецкие польские графы, хотя некоторые из них, ввиду обеднения, не именуется своим титулом. Дела Станиславы, видимо, блестящи, и она по праву носит свою девичью фамилию и титул.

— А ее сын?

— Что же ее сын?

— Ведь он-то уже не имеет никакого права именоваться Свянторжецким, да еще и графом.

— Польша не Россия, мой друг. Там все возможно. Его бумаги в полном порядке. Иначе бы она не решилась беспокоить государыню.

— Гм... — протянул Сергей Семенович. — Однако я буду относительно этого молодого человека в неловком положении.

— Это еще почему? — спросила Елизавета Ивановна.

В ее голосе зазвучала строгая нотка, предвестница бури. Сергей Семенович насторожился.

— Я, собственно, говорю о том, что его отец — мой друг. Он, положим, в Москве. Но

есть слухи, что он будет переведен сюда, — начал путаться он.

— Что же из этого?

— То есть, я говорю, неловко...

— Ничего нет неловкого. Если ты знаешь мать, то она на днях уезжает из Петербурга. Сына же его ты мог и не узнать после стольких лет.

— Оно конечно.

— Его, вероятно, не узнает и сам отец.

— Ну, как не узнать. Старик, конечно, не покажет, что узнал, но узнать узнает.

— И пусть себе.

— Они могут столкнуться, — продолжал волноваться Зиновьев.

— Это уже предоставь мне... Я могу тебе ответить, что этого не случится.

— Гм... — снова издал Сергей Семенович неопределенный звук.

— Да и вообще я думаю, что дело моей сестры и ее сына — мое дело, а не твое... — отрезала наконец решительно Елизавета Ивановна.

— Оно так-то так, но...

— Никаких «но».

— Делай как знаешь, матушка.

Сергей Семенович, сказав эту привычную для него фразу, которой обыкновенно кончались все его препирательства с супругой, удалился в кабинет.

«Действительно, я сделаю вид, что его не узнал и что никогда не знал», — решил он, переодевшись с помощью своего камердинера Петра и несколько раз пройдя по кабинету.

— Глупое положение! — вырвалось все-таки у него восклицание, доказывавшее, что это решение, на которое его натолкнула его жена, претило его честной и прямой натуре.

Но иного выхода не было. Сергей Семенович смирился и сделался безучастным зрителем происходящего вокруг него.

Елизавета Ивановна Зиновьева исполнила просьбу своей сестры в точности. Императрица Елизавета Петровна не отказала в ходатайстве своей любимой статс-даме и назначила графине Станиславе Свянторжецкой день и час приема.

— Приезжай с ней, если она посвятила тебя совершенно в свое дело, — сказала государыня.

Елизавета Ивановна, по просьбе своей сестры, действительно сопровождала ее и ее сына во дворец и была принята вместе с ними государыней. Прием продолжался около двух часов, но содержание этой долгой беседы императрицы с Зиновьевой и графиней Свянторжецкой с сыном осталось тайной даже для самых любопытных придворных. Елизавета Ивановна передала о впечатлении приема своему мужу в общих выражениях.

— Ее величество добра как ангел, — сказала она, — она обещала заменить Осе мать. На днях состоится зачисление его в один из гвардейских полков. Стася уезжает обвороженная приемом государыни.

Вот все, что узнал сам Сергей Семенович. Он, впрочем, этим особенно и не интересовался. Он замкнулся в себе и старался даже при жене показать свое безучастное отношение к графине и графу Свянторжецким. Этим, казалось, он платил дань дружбе своей с Иваном Осиповичем Лысенко, прекрасно шедшим по службе и уже имевшим генеральский чин. Мысленно он даже называл Осипа Лысенко, графа Иосифа Свянторжецкого, тоже

самозванцем.

Граф Иосиф Янович Свянторжецкий действительно был вскоре зачислен капитаном в один из гвардейских полков, причем была принята во внимание полученная им в детстве военная подготовка. Отвращение к военной службе молодого человека, которое он чувствовал, если читатель помнит, будучи кадетом Осипом Лысенко, и которое главным образом побудило его на побег с матерью, не могло иметь места при порядках гвардейской военной службы Елизаветинского времени.

Служба в гвардии была самая легкая. За все отдувались многотерпеливые русские солдаты. Офицеры, стоявшие на карауле, одевались в халаты, дисциплина и субординация были на втором плане. Генералы бывали такие, которые не имели никакого понятия о военной службе. Гвардия, таким образом, представляла из себя придворных, одетых в военные мундиры.

При таких условиях, конечно, военная служба не могла тяготить свободолюбивую натуру, каковой в высшей степени обладал Осип Иванович Лысенко — он же граф Иосиф

Янович Свянторжецкий.

Графиня Станислава Феликсовна вскоре рассталась с сыном и уехала из Петербурга, а молодой человек отдался всецело удовольствиям столичной жизни. Обласканный государыней, красивый, статный, остроумный, он вскоре сделался кумиром дам петербургского света, душой высшего общества и коноводом петербургской золотой молодежи того времени. Сойдясь на дружескую ногу с любимцем государыни императрицы Иваном Ивановичем Шуваловым, он в то же время ухитрился быть своим человеком и при «молодом дворе», где оказывали ему благоволение не только великая княгиня, но даже и великий князь Петр Федорович.

Все это, конечно, знал Сергей Семенович, и все это заставляло его еще упорнее скрывать известную ему тайну происхождения графа Свянторжецкого и даже мысленно с осторожностью называть его «самозванцем».

Граф Иосиф Янович сам помогал Сергею Семеновичу в его сдержанности. Он являлся в дом Зиновьевых только с официальными визитами или по приглашению на даваемые из-

редка празднества. Но на особую близость не навязывался, совершенно погруженный в оборот шумной светской жизни. За это ему был благодарен Сергей Семенович.

С появлением в доме Зиновьевых княжны Людмилы Васильевны Полторацкой визиты графа Свянторжецкого сделались чаще и продолжительнее. Видимо, княжна произвела на графа сильное впечатление, и он стал за ней усиленно ухаживать. Княгине Людмиле были далеко не противны возбужденные ею в графе чувства. Так, по крайней мере, казалось по ее отношениям к молодому графу, отношениям, которые, по мнению Сергея Семеновича, могли бы быть даже более сдержанными, в особенности в дни глубокого траура. Все это промелькнуло в уме Зиновьева и вылилось в восклицании:

— Ужели и это самозванка?

Он, однако, на минуту оторвался от этих дум, собрал бумаги и уехал на службу, но в деловой атмосфере присутствия роковой вопрос, что ему делать, не выходил из его головы. Он припоминал разительное сходство побочной дочери мужа его сестры князя Полто-

рацкого — Тани Берестовой с княжной Людмилой, сопоставлял этот факт со странным поведением в Петербурге его племянницы, и вследствие этого толки дворни, о которых ему докладывал Петр, порожденные рассказами какого-то захожего человека, приобретали роковую вероятность.

— Что же делать?

Вопрос становился серьезным и вместе с тем трудноразрешимым. Как доказать самозванство княжны Полторацкой, если только это самозванство действительно, как утверждает пущенная в дворне молва, которую, пожалуй, не удержать распоряжением не болтать вздор, отданным им, Сергеем Семеновичем, сегодня утром его камердинеру Петру.

Слово что воробей: вылетит — не поймашь. Из застольной полетит молва на улицу, проникнет в другие застольные, а из них и в палаты господ и пойдет кататься по Петербургу, осложняемая прикрасами. Может, наконец, дойти и до государыни. Сочтут его, Зиновьева, сплетником и укрывателем, и тогда, пожалуй, быть беде неминучей.

Такими мрачными красками мысленно

рисовал себе будущее Сергей Семенович Зиновьев, и снова перед ним вставал роковой вопрос: «Что же делать?»

Предпринять между тем ничего было нельзя. Власти тамбовского наместничества признали тождество княжны Полторацкой с оставшеюся в живых девушкой. Она была утверждена в правах наследства после матери, введена во владение всем имением покойной. Дворовые считали ее княжной. Нельзя же было на основании сплетни, пущенной каким-то проходимцем, поднять историю, возбуждение которое еще может быть злыми языками истолковано желанием получить наследство от бездетной сестры.

Сергей Семенович решил, как и в деле графа Свянторжецкого, дать событиям идти своим чередом.

III

Радужные мечты

Вскоре после так встревожившего Сергея Семеновича Зиновьева доклада его камердинера Петра княжна Людмила Васильевна Полторацкая покинула гостеприимный кров своего дяди и переехала в собственный дом на левом берегу реки Фонтанки. С помощью дяди ею куплена была целая усадьба с садом и даже парком или же, собственно говоря, расчищенным лесом, которым во времена Петра Великого были покрыты берега этой речки, текущей теперь в центре столицы в гранитных берегах.

В описываемое же нами время, как мы уже говорили, левый берег Фонтанки не входил еще в состав города и считался предместьем. Это, впрочем, соответствовало желанию осиротевшей княжны, просившей Сергея Семеновича приобрести ей дом непременно на окраине.

— Почему это, Люда? — спросил в первый раз, когда та высказала это свое желание, Зи-

НОВЬЕВ.

— Я привыкла к деревне, к простору, к зелени деревьев, к их белому заиндевевшему виду зимой... Здесь у вас в центре меня давит эта скученность построек, мне недостает воздуха.

— Но на окраине жить небезопасно, — заметил Сергей Семенович.

— Какие пустяки... Я ведь не одна, у меня слуги...

— Сколько же их?

— Восемь человек мужчин, дядя, ты знаешь...

— Этого мало.

— В таком случае, можно выписать еще человека четыре-пять.

— Пожалуй, придется, если ты настаиваешь на своем желании жить в глуши и если мне удастся приобрести тебе помещение, которое мне показывали в предместье.

— Где, где?..

Сергей Семенович сказал:

— А мне можно его посмотреть?

— Не можно, а должно, ты покупаешь, тебе и глядеть...

— Когда же мы поедем?

— На днях.

Княжна Людмила осталась в восторге от дачи, которую торговал для нее Сергей Семенович Зиновьев.

— Это именно то, о чем я мечтаю! — воскликнула она.

— Есть о чем мечтать... Такая даль и глушь...

— Я сделаю из нее земной рай.

— Конечно, если ее хорошенько меблировать, то будет ничего... Дом сухой и теплый, построен прочно... Старик построил для себя и для женатого сына, да вот не привел Бог.

— Почему же он продает?

— Это очень печальная история.

— Печальная, боже мой! — грустно заметила княжна Людмила.

— Да, и даже очень печальная.

— Расскажи, дядя.

— Эта дача принадлежит одному старому отставному моряку, у которого был единственный сын, с год как женившийся. Они жили втроем на Васильевском острове, но домик их был им и тесен и мал. Старик купил

здесь место и принялся строить гнездо своим любимцам — молодым супругам, да и для себя убежище на последние года старости... Все уже было готово, устроено, последний гвоздь был вбит, последняя скобка ввинчена, оставалось переезжать, как вдруг один за другим его сын, а за ним и сноха, заболевшие оспой, умирают.

— Оба вместе?!

— Почти... Разница во времени смерти была на одни сутки. Старик в полном отчаянии, конечно, не может видеть строенного им дома для тех, кто теперь в маленьких сосновых домиках лежит на Смоленском кладбище.

— Какой ужас... Я его понимаю... — побледнела княжна.

— Он отдает эту усадьбу за бесценок, а сам уже находится в Александро-Невском монастыре послушником. В виде вклада он отдал все имевшиеся у него деньги и те, которые выручил от продажи дома на Васильевском острове. Покупную цену за эту дачу тоже, по его желанию, надо будет внести в монастырскую казну.

— Почему же ты до сих пор не купил ее

для меня, дядя?

— Меня смущала отдаленность.

— Этого-то именно я и хочу.

— Я не знал этого.

— Прошу тебя, кончай как можно скорее.

— Хорошо.

Дядя и племянница осматривали в это время дом. В нем было с антресолями десять комнат, разных по величине, и некоторые из них были очень велики. Дом стоял в глубине обширного двора, примыкавшего к нему с одной стороны и огороженного дубовым забором с такими же массивными дубовыми воротами. Крыльцо было с вычурным навесом и выходило на этот двор. На дворе были службы, людская, кухня, погреб, сарай и конюшня. С другой стороны дома примыкал к нему огромный сад, тоже огороженный высоким забором, в котором была проделана небольшая калитка, из дома же ход в сад был из небольшой дверцы, соединенной сенями в виде коридора с внутренними комнатами. Это было нечто вроде потайного хода, обычного в постройках того времени, не отличавшихся особой фантазией архитекторов, осо-

бенно в деревянных зданиях. Заднее крыльцо было особо и выходило на двор за углом дома. За домом, как мы говорили, тянулся обширный парк, отделенный от сада и двора деревянной решеткой. Из сада в него вела калитка. Парк был обнесен тоже забором, но не таким высоким, как сад и двор. Верхи заборов были усеяны остриями длинных железных гвоздей от лихих людей, не любящих ходить прямыми путями.

Сергей Семенович и Людмила Васильевна все внимательно осмотрели, и последняя положительно пришла в восторг от местоположения дома и расположения комнат. Она уже заранее дала каждой ее назначение. Это было недели через две после ее приезда в Петербург.

В несколько дней сделка была совершена, и княжна Людмила Васильевна сделалась собственницей понравившегося ей дома. Если она продолжала жить у дяди Сергея Семеновича, то это происходило потому, что в доме работали обойщики, закупались принадлежности хозяйства и из Зиновьева еще не прибыли остальные выписанные дворовые.

Но приведены были еще и лошади. Вся прибывшая с княжной прислуга, за исключением горничной Агаши, оставшейся при ее сиятельстве в доме Зиновьева, уже жила в новом доме и присматривала за работами. Впрочем, и сама княжна ежедневно ездила в свой дом и торопила окончанием его внутренней отделки.

Несмотря на радушное отношение к ней дяди и тетки, она понимала, что последняя, из расчетливости, будет очень довольна, когда племянница уедет из их дома. Сергей Семенович не разделял этих помыслов своей жены, но после доклада Петра и размышления над этим докладом тоже стал желать отъезда племянницы, но совершенно по другим основаниям. Настроенный в известном направлении, он подозрительно следил за каждым ее словом и даже жестом, и ему казалось, что он все более и более убеждается в правоте слуха, пущенного в его дворню. Слух, заметим кстати, замолк.

Дворовые люди Зиновьевых, не имея тех данных, которые были в распоряжении их господина, естественно, не могли поверить

этому слуху и, решив, что это просто «брехня», забыли о нем. Не забыл о нем только камердинер Петр и, кажется, считал его весьма правдоподобным, а потому порой исподлобья довольно мрачно посматривал на княжну Людмилу Васильевну. Последняя ничего, конечно, не подозревала, так как до нее сплетня дворни не достигла. Она светло и радостно глядела в будущее и, оставаясь одна, самодовольно и счастливо улыбалась. При людях, даже при дяде и тетке, она сдерживала свою веселость, не гармонирующую с ее скорбным костюмом — траурным платьем.

Она в Петербурге! Сколько раз и как давно в Зиновьеве она мечтала об этом городе, который княгиня Васса Семеновна вспоминала с каким-то священным ужасом, — до того казался он покойной современным Содомом. Обласканная императрицей, которой представил ее дядя, княжна Людмила Васильевна была назначена фрейлиной, но ей был дан отпуск до окончания годового траура, по истечении которого она будет возвращаться в том волшебном мире, каким в ее воображении представлялся ей двор.

Невеста блестящего жениха — князя Сергея Сергеевича Лугового — она всегда, при желании, сохранит на него свои права, и наконец, предмет поклонения красавца графа Иосифа Яновича Свянторжецкого, под обаяние которого, она чувствовала, что невольно поддавалась. Чего еще надо было желать?

Жизнь открывалась перед нею роскошным пиром, и она, не имея понятия об учении эпикурейцев, решила не уходить с этого пира голодной и жаждущей. Самостоятельная жизнь наконец в отдельном, как игрушка устроенном и убранном домике, где она будет принимать нравящихся ей людей, довершала очарование улыбающегося ей счастливого будущего.

Мечты, мечты радужные, спускались на ее голову, когда она перед сном, оставшись одна, нежилась в кровати. Ей виделись роскошно убранные и ярко освещенные дворцовые залы, богатые туалеты дам, блестящие мундиры кавалеров, ей чудилась и она сама, красивая, нарядная, окруженная толпою вздыхателей, на первом плане которых стоял граф Свянторжецкий, а затем уже князь Луговой и

граф Свиридов. При воспоминании о первом какое-то странное чувство охватывало не только ее сердце, но и ум. Ей казалось, что она хочет что-то вспомнить, но вспомнить не может. Каким-то далеким прошлым веяло на нее от графа Свянторжецкого, особенно от его глаз, устремленных на нее и заставлявших ее подчас нервно передергивать плечами. Ей казалось, что она его видела где-то и когда-то, но при всем напряжении памяти вспомнить не могла. Ей не приходило на мысль, что игравший с ней в Зиновьеве мальчик Осип Лысенко есть тот самый граф Иосиф Свянторжецкий.

Граф, конечно, со своей стороны, не подавал повода к нежелательным для него воспоминаниям. Чувство, которое он, еще будучи мальчиком, питал к своей маленькой подруге, таилось в его сердце подобно искре, из которого, под горячими лучами красоты расцветшей и развившейся княжны Людмилы, быстро разгорелся огонь страсти. Эта-то страсть, всегда заразительная, и была тем обаянием, силу которого чувствовала на себе княжна Людмила Васильевна. В сердце ее,

впрочем, еще не зарождалось ответного чувства. Это сердце было занято, или так, по крайней мере, казалось княжне Людмиле.

Со дня ее приезда в Петербург ни разу в доме ее дяди не появлялся граф Петр Игнатьевич Свиридов. Княжна помнила, что при прощанье с князем Луговым в Зиновьеве она выразила ему желание, чтобы граф посетил ее в Петербурге, была уверена, что эти ее слова дошли по назначению, о чем ей сказал сам князь Сергей Сергеевич, явившийся на другой же день ее приезда и посещавший свою бывшую невесту довольно часто, а между тем граф Свиридов не подавал признаков жизни. Это действовало разжигающе на самолюбивую девушку, и образ графа все неотступнее и неотступнее стал носиться в ее воображении и довел ее даже до уверенности, что она его любит.

Затронуть умело самолюбие женщины часто выгоднее и прочнее, чем затронуть ее чувство. Однажды она не выдержала и спросила князя Сергея Сергеевича:

— Что ваш друг?

— Какой друг?..

— Боже мой, разве у вас их так много? — с раздражением в голосе спросила княжна.

— Да, у меня есть друзья... — отвечал князь, с недоумением смотря на свою собеседницу.

— Я говорю, конечно, о том, которого я знаю...

— А, граф Петр.

— Да... Что он, болен?

— Нет, я видел его на днях... Он здоров...

— А-а-а... — протянула княжна и переменяла разговор.

Князь Сергей Сергеевич, однако, понял ее и решил серьезно переговорить с графом Свиридовым.

«Это черт знает что такое! — сердился он, сидя в санях и приказав кучеру ехать на Миллионную, где жил граф Петр Игнатьевич. — Это с его стороны просто невежливо... Не сделать визита... Плохую дружескую услугу оказывает мне он... Если бы я не был в нем уверен, то мог бы подумать, что это с его стороны удачная тактика... Раздражая самолюбие девушки, он заставит ее в себя влюбиться окончательно...»

Он застал графа дома и разразился против него целой филиппикой, указал на могущие быть результаты его поведения, результаты, далеко не согласные с его, князя Лугового, интересами.

— Изволь, голубчик, я поеду... Поверь мне, что у меня и в мыслях не было затевать с княжной какую-нибудь игру... Я просто хотел устранить себя вследствие нашего разговора в Тамбове. Я это делал и для тебя и для себя...

— Нет уж, брат, уволь от таких дружеских услуг... Недостает еще того, чтобы княжна подумала, что я из ревности не передал тебе ее желания тебя видеть...

— Вот пустяки...

— Нет, не пустяки... Женщины способны на всякие выводы и предположения... Мне показалось даже, что она сегодня очень подозрительно на меня смотрела.

— Это вздор... Она слишком умна... и наконец слишком все-таки хорошо знает, что ты на это не способен...

— Поди догадайся, что женщина знает и что не знает, и когда она бывает умна и когда глупа...

— Как это так?

— Да так, бывают моменты, когда самые умные женщины и думают и делают глупости, и, наоборот, иногда совершенно глупые женщины высказывают поразительно умные мысли и совершают гениальные поступки, вот и разбери...

— Это ты, пожалуй, прав... Я поеду к княжне завтра же.

— Поезжай, пожалуйста... Это будет самое лучшее лекарство от ее увлечения...

— Как прикажешь мне благодарить...

— Я не то хотел сказать... Я повторяю, твое явное нежелание ее видеть оскорбляет, видимо, ее самолюбие, а для удовлетворения его женщины способны сделать более отчаянные шаги, нежели из чувств и даже из страсти... Понял?

— Понял, понял... Говорю, пойду завтра и постараюсь себя показать в самом отталкивающем свете, — пошутил граф Петр Игнатьевич.

— И этого не надо... Женщина чутьем догадывается, что ты играешь комедию в пользу своего друга, и тогда вместо пользы ты мне

принесешь неисправимый вред.

— Хорошо, хорошо, буду самим собою... Это, пожалуй, оттолкнет ее от меня вернее... — улыбнулся снова граф Свиридов. — Ну а как твои с ней дела?

— Мои... Я о них не забочусь... Я все предоставил воле Божией, — серьезно и вдумчиво отвечал князь Сергей Сергеевич.

IV

Кабак для тимохи

Ясная декабрьская ночь висела над Петербургом. Полная луна обливала весь город своим матовым светом. Мириады звезд блестели на темном, казалось, бездонном небосклоне. Окутавший весь город снежный покров блестел как серебро, и на нем виднелись малейшие черные точки, не говоря уже о сравнительно темных полосках улиц и пригородных дорог.

На одной из таких дорог, шедшей от реки Фонтанки мимо леса, где уже кончалось Московское предместье и начиналось Лифляндское, в описываемое нами время очень мало

заселенное и представлявшее из себя редкие группы хибарок, хижин и избышек, стоял сколоченный из досок балаган с двумя маленькими оконцами по фасаду и дверью посреди них, над которой была воткнута покрытая снегом елка. Последнее указывало, что незазейливое строение было кабаком. Несмотря на позднюю ночь, в окне, обтянутом бычьим пузырем, отражался тусклый огонь. Кабак еще торговал, хотя напротив его тянулся лес, а на далекое пространство, как по берегу Фонтанки, так и по дороге, сворачивавшей влево от реки, не видно было жилья.

Кругом было совершенно безлюдно и царил мертвая тишина, только из балагана слышался какой-то смутный гул, не нарушавший своим однообразием этой тишины. Из леса буквально вынырнули две мужские фигуры, одетые в рваные тулупы с меховыми треухами, надвинутыми по уши, и в высоких рваных сапогах. В руках они держали по толстой длинной палице, с большим шаром в виде набалдашника. Палицы были сучковатые и, конечно, самодельные и представляли из себя выдернутые с корнем деревья, причем

ветви и побеги корней были отрублены, а сам корень обточен в форме шара. Такими палицами глушили, да и до сих пор глушат в деревнях быков и коров.

Лившая свой матовый свет на землю луна резко осветила этих двух ночных пешеходов и их запушенные снегом одежды и зверские лица, обрамленные заиндедевевшими бородами, цвет волос которых различить было нельзя — они представляли из себя комки снега.

— Кажись, не опоздали, — сказал один из них, — в самый раз пришли к гулянке.

— Да, бык его забодай, задержал нас его степенство. Умирать-то ему смерть не хотелось.

— Кому охота!

— Нет, по-моему, это свинство. Коли встретился с нами, с лихими людьми, в пустом месте, так и умирай, а православных не задерживай.

— Шутник ты, Карпыч.

— Кучер-то его степенства, да и мальчонка, что с ним ехали, честно, благородно, не пикнули, как мы с тобою оглушили их. А кучец, на поди, артачиться стал.

— Промахнулись мы с тобой оба, да и башка у него здоровая, с двух ударов и то не подавалась.

— Пришлось ножом прикончить, а я смерть не люблю руки мараить кровью этой, — закончил тот, кого назвал его спутник Карпычем.

— Нож — последнее дело, оглушить вот этим гостинцем не в пример сподручнее, — потряс первый из разговаривавших своею увесистою палицей.

— А знобно сегодня, брат. В кабаке-то у дяди Тимохи, чай, теплее. Чего мы тут на морозе калякаем?

Оба мужика, видимо по привычке, оглянулись по сторонам и быстро перебежали дорогу. Очутившись у балагана, один из них привычной рукой взялся за железной кольцо и, повернув его, распахнул дверь. Столб пара выбился наружу вместе с резкими звуками множества голосов, видимо старавшихся перекричать друг друга. Новые посетители вошли вовнутрь балагана.

Это было довольно большое помещение со сложенной из почерневших от времени кир-

пичей небольшой печью посередине, разделенное на две далеко не ровные половины стойкой, сколоченной из досок. В большой половине стояли два самодельных деревянных стола, окруженные лавками, а в меньшей нагромождены были бочки с вином и брагой, а на самой стойке высились деревянные бочонки и стояли всевозможные чарки, глиняные и деревянные. Тут же в деревянных чашках стояла незатейливая закуска того времени: нарезанный мелкими ломтями черный хлеб и вяленая рыба. За стойкой, на маленькой лавке, сидел сам владелец этого придорожного кабака, известный в окрестности под именем дяди Тимохи.

Это был еще далеко не старый человек, с солидным брюшком, «толстомясый» и «толсторылый», как величали его зачастую подвыпившие гости. Лицо его действительно было кругло, и глаза заплыли жиром, что не мешало им быстро бегать в крошечных глазных впадинах и зорко следить за всеми посетителями.

Кабак дяди Тимохи днем почти всегда пустовал. Разве забежит какой перемерзший

редкий проезжий, и тогда за стойкой он встречал рослого парня, подручного дяди Тимохи, так как сам он, по выражению этого его помощника, «дрыхнет без задних ног». Но зато ночь дядя Тимоха проводил без сна, так как именно ночью шла у него бойкая и выгодная торговля. Ночью приходили из лесу.

В лесах, окружающих столицу, как мы уже знаем, водились лихие люди, собиравшиеся в целые шайки, промышлявшие разбоями или «воровскими делами» в самом городе, куда, однако, они выходили поодиночке, иногда лишь по двое. Добытое ими добро все обыкновенно оставалось у дяди Тимохи взамен пенистой живительной влаги. Дядя Тимоха не брезговал ничем, он брал все, от ржавого гвоздя до ценного меха, и всему давал цену «по-божески», как говорили его завсегдатаи. Понятно, что эта «божеская цена» была в соответствии лишь с опасностью приобретения вещи.

Лихие люди занимались своим разбойничьим делом, чтобы жить, а жить, по их мнению, было пить, и если дядя Тимоха за дневную добычу открывал кредит на неделю, при-

чем мерой объявлялась душа пьющего, цена эта уже была высшею и божескою. Какое дело «лихому человеку», что украденная им или взятая разбоем вещь дороже всего кабака дяди Тимохи, со всеми его полными и пустыми бочками, ведь не продавать ему эту вещь — как раз влопаешься, а тут гуляй неделю, пей, пока принимает душа. Наличные деньги тоже не ценились лихими людьми, да и не любил их дядя Тимоха.

— Считаю да меряю, сколько с кого да кому, одна скука, — говорил он.

«Лихие люди» соглашались с ним и бросали ему деньги без счету.

— Давай. Душа горит. Облить ее надо, подлую.

И подлую душу заливали...

Целые годы вел свою выгодную, но по тогдашнему времени, ввиду отсутствия полицейского городского благоустройства, почти безопасную линию дядя Тимоха, вел и наживался. Он выстроил себе целый ряд домов на Васильевском острове в городской черте. Его жена и дочь ходили в шелку и цветных камнях. За последней он сулил богатое прида-

ное и готов был почать и заветную кубышку. А в кубышке той, как говорили в народе, было «много тыщ».

Старшим своим сыновьям Тимофей Власьич, как уважительно звали его на Васильевском острове, так как он в приходе своем состоял даже церковным старостой, подыскивал уже лавки в Гостином дворе. Пустить их по питейной части он решительно не желал.

— Нечисть одна... — говорил он жене. — Потружусь для вас, сколько сил хватит, а там всех вас поставлю на ноги, ко святым местам пойду — грехи замаливать, а кабак сожгу. Пусть никому не достается, много с ним греха на душу принято.

Пока что дядя Тимоха трудился, просиживая все ночи до рассвета в своем балагане и собирая, как он выражался, «детушкам на молочишко». Под утро появлялся в кабаке подручный, который и оставался на день, а сам Тимофей Власьич, на той же лошади, на которой приезжал подручный, отправлялся домой. Подручный, как мы знаем, на вопрос о хозяине, задаваемый редкими дневными посетителями, отвечал одной и той же фразой:

— Без задних ног дрыхнет.

Под вечер та же лошадь в тележке привозила Тимофея Власыча на ночное дежурство и увозила домой подручного с дневной выручкой. Подручный приходился ему племянником по жене. Таков был дядя Тимоха.

— Заяц... Карпыч... С дела? — слышались в кабаке возгласы в момент входа запоздалых посетителей.

— С дела... — отозвался тот, которого называли «Зайцем». — Плевое дело...

Он сплюнул.

— А что?

— Купца пришибли с мальчонком да кучера...

— Троих?

— Каких троих, мальчонка не в счет... — вставил свое слово Карпыч. — С купцом измаялись...

— С чего?

— Живуч, bestия... Два раза глушили... Ништо...

— Как же вы?

— Ножом прикончили...

— Нож — разлюбезное дело... — как-то осо-

бенно смачно произнес высокий коренастый мужик с всклокоченными черными волосами и бородой, в расстегнутом армяке, из-под которого виднелась рубаха страшно засаленная, но когда-то бывшая красной.

— Не люблю я мараться... — заметил Карпыч.

— Баба! — презрительно сплюнул мужик в красной рубахе.

— Живодер... — не остался у него в долгу Карпыч.

— А мошна где?..

— То-то же что мошна-то плоха-то выходит — плевое дело...

Заяц при этом вынул из-за пазухи кожаный мешок с деньгами.

— Все медные... — презрительно произнес он, подходя к стойке и высыпая на нее монеты.

— И впрямь медные... — слышались замечания столпившихся около стойки повскакивавших из-за стола посетителей.

— Считай, дядя Тимоха... — угрюмо обратился к хозяину Заяц.

— На все?

— Знамо дело, на все... Много ли тут.

Он уставился одним глазом на кучу денег. Другой глаз Зайца невозможно косил, почему он и получил свое прозвище. Дядя Тимоха привычной рукой стал перебрасывать монеты.

— Четыре рубля с гривной... — через несколько времени произнес он.

— Не врешь?

— Чай, на народе считал... А не веришь, сыпь в кошель, да и за дверь... — огрызнулся хозяин.

— Не ерепенься, шутки шучу... Загребай...

— Все?

— Знамо, все... На кой мне их ляд... Ишь, толстопузый, какой капитал с собой возит, а умирать артачился...

— Ты бы его отпустил, может, он, на твое счастье, еще бы две гривны нажил...

— Доподлинно отпустить бы надо... Эту-то мошну он и сам отдавал... Бает, что больше нет, да мы с Карпычем не поверили...

— Задаром загубили.

— Трое не в счет... Мы его за то с Карпычем помянем... Лей две посудыны.

— Только до света... — заметил дядя Тимоха.

— Ладно... Завтра живы будем, еще добудем.

— Вестимо, не сложа же руки сидеть... — тоном поучения отозвался хозяин, наливая вино.

Новые гости присоединились к остальной компании, и прервавшаяся попойка началась снова. Гул голосов стоял невообразимый. Все говорили сразу, пересыпая свою речь крепкими русскими словами.

Дверь кабака снова распахнулась, и в нее вошел новый посетитель, в потрепанном полумонашеском, полусвященническом одеянии. На нем сверх армяка была надета крашеная ряса, подвязанная пестрым кушаком, а на голове высокий треух, похожий на монашескую шапку. Длинные всклокоченные черные волосы выбивались на плечи, густая большая борода была покрыта инеем.

— А, человек Божий! — воскликнуло разом несколько голосов.

— Обшит рогожей, — пустил кто-то остро-ту.

— Честной компании смиренный поклон, — остановился у дверей вошедший и сделал приветствующим полупочтительный и полукомический поясной поклон.

— Здравствуй, здравствуй, отче Никита, спина твоя не бита! — воскликнул мужик в красной рубахе, тот самый, который находил, что нож самое разлюбезное дело.

Взрыв хохота наградил остроумца.

— С моей спиной не случалась такая проруха, а вот как я, Гаврюха, доберусь до твоего уха, — не думая ни минуты, отпарировал отче Никита.

Взрыв смеха раскатился еще сильнее по кабаку. Смеялся и сам остроумец Гаврюха.

— Благослови, отец Никита, монашескую трапезу, — крикнули ему из-за стола.

— Дайте, православные, подаяние за упокой родителей.

Вошедший подошел к стойке, вынул из-за пазухи кошель, достал из него несколько серебряных монет и бросил их на стойку.

— На все...

— Что же ноне мало?

— Остатные. На днях желтенькие будут.

Беленькими не удивишь.

— Помогай Бог, — сказал дядя Тимоха.

— До света. Много не выпью, хмелен.

— Мало.

— Уважь.

— Ладно. Разве что уважить, — согласился хозяин и стал цедить в посудину вино.

— Ходь сюда, Божий человек... — слышалось из-за столов.

Пришедший отправился на зов и уселся на лавку среди потеснившихся собутыльников, снял треух и пятернею расправил мокрую бороду. Это был наш старый знакомый Никита Берестов.

«Ночная красавица»

Приближались рождественские праздники. Обычная суতোлка петербургской жизни увеличилась. На улицах было видно больше пешеходов, разнородные экипажи, кареты, возки и сани то и дело сновали взад и вперед. Гостиный двор, рынки и магазины были переполнены. В домах шла чистка и уборка, словом, предпраздничная жизнь была живым ключом, и не только в городе, но в предместьях.

Кажется, единственное исключение составлял дом княжны Людмилы Васильевны Полторацкой. Убирать и чистить в нем было нечего, так как отделанный только что и мебелированный заново он блестел, как игрушка, и не требовал уборки и чистки. Да и жизни в нем было видно мало.

Молодая хозяйка, ввиду траура, не могла никуда выезжать на праздниках, не могла и у себя устроить большого приема, а потому общее оживление, охватившее столицу перед

рядом балов и празднеств наступающих дней, не могло коснуться дома молодой «странной княжны».

Прозвище «странная княжна» Людмила Васильевна уже успела, несмотря на свою затворническую, благодаря трауру, жизнь, получить в гостиных высшего петербургского света, обладающего, да и в описываемое нами время обладавшего способностью знать все подробности самой интимной жизни интересующего его лица. Княжна же, несомненно, представляла для петербургского высшего общества далеко не дюжинный интерес. Богатая, независимая девушка, живущая самостоятельно, в полном одиночестве, в глухом предместье столицы, в доме, убранном, как говорили — конечно, не без прикрас — с чисто восточной роскошью, она, несомненно, выделялась среди девушек ее лет, живших при родителях, родственниках и опекунах, бесцветных, безвольных и безответных в большинстве случаев.

Людмилу Васильевну не осмеливались осуждать, так как знали, что императрица Елизавета Петровна одобрила план жизни

своей новой фрейлины и даже сама посетила ее на новоселье, честь, которая выпадала нечасто на долю даже и самых приближенных придворных дам. Государыня, будучи сама самостоятельна, любила это качество и в других, а потому то, что другим казалось в княжне Полторацкой «странностью», для ее величества являлось заслуживающим похвалы. Последнего было достаточно, чтобы заткнуть рот светским кумушкам того времени.

Но не одна самостоятельно-одинокая жизнь молодой девушки делала ее «странной княжной» в глазах общества. Были для этого и другие причины.

Княжна Людмила Васильевна действительно, со дня приезда в свой дом, повела жизнь, выходящую из рамок обыденности. Ее дом днем и ночью казался совершенно пустым и необитаемым. Жизнь проявлялась в нем только в людской, где многочисленный штат княжеской прислуги, пополненный выписанными из Зиновьева дворовыми, не хуже великосветских кумушек, перемальвал косточки своей госпоже, прозванной ее домашними «полуношницей». Княжна действи-

тельно превращала день в ночь и наоборот.

Днем ставни ее дома были наглухо закрыты, и все, казалось, покоилось в нем мертвым сном. Спала и сама княжна. Просыпалась она только к вечеру, когда дом весь освещался, что опять не было видно через глухие ставни, разве кое-где предательская полоска света пробивалась сквозь щель и терялась в окружающем дом мраке.

Княжна начинала свой оригинальный ночной день с этого позднего вечера, когда Петербург наполовину уже спал, а предмете покоилось сном непробудным, в это-то несуразное для других время она принимала визиты своих друзей. Это, конечно, порождало массу сплетен, не доходивших до злословия лишь только потому, что сама императрица, любившая все оригинальное, с добродушным смехом заметила, узнав о таком образе жизни своей новой фрейлины:

— Вот подлинно «ночная красавица». Если среди цветов есть такие, которые не терпят дневного света, почему же не быть таких и среди девушек.

Нечего и говорить, что этот смех государы-

ни эхом раскатился в придворных сферах и великосветских гостиных. Образу жизни княжны Полторацкой нашли извинение и объяснение. Та потрясающая картина убийства ее матери и любимой горничной, которой она была свидетельницей в Зиновьеве, не могла не отразиться на ее воображении.

— Она боится ночи и ночной тьмы, напоминающей ей об этой катастрофе, и проводит поэтому ночи в бодрственном состоянии, отдавая сну большую часть дня.

— Она просто больна, бедная девушка!

— Дурит, с жиру бесится... — умозаключали более строгие.

— Оригинальничает... — догадывались завистливые придворные, видя внимание, которое оказывала «странной княжне», «ночной красавице» — прозвища, которые так и остались за княжной Людмилой — императрица Елизавета Петровна.

Это внимание выражалось в посылках фруктов, цветов и конфет «бедной сиротке», как называла государыня княжну Людмилу.

Благодаря преданности дворни, любившей свою госпожу за кроткое обращение и сытую

жизнь, и, кроме того, по обычаю русских людей, не любивших «выносить сора из избы», многое из интимной жизни княжны осталось неузнанным, и сами дворовые люди говорили о многом, происходящем в доме, пониженным шепотом.

Прежде всего поражало всех слуг княжны Людмилы Васильевны Полторацкой появление у ее сиятельства «странника», с которым княжна подолгу беседовала без свидетелей. Странник этот появился вскоре после переезда в новый дом и приказал доложить о себе ее сиятельству. Оборванный и грязный, он, конечно, не мог не внушить к себе с первого взгляда подозрения, и позванный на совет старший дворецкий решительно отказался было беспокоить ее сиятельство. Но странник настаивал.

— Как же о тебе сказать, милый человек? — заметил дворецкий, в котором, как и в других слугах, боролось чувство подозрения с присущей русскому человеку сердечной слабостью к странным людям.

— А ты доложи ее сиятельству, что я не кровопивец...

— Как? — воззрился на него дворецкий и даже отступил на несколько шагов.

— Не кровопивец я...

— Да в уме ли ты, Божий человек?

— Ты доложи, а там, в уме ли я или нет, разберет она сама.

— Ой, не могу, милый человек.

— Не доложишь, беда будет... Я-то до княжны дойду, а тебе не миновать конюшни.

Глаза странника злобно сверкнули. На голове у него была надета меховая шапка, большая нижняя часть лица была обвязана платком, и только черные глаза, блестящие и бегающие, горели каким-то адским огнем.

— У нас княжна милостивая, не только что на конюшню, дурного слова не скажет, — ответил дворецкий.

— Все, братец мой, до времени... Меня-то ей, может, видеть уже давно желательно, а ты, холоп, препятствуешь... Хоть и ангел она по-твоему, а этого тебе не спустит без порки.

— А откуда же знает ее сиятельство, что ты придешь?

— Эк ты, видно сейчас, что недавно из глуши вывезен... Я, чай, к ней пришел с Божьего

произволения...

— С Божьего произволения... — упавшим голосом повторил дворецкий.

— А то как же.

— Так что же из того?

— А так, что и ей предупреждение было о моем, значит, приходе...

— Чудно говоришь ты... Что же, доложи, Агаша, голову за это княжна не снимет, — обратился дворецкий к горничной княжны, — а может, и впрямь, не доложишь — худо будет.

— Худо, говорю, худо...

— Как доложить-то? — испуганно спросила Агаша.

— Не кровопивец-де пришел.

— Не кровопивец... — повторила девушка.

— Да.

Агаша отправилась к княжне. Дело было поздно вечером, и княжна Людмила Васильевна только что встала с постели и, сделав свой туалет, сидела за пяльцами. Не прошло и несколько минут, как Агаша вернулась и сказала страннику:

— Иди за мной... Ее сиятельство велела привести...

Странник смелой походкой последовал за девушкой к княжне, на великое удивление собравшихся в передней, где происходили переговоры дворовых людей. Изумлению их не было конца, когда Агаша вернулась и сообщила, что странник остался у княжны.

— С глазу на глаз?

— Да, их сиятельство приказала мне выйти и сама изволила запереть дверь...

— Чудны дела твои, Господи! — воскликнул дворецкий.

Остальные дворовые сочувственно вздохнули.

— Как же ты доложила? — начали расспрашивать Агашу.

— Да так и сказала, что-де не кровопивец пришел...

— А что же ее сиятельство?

— Спервоначала уставилась на меня, не поняла, видно, а потом спрашивает, каков он из себя.

— Ну а ты?

— Я рассказала... Глаза, говорю, горят как уголья, черный... Тут княжна вдруг вся побледнела как полотно и даже затряслась.

— Ну?

— Проси, говорит, сейчас, веди сюда, а сама руку об руку ломает, суставы хрустят... Я сюда за ним и побегла...

— Дивны дела твои, Господи!

Странник пробыл у княжны более часу времени и ушел.

Более он не появлялся в доме, хотя Агаша утверждала, что во внутренних апартаментах княжны, когда ее сиятельство остается одна и не приказывает себя беспокоить, слышны голоса и разговоры, и что среди этих таинственных посетителей бывает и загадочный странник. Кто другие таинственные посетители княжны и каким путем попадают они в дом, она объяснить не могла. Дворовые верили Агаше и таинственно качали головой.

Около полугода вела княжна Людмила Васильевна такой странный образ жизни, а затем постепенно стала его изменять, хотя просыпалась все же далеко после полудня, а ложилась поздною ночью или, порою, даже ранним утром. Но прозвище, данное ей императрицей: «Ночная красавица», так и осталось за ней. Благоволение государыни сделало то,

что высшее петербургское общество не только принимало княжну Полторацкую с распростертыми объятиями, но прямо заискивало в ней.

По истечении полугодичного траура княжна Людмила Васильевна стала появляться в петербургских гостиных, на маленьких вечерах и приемах, и открыла свои двери для ответных визитов. Мечты ее мало-помалу стали осуществляться. Блестящие кавалеры, как рой мух над куском сахара, вились около нее. К ней их привлекала не только ее выдающаяся красота, но и самостоятельность, невольная дающая надежду на более легкую победу. Этому последнему способствовали особенно рассказы об эксцентричной жизни княжны.

В числе таких поклонников по-прежнему, однако, оставались князь Сергей Сергеевич Луговой, граф Петр Игнатьевич Свиридов и граф Иосиф Янович Свянторжецкий. Все трое были частыми гостями в загородном доме княжны на Фонтанке, но и все трое не могли похвастаться оказываемым кому-нибудь из них предпочтением.

Тяжесть этой ровности отношений более

всех их, конечно, чувствовала князем Сергеем Сергеевичем. Несмотря на то что, как мы знаем, он отдал свою судьбу всецело в руки Провидения, князь не мог все же забыть, что эта холодно и порою даже надменно обращающаяся с ним петербургская красавица несколько месяцев тому назад была влюбленной в него провинциальной девушкой, давшей ему согласие на брак, согласие, усугубленное благословением ее покойной матери. Поцелуй, данный ему княжной Людмилой на скамейке его наследственного парка, еще горел до сих пор на его губах. Адский смех, сопровождавший этот первый поцелуй, данный ему его невестой, еще до сих пор раздавался в его ушах и вызывал холодный пот на его лбу.

Против своей воли он ревниво следил за своими соперниками, графом Петром Игнатьевичем и «поляком», как не особенно дружелюбно называл он графа Святоржецкого. Соперничество с графом Свиридовым не могло, конечно, не отразиться на отношениях князя Сергея Сергеевича к его другу. Постепенно возникла холодность, которая заставила недавних душевных друзей отдалиться

друг от друга.

Граф Петр Игнатьевич недаром по приезде княжны Людмилы Васильевны в Петербург сторонился ее. У него было какое-то роковое предчувствие, что обаяние ее красоты не пройдет без следа для его сердца. Обаяние это увеличивалось еще надеждой на взаимность, надеждой, поддержанной самим князем Сергеем Сергеевичем, объявившим еще в Тамбове, что княжна влюблена в него, графа, и повторившим это в Петербурге. Незаметно для себя, против своей воли, граф влюбился в княжну Людмилу Васильевну Полторацкую. Влюбился и... проиграл.

Это всегда так бывает. Женщина ценит мужчину до тех пор, когда сознает опасность его потерять. Как только же она убедится, что чувство, внушенное ею, приковывает его к ней крепкой цепью и делает из него раба желаний и капризов, она перестает интересоваться им и начинает им помыкать. Благо мужчине, у которого найдется сила воли разом порвать эту позорную цепь, иначе гибель его в сетях бессердечной женщины неизбежна.

У графа Петра Игнатьевича не хватало именно этой силы воли. Княжна Людмила Васильевна играла с ним как кошка с мышью, то приближая к себе, то отталкивая, и заставляла его испытывать все муки бесправной ревности. Он ревновал ее и к князю Луговому, и к графу Свянторжецкому.

Последний, впрочем, через некоторое время стал гораздо сдержаннее относиться к предмету своего недавнего пылкого увлечения.

Происходило ли это от непостоянства его природы вообще, была ли это с его стороны ловкая стратегическая тактика, или же на это он имел другие причины — вопрос этот оставался открытым. Об этом знал лишь он сам.

VI

Предательский ноготь

«Э то не княжна Людмила! Это Татьяна!»
Мысль, роковая мысль стала работать в этом направлении в голове графа Святторжецкого по возвращении его с одного из ночных визитов к княжне Людмиле Васильевне Полторацкой в его уютную квартирку на Невском проспекте, недалеко от Аничкова моста.

Рой воспоминаний детства несся перед его духовным взором отчетливыми картинками. Впечатления детства очень живучи. Человек часто забывает то, что совершилось несколько лет тому назад, забывает без следа, между тем как ничтожные, с точки зрения взрослого человека, эпизоды детства и ранней юности глубоко врезаются в его память и остаются на всю жизнь в неприкосновенной свежести. Зависть ли это от впечатлительности детского мозга или же всеблагое Провидение дает возможность человеку как можно более наслаждаться воспоминаниями лучшей поры его жизни — безмятежного детства? Как бы то ни

было, но это так.

То же было и с графом Иосифом Яновичем Свянторжецким. Смутно и неясно вспоминал он сравнительно недавнюю свою жизнь с матерью в Варшаве, жизнь шумную, веселую — вечный праздник. Как бы в тумане проносился перед ним безобразный еврей, посещавший его мать и, как теперь догадывался он, окружавший ее и его этим комфортом и богатством. Из кармана этого сына Израиля отталкивающего вида делались те безумные траты как на удовольствия, так и на его воспитание в течение долгих лет. Лучшие учителя занимались с ним всеми тогда распространенными науками, необходимыми, по тогдашнему польскому общественному мнению, для поддержания с блеском титула графов Свянторжецких. О том, что ему надо забыть, что он русский по отцу — Осип Лысенко, ему стали внушать через год после бегства из Зиновьева.

Смутно припоминает он и этот момент. Тот же безобразный старый еврей пришел к его матери и, между прочим, передал ей сверток каких-то бумаг. Мать развернула бумаги,

и радостная улыбка разлилась по ее лицу. Она вскочила со своего места, бросилась к еврею, обняла его за шею и крепко поцеловала. Мальчик, тогда еще Ося, был случайным свидетелем этой, с тогдашней точки зрения, безобразной сцены. Он шел к матери и, откинув портьеру ее будуара, вошел в самый момент отвратительного поцелуя. Мать рассердилась на него и приказала идти к себе. Юноша окинул еврея взглядом, полным ненависти, и вышел. Эта сцена яснее всего пережитого им момента бегства от отца до прибытия с матерью в Петербург сохранилась в его памяти. Она привела к дальнейшим умозаключениям и открытиям.

С годами он понял отношения его матери к старому еврею, понял и ужаснулся своей еще чистой душой. Ненависть и злоба к властелину его матери — презренному жида — росла все более и более в сердце молодого человека, жившего за счет этого жида и обязанного ему графским достоинством. Это сказала ему сама мать.

— Самуил Соломонович — твой благодетель.

Молодой человек опустил глаза, чтобы не выдать тайну своей непримиримой ненависти к человеку, его кормившему. Чем бы кончились такие обострившиеся отношения между сыном и любовником матери — неизвестно, но года два тому назад Самуил Соломонович умер. Станислава Феликсовна первое время была в отчаянии, но потом вдруг ожила и стала веселее прежнего. Это совпало с появлением в их доме каких-то людей, снова принесших бумаги, а затем начали привозить в их дом драгоценные вещи, свертки с золотыми монетами, мешки серебра. Это было наследство, доставшееся Станиславе Феликсовне от покойного Самуила.

Одинокий, не только бездетный, но даже не имевший близких родственников, еврей отказал по завещанию все свое состояние христианке, продававшей ему умело свои ласки, так как нельзя же было допустить со стороны красивой польки каких-либо чувств к безобразному жиду. Продажа чувства именно шла умело. Станислава Феликсовна сумела до конца жизни своего любовника доставлять ему иллюзию любви и беззаветной преданно-

сти.

Она встретила с ним случайно в доме ее родственников, вскоре после ее разрыва с мужем. Самуил Соломонович, денежными счетами с которым была спутана вся Варшава, был принят как дорогой гость в домах сановной шляхты. Своей демонической красотой Станислава Лысенко, принявшая в Варшаве свою девичью фамилию Свянторжецкой, произвела роковое впечатление на одинокого еврея, уже пожилого годами, но не телом и духом, так как вся его предыдущая жизнь была сплошным воздержанием от страстей. С тем большею силою вспыхнули в нем эти страсти.

Станислава Феликсовна сумела локализовать этот пожар и обратить его в светоч своей жизни, источник богатства и знатности. За деньги в это время в Польше можно было добыть все, не исключая и графского титула. Какие нравственные муки переносила молодая женщина, решившись на эту самопродажу, осталось тайной ее сердца. Она в это время решила бесповоротно добыть себе своего сына, а для этой цели нужны были сред-

ства, чтобы окружить его той роскошью, которая бы равнялась ее любви. Она принесла себя в жертву этой, быть может, дурно понятой, но все же искренней материнской любви. Она пошла на грех и преступление, и возмездие не заставило себя ждать.

Сын ненавидел ее любовника и презирал ее, свою мать. С годами он даже перестал скрывать это презрение, между тем как любовь ее к нему росла и росла. Из-за этой любви Станислава Феликсовна решилась на более тяжелую жертву — расстаться с сыном.

С этою мыслью она приехала в Петербург и осуществила свой план. Ее ненаглядный Жозя был устроен, она отделила ему две трети своего громадного состояния, доставшегося ей от еврея Самуила, и, таким образом, он сделался знатным и богатым, блестящим гвардейским офицером, будущность которого, улыбающаяся и радостная, была окончательно упрочена. Станислава Феликсовна уехала в Италию, с тем чтобы там поступить в один из католических монастырей.

Часть состояния, которую она оставила на свою долю, была предназначена ею на внесе-

ние вклада, без которого невозможно поступление ни в один из католических монастырей. Сумма вклада была внушительна и открывала ей дорогу к месту настоятельницы. Это, конечно, было впоследствии, но графиня Свянторжецкая была из тех женщин, которые не могут существовать без честолюбивых замыслов и у которых их собственное «я», даже при посвящении себя Богу, не играло бы первенствующую роль.

Это же свойство было и в характере ее сына. Эгоист с головы до ног, он готов был на всякие жертвы для достижения намеченной цели, лично ему желательной, и не пренебрегал для того никакими средствами, памятуя правило своих воспитателей — отцов иезуитов. Все, что не касалось его «я», будь это самое близкое ему существо, не имело для него никакой цены. Равнодушно, вследствие этого, простился он с матерью, не зная хотя ее намерения уйти в монастырь, но все же осведомленный ею, что они прощаются надолго. Новая жизнь, открывавшаяся перед ним, интересовала его, он знал, что положение его более чем обеспечено, дальнейшие жизненные

успехи зависели всецело от него — в ком же была ему нужда? Ни в ком, даже и в матери — «любовнице жида», так он осмеливался не только мысленно, но даже однажды в лицо несчастной женщине называть ее.

Таковы были смутные, отрывочные воспоминания графа Иосифа Яновича Свянторжецкого о времени нахождения его под крылом его матери.

Встреча вскоре после отъезда последней из Петербурга с княжной Людмилой Васильевной Полторацкой, подругой его детских игр, пробудила в нем страстное, неудержимое желание обладать этой обворожительной девушкой. Он пошел быстро и твердо к намеченной цели и, как мы видели, был накануне ее достижения. Княжна увлеклась красавцем со жгучими глазами и грациозными манерами тигра. Она уже со дня на день ждала предложения. Граф тоже был готов со дня на день сделать его.

Какое-то странное, необъяснимое предчувствие его останавливало, и язык, уже не раз готовый его выразить, говорил, как бы против его воли, другое. Неожиданное обстоя-

тельство вдруг изменило совершенно отношения графа Свянторжецкого к княжне Полторацкой.

Однажды, в один из очаровательных вечерних «приемов», которыми дарила княжна поочередно своих поклонников, граф Иосиф Янович Свянторжецкий дошел до полного любовного экстаза, и страстное признание и предложение соединить навек свою жизнь с жизнью любимой девушки было уже им начато. Княжна Людмила благосклонно слушала, играя кольцами и браслетами, в обилии украшавшими ее прелестные ручки. Вдруг восторженный взор графа, созерцавшего кумир души своей, остановился на ноготке безымянного пальца правой руки княжны Людмилы. Граф чуть не вскрикнул. Вся кровь бросилась ему в голову. Картина из детской жизни его в Зиновьеве предстала перед ним с поразительной ясностью. Полный страсти и огня любовный монолог был прерван.

Граф смотрел на сидевшую перед ним девушку мрачным, испытующим взглядом. Княжна Людмила подняла на него свои глаза и вдруг сперва вспыхнула, а затем побледне-

ла. Ее смущение подтвердило еще более нельзя сказать чтобы его подозрение, а, скорее, появившуюся в его уме уверенность. Княжна, впрочем, только на минуту казалась растерявшейся, она оправилась и спросила равнодушным тоном:

— Что с вами, граф? Или вы испугались, не завлек ли вас очень далеко полет вашей фантазии?

В последней фразе даже слышалась явная насмешка. Это взбесило графа.

— На этот раз, пожалуй, вы правы, княжна, — с неслыханною ею до сих пор резкостью тона отвечал он.

Княжна Людмила Васильевна смерила его с головы до ног надменно-ледяным взглядом.

— Я очень рада, — сказала она, — потому что, признаться, ваши разглагольствования подействовали на меня усыпляюще... Вы делаете мне большое удовольствие, если освободите меня от них хоть на сегодня.

— Я могу вас освободить и от своего общества.

— Если только на сегодня, то я вам буду только признательна, — кокетливо-лениво

сказала княжна.

Граф тоже овладел собой. Обострить сразу отношения не было в его намерениях. Резкость сорвалась с его языка под влиянием раздражения.

— У меня, княжна, бывают изредка головные боли, наступающие мгновенно... Вот причина моего сегодняшнего поведения, прошу извинить меня.

— Не приказать ли дать вам спирт? — участливо и уже совершенно другим тоном спросила княжна.

— Благодарю вас, несколько часов безусловного покоя дома, и болезнь проходит.

— И давно это с вами?

— С детства...

— Вы бы обратились к врачам.

— Я не верю им.

Граф встал. Почтительно поцеловал он руку молодой девушки, получил ответный официальный поцелуй в лоб и уехал.

«Это не княжна Людмила! Это Таня!»

Вот блеснувшая в его голове мысль, заставившая его прервать полупризнание. На безымянном пальце правой руки сидевшей

перед ним в грациозной позе девушки он заметил неправильно растущий ноготь и вдруг с особенной ясностью ему вспомнился эпизод из его жизни мальчиком в Зиновьеве.

Ему живо представилась маленькая Таня Берестова с завязанным безымянным пальчиком на правой руке. Играя в саду, она нечаянно наколола палец о шипы росшего в изобилии в Зиновьеве махрового шиповника. Отломившийся шип ушел под ноготок, и хотя был вскоре извлечен, но пальчик продолжал болеть и сделался так называемый ногтеед. Он, Ося, часто и дома обсуждал с княжной Людмилой могущие быть последствия болезни для ноготка Тани.

— Мама говорит, что ноготь сойдет и потом вырастет другой.

— Точной такой же? — допытывался он.

— Да, мама говорит только, что надо быть осторожной, так как может вырасти новый неправильно.

— Надо сказать об этом Тане.

— Я сказала.

Вопрос о том, будет ли соблюдать Таня осторожность и как вырастет у нее ноготь, из-

редка стал подниматься между детьми. Время шло. Случай с Таней произошел в конце июля, а через месяц она сняла повязку с пальчика, и ноготь оказался несколько кривым. Кривизна была ничтожная, но при внимательном взгляде все же заметна.

— Пройдет, выпрямится, — успокаивали плачущую девочку.

Она успокоилась и позабыла.

Оказывается теперь, что кривизна ногтя осталась и, быть может, была единственным отличием Тани Берестовой от княжны Людмилы Васильевны Полторацкой. Эта мелочь из детской жизни девочки, конечно, была забыта всеми. Она могла только случайно сохраниться в памяти горячо принявших вопрос о ногте Тани своим детским сердцем княжны Людмилы и Оси.

Первое, что после этих воспоминаний пришло на мысль графу Свянторжецкому, было: «Теперь она в моих руках!»

С этого вечера он стал отдаляться от княжны Людмилы Васильевны, готовясь нанести ей решительный удар и выиграть им ставку.

«Это не княжна Людмила! Это Таня!»

Граф Свянторжецкий понимал, что сделанное им открытие только конец нити целого клубка событий, приведших к этому превращению дворовой девушки в княжну. Надо было размотать этот клубок и явиться перед этой самозванкой с точными обличающими данными. Над этим и стал работать граф Иосиф Янович Свянторжецкий.

С какой целью, быть может, спросит читатель или в особенности очаровательная читательница. Была ли это княжна Людмила Васильевна Полторацкая или Таня Берестова, во всяком случае, она оставалась очаровательною женщиной, обладание которой было приятною мечтою графа Иосифа Яновича. Она будет его рабой, когда увидит, что ее тайна в его руках, — это все, чего он мог желать. Для этого стоило поработать.

VII

Следствие

Первой задачей графа Иосифа Яновича Свянторжецкого было узнать подробности кровавой катастрофы в Зиновьеве. Ехать на место было неудобно, а единственным свидетелем ее был в Петербурге князь Сергей Сергеевич Луговой, отношения с которым у графа Свянторжецкого были более чем холодные. Надо было постараться с ним сблизиться. В этом помогло графу его решение временно отстраниться от княжны Людмилы Васильевны Полторацкой.

Действительно, князь Луговой, заметив перемену к княжне Людмиле Васильевне в графе Свянторжецком, стал относиться к нему с меньшей натянутостью и через некоторое время принял даже участие в холостой пирушке, устроенной графом. Последний был настолько предупредителен, что не пригласил на нее графа Петра Игнатьевича Свиридова. Эта пирушка быстро сблизила их обоих, как это всегда бывает в молодых годах.

Граф Свянторжецкий и князь Луговой стали посещать друг друга запросто. Первый, конечно, выждал удобный случай, чтобы начать интересующий его разговор. Случай этот наконец представился. Разговор коснулся княжны Полторацкой.

— Бедная девушка, сколько она должна была вынести в ночь этого рокового убийства, — с непритворным соболезнованием заметил граф, — вы, князь, кажется, были в это время в своем именье поблизости?

— Да, и даже был вызван тотчас же на место катастрофы.

— Скажите... И что же вы там увидели?

Князь подробно рассказал свою поездку в Зиновьево по получении известия о зверском убийстве княгини Вассы Семеновны и горничной княжны Тани.

— Она была как две капли воды похожа на княжну, хотя, конечно, носила на себе более грубый отпечаток дворовой девушки.

— Какая странность... Отчего же произошло такое сходство? — спросил граф Свянторжецкий.

— Говорят, что покойная была побочная

дочь князя Полторацкого от его дворовой девушки...

— Это удивительно...

— Это-то, как, по крайней мере, раскрыл чиновник, присланный произвести следствие, и послужило главной причиной убийства.

— Вот как.

— Да, убийство совершено из мести, а не с целью грабежа.

— И убийца открыт?

— То есть его знают, но его, кажется, до сих пор не разыскали... Он скрылся из Зиновьева.

— Кто же он?

— Отец убитой дворовой девушки.

— Отец? — воскликнул граф Иосиф Янович.

— Да, отец... Никита Берестов... Он, собственно, конечно, вы понимаете, не отец, а муж ее матери, которого удалили от жены тотчас после венчания и за протест даже выдрали на конюшне.

Князь Луговой рассказал историю Никиты Берестова, его побег и возвращение, известные ему со слов тамбовского чиновника, про-

изводившего следствие.

— Какая интересная и таинственная история... Из-за чего же он убил свою дочь, а не княжну?

— Видимо, он хотел убить и княжну, но вход в ее спальню охраняла от убийцы эта благородная и преданная девушка... Он убил ее и надругался над нею у порога спальни княжны, а последняя успела тем временем убежать в сад, где ее нашли без чувств в кустах.

— А-а-а... — как-то загадочно произнес граф Свянторжецкий.

Князь Луговой не обратил на это внимания и продолжал свой рассказ о состоянии княжны Людмилы Васильевны после убийства ее матери и служанки, о странной перемене, происшедшей в ней, о похоронах матери и даже о надписи, сделанной по приказанию княжны на кресте, поставленном над могилой Тани Берестовой. Граф Иосиф Янович внимательно слушал своего собеседника. Он старался не проронить ни одного слова, так как каждая подробность давала ему в руки новые доказательства самозванства княжны.

Когда князь Луговой кончил, граф Свянторжецкий заметил:

— Это ужасно... Пережить такую ночь, не даром она наложила на княжну Людмилу неизгладимый отпечаток.

— Что вы хотите этим сказать?

— Неужели вы не замечаете в ней странностей?

— Да, есть такие... Она очень нервна.

— По-моему, она... немного помешана.

— Что вы?!

У князя Лугового сжалось сердце. Он вспомнил слова деревенской горничной княгини Вассы Семеновны — Федосьи, что «княжна не в себе», «помутилась». Теперь он слышит подтверждение этого от совершенно постороннего человека.

— Меня, собственно, это и заставило избегать ее. Признаюсь вам, что одно время я был сильно ею увлечен, что и немудрено при ее красоте, — серьезно заметил граф Иосиф Янович.

— А теперь?

— Теперь это увлечение моментально прошло. Рассудок одержал верх. Что за радость

связать себя на всю жизнь с полупомешанной?

Князь Луговой промолчал и переменял разговор. Он не мог не заметить действительно странного поведения княжны со дня убийства ее матери, но приписывал это другим причинам и не верил, или, лучше сказать, не хотел верить в ее сумасшествие. Ведь тогда действительно она была бы для него потеряна навсегда. Граф прав — связать себя с сумасшедшей было бы безумием. Но ведь в ней, княжне, его спасение от последствий рокового заклятия его предков. На память князю Сергею Сергеевичу пришли слова призрака. Он похолодел.

Граф заметил смущение князя и, отговорившись необходимостью делового визита, уехал. Он отправился прямо домой. Ему необходимо было уединиться и сосредоточиться, чтобы составить план действий.

План этот вскоре сложился в его голове. Если убийца муж матери Татьяны, то, несомненно, эта последняя знала о замышляемом убийстве и даже косвенно участвовала во всем, так как выгоды от смерти княгини Пол-

торацкой и ее дочери были всецело на ее стороне. Она заранее подготовила всю комедию бегства в сад и обморока, заранее приучила себя к роли княжны, будто бы спасшейся от руки убийцы благодаря самоотверженному поступку ее служанки-подруги, поступку, стоившему жизни последней. Она спешит поставить над ее могилой крест с надписью, чтобы в окружающих и во всех присутствовавших на похоронах не возникло ни малейшего сомнения, что в могиле лежит именно дворовая девушка Татьяна Берестова.

Никита скрылся, но, несомненно, он не из таких людей, которые совершают преступление единственно из мести, предоставив незаконной дочери своей жены, приписанной ему, пользоваться результатами этого преступления. Он, несомненно, появится около мнимой княжны и заставит ее поделиться с ним, устройтеlem ее судьбы, своим богатством. Быть может, он даже и появился.

Необходимо проследить шаг за шагом жизнь княжны в течение недели, двух, может быть месяца, узнать, кто бывает у ней, нет ли в ее дворне подозрительного лица, и таким

образом напасть на след убийцы. Тогда только можно считать дело совершенно выигранным. Никита будет в руках графа и сознание его — он, граф, доведет его до этого сознания, захватив врасплох — явится грозным доказательством в его руках относительно этой соблазнительной самозванки.

Так нервно, прыжками работали мысли графа Иосифа Яновича Свянторжецкого. Граф Свянторжецкий недаром был учеником отцов иезуитов. Все тонкости человеческой хитрости были им изучены и сослужили ему в данном случае хорошую службу в деле раскрытия хитросплетений кровавой интриги.

Мы видели, что соображения графа по поводу участия Татьяны Берестовой в убийстве были совершенно близки к истине. Граф и сам в этом не сомневался. Слишком уж логически неоспоримыми являлись выводы из известных ему фактов. Граф остался доволен собой.

Оставался открытым вопрос, каким образом устроить тайное наблюдение за домом княжны или, по крайней мере, получать точные сведения о ее интимной жизни. Вопрос

этот заставил графа сильно призадуматься. В Петербурге он был человеком новым, да еще иноземцем, ненавистным в глазах русских простых людей, — поляком. Для русского простолюдина описываемого времени поляк был синонимом изверга-притеснителя. В темную массу русского крестьянства бог весть каким путем достигали известия о печальном положении польских крестьян под властью панов и их арендаторов-жидов.

Мирская молва, что морская волна, разнесла эти вести с пограничных с Польшей мест во внутренние губернии, и общенародное мнение о «польских панах» было твердо установившимся и далеко для них не лестным. Граф Свянторжецкий не был владельцем польских крестьян и даже для услуг своих держал в Петербурге вольнонаемных людей, ходивших по оброку. Но мог ли он довериться кому-нибудь из них, хотя знал, что щедрость и человеческое отношение его к слугам уже успело приобрести ему их расположение. Уничтожило ли, однако, это его отношение к его слугам, бывшее в то время инстинктивным, недоверие русского человека к людям

его национальности и положения — к польским панам?

Граф Свянторжецкий не мог с полной уверенностью разрешить этот вопрос утвердительно. Но надо было на что-нибудь решиться. Надо было пользоваться средствами, имевшимися под руками, несмотря, быть может, на их относительную негодность.

Выбор графа пал на его камердинера Якова, расторопного ярославца, с самого прибытия в Петербург служившего у графа и пользовавшегося особыми его милостями в виде денежных подачек и подарков старым платьем. Граф позвонил. Через несколько минут в уютном и комфортабельно убранном кабинете графа Иосифа Яновича Свянторжецкого появился его камердинер Яков. Это был франтовато одетый молодой парень, сильный и мускулистый, с добродушным, красивым, чисто русским лицом и плутоватыми быстрыми глазами.

— Звать изволили, ваше сиятельство? — с развязностью любимого барином и, со своей стороны, ему преданного слуги спросил он.

— Да, звал.

— Что приказать изволите, ваше сиятельство?

— Гм... приказать... Вот что, Яков, — с расстановкой начал граф Свянторжецкий, — хочешь на волю?

Яков весь вспыхнул.

— Шутить изволите, ваше сиятельство.

— Нет, не шучу... Мне необходимо, чтобы ты мне оказал одну большую услугу.

— С нашим удовольствием.

— И повторяю тебе, что, если ты мне все устроишь так, как надо, я выкуплю тебя на волю у твоего помещика, что бы это ни стоило.

— Скарעד он у нас... Меньше трехсот рубликов не берет.

— А ты уже пытался?

— Было дело... Да где же такую уйму денег взять? Воровать не выучен.

— Зачем воровать... Честно заработаешь... Помещику отдам за тебя триста да на руки тебе еще двести.

— Да я, барин, за вас хоть в огонь, хоть в воду и без этого, я и теперь много вам обязан.

— За это благодарю, но это не меняет дела.

Я сказал тебе, какая тебя ожидает награда. Заслужи ее.

— С полным удовольствием. Только прикажите.

— Ты знаком с кем-нибудь из дворни княжны Людмилы Васильевны Полторацкой?

— Почитай всех знаю, ваше сиятельство.

Граф несколько времени молчал. Яков глядел на него жадно-вопросительным взглядом.

— Так видишь ли, Яков, — начал граф Свянторжецкий, медленно произнося каждое слово, как бы обдумывая и взвешивая его, — нам необходимо знать подробно и точно, кто бывает у княжны, кого и когда она принимает, долго ли беседует. Понял?

— Понял-с. Как не понять.

— Можешь узнать мне это и докладывать ежедневно в течение недели или двух? Этого достаточно, чтобы все выяснилось.

Последнюю фразу граф сказал как бы сам себе. Очередь задуматься наступила для Якова. Граф вперил в него нетерпеливый взгляд.

— И кремни же, ваше сиятельство, там у княжны дворовые-то. Аспиды бессловесные, слова не выманишь.

— Это нехорошо.

— Чего хорошего. Только, ваше сиятельство, я все же это дело оборудую.

— Как же?

— Да так. Девчонка там одна глаза на меня пялит.

— Агашка?

— Она самая, ваше сиятельство, в самую, то есть, точку попали.

— Так ты через нее?

— В лучшем виде дело оборудуем, ваше сиятельство, будьте без сумления... В душу-то девке влезть для меня плевое дело...

— Так орудуй.

— Беспременно, ваше сиятельство, с завтрашнего же дня...

— А потом, ты, может, мне и для другого дела понадобишься.

— Рад стараться...

— Ступай и действуй.

Яков вышел. Граф Иосиф Янович стал медленными шагами прохаживаться по кабинету. Он был доволен результатом своих переговоров с Яковом. Награда, ему обещанная, составляла для графа пустяшную сумму, а для

его камердинера была целым состоянием.

Сметливый парень, конечно, несмотря на то что ходил по оброку, тяготился зависимостью от помещика, без которого он мог бы заняться в Петербурге самостоятельным делом. Он, несомненно, скопил себе уже кое-какие деньжонки, что с обещанными двумястами рублей составит капиталец, который даст ему возможность заняться торговлей и, кто знает, даже сделает впоследствии богачом. Сколько торговцев в России начинали так. Эти мысли, которые граф прочел на лице Якова при обещанной ему награде, говорили о том, что парень расшибется вдребезги, а все же сделает дело. Решение Якова обойти для этого Агашку также показалось графу удачным. Девчонка, конечно, проболтается перед своим ухаживателем, и эта болтовня будет самой истиной. Этого только и было надо.

Граф Иосиф Янович в этот день лег спать веселый и довольный. Ему снилась соблазнительная Таня, она же княжна Людмила Полторацкая.

VIII

Облава

Уверенность в Якове не обманула графа Свянторжецкого. Не прошло и недели, как он знал то, что его главным образом интересовало в жизни княжны Людмилы Васильевны Полторацкой.

— Болтает Агашка, — доложил ему, между прочим, его камердинер, — что ходит к княжне какой-то странник.

— Странник! — даже привскочил с дивана, на котором лежал во время доклада Якова, граф.

— Точно так-с, ваше сиятельство... Странник, говорит... Пришел он, перво-наперво, как быть должно, вскоре после переезда их сиятельства в дом и велел доложить о себе...

— Как же он назвал себя? — спросил граф, уже сидя на диване и положительно съедая глазами Якова.

— Имени своего не назвал, а понес какую-то околесину.

— Какую же околесину?

— Доложите-де княжне, что я не кровопивец.

— Не кровопивец?

— Точно так-с.

— Это он, — вслух подумал граф.

— Кто-с?

— Нет, ничего... Так ты говоришь, что пришел и велел доложить о себе, что он не кровопивец.

— Так Агашка болтает, она ложь и я тож.

— А часто бывает он у княжны?

— Почитай несколько раз в неделю. Только как он попадает в комнату княжны — неизвестно.

— Как попадает, почему неизвестно?

— Потому во двор не ходит.

— Почему же знают, что он бывает?

— Агашка подглядела.

— Что же она об этом думает?

— Смекает, что у него ключ есть от калитки в саду.

— Ага... — протянул граф Иосиф Янович. — Ну, спасибо, ты службу свою мне сослужил, завтра же пошлю твоему помещику деньги и тебе обещанные выдам.

Яков весь так и просиял.

— Да неужто, ваше сиятельство?

— Верно, верно.

— И больше вам разузнавать ничего не надо?

— Ничего, братец, все разузнано в лучшем виде.

— Господи Иисусе Христе!

— Чего это ты?

— Да, признаться, ваше сиятельство, девка-то эта мне малость надоела...

— Можешь прекратить свой роман.

— С полным удовольствием... — усмехнулся Яков.

— Только теперь у меня будет для тебя еще дело...

— Хоть в преисподнюю пошлите — пойдут...

— Нет, зачем так далеко... Мы ближе с тобой сходим, тебе надо еще человека три-четыре парней подыскать...

— Это можно найти... А что им делать?

— Они отправятся к калитке сада княжны и будут сторожить по очереди, когда войдет странник. Как только калитка захлопнется за

ним, один из караульных побежит известить остальных... Мы же эти две недельки посидим по возможности дома, особенно по ночам... Тогда мы все отправимся к калитке и захватим его и приведем сюда... Мне надо с ним переговорить...

— Вам, ваше сиятельство?

— Да, мне.

— А как не изловим, ваше сиятельство?

— Это впятером или вшестером?

— Тут дело не в числе.

— А в чем же?

— Агашка болтает, что он оборотень...

— Такой же человек, как и мы с тобой... Я даже знаю, как его зовут...

— Вы, ваше сиятельство?

— Да, я... Так ты подыщи молодцов-то.

— Подыщем, будьте без сумления...

— Рослых да сильных.

— Один к одному будут.

— Постарайся... Награжу как следует и их и тебя.

— Много от вас, ваше сиятельство, и так благодетельствованы.

— Еще прибавлю...

— Благодарствуйте...

— Так с завтрашнего дня надо начинать...

День одни, ночь другие.

— Слушаю-с.

Яков вышел, не чувствуя под собою ног от радости. Граф Иосиф Янович также был очень доволен. Он не ожидал, что так быстро откроет все, что ему надо. Этот странник, несомненно, Никита, убийца княгини и княжны Полторацких, муж матери Татьяны Берестовой. В этом ни на минуту не сомневался граф Иосиф Янович Свянторжецкий. Не ныне завтра он будет в его руках. Не ныне завтра он даст ему неопровержимые доказательства самозванства княжны Полторацкой и соучастия дворовой девушки Татьяны Берестовой в убийстве ее помещиц.

Яков действительно принялся за дело умело и энергично. Он собрал шесть молодцев, которые терпеливо и зорко, по двое, стали дежурить у калитки сада княжны Людмилы Васильевны Полторацкой. Дня через четыре графу Свянторжецкому донесли, что странник прошел в калитку, и Иосиф Янович, переодевшись в нагольный тулуп, в сопровожде-

нии Якова и других его товарищей отправился и сел в засаду около калитки сада княжны Полторацкой. Ночь была темная, крутила вьюга.

Оставшийся сторожить у калитки уверял, что странник не выходил из нее, хотя со времени его входа в дом прошло уже несколько часов времени. Сидевшие в засаде терпеливо ждали. Вот скрипнула калитка, и среди ночной тишины послышался звук тяжелых шагов. За царившей непроницаемой тьмой фигуры почти не было видно. Все восемь человек сразу набросились на Никиту. Он был связан приготовленными веревками по рукам и ногам, прежде нежели успел опомниться от неожиданности нападения. Он вздумал было отбиваться, но граф Свянторжецкий наклонился к нему и прошептал:

— Повинуйся, Никита Берестов, убийца княжны и княгини Полторацких.

Странник перестал отбиваться. Его, как мертвого, взвалили в сани и повезли на квартиру графа Иосифа Яновича Свянторжецкого. Там, по приказанию графа, Никиту внесли в кабинет.

— Развяжите! — приказал Иосиф Янович.

Странника развязали, но он продолжал лежать недвижимо на полу.

— Оставьте нас! — сказал граф Якову и его товарищам.

Те вышли.

— Встань!.. — грозно сказал граф.

Никита медленно приподнялся с пола и глядел на графа глазами затравленного волка.

— Ты теперь знаешь, что ты у меня в руках, я тебя не боюсь, а в соседней комнате к моим услугам люди, которые тотчас препроводят тебя в полицию как убийцу княгини Полторацкой и ее горничной, которого разыскивают. Понял?

— Понял, как не понять... — мрачно сказал Никита.

— В твоих интересах, значит, быть отсюда отпущенным на волю и снова делить свою добычу со своей сообщницей — Татьяной Берестовой.

— Что же надо для этого делать?

— Рассказать мне все подробно.

— А что рассказать-то?

— Как вы задумали убийство и как исполнили. Мне надо знать все.

— Что все-то? Многого и говорить-то не приходится. Убили, да и к стороне.

— Татьяна знала?

— Вестимо, знала. Она мне и дверь отперла. И платье свое дала, чтобы разорвать и бросить у тела княжны.

— А сама она переделалась в ее платье?

— Только рубашку да юбку надела и в сад убегла.

— Она заплатила тебе?

— Я шкатулку княжнину захватил, сот во семь в ней было.

— И убежал?

— Вестимо, не дожидаться же, чтобы колодки надели.

— А теперь она тебе платит?

— Сколько моей душеньке угодно.

— Она тебе дала ключ от калитки сада?

— Полдюжины ключей я для нее сделал.

— Сам?

— Не сам, я этому мастерству не обучен. Паренек у меня тут есть. На ключи мастак.

— Так слушай. Я тебя полиции не выдам.

Мне ей служить не приходится, пусть сама ищет. Деньги недаром с казны берет.

— Вестимо, так, это правильно, по-барски.

— Ты не рассуждай, а слушай.

— Слушаю-с.

— Ты знай, что я тебя всегда найду, а потому тебе мне служить выгоднее, нежели идти против меня. Так вот тебе мой наказ. Ты своей княжне-то так скажи, что я все знаю и вас обоих погубить могу, чтобы она, значит, мной не пренебрегала.

По лицу Никиты вдруг расплылась довольная улыбка.

— Не извольте, барин, сумлеваться. Зачем ей таким красавцем пренебрегать, всякую ласку окажет, когда потребуете.

— Сметлив ты больно.

— На том стоим.

— Коли так, ступай на все четыре стороны и помни.

— Век не забуду, барин батюшка.

Граф отворил дверь. Никита было опрометью бросился в нее.

— Тише. И шагом выйдешь, не торопись.

Тот пошел шагом. В следующей комнате

их встретил Яков, с недоумением оглядевший графа и странника.

— Выпусти его за ворота, — сказал граф Иосиф Янович.

— На волю, значит?

— На волю.

— Слушаю-с.

Яков проводил пленника и вернулся в кабинет к барину.

— Что, проводил?

— Стрекача задал такого, что только пятки засверкали.

— Ну, Яков, я тобой доволен. Возьми это тебе и твоим товарищам.

Граф Свянторжецкий бросил Якову объемистый мешок с серебряными рублями. Тот поймал его на лету.

— Благодарствуйте, ваше сиятельство, поделимся.

Яков вышел из кабинета.

— Ну-с, ваше сиятельство, как вам понравится сообщение вашего папеньки, — весело потирая руки, говорил сам себе, ходя по кабинету, граф Иосиф Янович Свянторжецкий. Через денек-другой придем к вам за ответом. Вы

будете, вероятно, благосклоннее. Чай, Никитушка сегодня побежит к вам и все доподлинно доложит. И как сразу, бестия, догадался, чего мне нужно от этой крали.

Граф самодовольно улыбался. Он не ошибся.

Никита, прежде нежели идти домой — он жил в лесу, в выстроенной им самим лачуге, — отправился в дом княжны Полторацкой — так мы будем продолжать называть Татьяну Берестову.

Княжна уже спала. Отперев ключом калитку, он пробрался в потайную дверь и постучался в дверь ее будуара. Княжна, спавшая чутко, тотчас проснулась.

— Кто там? — спросила она.

— Пусти, Таня.

— Ты... Зачем?

— Дело есть.

— Подождешь до завтра.

— Никак нельзя.

— Что там приключилось?

— Отвори, сама узнаешь.

— Что такое?

Княжна накинула капот и отперла дверь.

Перед нею стоял бледный как смерть Никита.

— Что с тобой?

— Пропали мы с тобой.

— Как пропали? — побледнела, в свою очередь, княжна.

— Открыли, все открыли.

— Что открыли?

— Сам во всем сейчас признался.

Княжна задрожала.

— Что ты болтаешь... Кому признался... Полиции?

— Нет, еще слава богу. Полиция разве что знает, да может... Барину признался.

— Какому барину?

Никита в подробности рассказал, как его схватили у калитки и отвезли в квартиру какого-то строгого черного барина.

— Каков он из себя?

Никита описал.

— Это граф Свянторжецкий... Значит, он знает?

— Знает... Говорил, как к нему ласкова будешь, ничего никому не скажет.

— Вот как!..

— Уж ты, Таня, постарайся.

— Не беспокойся... Никому он не скажет...
Положись на меня и иди спать.

— Какое тут спанье... Целую ночь не заснешь.

— Ну, иди пить.

— Это, может быть, еще похоже на дело.

— Как сам знаешь... Иди...

Она выпроводила за дверь Никиту.

— Вот почему он вдруг тогда прервал свои любовные объяснения. Но почему он догадался?.. Это интересно узнать. Поласковее будь... Это можно... Он мне нравится... Все равно, мне замуж не выходить... Поживу вовсю... Начну с него... Он красив...

Княжна, хотя и предлагала спать Никите, сама, однако, не сомкнула глаз всю ночь. Нервная дрожь пробирала ее. Она вздрагивала от малейшего звука, достигавшего до ее спальни. Образ графа Свянторжецкого, однако, витал перед нею далеко не в отталкивающем виде. Быть в его власти ей, видимо, было далеко не неприятно.

— Я его сделаю рабом... — сказала она сама себе.

Мы увидим, удалось ли ей это.

IX

В ожидании повелителя

Несмотря на то что княжна Людмила Васильевна была предупреждена, как мы видели, своим сообщником Никитой относительно графа Иосифа Яновича Свянторжецкого, несмотря на решение заставить его молчать об его открытии ценою каких бы то ни было жертв, молодая девушка все же была далеко не спокойна в те долгие дни ожидания визита графа, визита, с которым последний, видимо, умышленно медлил. Прошла уже неделя с момента неожиданного вторичного позднего посещения Никиты, а граф Свянторжецкий все еще не появлялся в доме княжны Полторацкой. Каждый день просыпалась она с мыслью, что сегодня наконец он приедет, и каждый день ложилась с надеждой, что он будет завтра. А графа все не было.

Нервы княжны дошли до страшного напряжения. Это ожидание сделалось для нее невыносимой пыткой. Порой ей казалось, что она была бы счастливее, если бы преступле-

ние ее было бы уже открыто и она сидела бы в каземате, искупляя наказанием свою вину. Угрызения совести вдруг проснулись в ней с ужасающею силою. Все окружающее, обстановка, люди, напоминало ей об ее преступлении.

Она старалась развлечься выездами, приемами, но все было тщетно. Как только она оставалась одна, картина убийства княгини Вассы Семеновны и княжны Людмилы, имя которой она теперь носит, восставала перед ее духовным взором во всех ужасающих подробностях. Особенно рельефно сохранялся в ее памяти момент, когда она впустила Никиту в дверь девичьей, где по случаю праздника не было ни души. Впустив убийцу в дом его жертв, она уже решила бесповоротно все — дальнейшее не зависело от ее воли. Она не была свидетельницей самого убийства и насилия над княжной. Она, как припоминает теперь, быстро разделась и, переодевшись в приготовленное ею белье княжны, бросилась из открытого ею окна в сад.

В это время княгиня уже была убита, и Никита расправлялся с княжной Людмилой. По-

следняя не кричала, или, по крайней мере, она, Татьяна, не слыхала криков. Она слышала лишь несколько стонов, и эти стоны теперь стоят почти неотступно в ее ушах. Никита унес белье княжны, разбросав возле труп разорванное платье и белье, снятое Татьяной. Она знала, что он это сделает. Так они уговорились.

Она, впрочем, теперь вспоминает, что, забившись в кусты зиновьевского сада, она дрожала как в лихорадке, хотя ночь была теплая, и у ней из головы не выходила мысль, все ли устроит Никита как следует. Ночь прошла довольно быстро.

Когда она услышала шаги, видимо, разыскивавших ее людей, она притворилась лежащей в глубоком обмороке. Ее отнесли в спальню княжны. Далее все пошло так хорошо. Все признали ее княжной Людмилой. Одна только Федосья — она заметила это — несколько раз бросала на нее подозрительные взгляды. В первый момент это смутило ее, но она поняла, что смущение может ее выдать, и стала более властно обращаться со старухой. Этим она достигла желанной цели — сомнения Фе-

досьи, видимо, рассеялись. Она, впрочем, все же не взяла ее в Петербург.

Но дядя княжны Людмилы, — неслось далее томительное воспоминание молодой девушки, — ей показалось, что он в последнее время стал относиться к ней сдержанно... Он тоже что-то заподозрил, но дело было сделано так, что, как говорится, иголки не подточешь, и он остался, видимо, только при подозрениях... А может быть, ей это только показалось. Она сразу заняла в Петербурге соответствующее положение. Расположение императрицы доставило ей круг почти низкопоклонных знакомых. Кто мог усомниться, что она не княжна, а дворовая девушка Татьяна Берестова? Никто!

Она знала, что есть человек, который один знает это, — этот человек Никита, муж ее матери, убийца и сообщник. Она понимала, что ей придется всю жизнь иметь с ним дело, но бояться с его стороны обнаружения ее самозванства было нечего. Он будет молчать, охраняя самого себя, хотя ей, конечно, придется бросать ему изредка довольно крупные подачки.

В таком виде представляла себе молодая девушка будущее. Ничего мрачного, ничего тяжелого не виделось ей в нем, напротив, достигнув цели, совершив, как казалось, дело законного возмездия «кровопийцам», она, как это ни странно, почти весело глядела в это будущее, где ее ожидали любовь, поклонение и счастье. Совесть ее была спокойна. Припоминая все уколы ее самолюбия, нанесенные ей княгинею и княжной Полторацкими, особенно первой, начиная с помещения ее, когда ей минуло шестнадцать лет, в каморке при девичьей и кончая посылкой на общую работу в день первого визита князя Лугового, молодая девушка считала себя только отомщенной. Никита Берестов все равно, так или иначе, расправился бы с княгиней и княжной. Он мстил за свою жену и свое разбитое счастье. Помощь ее, Татьяны, ему не была особенно нужна. Она только присоединилась к его мщению и путем его преступления добыла себе те права, которые ей, по ее мнению, принадлежали как дочери князя Полторацкого.

Этими рассуждениями убаюкивала моло-

дая девушка свою совесть, и это удалось ей — они окончательно ее убаюкали. Уверенность в безнаказанности для человека, лишенного нравственного воспитания, порождает зачастую в его душе возмутительное спокойствие в отношении совершенного им преступления. Озлобленная с юных лет, Татьяна Берестова, с исковерканной по капризу покойной княгини Полторацкой жизнью, естественно, не имела в своем духовном кругозоре никаких нравственных принципов. Только страх наказания для существ, подобных ей, делает страшным самое преступление. Никита между тем рисовал ей картину ее будущей жизни, начиная с этой полной безнаказанности для нее за все то, что совершит он.

— Ты только меня, девушка,пусти, а там будет мой грех, я и в ответе, ты же свое возьмешь, что тебе по праву принадлежит...

— Ох, страшно...

— Чего страшно?.. Все равно им не жить, затем я и вернулся, чтобы с ними счета свести. Говорю, лучшепусти...

— Ох, боязно...

— Ты не дури... Я перед тобой душу выло-

жил, значит, ты со мной должна в согласье действовать, а не то и тебе несдобровать... Поди рассказывай своим благодетелям... Я от всего отопрюсь или опять сбегу, а до вас до всех доберусь, аспидов...

Невольно приходил на память Татьяне Берестовой этот последний разговор ее с Никитой. Его угрожающая фигура, с горящим, злобным взглядом черных глаз, стояла перед ней. Ей оставалось только дать согласие и впустить убийцу. Отступление ей было отрезано с момента первого рокового свидания с беглым Никитой в Соломонидиной избушке. Она поняла это и решилась.

Результат оказался таким, каким рисовал ей этот страшный человек. Все обошлось для нее более чем благополучно. Она сделалась княжной, всеми признанной, она обласкана императрицей, принята с распростертыми объятиями в высшем петербургском обществе. Самые блестящие женихи столицы готовы оспаривать друг у друга честь и счастье повести ее к алтарю. Конечно, она связана с этим бродягой — Никитой. После первого же его посещения она поняла, что эта связь не из

легких, что он не продаст ей дешево спокойствие и безмятежное пользование плодами его преступления, а главное, его появления, и притом довольно частые, всегда будили в молодой девушке тяжелые воспоминания недавно минувшего, и после них она не могла долго успокоиться. Ей все мерещилась картина роковой ночи в Зиновьеве. Что же будет дальше?

Она надеялась, впрочем, к этому привыкнуть. Суммы, которые она передавала уже Никите, для нее, обладательницы большого богатства, ничтожны, но она все-таки замечала, что требования этого «бродяги», как она мысленно называла мужа ее матери, все увеличиваются и увеличиваются. Он пропивает все полученные деньги, значит, чем больше она будет давать их ему, тем скорее он сопьется и издохнет. Эта надежда жила в ее сердце. Его смерть освободит ее совершенно. Он единственный камень на ее ровной и гладкой жизненной дороге. И вдруг...

Бледное, испуганное лицо Никиты рисовалось перед Татьяной.

«Все пропало!» — звучали в ее уме его сло-

ва.

Нашелся другой обличитель ее самозванства, не чета беглому Никите — граф Свянторжецкий.

Как мог он догадаться? Этот вопрос мучительно вставал в душе молодой девушки. От этого не отделаешься денежной подачкой — он сам богат; да он уже и предъявил свои условия. Придется расстаться с мыслью о блестящем замужестве.

По странной иронии судьбы, она именно графа мысленно наметила в свои мужья, но теперь, конечно, он не женится на бывшей «дворовой девке», на убийце. Так пусть же берет ее так, но... молчит. А будет ли он молчать?

Ведь она в его руках. Но разве у нее нет силы, страшной силы! Эта сила — ее красота!

«Он будет моим рабом!» — снова промелькнула, как и в ночь после объяснения с Никитой, у ней гордая мысль.

Но теперь эта мысль была отравлена ядом возникавших в ее уме сомнений. Она полагала, что граф, добыв случайно доказательства ее самозванства, — конечно, случайно, она

узнает непременно, как удалось ему это, — тотчас поспешит ими воспользоваться. Она ждала его на другой же день после визита ее сообщника. Она в его власти, не станет же он медлить, он влюблен. При последнем условии сила была на ее стороне. Но граф медлил.

При каждом не только дне, но и часе этого промедления сомнение в чувстве графа, даже просто в его страсти к ней, стало расти в душе молодой девушки. По истечении нескольких дней она уже окончательно потеряла почву под ногами. Ей стало страшно.

«А что, если он не приедет совсем... Не захочет иметь с ней дела, а прямо сообщит все государыне... Он в числе ее любимцев».

Вместе с этим-то страхом обнаружения преступления стали появляться и угрызения совести по поводу его совершения. Молодая девушка всячески старалась успокоить себя, представить себя жертвой Никиты, путем угрозы заставившего ее принять участие в его преступлении. Это было плохое успокоение. Внутренний голос делал свои разумные возражения.

«Ты сама пошла к нему. Ты слушала его

дьявольский шепот с чувством злобного удовольствия. Ты испугалась только в последний момент, накануне дня, выбранного для убийства, когда отступление было действительно невозможно, и, наконец, ты до сих пор пользуешься плодами этого преступления».

И снова начинались муки и страх неизвестного будущего.

«Зачем же ему было тогда отпускать Никиту? Не дал бы ему и поручения», — представляла она самой себе успокоительные доводы.

«А если он это сделал под влиянием минуты и потом раздумал, почувствовал к ней брезгливость. Что тогда?»

«Позор. Суд. Смерть от руки палача».

Татьяна Берестова дрожала как в лихорадке.

«Если же он и придет, но придет не пламенным любовником, а хладнокровным властелином требовать от нее любви так, как Никита требует денег?»

Молодая девушка чувствовала, как вся кровь прилиwała ей в голову при этой мысли. Она была самозванка, она была сообщница убийцы, но она была женщина, и это оскорб-

ляло ее как женщину.

«Кто лучше? Палач или такой любовник?»

Она почти склонялась на сторону первого. Дни шли за днями томительно долго. А тут еще каждую ночь появлялся Никита. Он не требовал денег. Нет, он, видимо, сам был в страшном беспокойстве. Он даже как-то отрезвел и просветлел.

— Был? — обыкновенно спрашивал он.

— Нет.

— Пропала наша головушка. Узнал я доподлинно, действительно это граф — поляк. Какого тут ждать добра! Властный человек — у царицы бывает.

— Приедет...

— Вы бы дослали... — как-то умоляюще говорил он и даже обращался с молодой девушкой на «вы».

— Нельзя, хуже будет...

— Хуже... — ударял себя Никита отчаянно по бедрам и удалялся.

Татьяне самой приходило на ум послать записку к графу Иосифу Яновичу Свянторжецкому, но она не решалась. Это будет уже окончательная сдача себя в его власть, а она

еще думала бороться. Ей порой приходило на ум, что Никиту просто захватили врасплох, а он с перепугу во всем сознался и что таким только образом граф получил сведения о ее самозванстве и совершенном преступлении.

«Он меня прямо назвал по имени и убийцей княжны и княгини Полторацкой...» — припоминались ей слова Никиты.

«Что-нибудь путает! — думала она. — Смешал со страха, что это ему сказал граф после того, как он уже все выболтал, дурак!»

«Тогда можно будет еще и отговориться, — работала мысль княжны далее, — надо удалить Никиту из Петербурга, дав ему большую сумму денег... Пусть уезжает подальше, пусть спрячется в такую нору, в которой его никто не найдет. Вино везде есть, а ему только этого и надо... Пусть тогда попробует граф заявить, что ему сказал какой-то оборванец, бродяга, что она, княжна, не княжна... Он будет только в смешном положении, хуже, его прямо сочтут клеветником... Отвергнутый поклонник решил на такую подлую и глупую месть... Вот что заговорят про него... Может быть, он это уже сообразил сам, а потому и не являет-

ся».

Княжне улыбалась эта мысль.

Таково было состояние молодой девушки в ожидании повелителя, как она с деланною иронией мысленно называла графа Иосифа Яновича Свянторжецкого.

Х

Внутренние и внешние дела

Прервем временно наш уже приближающийся к концу рассказ, чтобы бросить общий взгляд как на внутренние, так и на внешние дела царствования Елизаветы Петровны, неукоснительно следовавшей национальной русской политике.

Императрица, как мы знаем, с самого начала царствования вступила на путь своего отца — Петра Великого. Она восстановила значение Сената, который пополнен был русскими членами. Сенат зорко следил за коллежиями, штрафовал их за нерадение, отменял несправедливые их приговоры. Вместе с тем он усиленно работал, стараясь ввести порядок в управление и ограничить злоупотребле-

ния областных властей. Но больше всего он занимался исполнением проектов Петра Шувалова.

Задачей Шувалова было увеличение доходов истощенной казны, не столько обременяя народ новыми тягостями, сколько развивая производительные силы страны. Доимочный приказ был уничтожен. Этот приказ был памятником ненавистной Бироновщины. Крестьяне в то время несли непосильные тяжести. Даже в мирное время их разоряли войска, поставленные «на вечных квартирах». Конечно, они не были в состоянии аккуратно платить податей, а правители думали, что они не хотят платить, устроили «Доимочный приказ» для сбора недоимок за многие годы. Приказ рассылал команды, которые держали губернаторов в цепях, между тем как солдаты со сборщиками накидывались на села и все забирали у мужика. Народ разбежался, а его преследовали и избивали.

Теперь было не то. Если подати и были возвышены до одного рубля, вследствие войны и малочисленности населения, то зато они взимались правильнее, так как был вос-

становлен план Петра I относительно ревизий.

Облегчением для народа была и новая система воинской повинности. Россия разделена была на пять полос, по которым производился набор: брали солдат только с одной пятой населения, притом по человеку со ста. Дорожа рабочими руками, не казнили народ, постепенно устранили пытки — беглых оставляли работать на новых местах.

Милостиво относились даже к честным бунтам крестьян, особенно монастырских, и приготавливали отобрание церковных имуществ на казну. От этого быстро заселялись юго-восточные окраины — была устроена Оренбургская губерния.

А на юго-запад привлекали иностранцев, особенно поляков и австрийских сербов: возникла Новая Сербия и был заложен Елизаветград. Промыслы развивались благодаря льготам. Народ уже не страдал от недостатка соли с открытия эльтонского производства.

На востоке началась сильная разработка руд. Торговля со Средней Азией доходила до Ташкента. Комиссия о коммерции помогала

среднему классу — она восстановила главный магистрат, охранявший купцов от воевод, покровительствовала частной промышленности. К тому же служила палата размежевания земель, устранявшая споры между землевладельцами.

Еще важнее была отмена внутренних пошлин, а с ними семнадцати мелочных сборов, которым подвергались товары при перевозке из одного места в другое. Был издан и таможенный устав, ставивший торговлю на новые, более льготные основания.

Получила, как мы видели, облегчение и Малороссия.

Иван Иванович Шувалов вводил целый строй народного образования. Он основал первый русский университет в Москве в 1755 году и Академию художеств в Петербурге в 1757 году. Двери университета раскрывались для всех, кроме крепостных. Даже трактирщики обязывались жертвовать на него.

Шувалов выработал также план среднего и низшего обучения; по провинциям должны были заводить народные школы, где преподавались бы основы разных наук, а в «знатных»

городах — гимназии, куда поступала бы молодежь из школы и выходила бы в университет, в Академию наук, в Морскую академию или кадетский корпус. Успели открыть две гимназии при университете, а народные школы появились даже в Оренбурге и по украинской линии. Старались заменить иностранных учителей, помогали даже купеческой молодежи учиться за границей. Для купцов переводили особые книги по их делу.

Улучшая быт церковников, заставляли их поучать народ и рассылали им катехизис и вновь исправленное издание Библии. Наконец, помогли, как мы знаем, купцу Волкову завести русский театр в Петербурге. При академии появился первый русский журнал «Ежемесячные сочинения», а при университете — полная газета «Московские ведомости», существующие и теперь.

Возникла, таким образом, отечественная словесность с достойным русским языком. В ней сразу обозначилась такая сознательность, что сатира Сумарокова бичевала даже пороки образованного круга, а Ломоносов оказался европейским двигателем науки.

Явился отец русской истории — Татищев.

Выступило человеколюбие, смягчение нравов, и прежде всего наверху. Недаром императрица Елизавета Петровна сблизилась с таким мягким и просвещенным человеком, как граф Иван Иванович Шувалов. Оба они были живым свидетельством того, что проходит пора «ужасных сердец».

Императрица сдержала свою клятву Всевышнему в ночь своего вступления на престол своего отца — в России была отменена смертная казнь в 1754 году, когда на Западе правительства и не думали об этом. Правда, она сохранилась для политических дел, и работа третьего брата Шувалова в застенках Тайной канцелярии напоминала времена Ушакова и Ромодановского, но тут соблюдалась такая тайна, что сама императрица Елизавета Петровна мало знала об усердии этого ведомства.

Принимались меры против роскоши, быстрой езды, пожаров и зараз; во время мора запрещено было даже носить детей в церковь для причащения.

Одна только черта, вытекавшая из воспи-

тания Елизаветы Петровны, придавала особый оттенок ее царствованию. Всячески заботясь о развитии человечности «путем Петра Великого», то есть с помощью светского просвещения, правительство старалось помогать ей благочестием. Дух древней России сквозил в мерах по распространению православия. Тут не жалели ни денег, ни власти. Увеличивая число церквей и монастырей, легко разрешая пострижение в иночество, стесняли иноверцев. Совсем были запрещены армянские церкви. Заграничные книги подвергались цензуре Святейшего Синода. Евреям было запрещено даже за особые налоги торговать на ярмарках, так как императрица «не желала выгод от врагов Христовых». Судьба инородцев напоминала допетровские времена, а раскольникам не было хуже во весь восемнадцатый век. Шесть тысяч таких изуверов сразу подвергли себя самосожжению в скитах.

Елизавета Петровна и во внешних делах шла по пути отца. Возмущенная объявлением шведов, что они поднялись для установления ей престола, она ревностно продолжала вой-

ну с ними. Вскоре шведская армия сдалась, и, по миру в Або, к завоеваниям Петра I присоединилась еще часть Финляндии до реки Кюмеля.

Затем возник сложный германский вопрос. Война за австрийское наследство перевернула европейскую политику. До тех пор все боялись могущества маститых австрийских Габсбургов и сочувствовали французским Бурбонам, боровшимся с ними. Теперь Фридрих II унизил Австрию, отхватил у нее лучшую провинцию — Силезию и застращал всех своей находчивостью и гениальностью полководца.

Бестужеву нетрудно было поддержать мысль Остермана о союзе с Австрией. Он доказал даже, что сам Петр, стоявший за «равновесие в Германии», остановил бы успехи Пруссии как нашего главного врага «поблизости соседства и по ее великой умножаемой силе». Так твердили даже его соперники при дворе.

Фридрих II был лично противен Елизавете Петровне. Он ненавидел ее и даже сносился с раскольниками, чтобы восстановить Ива-

на VI на престоле.

— Он в Бога не верит, кощунствует над святыми, в церковь не ходит и с женой по закону не живет! — говорила императрица[5].

Вот, между прочим, показания тобольского посадского Ивана Зубарева, который содержался по разным делам в Сыскном приказе, бежал оттуда, жил за границей и был схвачен у раскольников.

Зубарев показал в Тайной канцелярии, что после бегства из Сыскного приказа он жил у раскольников в слободе Ветке, откуда в 1755 году поехал извозчиком в Кенигсберг с товарами русских беглых купцов-раскольников. Здесь прусские офицеры, по обыкновению, начали вербовать его в солдаты, в гвардию, и когда он согласился, то его отвезли в Потсдам. Через посредство Манштейна, бывшего адъютантом у Миниха и по воцарении Елизаветы Петровны перешедшего в прусскую службу, Зубареву предложили ехать к раскольникам и возмутить их в пользу Ивана Антоновича.

— Послужи за отечество свое, — говорил Манштейн Зубареву, — съезди в раскольни-

чьи слободы и уговори раскольников, чтобы они склонились к нам и помогли вступить на престол Ивану Антоновичу, а мы, по их желанию, будем писать патриарху, чтобы им посвятить епископа; у нас был их один поп, да обманул нас и уехал. А как посвятят епископа, так он от себя своих попов по всем местам, где есть раскольники, разошлет, и они сделают бунт.

— Тебе подать только весть Ивану Антоновичу, — продолжал далее развивать свои планы Манштейн, — а мы в тысяча семьсот пятьдесят шестом году, весной, пошлем туда, к Архангельску, корабли под видом купечества, чтобы выкрасть Ивана Антоновича. А как мы его выкрадем, то через епископов и старцев сделаем бунт, чтобы возвести Ивана Антоновича на престол, а Иван Антонович старую веру любит; когда делается бунт, то и мы придем с нашим войском к русской границе. А донские казаки к нам совсем склонны, и у нас они есть, которые были со мною в походах, и мне они надежны. Когда будешь в Польше, заезжай в раскольничьи слободы опять и объяви тамошним наставникам, что-

бы они без всякой боязни к нам были склонны.

Зубарев согласился принять оба поручения — ехать к раскольникам и, согласясь с ними, ехать в Холмогоры дать знать Ивану Антоновичу, что за ним будет прислан корабль из Пруссии. Он был представлен самому Фридриху II и получил тысячу червонцев и две медали, по которым принц Антон должен был ему поверить, ибо никакого письменного документа не хотели ему дать.

Приехав в раскольничьи слободы, Зубарев начал исполнять свое поручение. Игумены раскольничьих монастырей спрашивали его:

— Да как же вы Ивана Антоновича посадите на царство?

— Так же посадим, как и государыня села! — отвечал Зубарев.

Относительно архиерея игумены говорили:

— Лучше бы, если бы ее величество изволила прислать сюда епископа греческого, а туда очень ехать далеко.

Раскольники начали говорить ему:

— Пора тебе ехать выручать Ивана Анто-

новича, и как вас Бог вынесет, то мы стоять готовы.

Но Зубарев вместо Холмогор попал в Петербург, в Тайную канцелярию. Показания его имели следствием то, что Иван Антонович перевезен был тайно из Холмогор в Шлиссельбург. Доведенные до сведения императрицы Елизаветы Петровны эти показания Зубарева не могли, конечно, увеличить в ее сердце симпатии к прусскому королю.

Русские войска явились в Германию уже во время войны за австрийское наследство. Испуганный Фридрих поспешил заключить мир с Марией-Терезией до столкновения с ними. Когда, несколько лет спустя, Фридрих начал новую Семилетнюю войну с Австрией и против него вооружилась почти вся Европа, за исключением Англии, Елизавета Петровна стала во главе союзников. Она говорила, что «продаст половину своего платья и бриллианты» для уничтожения своего заклятого врага.

Русские двинулись под начальством тучного, спесивого барича, щеголя Апраксина. Казаки и калмыки опустошали Бранденбург. В большом сражении у Грос-Егерсдорфа рус-

ские одержали победу, хотя и очень тяжелую. Вслед за тем Апраксин начал показавшееся всем очень странным отступление, что и отразилось в самом Петербурге. Началась известная «бестужевская история», в которой оказалась замешанной великая княгиня Екатерина Алексеевна. По получении в Петербурге известия об отступлении Апраксина после победы он 18 октября 1757 года получил указ сдать команду над армией генералу Фермору и ехать в Петербург.

В начале ноября Апраксин приехал в Нарву и получил через ординарца кампании, вице-капрала Суворова, высочайший приказ отдать все находящиеся у него письма. Причиной этого отобрания писем были письма великой княгини, о которых проведали. Императрице было сообщено об этой переписке, причем дело было представлено в очень опасном свете. Прошло полтора месяца после отобрания у Апраксина переписки, но он все сидел в Нарве и не был приглашаем в Петербург, что было равносильно запрещению въезда.

XI

Письма великой княгини

В январе 1758 года начальник Тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов отправился в Нарву поговорить с Апраксиным насчет отобранной у него переписки.

Ничего особенного не вышло из этих разговоров. Апраксин дал клятвенное заявление, что он никаких обещаний молодому двору не давал и никаких внушений в пользу короля прусского от него не получал. На этом дело остановилось.

Императрица Елизавета Петровна обходилась холодно с великой княгиней, холодно и с канцлером. Против Бестужева, кроме переписки, были и другие причины неудовольствия, а главная из них, подготовленная Иваном Ивановичем Шуваловым и вице-канцлером Воронцовым, нашептавшим государыне, что ее слава страдает от кредита Бестужева в Европе, что канцлеру приписывают более силы и значения, чем самой императрице.

Делу, кроме того, помог великий князь

Петр Федорович, обратившийся к Елизавете Петровне с жалобами на Бестужева. Императрица была очень тронута, что племянник обратился к ней по-родственному с полной, по-видимому, откровенностью и доверчивостью. Никогда не была она так ласкова с ним. Петр Федорович, раскаиваясь в прошедшем своем поведении, складывал всю свою вину на дурные советы, а дурным советником оказался Бестужев.

В субботу 14 февраля, вечером, Бестужев был арестован, когда явился на конференцию, и отведен под караулом в собственный дом. Великая княгиня Екатерина Алексеевна, проснувшись на другой день, получила записку от Понятовского.

Записка гласила следующее:

«Граф Бестужев арестован, лишен всех чинов и должностей, с ним арестованы: ваш бриллианщик Бернарди, Елагин и Ададу-ров».

Первая мысль Екатерины Алексеевны по прочтении записки была та, что беда ее не минует. Бернарди, умный и ловкий итальянец, благодаря своему ремеслу был вхож во

все дома, почти все были ему что-нибудь должны, почти всем он оказал какую-нибудь маленькую услугу. Так как он постоянно бегал из дома в дом, то ему давали поручения. Записка, посланная с ним, доходила скорее и вернее, чем отправленная со слугою. Великой княгине он служил таким же комиссионером. Елагин был старый адъютант графа Алексея Кирилловича Разумовского, друг Понятовского, очень привязанный к великой княгине, равно как и Ададуров, учивший ее русскому языку.

Вечером в этот день во дворце был бал. Великая княгиня Екатерина Алексеевна подошла к Николаю Трубецкому и спросила его:

— Что это у вас за новости, нашли ли вы больше преступлений, чем преступников, или у вас больше преступников, чем преступлений?

— Мы сделали то, что приказано, — отвечал Трубецкой. — Преступления еще отыскивают, и до сих пор неудачно.

Фельдмаршал Бутурлин по поводу этого же сказал великой княгине:

— Бестужев арестован, а теперь мы ищем

причины, за что мы его арестовали.

На другой день к великой княгине пришел заведовавший голштинскими делами при великом князе тайный советник Штамке и объявил, что получил записку от Бестужева, в которой тот приказывал ему сказать Екатерине, чтобы она не боялась — все сожжено. Дело шло о проекте относительно престолонаследия. Записку принес музыкант Бестужева, и было условлено на будущее время класть записки в груды кирпичей, находившуюся недалеко от дома бывшего канцлера. По поручению Бестужева Штамке должен был также дать знать Бернарди, чтобы тот при допросах показывал сущую правду и сообщил бы Бестужеву, о чем его спрашивали. Но эта переписка скоро прекратилась.

Через несколько дней, рано утром, к великой княгине вошел Штамке, бледный, испуганный, и объявил, что переписка открыта, музыкант схвачен и, по всей вероятности, последнее письмо в руках людей, которые стерегут Бестужева. Штамке не обманулся. Письмо очутилось в следственной комиссии, наряженной по делу Бестужева.

Комиссия состояла из трех членов: фельд-маршалов — князя Трубецкого и Бутурлина и графа Александра Шувалова. Секретарем был Волков. Комиссия ставила арестованным бесконечные вопросы и требовала пространных ответов. Ответы были даны, но решение еще не выходило. Бестужев содержался под арестом в своем собственном доме.

Наряду с его делом производилось и дело об Апраксине, окончившееся, впрочем, скорее — смертью обвиняемого полководца. Великая княгиня Екатерина Алексеевна оказалась сильно причастной к делу. Недозволенная переписка с нею Апраксина и пересылка писем Бестужева лежали в основании допросов и бывшему канцлеру, и бывшему главнокомандующему.

Екатерина Алексеевна не могла бояться важных обвинений, потому что подозрениями ничего нельзя было доказать. Несмотря, однако, на это, положение ее было тяжелое. Подозрениями ничего нельзя было доказать, но подозрения могли остаться в голове императрицы, да и, кроме подозрений, Екатерина Алексеевна знала, как Елизавету Петровну

должно было раздражить ее вмешательство в дела и значение, ею приобретенное. Главнo-командующий, зная решительные намерения государыни, колеблется, сдерживается в их исполнении противоположными желаниями великой княгини. Гнев императрицы, и сильный гнев, — несомненен. Где искать защиты против этого гнева? Кто переложит его на милость?

Люди преданные пали, судятся как государственные преступники. Враги торжествуют. Великий князь настроен крайне враждебно. Будущее было очень мрачно. Одно средство выйти из тяжкого положения — это обратиться прямо к Елизавете Петровне, которая очень добра, которая не переносит вида чужих слез и которая очень хорошо знает и понимает положение Екатерины в семье.

Великая княгиня решилась на последнее, тем более что Иван Иванович Шувалов уверил ее, что императрица скоро увидится с нею, и если со стороны ее, Екатерины, будет оказана малейшая покорность, то все дело окончится хорошо.

С другой стороны, впрочем, до Екатерины

доходили слухи, что ее хотят удалить из России. Она понимала, что эти слухи несбыточные, что Елизавета Петровна никогда не решится на такой скандал из-за нескольких писем к Апраксину.

Но великая княгиня решилась воспользоваться и этими слухами — отнять у врагов эту угрозу и обратить их оружие против них самих, переменяла оборону в наступление. Ее жизнь в России самая невыносимая, так пусть ей дадут свободу выехать из России. Великая княгиня написала императрице письмо, в котором изображала свое печальное положение и расстроившееся вследствие этого здоровье, просила отпустить ее лечиться на воды, а потом к матери, потому что ненависть великого князя и немилость императрицы не дают ей более возможности оставаться в России.

После этого письма Елизавета Петровна обещала лично переговорить с великою княгиню. Посредничество духовника императрицы Дубянского ускорило это свиданье. Оно произошло после полуночи. В комнате императрицы, кроме ее и великой княгини,

находились еще великий князь и граф Александр Шувалов. Подойдя к императрице, Екатерина Алексеевна упала перед ней на колени и со слезами на глазах стала умолять отправить ее к родным за границу. Императрица хотела ее поднять, но великая княгиня не вставала. Если Иван Иванович Шувалов советовал ей оказать немного покорности, то она употребила сильные приемы и тем скорее достигла своей цели.

На лице Елизаветы Петровны была написана печаль, а не гнев. На глазах ее блестели слезы.

— Как это мне вас отпустить? Помните, что у вас дети! — сказала она Екатерине.

Та ловко затронула другую нежную сторону человеческого сердца.

— Мои дети, — отвечала она, — на ваших руках, и лучшего для них желать нечего; я надеюсь, что вы их не оставите!

— Но что же я скажу другим, за что я вас выслала? — спросила Елизавета Петровна.

— Ваше императорское величество, — отвечала великая княгиня, — изложите причины, почему я навлекла на себя вашу нена-

висть и ненависть великого князя.

— Чем же вы будете жить у своих родных?

— Чем жила перед тем, как вы меня взяли сюда, — отвечала Екатерина Алексеевна.

— Встаньте! — еще раз повторила императрица.

Великая княгиня повиновалась. Елизавета Петровна отошла от нее в раздумье. Она чувствовала, что потерпела поражение от женщины, которая стояла перед ней на коленях. Надобно было собрать силы для нападения. Но это было трудно сделать, и атака поведена была в расстройстве, в беспорядке. Императрица подошла к великой княгине с упреком.

— Бог свидетель, как я плакала тогда, по приезде вашем в Россию, вы были при смерти, больны; а вы почти не хотели мне кланяться как следует — вы считали себя умнее всех, вмешивались в мои дела, которые вас не касались; я бы не посмела этого делать при императрице Анне. Как, например, смели вы посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?

— Я! — отвечала Екатерина. — Да мне никогда и в голову не приходило посылать ему

приказания!

— Как, — возразила императрица, — вы будете запираяться, что не писали ему? Ваши письма там!

Она показала рукой на туалет.

— Ведь вам было запрещено писать.

— Правда, — отвечала Екатерина, — я нарушила этот запрет и прошу простить меня, но так как мои письма там, то они могут служить доказательством, что никогда я не писала ему приказаний и что в одном письме я извещала его о слухах насчет его поведения.

— А зачем вы ему это писали? — прервала ее императрица.

— Затем, что очень его любила и потому просила его исполнять ваши приказания; другое письмо содержит поздравление с рождением сына, третье — поздравление с Новым годом.

— Бестужев говорит, что было много других писем... — уронила Елизавета Петровна.

— Если Бестужев это говорит, то он лжет, — отвечала Екатерина, глядя прямо в глаза императрицы.

Последняя употребила нравственную пыт-

ку, чтобы вынудить признание, и сказала:

— Если он на вас лжет, то я велю его пытать.

Но великая княгиня не испугалась и отвечала:

— В вашей воле сделать все то, что признаете нужным, но я писала только эти три письма к Апраксину.

Елизавета Петровна ничего не сказала на это. Она, по своему обыкновению, ходила по комнате, обращаясь то к великой княгине, то к великому князю, но всего чаще к Шувалову. Весь этот разговор, длившийся полтора часа, произвел на нее сильное впечатление, но не вызвал раздражения.

Великий князь, напротив, выказал сильное ожесточение против жены. Он старался вызвать раздражение Елизаветы Петровны против нее, но не достиг свой цели, потому что в его словах слишком резко выражалась страсть. Наконец, императрица, подойдя к Екатерине, сказала ей тихо:

— Мне много бы нужно было сказать вам, но я не могу говорить, потому что не хочу еще больше вас поссорить.

— Я также, — отвечала великая княгиня, — не могу говорить, как ни сильно мое желание открыть вам мое сердце и душу.

Елизавета Петровна была очень тронута этими словами. Слезы навернулись у ней на глазах, и, чтобы другие не заметили, как она расстроена, она отпустила великого князя и великую княгиню, говоря, что уж очень поздно. Было, действительно, около трех часов утра.

Вслед за великой княгиней императрица послала Александра Шувалова сказать ей, чтобы она не горевала, что она в другой раз будет говорить с ней наедине. В ожидании этого разговора Екатерина заперлась в своей комнате, под предлогом нездоровья. Она в это время читала первые пять томов «Истории путешествия», с картой на столе. Когда она уставала от этого чтения, то перелистывала первые тома французской энциклопедии.

Скоро она имела удовольствие убедиться, как удачно поступила она, что потребовала сама отпуск из России. К ней явился вице-канцлер Воронцов и от имени императрицы стал упрашивать отказаться от мысли

оставить Россию, так как это намерение сильно начинает беспокоить императрицу и всех честных людей, в том числе и его, Воронцова. Он обещал, кроме того, что императрица будет иметь с ней вскоре свидание наедине. Обещание было исполнено.

Императрица потребовала прежде всего, чтобы Екатерина отвечала ей самую правду на ее вопросы, и первым вопросом было: действительно ли она писала только три известные письма к Апраксину?

Великая княгиня поклялась, что только три.

Окончание дела во дворце между императрицей и великой княгиней, разумеется, имело необходимое влияние и на дело Бестужева с сообщниками, хотя и не спасло их от ссылок, почетных и непочетных. Бестужева выслали на житье в его деревню Горетово Можайского уезда, Штамке — за границу, Бернарди — в Казань, Елагина — в казанскую деревню. Веймарна определили к сибирской войсковой команде, а Ададунова назначили в Оренбург товарищем губернатора.[6]

XII

Нашла коса на камень

Граф Иосиф Янович Свянторжецкий медлил, действительно, с расчетом. Он умышленно хотел довести «прекрасную самозванку», как называл граф княжну Людмилу, до такого нервного напряжения, чтобы она сама сделала первый шаг к скорейшему свиданию с ним.

Дни шли за днями, а он не дождался этого шага. Княжна Людмила Васильевна, как мы видели, не решалась на этот шаг, боясь проиграть игру. Она не теряла надежды еще выиграть ее.

После недели ожидания в состоянии ее духа произошла реакция — она более спокойно стала обсуждать свое положение и, если припомнит читатель, дошла до мысли, что есть способ окончательно отразить удар, который готовился нанести ей граф Свянторжецкий.

Таким образом, своею медлительностью граф достиг совершенно противоположных результатов, чем те, которые он ожидал. Если

бы он действительно приехал на другой или даже на третий день после того, как Никита сообщил о своем подневольном к нему визите, сразу захватил бы молодую девушку врасплох, то она под влиянием страха решилась бы на все, но он дал ей время все обдумать, дал время выбрать против себя оружие. В этом была его ошибка. Он слишком понадеялся на свое открытие, не обдумал дела во всех подробностях и, главное, не задумывался о могущих быть последствиях.

Он до того был уверен, что самозванка княжна испугается открытия ее самозванства, что ему ни на одно мгновение не пришло на мысль, что она может отпереться от всего, разыграть роль оскорбленной и выгнать его от себя.

Что будет он делать тогда? Как ему поступить?

Эти вопросы, повторяем, не приходили ему в голову. А между тем ответы на них были для него более чем затруднительны. Он мог, конечно, захватить снова Никиту и выдать его правосудию как убийцу княгини и княжны Полторацких, а Никита под пыткой,

конечно, оговорит Татьяну Берестову и обнаружит ее самозванство.

Но поверят ли ему?

Доказательств против княжны Людмилы Васильевны, кроме оговора убийцы ее матери, не будет никаких. Предательский ноготь, единственное различие между дочерьми одного и того же отца, в руках графа Святогоржецкого не мог быть орудием, так как рассказ из воспоминаний его детства, несомненно могущий быть подтвержденным старыми слугами княгини Полторацкой, должен был обнаружить и его собственное самозванство. Он должен был бы рассказать, что он Осип Лысенко, сын генерала Ивана Осиповича Лысенко, лично известного императрице. На это бы граф никогда не решился.

Какая же сила была у него? Никакой, кроме неожиданности и быстрого натиска. Для этого он упустил время. Граф Иосиф Янович ничего, повторяем, этого не думал. Он, напротив, был уверен, что ему стоит только протянуть руку, чтобы взять княжну. Он ждал даже, что она сама попросит его к себе для того, чтобы умиловить его всевозможными

жертвами.

«На всякого мудреца довольно простоты» — эта пословица оправдалась на графе Свянторжецком.

В то время, когда он почивал на лаврах своего открытия, предвкушая сладостные его результаты, княжна Людмила Васильевна всесторонне обсудила план действий и стала приводить его в исполнение. В одну из ночей, когда явившийся к ней Никита задал свой обычный вопрос: «Был?» — она грозно крикнула на него:

— Чего ты ко мне пристаешь, был или не был!.. Мне-то до этого какое дело!..

Никита широко открыл свои посоловевшие от пьянства глаза.

— Да ты в уме ли, девушка? — задал он вопрос после довольно продолжительной паузы.

— Я-то в уме, а ты, видно, свой-то совсем пропил... Ходит каждую ночь и спрашивает: «Был или не был?» Ждет, когда его второй раз сцапают и отправят в Сыскной приказ...

— Сцапают... В Сыскной приказ... — повторил дрогнувшим голосом Никита. — Почему?

— Почему? — передразнила его княжна. — А потому, что если он не едет, значит, решил начать дело...

— Что ты, девушка, говоришь, вдруг и вправду...

— Что вправду, это ясно как день... Держись только, не нынче завтра тебе руки за спину и за решетку посадят...

— Пропала наша головушка! — воскликнул Никита.

— Не наша, а твоя... — поправила его молодая девушка.

— А ты, краля, думаешь, что я тебя в каземате-то помилую? Нет, девушка, и сама его попробуешь...

— Держи карман шире...

— Увидишь...

— Чего увидишь-то?.. Что ты глуп, это я и сама вижу...

— Глуп, глуп, а все расскажу, как было, по-божески...

— По-божески... Так тебе и поверят, бродяге, против меня, княжны Полторацкой, — встала девушка с дивана и выпрямилась во весь рост.

— Расскажу я, какая ты княжна, подзаборная... — зарычал Никита.

— Рассказывай, не испугаюсь. Ты о себе бы подумал лучше, как себя спасти, нежели других топить, дурак ты, дурак.

— Что же мне делать?

Вместо ответа молодая девушка продолжала:

— Ты сам сообрази... Меня все признали, родной дядя, даже императрице самой представили, я ей понравилась и своим у нее человеком стала... Вдруг хватают разыскиваемого убийцу моей матери, а он окоlesiцу горюдит, что я не я, а его дочь Татьяна Берестова... Язык-то тебе как раз за такие речи пообрежут. Тебе беда, а не мне... Я отверчусь... Коль уж очень туго придется, сама пойду к государыне, сама ей во всем как на духу признаюсь и попрошу меня в монастырь отпустить...

— Ишь, что придумала, змея... — злобно проворчал Никита.

— Не в тебя, что о себе не думать.

— Что же мне-то думать?

— А то, что надо тебе схорониться отсюда

куда-нибудь подальше.

— Куда же это прикажешь... Аль тебе надоел, сбагрить меня хочешь... Нет, это ты, девушка, шутки шутишь...

— Ничего не сбагрить... По мне, шляйся здесь, сколько твоей душеньке угодно, жди, пока в каменный мешок тебя законопатят... Мне ни тепло от этого, ни холодно.

— Одной на свободе побыть захотелось, княжной... Ишь, мудреная, что придумала... Иди подобру-поздорову... Скатертью дорожка... Голодай, а я поживу, поцарствую.

— Зачем голодать... Вот я тебе мешочек с золотом приготовила на дорогу... На весь твой век тут хватит... Тысяча червонных...

— Тысяча червонных... — даже захлебнулся Никита.

— Да, тысяча. Получай и сгинь... Скройся подальше... Лучше, если в Польшу, там и паспорт можешь за деньги достать... Вина везде на твою долю хватит...

Она остановилась и посмотрела на Никиту. Он молчал, а глаза его были с жадностью устремлены на развязанный княжной холстинный мешочек, в котором она горстями

перебирала золотые монеты.

— Пожалуй, ты, девушка, и дело говоришь...

— Вестимо, дело, тебе же добра желаю... С чего же пропадать-то и меня губить... Погубишь или не погубишь, бабушка надвое сказала, и ни от того, ни от другого тебе нет никакой корысти.

— Это правильно... — произнес Никита.

— Конечно, правильно... Умру ли я, в монастырь ли пойду, осудят ли меня, все равно богатство тебе не достанется. Сергею Семеновичу все пойдет... Бери же мешочек-то. В нем богатство, целый большой капитал... Что тебе в Питере оставаться... Россия велика, да и за Россией люди живут... Везде небось деньгам цену знают, не пропадешь с ними... Себя и меня спасешь...

— И граф в дураках останется.

— Еще в каких...

На лице Никиты промелькнула довольная улыбка. Он вспомнил, что ему достаточно помнили бока графские люди, когда неожиданно напали на него у садовой калитки. Теперь граф будет за это отомщен.

— Давай, девушка! — протянул он руку. — Прощай, не поминай лихом.

Княжна протянула ему мешок, который он бережно положил за пазуху.

— Счастливый путь... Живи припеваючи, так-то лучше, чем тут каждый день труса перед всеми праздновать. Ты когда в дорогу?

— Да сейчас же... Сборы недолги, весь тут...

— Ладно... Прощай... Счастливо...

Никита повернул к дверям...

— Ключ-то от калитки отдай... Тебе он не нужен.

— Не запираешь?..

— Прихлопни покрепче. Завтра сама запру.

Никита вынул ключ из кармана и подал его молодой девушке.

— Счастливо оставаться, ваше сиятельство, — сказал он, как-то особенно подчеркнув титул, и вышел.

Княжна некоторое время стояла в раздумье. Чутким ухом слышала она шаги Никиты по саду, шум захлопнувшейся калитки. Наконец, она опустилась на диван и вздохнула полной грудью.

— Ну-с, теперь пожалуйста, ваше сиятельство! — сказала она с довольной улыбкой.

Прошло еще три дня. Наконец, княжна Людмила Васильевна Полторацкая получила от графа Свянторжецкого записку с просьбой назначить ему день и час, когда бы он мог застать ее одну. Княжна ответила, что давно удивляется его долгому отсутствию, что всегда рада его видеть у себя, но не видит надобности обставлять это свидание таинственностью, но что если ему действительно необходимо ей передать что-нибудь без свидетелей, то между четырьмя и пятью часами она всегда, по большей части, бывает одна.

Тон этой ответной записки поразил графа. Так не пишут женщины, чувствующие себя во власти мужчины. Он получил этот ответ утром и в тот же день решил рассеять возникшее в его уме недоумение.

Ужели она надеется перехитрить его? Вот вопрос, который вставал в его уме, но он отбрасывал его, как нелепый.

— Понимает же она, что ее тайна в моих руках.

Медленно стали тянуться те несколько ча-

сов, которые остались до назначенного княжной времени. Без четверти четыре граф выехал из дому.

— Княжна у себя? — спросил он у отворившего ему дверь лакея.

— Пожалуйста, у себя...

— Одна?

— Одни-с!

— Доложи!

— Пожалуйста в гостиную, — указал лакей графу дверь направо, тогда как гость, по привычке, хотел пройти в будуар княжны, где обыкновенно ранее был принимаем ею и где произошел их последний разговор, когда в пылу начатого признания графу бросился в глаза ее предательский ноготь.

Он последовал указанию слуги и вошел в гостиную. Этот прием — лакей, видимо, получил относительно его, графа, особое приказание — не только не рассеял, но, скорее, усугубил беспокойство графа Иосифа Яновича Свянторжецкого, вызванного тоном ответной записки.

«Она что-то затевает! — пронеслось в его уме. — Ну да найдет коса на камень...»

Он не знал, что уже коса, в виде княжны, нашла на камень, который изображал на ее дороге «беглый Никита», и легко сбросила его с этой дороги. Граф нервными шагами стал ходить по мягкому, пушистому ковру, которым был устлан пол гостиной, отделанной в восточном вкусе. Проходившие минуты казались ему вечностью.

«Эта дворовая девка, — со злобой начал думать он, — заставляет меня дожидаться».

Он сел на один из табуретов и стал нетерпеливо отбивать такт ногой, как бы аккомпанируя своим прыгающим мыслям.

«Какова! Может быть, Никита ей ничего не сказал? Наверяд. Тогда бы она меня приняла попросту, без затей. Посмотрите, уже с полчаса как я сижу здесь, как дурак. Поплатишься же ты за это, Татьяна Берестова». Он снова встал и снова стал ходить по комнате. Княжна не появлялась. «Я еду домой и напишу ей», — в страшном озлоблении подумал граф.

Но вот портьера из соседней комнаты поднялась, и в гостиную величественной походкой вошла княжна. Она была одета вся в белое, и это особенно оттеняло ее оригиналь-

ную красоту. Злоба графа вдруг пропала. Он смотрел на нее обвороженный.

«И эта девушка моя... Мне стоит протянуть руку... Зачем я так долго медлил?.. Пусть она не княжна, но она царица по красоте... Зачем я мучил ее?.. Она похудела».

Молодая девушка действительно несколько изменилась с последнего дня, в который ее видел граф. Она недаром пережила эти две недели волнений, дум и опасений.

— Как давно мы с вами не видались, граф? — ровным, спокойным голосом сказала она и протянула ему руку.

Он невольно припал губами к этой прелестной руке, с жадностью целовал ее, хотя по дороге на Фонтанку давал себе слово не целовать руки у дворовой девки.

XIII

Камень сбит

— Садитесь, граф! — грациозным жестом указала княжна Людмила Васильевна Полторацкая на один из табуретов, стоявших возле дивана, и лениво опустилась на последний.

Граф Свянторжецкий сел. Удивленно-беспокойным взглядом смотрел он на княжну Людмилу Васильевну. Она, видимо, не чувствовала ни малейшего смущения и со спокойным, обыкновенным полукокетливым и полунасмешливым выражением лица смотрела на графа.

«Что она, действительно ничего не знает или притворяется?» — неслоь в уме последнего.

Наступило неловкое молчание. Его прервала княжна Людмила Васильевна:

— Что это, граф, вы совсем пропали? Сколько времени я вас не видела у себя. Уже ли ваша головная боль, припадок, который случился как раз у меня, так продолжитель-

но отразилась на вашем здоровье? Вы были больны?

— Нет, я не был болен, — отвечал граф.

Княжна, по обыкновению, играла кольцами и браслетами на руках, а предательский ноготь так и бросался в глаза графу, как бросается фигура на разгаданной уже загадочной картинке. Этот ноготь напоминал ему, что он здесь властелин, а между тем с ним играет эта его раба, как кошка с мышью. Это его бесило и отразилось в тоне его ответа. Княжна заметила этот тон, и лицо ее приняло надменное, холодное выражение.

— В таком случае я отказываюсь объяснить ваше более чем странное поведение относительно меня. Вы сидите у меня, чуть не признаетесь мне в любви, обрываете это признание на половине, что объясняете внезапным приступом головной боли, уезжаете, не кажете глаз около месяца и, наконец, просите снова свиданья запиской, очень странной по форме. Согласитесь, что я вправе удивляться.

— Но разве вы не знаете, что мне все известно? — вдруг выпалил граф, и взгляд его сверкнул торжеством.

Княжна глядела на него несколько мгновений широко открытыми глазами.

— Вам... Все известно... Что?!

Этот вопрос был задан так искренно, что граф положительно, что называется, опешил.

«Она ничего не знает!» — мелькнуло в его уме.

— Вам, значит, ничего не передавал Никита? — вслух сказал он.

— Никита... Какой Никита? — с тем же спокойным недоумением вместо ответа спросила, в свою очередь, княжна.

«Она играет... — решил мысленно граф. — Посмотрим, кто кого!» — и он снова добавил громко:

— Никита Берестов...

— Никита Берестов... — медленно, отчеканивая каждую букву, произнесла княжна. — Кто же это такой?.. Позвольте, не тот ли, которого звали «беглым Никитой», убийца моей матери и несчастной Тани?

Граф молчал, неотводно глядя своими черными, проникающими, казалось, в самую душу глазами на молодую девушку. Та спокойно выдержала этот взгляд.

— Где же этот Никита?

— Вам лучше знать это...

— Мне... Послушайте, граф, если это шутка, то очень неуместная... Вы, быть может, больны?

— Я совершенно здоров.

— Здоровы... — засмеялась звонко княжна. — Нет, вы не здоровы, если говорите такие вещи... Убийцу моей матери, Никиту Берестова, ищет полиция, а вы мне говорите, что мне лучше всех знать, где он находится.

— Он бывал у вас.

— У меня? Нет, граф, простите, лучше переменим этот разговор.

Она, как ему показалось, почти с соболезованием посмотрела на него. Этот взгляд красноречивее всяких слов показал ему, что она считает или, лучше сказать, делает вид, что считает его сумасшедшим.

— Зачем менять разговор, — воскликнул граф, у которого хладнокровие молодой девушки вырывало из-под ног почву, — я именно по этому поводу просил вас назначить мне свидание. Снимите маску! Предо мной нечего играть комедии... Я сам виделся и говорил с

Никитой Берестовым.

— Вы видели его и говорили с ним? — медленно произнесла княжна. — Это становится серьезным. Значит, вы-то действительно знаете, где он находится. Он, может быть, даже сознался вам в преступлении?

— Да, и рассказал все.

Граф подчеркнул последнее слово.

— Вы, граф, служите в Сыскном приказе?

— Нет, я не служу нигде.

— Я спросила это потому, что иначе не знаю, зачем вы допрашиваете убийц?

— Чтобы обличить его сообщницу.

— У него были сообщники?

— Я говорю сообщницу.

— И они, конечно, теперь в руках правосудия?

— Они могут быть.

— От чего же это зависит?

— От вашего желания.

— От моего? Тогда, конечно, я желаю этого... На вашей обязанности, граф, лежит тотчас же уведомить, что вы знаете, где находится убийца моей матери и несчастной Тани... Ведь вы знаете, что это ее отец.

— Я знаю это... — мрачно сказал граф Свянторжецкий.

Он начал понимать всю шаткость своего положения, если она будет продолжать в этом тоне. Наглость, с которою говорила с ним и глядела на него молодая девушка, положительно парализовала его волю.

— Если вы этого не сделаете, граф, — взволнованно между тем продолжала княжна Людмила Васильевна, — то это сделаю я... Я сегодня же вечером поеду к дяде и расскажу ему о вашем открытии, а завтра доложу об этом государыне.

Этого уже граф Свянторжецкий совершенно не ожидал.

— И это сделаете вы?.. — запальчиво воскликнул он.

— Ну, конечно, я, — смерила княжна его взглядом, — кому же еще сделать это, как не дочери покойной?

— Вы не дочь княгини Полторацкой.

— Что-о-о?! — встала княжна.

Граф тоже встал. Они несколько мгновений молча стояли друг против друга. Взгляды их черных глаз пересекались, как острия

шпаг.

— Вы не дочь княгини Полторацкой... — повторил Иосиф Янович Свянторжецкий.

Молодая девушка отступила от него на несколько шагов и вдруг села на диван, около которого спускалась вышитая полоска сонетки, украшенной золотой кистью. Она откинулась на спинку дивана и правой рукой взялась за сонетку. Граф понял этот маневр.

— Подождите звонить... Я докажу вам, что... — заспешил он.

— Я и не звоню. Это так, на всякий случай... Я, напротив, с нетерпением ожидаю вашего объяснения.

Она глядела на него полунасмешливым, полунедоумевающим взглядом.

— Кто же я такая?

— Вы Татьяна Берестова.

— Татьяна Берестова... — медленно произнесла княжна, не сморгнув глазом. — Кто же сказал вам это?

— Мне сказал это ваш отец.

— Мой отец?!

— Да. Никита Берестов.

— Убийца?

— Убийца, которого вы были сообщницей.

— Мне, граф, следовало бы давно уже дернуть за эту сонетку, но я не из трусливых, тем более что я надеюсь, что ваша болезнь еще не дошла до буйства...

— Послушайте...

— Я слушаю, мне даже очень интересно. Ведь это точно сказка. Польский граф захватывает убийцу русской княгини и обнаруживает, что вместо оставшейся в живых княжны при дворе русской императрицы фигурирует дворовая девушка, сообщница убийцы своей барыни и барышни... Так, кажется?..

— Совершенно так.

— Но, что всего интереснее, так это то, что польский граф не сообщает тотчас же о своем важном открытии русским властям, а вступает в переговоры с сообщницей убийцы, самозванной княжной. Вы, граф, остроумный шутник и очень занимательный собеседник.

Княжна Людмила Васильевна совершенно непритворно весело расхохоталась.

— Я не шучу и не рассказываю сказки.

— Серьезно говорить то, что возбуждает смех в слушателях, — одно из достоинств рас-

сказчика.

Граф нервно кусал себе усы и стоял перед княжной с горящим взглядом.

— Повторяю вам, я не шучу.

— Я это слышала... Что же дальше?

— Вы прекрасно владеете собой, видимо предупрежденная вашим сообщником, хотя вы отказываетесь, что видели его и принимали у себя.

— Кого это?

— Никиту Берестова... Вашего отца.

— Благодарю вас за такое родство, граф.

Он не слышал этого замечания и продолжал:

— Но можно доказать, что у вас бывал странник, который велел о себе доложить вам, что он не кровопивец, и вы с ним подолгу беседовали.

— Действительно, — отвечала молодая девушка, — ко мне приходил какой-то юродивый, и я ему помогала и слушала его болтовню и даже предсказания... Я очень люблю все необыденное... Доказательство налицо... Я слушаю вас, граф, а ваши речи очень малым, по отсутствию смысла, отличаются от речей

этого юродивого.

— Княжна! — воскликнул граф.

— Вот и проговорились сами... Забыли, что только сейчас называли меня Татьяной Берестовой, — со смехом заметила молодая девушка.

— Я обмолвился.

— Когда?

— Конечно, сейчас.

— Это последовательно, по крайней мере.

— Этого-то странника, — продолжал граф Свянторжецкий, — я со своими людьми захватил у калитки вашего сада и он оказался Никитой, убийцей княгини и княжны Полторацких.

— Где же он находится?

— Я могу его найти всегда... Я приказал проследить, где он живет.

— Но зачем же вы его отпустили?

— Я хотел сперва переговорить с вами.

— О чем же говорить с сообщницей убийцы?..

— Я могу похоронить эту тайну... Никто, кроме меня, не будет знать об этом...

— Вот как... И ваша цена, граф? — с

нескрываемым презрением спросила княжна.

— Вы сами.

Он было приблизился к ней.

— Отойдите, граф, или я позвоню.

— Вы раскаетесь...

— В чем?

— Я захвачу Никиту и отдам его в руки правосудия...

— Я сожалею только, что вы этого давно не сделали.

— Но тогда вы погибли.

— Вы наивны, граф, кто может поверить оговору убийцы княжны Полторацкой или вашему сумасшедшему бреду?

— У меня есть доказательства...

— Чего?

— Доказательства, что вы не княжна...

— Какие?

— Вы очень были похожи с покойной княжной, но случай сделал между вами некоторое различие... У вас на безымянном пальце правой руки искривлен ноготь, вы занозили руку, вам всего было десять лет, и у вас сделался ногтеед... С княжной этого не случалось.

лось...

Молодая девушка невольно вздрогнула при этих словах графа и побледнела, но моментально оправилась.

— Вы правы. Этот случай был с Таней, но вы ошибаетесь в дальнейшем; в следующую за тем летом, в которое случилось с ней это несчастье, осень занозила тот же палец и я. У меня тоже сошел ноготь и вырос несколько неправильным. Я тогда еще ребенком решила, что это меня наказал Бог за то, что я радовалась, что между мною и Таней есть какое-нибудь различие.

— Это сказка, быстро и умно придуманная.

Молодая девушка, уже, видимо, вполне оправившаяся от минутного смущения, сказала это совершенно хладнокровно.

— Так вы хотите, чтобы я начинал дело?

Она долго пристально молча смотрела на него, стоявшего, по ее желанию, в почтительном отдалении. Граф принял это за колебание. Сердце его усиленно билось.

«Он сдастся!» — мелькала в ее уме радостная надежда.

— Так неужели же вы думали, что я пойду

с вами на эту позорную сделку?.. Вы ошиблись... Мне грустно только одно, что до такой низости дошли именно вы.

Граф сделал гневный жест. Молодая девушка крепко сжала сонетку и продолжала:

— Если бы это сделал действительно польский граф, чужестранец, то я могла думать, что добывать себе женщину таким неприглядным способом в обычаях его родины... Но на это решились вы, русский человек.

— Я вас не понимаю... — побледнел граф.

— Вы не граф Свянторжецкий... Вы выдали себя мне вашим последним рассказом о ногте Тани... Вы Осип Лысенко, товарищ моего детства, принятый как родной в доме моей матери. Я давно уже, встречая вас, вспоминала, где я видела вас. Теперь меня точно осенило. И вот чем вы решили отплатить ей за гостеприимство... Идите, Осип Иванович, и донесите на меня кому угодно... Я повторяю, что сегодня же расскажу все дяде Сергею, а завтра доложу государыне.

— Вы этого не сделаете...

— Я это сделаю... Я сделаю больше... На днях в Петербург ожидают вашего отца по пу-

ти в действующую армию, где он получает высокий пост. Я расскажу ему, как нравственно искалечила его сына иноземка-мать.

Граф Свянторжецкий — так мы будем продолжать называть нашего героя — стоял перед ней бледный, уничтоженный.

— А теперь довольно...

Молодая девушка сильно дернула сонетку. Явился лакей.

— Проводите графа, — приказала она ему. — До свидания, — обратилась она к Иосифу Яновичу, — не забывайте меня...

Она грациозно протянула ему руку. Он машинально поцеловал эту руку и вышел.

XIV

Игра проиграна!

— **П**осрамлен, уничтожен! — с отчаянием, схватившись за голову, воскликнул граф Иосиф Янович Святторжецкий, очнувшись у себя в кабинете после описанного нами визита к княжне Людмиле Васильевне Полторацкой.

Время с момента выхода его из гостиной княжны и до того момента, когда он очутился у себя, для него как бы не существовало. Он совсем не помнил, как оделся, сел в сани и приказал ехать домой, даже как снял дома верхнее платье и прошел в свой кабинет. Все это в его памяти было подернуто густым непроницаемым туманом.

«Безумец, я думал найти в ней рабу, а встретил врага, и врага сильного».

Он бросился на диван и, опустив голову на руки, глубоко задумался.

«Ужели я ошибся, ужели действительно она и есть настоящая княжна?» — несло в его голове.

«Нет, не может быть! — отгонял он тотчас же эту мысль. — Несомненно, она самозванка... Ведь всего недели полторы тому назад, вот здесь, в этом самом кабинете, передо мной сознался Никита Берестов — ее отец. Надо бороться, надо победить ее, нельзя дать над собой так насмеяться».

Необузданный по природе и по воспитанию, молодой человек выходил из себя как от оскорбленного самолюбия, так как оказался одураченным девчонкой, так и, главным образом, потому, что понравившаяся ему игрушка, которую он уже считал своею, вдруг стала для него недосыгаемой.

«Отойдите, граф, или я позвоню!» — раздался в его ушах голос молодой девушки.

И он отошел.

«Нет, нет, она будет моею во что бы то ни стало. Она, конечно, никому не пойдет говорить о нашем разговоре, не пойдет докладывать императрице, а я, я уличу ее одной ставкой с Никитой. Она не посмеет отпереться и сдастся».

Так думал граф, и искра надежды снова зажеглась в его сердце.

Он позвонил. Явился Яков, все еще служивший у графа, так как отпуск его на волю, несмотря на уплаченные за него графом помещику деньги, еще не состоялся, за окончанием всех формальностей. В его сундуке, однако, уже лежали и те двести рублей, которые дал ему Иосиф Янович за услугу, вместе с ранее накопленными деньгами и оставшимися от уплаты за поимку Никиты.

— Что прикажете, ваше сиятельство?

— Вот что, голубчик... Мне необходимо снова повидать этого странника.

— Это что к княгине ходил?

— Да... Ты знаешь ведь, где найти его?

— Молодцы-то мои сказывали, что наемники, по приказанию вашего сиятельства, выследили его берлогу. В лесу он живет, в землянке, неподалеку от дома княжны Полторацкой.

— А может, он оттуда ушел?

— Все может быть, ваше сиятельство.

— Так как же быть?

— У кабака дяди Тимохи его подстеречь али опять у калитки дома княжны.

— У какого кабака?

— Такой есть, там на выезде из предместья, по ночам торгует, более для беглых да для таких, как этот чернявый, странников.

— Так ты уговорись со своими и начинай следить; как сцапаете, так вяжите и прямо сюда. Коли меня не будет дома, то до меня не развязывайте. Положите куда ни на есть.

— Я его в чулан запрю, ваше сиятельство.

— В чулан так в чулан.

— Слушаю-с, ваше сиятельство... Я распоряджусь сегодня же с ночи.

— Достань ты мне его живого или мертвого. Нет, нет, я пошутил, мне он нужен только живой и вы его легонько, не зашибите.

— Зашибешь его, такого быка! Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, живого предоставим.

— Я полагаюсь на тебя. Вот тебе на расходы.

Граф встал, подошел к шифоньерке из ясеневоего дерева, стоявшей в кабинете, отпер ее, вынул один из мешочков с серебряными рублями и бросил его Якову.

— Лови!

Тот ловко поймал на лету.

— Не сумлевайтесь, ваше сиятельство.

Граф снова сел на диван. Наступило молчание.

— Больше никаких не будет приказаний? — нарушил его Яков.

— Нет, никаких. Только то, что сказал, аккуратно сделай.

— Слушаю-с.

Яков вышел.

— Хорошо посмеется тот, кто посмеется последний, Татьяна Никитишна! — злобно вслух сказал граф Иосиф Янович Свянторжецкий. — Я-то не прощу вам сегодняшнего дня. Вы таки действительно будете моей, живая или мертвая. Только бы поскорей он мне добыл Никиту. Остальное я все уже устрою умело и обдуманно. Я вижу теперь, что сам во всем виноват. Не надо было медлить. Я дал ей время одуматься и подготовиться.

Графу Свянторжецкому теперь стало ясно все, что он впопыхах, ошеломленный сделанным им открытием, упустил из виду, не думая и не гадая встретил в молодой девушке такую серьезную соперницу.

— Увидим теперь, чья возьмет, — весь по-

груженный в свой новый план, пробормотал он.

Посидев еще с полчаса в раздумье, он уехал из дому, наказав снова Якову начать действовать в тот же вечер.

— Слушаю-с, ваше сиятельство, не сумлевайтесь... — успокоил его верный слуга.

Граф стал вести прежний светский образ жизни, но все же каждый вечер или, лучше сказать, ночь, с тревогой подъезжал к своей квартире.

— Ну, что? — спрашивал он отворявшего ему дверь Якова.

— Не нашли еще... — отвечал тот.

Такой же вопрос задавал граф ему и каждое утро, но, увы, получал тот же далеко не удовлетворительный ответ.

Никита сгинул совершенно, как в воду канул. Его землянка оказалась пустой, в доме княжны Полторацкой он не появлялся, в кабаке дяди Тимохи тоже.

Прошла неделя, и граф решился прекратить розыски. Он понял.

— Она дала ему отступного, и он скрылся, — рассудил он. — Что же теперь делать?

Положение его оказывалось действительно незавидным. Игра была проиграна. С исчезновением Никиты весь составленный им новый план разрушался.

«Самозванка-княжна», как он продолжал мысленно называть княжну Людмилу Васильевну, продолжала между тем занимать все более и более места в его уме и сердце. Пленительный образ молодой девушки преследовал его неотступно. Разве не все равно было ему, была ли она княжной или же незаконной дочерью князя. Она ведь вылитая княжна. Он не заметил в ней ни капли холопской крови, которую из любезности к своей невесте открыл в Тане князь Сергей Сергеевич Луговой. И зачем ему было затевать всю эту историю? Она была к нему благосклонна! Никто не сомневается в ее знатном происхождении, никто не оспаривает у нее богатство, любимица государыни, одна из первых в Петербурге невест, он мог на ней жениться, вот и все.

Теперь она для него потеряна. После происшедшей между ним и ею сцены немислимо примирение. Он долго не мог представить себе, как встретится с ней в обществе. Он

умышленно избегал делать визиты в те дома, где мог встретить княжну Полторацкую. Теперь, конечно, она предпочтет ему князя Лугового или графа Свиридова. Бессильная злоба душила графа. Он воображал себе тот насмешливый взгляд, которым встретит его княжна Людмила в какой-нибудь великосветской гостиной или на приеме во дворце.

— Посрамлен, унижен, и теперь окончательно! — повторял он сам себе.

К довершению своего ужаса, он стал убеждать, что безумно любит эту посрамившую его девушку. Каприз своенравного человека постепенно вырос в роковую страсть. Граф положительно не находил себе покоя ни днем, ни ночью. Образ княжны, повторяем, неотступно носился перед ним. Он жаждал видеть ее и боялся с нею встречи.

Момент этой встречи, однако, должен был наступить. Они вращались в одном обществе и поневоле должны были столкнуться. Граф понимал это, и каждый день ожидал, что это случится. Наконец, этот момент наступил.

Они встретились в гостиной Зиновьевых, в день рождения Елизаветы Ивановны. Графу

необходимо было приехать с поздравлением к своей тетке, но, несмотря на нарочно выбранное им позднее время, он застал в гостиной княжну Людмилу Васильевну. Граф смущенно поклонился. Она приветливо протянула ему руку.

— Опять целую вечность я вас не видела, граф... Он положительно, как красное солнышко осенью, покажется и нет его... — обратилась она к сидевшим в гостиной хозяйке и другим дамам... — Приедет ко мне с визитом, насмешит меня до слез и затем скроется на несколько недель.

— Чем же он таким смешит вас? — полюбопытствовали некоторые из дам.

— В последний раз он рассказывал мне какую-то, как я теперь припоминаю, ужасную историю, выдавая ее за истинное происшествие. Он, видимо, сам сочинил ее, но если бы вы видели, с каким серьезным видом он говорит всевозможные глупости... Я сначала, грешным делом, испугалась, приняла его за сумасшедшего, и только после догадалась, что он шутит, что у него такая манера рассказывать... Просто умора.

Граф Иосиф Янович любезно улыбался.

— Мы не знали за вами такого искусства, граф... Это интересно... Расскажите когда-нибудь и нам что-нибудь такое... — напали на него дамы.

— Княжна все шутит и преувеличивает, — отбивался он.

— Ничуть не шучу... Настаивайте, mesdames, чтобы он каждой из вас в отдельности рассказал бы по страшной истории... У него, я чувствую, их целый запас.

— Да, да, непременно, мы требуем... — говорили дамы.

Положение графа было ужасно. Он должен был улыбаться, отшучиваться, когда на сердце у него клокотала бессильная злоба против безумно любимой им девушки. Только теперь, когда он увидел снова девушку, обладание которой он так недавно считал делом решенным, граф понял, до каких размеров успела вырасти страсть к ней в его сердце. Он любезно дал слово исполнить требование каждой из дам, но только при условии полного tet-a-tet. Дамы жеманно стали отказываться от своего требования. Разговор перешел на

другие темы.

Княжна Людмила Васильевна несколько раз особенно любезно обращалась к графу с вопросами, явно с ним кокетничая. У несчастного графа положительно шла кругом голова. Наконец, княжна стала прощаться.

— Надеюсь вас видеть у себя, граф! Пора бы вспомнить о сироте, живущей в предместье.

Граф бессвязно пробормотал какую-то любезность. Княжна глядела ему прямо в глаза своими искрящимися смеющимися глазами. Граф чувствовал, что точно тысячи иголок колют его сердце. Он, однако, не решился сразу последовать приглашению княжны Людмилы Васильевны и поехать к ней. Ему думалось, что молодая девушка просто насмехается над ним и что, появившись у нее после рокового разговора, он получит от лакея обидное: «Не принимают». Вся кровь бросалась в голову самолюбивого молодого человека при одной возможности подобного приема.

«Она хочет меня окончательно доконать», — думал он и, несмотря на страстное желание видеть предмет своей страсти, не

ехал на набережную Фонтанки.

Встречи на нейтральной почве между тем продолжались. Граф теперь уже не избегал тех домов, где мог встретить княжну Людмилу Васильевну. Напротив, он именно ездил в них с этою целью. Княжна продолжала быть с ним обворожительно любезна. Граф Святогоржецкий положительно терялся в догадках, смеется ли она над ним или ищет примирения.

Как ни проницателен был граф, но кто разгадает, что скрывает в своем сердце женщина. Если, по пословице, «чужая душа — потемки», то женское сердце — непроглядная ночь. Кто может сказать наверное, каким путем ближе дойти к этому сердцу, путем ли восторженного ей поклонения или же наглою дерзостью. Жизнь учит нас, что последний путь короче. Недаром один знаток женского сердца высказал парадокс о том, что женщина легко прощает некоторое неуважение к себе в обществе, но никогда не простит излишнего уважения к себе наедине. Не близок ли этот парадокс к истине? Сто лет тому назад сердце женщины было, и для хваставшихся знанием

женщин мужчин, такую же загадкою, как и теперь. Граф, повторяем, окончательно потерял голову.

Выдался случай, когда в одной из гостиных хозяйка занялась разговором с приехавшим с визитом старцем. В гостиной, кроме этого гостя, были только княжна Людмила Васильевна и граф Свянторжецкий. Они остались беседовать в стороне.

— Вы, граф, окончательно решили не переступать моего порога? — кокетливо спросила его княжна, особенно подчеркнув слово «граф».

— Сказать вам по правде, княжна, — тоже не удержался не подчеркнуть он последнее слово, — мне кажется, что вы шутите, настойчиво приглашая меня к себе при посторонних.

— Шучу? — подняла княжна удивленно-наивные глаза. — Почему?

— Но после нашего разговора...

— Я забыла о нем и к тому же, я думаю, что он был последствием вашей головной боли... Приезжайте, говорю вам теперь почти с глазу на глаз.

— И вы меня примете?

— Нет, граф, вы все еще нездоровы. Простите меня... Зачем же бы я вас приглашала?

— Чтобы отказать мне через лакея... — задыхаясь, произнес граф.

— Я не способна так мелко мстить, граф... В моих жилах все-таки, что бы вы ни говорили, течет кровь князей Полторацких.

XV

Между страхом и надеждой

После описанного нами разговора графа Иосифа Яновича Свянторжецкого с княжной Людмилой Васильевной Полторацкой в сердце графа снова поселилась надежда. Через несколько дней, однако, решился он только сделать визит на Фонтанку и вернулся после него окончательно очарованный и вместе с тем окончательно безумно влюбленный.

Княжна приняла его снова в будуаре, где он так глупо — он теперь сознавал это — прервал свое объяснение в любви, объяснение, которое было достигло цели, так отдалившейся от него в настоящее время. Княжна была

обворожительно любезна, кокетлива, но, видимо, несмотря на ее уверения, она ничего не забыла, ничего не простила.

Чутким сердцем влюбленного граф угадывал это и понимал, что его любовь к ней почти безнадежна. Только чудо может заставить ее заплатить ему взаимностью. Он оскорбил ее явно выраженным желанием сделать своей любовницей, а не женой, и гордая девушка никогда не простит ему этого.

Так думал граф, возвращаясь, повторяем, очарованный из дома княжны Полторацкой. Другой внутренний голос, однако, говорил ему иное и как чудодейственный бальзам действовал на его измученное сердце. Граф слишком любил, чтобы не надеяться, слишком желал, чтобы не рассчитывать на исполнение своих желаний.

Человек обыкновенно верит в то, во что ему хочется верить, и представляет себе всех и вся в том свете, который для него благоприятнее. Это одна из отрадных и спасительных способностей человеческого ума и сердца. Потеря этой способности доводит человека до мрачного отчаяния, до сумасшествия, до са-

моубийства. Граф, повторяем, надеялся, а потому и мечтал.

Они оба связаны тайной их происхождения. Не лучше ли им быть совсем близкими людьми, чтобы эта тайна умерла вместе с ними? Как ни уверена княжна Людмила Васильевна в непроницаемости своей тайны, в бессилии, наконец, его, графа, повредить ей, все же знание им этой тайны не может ее не тревожить. Открытие его тайны, его самозванства, если бы даже оно дошло до властей, не представило бы для него никакой опасности. Носимое им имя — имя его матери, его дала ему мать, она же вручила ему документы, доказывающие его право на это имя. Если у него отнимут эти права, то он, уже поступивший на русскую службу, то есть зачисленный, как известно, в один из гвардейских полков, ничего не будет иметь против фамилии его отца — Лысенко. Графский титул не пленяет его, а заслуги отца наложили уже на его фамилию известный блеск.

Другое дело, если каким-нибудь образом откроется самозванство княжны Полторацкой — за этим самозванством скрывается

страшное преступление — преступление, ка-
раемое рукою палача. Этого не могла не знать
и не понимать молодая девушка, как бы она
ни была самонадеянна. Она, конечно, дорого
бы дала, чтобы граф Свянторжецкий, он же
Осип Лысенко, исчез с ее жизненной дороги
или же сделался бы для нее безопасным. Пер-
вое сделать трудно, второе может быть до-
стигнуто лишь замужеством с ним. Этим-то,
вероятно, и объясняется то, что она так на-
стойчиво делает вид, что забыла прошлое. В
ее голове, вероятно, создался именно такой
план, но она, конечно, не сразу откроет свои
карты, она захотела его помучить. Пусть. Он
готов ждать, лишь бы смел надеяться, он го-
тов страдать, если эти страдания приведут его
к наслаждению.

Вот те успокоительные мысли, которые
подсказывал ему внутренний голос, голос на-
дежды, присущий каждому человеческому
сердцу. Граф Иосиф Янович стал надеяться и
терпеливо ждать. Время летело.

Год траура княжны Людмилы Васильевны
окончился, и она стала принимать живое
участие во всех придворных и великосвет-

ских празднествах и увеселениях. Ее всегда окружал рой поклонников, среди которых она отдавала предпочтение попеременно то князю Сергею Сергеевичу Луговому, то графу Петру Игнатьевичу Свиридову. Поведение ее относительно графа Свянторжецкого в общем было более чем загадочно. Она дарила его благосклонной, подчас понятной для него одного красноречивой улыбкой или взглядом, а затем, видимо с умыслом, избегала его общества и кокетничала на его глазах с другими. Он испытывал невыносимые муки ревности. Уже несколько раз, бывая у ней и проводя с ней обворожительные *tete-a-tete*'ы, граф Иосиф Янович начинал серьезный разговор о своих чувствах, но княжна всегда умела перевести этот разговор на другой или ответить охлаждающей, но не отнимающей надежды шуткой.

— Я, по ее мнению, видимо, еще не искупил вины, — успокаивал себя граф. — Искус еще не окончен.

И снова безропотно несчастный молодой человек продолжал лихорадочную жизнь между страхом и надеждой.

С окончанием траура граф стал очень редко заставлять княжну одну. В ее приемные дни и часы ее гостиная, а иногда будуар, смотря по тому, где принимала княжна, были обыкновенно переполнены. Одних гостей сменяли другие.

Случилось так, что прошло около месяца, а граф Иосиф Янович ни одной минуты не мог остаться с глазу на глаз с княжной, как он ни старался пересидеть ее многочисленных посетителей. Он был мрачен и озлоблен. Это не ускользнуло от молодой девушки.

— Что с вами, граф? — обратилась она к нему, улучив свободную минуту. — Вы ходите как приговоренный к смерти.

— Да разве это жизнь! — воскликнул он.

— То есть что жизнь?

— Видеть вас постоянно только в толпе.

— Вы ревнуете?

— Я, к сожалению, не имею права. Но мне тяжело думать, что те дивные минуты, которые я проводил с вами в вашем будуаре, может быть, никогда не повторятся.

— Отчего же? Если вы искренно о них жалеете.

Княжна остановилась.

— Вы сомневаетесь? — с упреком сказал он.

— Нет, граф, я не сомневаюсь. Я дам вам ключ от садовой калитки, и если после двенадцати сегодня вы свободны, то мы поболтаем в моем будуаре. Дверь в коридор из сада не будет заперта.

Граф Иосиф Янович не успел поблагодарить княжну, как она уже отошла от него к другим гостям. При прощании, когда он взял ее руку, чтобы поцеловать, он ощутил в своей руке ключ. «Это, быть может, тот же ключ, которым пользовался Никита!» — мелькнуло в его уме, но он поспешил отогнать от себя эту злобную мысль. Он постарался, напротив, настроить себя на более веселые мысли.

Ключ, лежавший в его кармане, не открывал ли вместе с калиткой сада княжны Полторацкой и ее сердца? Если бы она не чувствовала к нему расположения, с какой стати стала бы она заботиться о свиданиях с ним с глазу на глаз да еще в позднее ночное время?

«А если это ловушка?» — вдруг возникла в его уме роковая мысль.

Ему вспомнились слова княжны:

— Я не способна на такую мелкую месть.

— А что, если она теперь задумала месть более крупную? Если она позовет людей и объявит, что он, граф, ворвался к ней ночью, без ее воли? Произойдет скандал на весь город. Он будет опозорен.

Холодный пот выступил у него на лбу при этом предположении, но доводами рассудка он еще до приезда к себе домой сумел убедить себя в полной нелепости подобных мыслей.

«Зачем ей делать это? Какую пользу принесет ей этот скандал? У нее много завистников, которые готовы перетолковать все не в ее пользу и охотно поверят ему, что она сама дала ключ от калитки и оставила дверь в сад отпертой. Нет, это не то! Просто ей самой приятно провести с ним часок-другой наедине, ей льстит его восторженное ей поклонение, несмотря на то что он знает все... Наконец, его страсть к ней так велика, что должна быть заразительна».

Она находит отзвук если не в ее уме, так в ее сердце... Кроме того, ей хочется еще неко-

торое время помучить его, ранее нежели сделаться к нему благосклонной... Эти свидания наедине дадут ей широкий простор продолжать этот его временный искуc.

Граф твердо надеялся, что это именно только искуc, и непременно временный, что молодая девушка тоже любит его и, не затей он эту глупую историю с разоблачениями, она давно была бы его женой. При ее, наконец, эксцентричности и при странных выходках, о которых с злорадством шумели ее враги — женщины — мужчин врагов у княжны Полторацкой не было — назначение такого позднего свиданья, при такой таинственно-романтической обстановке, было совсем не удивительно. Успокоив себя таким образом, граф Иосиф Янович с нетерпением стал ждать полуночи.

Время тянулось, как всегда при ожидании, томительно долго. Наконец, часы показали одиннадцать часов, и граф вышел из дому. Надо было волей-неволей идти пешком, так как кучер был бы нежелательным и опасным свидетелем ночного визита к девушке и, конечно, истолковал бы его со своей кучерской

точки зрения. Нельзя было ручаться, что он не сболтнет своим собратьям, а те понесут это известие по людским, из которых оно может легко перейти и в гостиные. Княжна Полторацкая будет окончательно скомпрометирована. Это было далеко не в намерениях графа Свянторжецкого, глубоко убежденного, что она долго ли, коротко ли, а будет его женою.

Стояла темная, октябрьская ночь.

Граф, впрочем, хорошо знал дорогу и мог бы найти ее с завязанными глазами. Петербург спал, не говоря уже о предместьях, которые казались уже совершенно необитаемы.

Благополучно дошел Иосиф Янович до сада княжны Полторацкой, нащупал калитку и вложил ключ в отверстие замка. Не без волнения — надо быть правдивыми — повернул ключ в замке. Замок щелкнул. Калитка отворилась.

«Запереть или оставить открытой?» — мелькнуло в уме графа.

Ему вдруг стало совестно перед самим собою за это колебание. Он вынул ключ из замка, затворил калитку, запер ее изнутри и положил ключ в карман.

В саду было еще темнее, нежели на улице, от довольно густо росших деревьев. Уже положительно ощупью отправился граф искать маленькую дверь, ведущую в дом из сада. Дверь была найдена и оказалась действительно незапертой.

Граф вошел и очутился в передней, из которой вел коридор во внутренние комнаты. Сняв с себя верхнее платье, граф Иосиф Янович, не без продолжавшихся царить в его уме сомнений, которые он тщетно старался отогнать, вступил в этот коридор и достиг двери, закрытой портьерой. Он откинул последнюю. За ней оказалась стеклянная дверь будуара княжны. Днем она была незаметна, так как заставлялась вышитой шелком и золотом ширмой. Княжна сидела на диване и поднялась, увидев его около двери. Он отворил дверь. Портьера опустилась.

— Милости просим, — спокойно сказала княжна Людмила Васильевна, как будто в этом его визите не было ничего необычного.

Она подала ему руку, которую он почти-тельно поцеловал.

— Садитесь... — указала она ему на диван,

а сама не торопясь подошла к двери и заперла ее.

Несмотря на то что теплый, пропитанный духами воздух будуара приятно действовал на графа, особенно после дальней ночной прогулки, звук запираемого замка снова заставил его сердце сжаться каким-то предчувствием.

«Боже, неужели я такой трус!» — мысленно воскликнул он и даже вспыхнул при этом брошенном им самому себе оскорблении.

Княжна между тем спокойно села с ним рядом и смотрела на него своими смеющимися, очаровательными глазами.

— Давайте беседовать... Я очень рада, что вы у меня... Вы, конечно, пришли?

— Как же иначе?.. Не мог же я приехать и таким образом сделать свидетелем этого визита кучера.

— Я забыла сказать вам об этом и беспокоилась...

— За кого вы меня принимаете?

— Но это ужасно, в такую ночь и идти так далеко...

— Для того чтобы вас видеть, можно прой-

ти путь в десять раз длиннее...

— Вы неисправимы... Вы так расточаете всем любезности, что трудно догадаться, кому и когда вы говорили правду...

— Поверьте, что вы не принадлежите к числу тех, которым я говорю светские любезности.

— Мне бы очень хотелось вам верить.

— Уверяю вас.

— Этого мало.

— Чем же я должен доказать вам?

— Вы — ничем.

— Как это понимать?

— Это покажет время.

— Время понятие растяжимое... И час, и день, и год — все время.

— Ужели меня не стоит подождать?

— Кто говорит об этом... Если только можно дождаться?

— Мы еще молоды, граф!

— Но молодость и есть время любви.

— Скоро проходящей, время страсти, поправлю я вас.

— Пусть так. Но что за любовь без страсти? Он хотел было завладеть ее руками, но она

быстро отодвинулась от него.

— Граф!

— Простите.

— Если вы хотите, чтобы наши свидания повторялись, то будьте благоразумны.

— Я буду само благоразумие.

— Расскажите мне, что вы поделяваете?

— Думаю о вас.

— И только?

— Это наполняет всю жизнь.

— Нет, оставим это, кроме шуток, расскажите мне что-нибудь поинтереснее.

— Что может быть интереснее вас?

— Это скучно, граф, я могу раскаяться, что пригласила вас.

Это было сказано таким серьезным тоном, что граф не на шутку перепугался.

Он пересилил себя и стал рассказывать княжне какую-то светскую сплетню с довольно пикантными подробностями. Княжна оживилась и слушала с видимым интересом. Незаметно в этой чисто светской болтовне прошло более часа.

— На сегодня довольно! — заметила княжна и выпроводила гостя.

«Она играет со мной! — думал граф, шагая в непроглядной тьме по берегу Фонтанки. — Пусть, когда-нибудь доиграется!»

XVI

После траура

Проведенный князем Сергеем Сергеевичем Луговым в томительной неизвестности год со дня трагической смерти княгини Вассы Семеновны Полторацкой показался ему вечностью.

Этот год был для него тем мучительнее, что он видел княжну Людмилу Васильевну почти всегда окруженную роем поклонников и мог по пальцам пересчитать не только часы, но и минуты, когда ему удавалось переговорить с ней наедине. Она относилась к нему всегда приветливо и радушно... но и только. Не того, конечно, мог ожидать ее жених, объявленный и благословленный ее матерью.

Положим, этого не знали в обществе, но было все-таки два человека, которые знали об этой деревенской помолвке, — один из них граф Свиридов, сильно ухаживавший за

княжной, и, как казалось, пользовавшийся ее благосклонностью, а другой — Сергей Семенович Зиновьев, которому покойная Васса Семеновна написала об этом незадолго до смерти. Об этом знала княжна, лежавшая в могиле под деревянным крестом, но не знала княжна, прибывшая в Петербург.

Сергей Семенович на другой же день приезда спросил ее:

— Ты невеста?

— И да и нет, — ответила она, вся вспыхнув.

— Как же это так, сестра писала, и ты...

Княжна Людмила Васильевна, услышав, что ее мать тоже сообщила брату о сватовстве князя Лугового, подробно рассказала все, включительно до последнего ее разговора с князем.

— Я ведь вам писала, — добавила она.

— Ты его не любишь, — сказал Сергей Семенович.

— Почему вы думаете?

— Если любят человека, так не рассуждают. Он может быть женихом хоть несколько лет в силу тех или других обстоятельств, но

предложить скрывать — это не может любящая девушка...

— Может быть, вы и правы, дядя...

— Зачем же ты давала ему слово при жизни матери?

— Это была мечта мамы.

— А не твоя?

Молодая девушка потупилась.

— И моя... Там...

— Где там?

— В Зиновьеве.

— А здесь?

— Я не знаю. Видишь ли, дядя, я тебе признаюсь. Когда этот удар обрушился надо мной, я совсем потеряла голову. Потом я пришла в себя и стала думать.

Княжна остановилась.

— О чем же ты стала думать?

— Я стала думать, что, собственно говоря, я избрала себе в мужья князя, не имея положительно ни с кем сравнить его; уже после того, как он сделал предложение, он привез к нам своего друга.

— Это графа Свиридова?

— Да.

— И что же?

— Он на меня произвел впечатление, — снова потупившись, произнесла княжна.

— Ты влюбилась и в него?

— Не то... Но я увидала, что князь не один такой красивый, ловкий, увлекательный.

— А ты думала, что таких других и нет?

— Я думала, что он лучше всех... Когда же я увидала, что я ошиблась и к тому же мне предстояло ехать в Петербург, где я могу приглядеться ко многим мужчинам, я решила попросить эту отсрочку объявления нас женой и невестой, и он охотно согласился.

— Охотно, ты думаешь?

— Мне, по крайней мере, так показалось, — сказала княжна.

— Ну, я так не думаю... Согласиться ему пришлось поневоле, но чтобы это он сделал с охотой, я не верю.

— Я не знаю, я передаю свое впечатление.

— Пусть так, но все же повторяю, ты его не любишь и в этом смысле, конечно, лучше, если этот брак не состоится... Вы оба молоды, и вам нет надобности заключать брак по расчету.

Сергей Семенович вздохнул. Не подумал ли он в это время о самом себе?

— Я не знаю, — ответила княжна.

— Время покажет. До окончания траура еще долго.

— Я это ему и сказала.

Более разговора о браке племянницы с князем Луговым Сергей Семенович не возобновлял.

«Пусть сами устраиваются как знают! — думал он. — Да еще и племянница ли она мне! — мелькало в его голове под влиянием появившихся в его уме сомнений относительно личности княжны Людмилы Васильевны Полторацкой. — Какое мне до всего этого дело!»

Став положительно эгоистом, охранявшим лишь свой собственный покой, Сергей Семенович остался доволен этим принятым им решением. Однако по истечении года траура княжны этот разговор ему пришлось возобновить. Князь Сергей Сергеевич Луговой нетерпеливо ждал этого срока.

Наконец год истек.

Княжна Людмила Васильевна бросилась в

водovorот великосветской петербургской жизни и, казалось, забыла не только о данном ей князю Луговому слове, но даже о существовании его, князя. В городе стали говорить то о том, то о другом вероятном претенденте на ее руку, но среди них не упоминали имени князя Сергея Сергеевича. Это очень понятно — князь держался в стороне. Самолюбие не позволяло ему действовать иначе, по крайней мере по наружности. В глубине же его сердца клокотала целая буря. Ожидание окончания назначенного срока было ничто в сравнении с обидным невниманием княжны, когда этот срок уже миновал.

Князь в течение целого месяца терпеливо ждал, что княжна Людмила Васильевна заговорит с ним о прошлом, даст повод ему начать этот разговор, но, увы, княжна, видимо, с умыслом избегала даже оставаться с ним наедине. Быть может, эта «умышленность» только казалась для его предубежденного взгляда, быть может, это была лишь случайность, но князю Сергею Сергеевичу от этого было не легче.

Не находя возможности обратиться при та-

ком положении дела к самой княжне, князь Луговой решил, после некоторого колебания, переговорить с ее дядей, Сергеем Семеновичем Зиновьевым. Для этого он заехал в нему однажды в послеобеденное время. Сергей Семенович внимательно выслушал молодого человека, но ответил на его просьбу, узнать намерение княжны относительно его, не сразу.

— Моя племянница и я очень далеки друг от друга, — начал он медленно, как бы обдумывая каждое слово. — Я ее знал совсем маленькой девочкой, затем несколько лет не был в Зиновьеве, где она, как вам известно, жила безвыездно, а когда после несчастья она переехала сюда, то, не скрою от вас, показалась мне очень странной девушкой. С первых же шагов она стала держать себя, относительно меня и моей жены, как чужая. Я не ожидал, зная хорошо сестру, что у нее вырастет такая дочь. Исполнить ваше желание, таким образом, будет для меня крайне если не затруднительно, то щекотливо.

— Помилуйте, Сергей Семенович, вы все-таки ей самый близкий родственник.

— Так-то так, но...

— Посудите сами, к кому же другому мне обратиться? Мое положение невозможное. Не говоря уже об искреннем чувстве, которое я продолжаю питать к княжне, я, кроме того, являюсь с ней связанным словом и даже более, благословением ее покойной матери, и такая неопределенность ставит меня в крайне затруднительное, мучительное, откровенно говоря, положение.

— Я вас понимаю, князь, и, поверьте, очень сочувствую вам. Жизнь, которую ведет моя племянница, хотя и не выделяется особенно из рамок жизни нашего общества, но не заслуживает моего одобрения. Я совершенно согласен с сестрой и лучшего мужа, чем вы, князь, не желал бы для Люды.

Князь Сергей Сергеевич молча поклонился.

— Но, — продолжал Сергей Семенович, — она себя поставила так относительно меня и жены, что нам положительно неудобно давать ей родственные советы. Она бывает у нас с визитами, является по приглашению на вечера, никогда ни со мной, ни с Лизой еще

не говорила по душам, по-родственному. С какой же стати нам вмешиваться в ее дела, особенно серьезные?

— Но вы, ваше превосходительство, знаете волю ее покойной матери, вашей сестры.

— Знаю... Эх, князь, мы живем в такое время, что и живых-то родителей не очень слушаются, а не то что умерших.

— Я и не настаиваю, чтобы она слушалась. Мне хочется только получить тот или другой решительный ответ.

— Отчего вы не спросите ее сами?

— Я считаю это неудобным, Сергей Семенович... Ей легче будет, наконец, отказать мне через третье лицо, нежели лично. Я щажу ее.

«Как он ее любит, не то что она!» — мелькнуло в уме Сергея Семеновича Зиновьева.

— Жалко молодца! Хорошо, князь, я возьмусь за это поручение, но только для вас.

— Я не знаю, как и благодарить вас.

— Не за что... Я, вы совершенно правы, в память моей покойной сестры, которая желала иметь вас сыном, обязан так или иначе разрешить этот вопрос. Ваше положение действительно странно.

— Более чем странно. Мучительно, повторяю.

— Я понял вас, понял, и очень вам сочувствую.

Зиновьев пожал крепко руку князю Сергею Сергеевичу.

— При первом же удобном случае я поговорю с Людой.

— Не откладываете в дальний ящик, ваше превосходительство.

— Нет, я заеду к ней на днях, нарочно для этого.

Князь еще раз поблагодарил и простился с Зиновьевым. Его положение было действительно мучительное.

«Один уже конец!» — думал он.

Неизвестность хуже самой страшной, но уже обрушившейся беды. В каком бы положении ни был человек, он все же сумеет как-нибудь примениться к обстоятельствам. Совершившееся несчастье тяжело, но, раз оно совершилось, человек не может изменить ничего; он на первых порах окончательно считает себя погибшим, страшное отчаяние овладевает его душой, но затем свыкается, и вре-

мя, этот чудодейственный целитель всех невзгод, в конце концов делает свое дело. Но когда ежечасно и ежеминутно приходится ожидать, что вместо счастья, о котором мечтает человек, его постигнет удар, и не знает, к тому же, определенно, действительно ли он разразится над его головой, или туча пройдет стороной и небесный свод над ним сделается и ясен и светел, — действительно невыносимо.

В этом последнем состоянии и находился князь Сергей Сергеевич Луговой. Он дошел действительно до такого положения, когда человек с мольбою восклицает:

— Дайте конец. Хоть какой-нибудь, да конец!

Увы, судьба не была к нему снисходительна — она не дала ему скоро этого желанного конца. Сергею Семеновичу Зиновьеву на самом деле искренно стало жаль молодого князя, поведение относительно которого княжны Людмилы, по его мнению, было более чем возмутительно.

«Она его не любит! — это ясно как день. Она хотела выйти за него замуж при жизни

матери, чтобы только выбраться из тамбовского захолустья, а когда мать умерла, она нашла, что крылья у нее отросли и она может лететь куда ей угодно и порхать сколько ей угодно. Ей не нужно было обузы в виде мужа. Но так все-таки нельзя поступать. Скажи прямо, что она изменилась в своих чувствах, что она раздумала, а она ведь продолжает кокетничать с ним, подавать надежду, возбуждать его ревность и держит на привязи данным ею словом, которое она не отнимает и не исполняет. Бедный князь! Это действительно смешное и мучительное положение, если он ее любит, а он любит ее, я в этом убежден».

Зиновьев решил, согласно просьбе князя, не откладывать беседы с племянницей в долгий ящик. На другой же день, после службы, он заехал к ней и застал ее одну.

— Дядя, какими судьбами, вот не ожидала, — встретила его княжна восклицанием, не забывая почтительно поцеловать протянутую им ей руку.

— Я и сам не ожидал.

— Это любезно. Что же такое случилось, что вы решились доставить себе такую

неприятность, а мне большое удовольствие?

— Ишь, матушка, у тебя на языке мед, а под языком лед, да и на сердце тоже.

— Что с вами, дядя? — воскликнула уже тревожным голосом княжна Людмила Васильевна. — Садитесь, скажите.

Сергей Семенович сел и некоторое время молча смотрел на племянницу. Та тоже смотрела на него недоумевающе-испуганным взглядом.

— Не в нашу семью уродилась ты, Люда, — наконец, после продолжительной паузы, начал он, — не в покойную мать, мою сестру, царство ей небесное!

Зиновьев истово перекрестился, покосившись на небольшой образ, висевший в будуаре княжны. В доме Зиновьевых во всех комнатах были иконы больших размеров и в богатых окладах. Сергей Семенович и особенно Елизавета Ивановна, как и все иноверцы, переходящие в православие, были очень богомольны.

Княжна побледнела при этих словах Зиновьева.

— Что такое, я не понимаю!..

— Не понимаешь, так я тебе объясню. Вчера был у меня князь.

— Какой князь?

— Князь Сергей Сергеевич Луговой.

— А-а... — протянула княжна.

— Нечего акать, — рассердился Сергей Семенович, — ведь он твой жених.

— Он не забыл об этом?

— Грех тебе говорить это, он любит тебя. А ты не смела забыть это уже по одному тому, что вас благословила твоя покойная мать, почти перед смертью. Это для тебя ее последняя воля. Она должна быть священна.

— Я пошутила, дядя, — спохватилась княжна Людмила Васильевна, увидя, что Сергей Семенович рассердился не на шутку.

— Этим не шутят, матушка.

— Простите меня, дядя, я не виновата, что я такая, — она подыскивала слово, — взбалмошная.

— Надо исправиться. Но надо и ответить князю так или иначе. Я тебя не неволю, если не любишь, не надо идти замуж, и себя и его погубишь, но надо развязать человека. Что-нибудь одно.

— Я сама на днях переговорю с ним, — отвечала молодая девушка.

— Переговори непременно, — заметил Сергей Семенович.

Он счел свое поручение исполненным и, посидев еще несколько минут, уехал.

XVII

Сладкое мучение

На другой же день после посещения Сергеем Сергеевичем Зиновьевым княжны Людмилы Васильевны Полторацкой князь Сергей Сергеевич Луговой получил от последней утром любезную записку с приглашением посетить ее в тот же день от четырех до пяти часов вечера.

Записка эта, от которой несся тонкий аромат любимых духов княжны, заставила сильно забиться сердце князя Лугового. Он понял, что она явилась результатом свидания Зиновьева с его племянницей, а потому несомненно, что назначенный в ней час — час решения его участи. Несколько раз перечитал он дорогую записку, стараясь между строк про-

никнуть в мысли ее писавшей, угадать по смыслу и даже по почерку ее настроение.

Увы, он не проник ни во что и не угадал ничего. Он остался лишь при сладкой надежде, что наконец сегодня, через несколько часов так или иначе решится его судьба. С сердечным трепетом позвонил князь Сергей Сергеевич в четыре часа дня у подъезда дома княжны Людмилы Васильевны Полторацкой.

— Дома? — спросил он отворившего ему дверь лакея.

— Дома-с, пожалуйста, ее сиятельство в будуаре.

Приветливый тон слуги, на который в другое время, быть может, не обратил бы никакого внимания князь, прозвучал теперь в его ушах сладостной мелодией надежды. То обстоятельство, что княжна принимает его не в гостиной, а в будуаре, хотя это не раз было и прежде, тоже в его глазах, при настоящем его настроении, имело значение хорошего признака.

Не без волнения последовал князь Сергей Сергеевич приглашению лакея и вошел в будуар. Княжна Людмила Васильевна подня-

лась к нему навстречу с обворожительной улыбкой.

— Здравствуйте, здравствуйте, князь, как я рада вас видеть! — с неподдельной искренностью воскликнула она.

Князь молча смотрел на нее восторженным взглядом и чуть в первую минуту не забыл взять и поцеловать протягиваемую ею руку. Наконец он опомнился, схватил эту дорогую руку, которую он считал своею, и стал покрывать ее горячими поцелуями.

— Целуйте, целуйте... — улыбалась княжна, — целуйте обе — это ваше право.

— Право, вы говорите, право? Вы воскресаете меня к жизни... — волнуясь, говорил он, пользуясь всецело предоставленным ему правом.

— Довольно, князь, довольно, хорошенького понемножку, — все продолжая ласково улыбаться, отняла княжна руки. — Садитесь, а я начну перед вами каяться...

— Каяться... Передо мной...

Князь побледнел...

— Не бойтесь, я ничего не совершила особенно дурного... — сказала она, заметив впе-

чатление, произведенное на князя Сергея Сергеевича ее последней фразой.

Она села на диван, указав ему место рядом с собою. Князь сел.

— Я буду каяться в моем поведении относительно вас, князь... Вы на меня жаловались дяде?

Князь Сергей Сергеевич вспыхнул.

— Я... жаловался... Сергей Семенович, видимо, не так понял...

— Он понял именно так, как следовало понять... Я пошутила, назвав это жалобой, но вы имели право и жаловаться... Я действительно не права перед вами...

— Княжна... — начал было он, но она перебила его:

— Не права, тысячу раз не права, я вела себя как легкомысленная девочка, и вам ничего не оставалось, как пожаловаться старшим.

— Повторяю, Сергей Семенович... — снова хотел объяснить князь.

— Выслушайте меня до конца, — не дала она ему окончить фразы. — Я говорю это не с насмешкою и не с упреком, я говорю это совершенно искренно и серьезно, но у меня

есть и оправдание. Я все свое детство и раннюю молодость, как вам известно, прожила в захолустье, в деревне. Понятно, что Петербург произвел на меня ошеломляющее впечатление, но в течение года траура я могла только пользоваться крохами наслаждений, которые предоставляет столица... Год минул, и у меня окончательно закружилась голова в этом омуте удовольствий... Этим объясняется, что я забыла, что есть человек, который ожидает с нетерпением этого срока, чтобы услышать от меня обещанное решительное слово... Простите меня, князь.

Она протянула ему руку.

— Помилуйте, княжна, — припал он снова к этой руке долгим поцелуем.

— Повторяю, вы правы были, обратившись к дяде с просьбой напомнить мне о моей обязанности.

— Зачем обязанности, — тоном печального упрека перебил ее князь Сергей Сергеевич.

— Непременной обязанности, князь, даже священной обязанности.

Она вдруг замолчала и задумалась.

— И это решительное слово, княжна? — с

дрожью в голосе спросил после довольно продолжительной паузы князь Луговой.

— Вы мне верите, князь? — вместо ответа вдруг спросила его княжна.

Князь несколько мгновений молча смотрел на нее вопросительно-недоумевающим взглядом.

— То есть как? Конечно, верю...

— Только при условии веры в меня я могу говорить с вами совершенно откровенно... Ваш ответ на мой вопрос не убеждает меня, но, напротив, доказывает, что вы колеблетесь...

— Помилуйте, княжна...

— Я с вами веду, князь, не светский, а серьезный разговор, мы не болтаем, а решаем наше будущее.

— Я понимаю... — упавшим голосом сказал князь.

— Поэтому-то я и должна получить от вас твердый и уверенный ответ на мой вопрос. Я поставлю его в несколько иной форме, я предложу вам, князь, вместо одного вопроса два: первый — любите ли вы меня по-прежнему?

— Княжна, да разве вы можете сомневаться-

ся?.. По-прежнему!.. — с искренней горечью повторил князь Сергей Сергеевич. — Больше прежнего.

— Тогда второй вопрос: верите ли вы любимой вами девушке?

— Безусловно, — твердо и решительно отвечал князь.

— Теперь я могу говорить...

Князь Сергей Сергеевич Луговой весь обратился в слух.

Княжна начала не сразу. Она сидела несколько минут с опущенной долу головой. Тени, пробежавшие по ее красивому лбу, указывали на работу мысли в ее изящной головке. Эти несколько минут молчания показались вечностью для князя Сергея Сергеевича.

— Я люблю вас по-прежнему, князь... — начала она и остановила на нем ласкающий взгляд.

— Княжна!.. — весь просияв, воскликнул князь и, завладев ее рукою, стал покрывать эту руку страстными поцелуями.

Она нежно, но решительно высвободила ее и продолжала:

— Я видела много молодых людей, я изуча-

ла их и не нашла среди них достойнее вас, не по внешности, хотя вы сами хорошо знаете, что и на внешность вы не можете пожаловаться, а по вашим внутренним качествам; и я решила, что я буду вашей женой, но...

Княжна Людмила Васильевна остановилась и пристально посмотрела на князя Сергея Сергеевича. Его неотводно устремленный на нее восторженный взгляд вдруг омрачился.

— Князь, я молода, — почти с мольбой в голосе начала она, — а между тем я еще не насладились жизнью и свободой, так украшающей эту жизнь. Со дня окончания траура прошел с небольшим лишь месяц, зимний сезон не начинался, я люблю вас, но я вместе с тем люблю и этот блеск, и это окружающее меня поклонение, эту атмосферу балов и празднеств, этот воздух придворных сфер, эти бросаемые на меня с надеждой и ожиданием взгляды мужчин, все это мне еще внове и все это меня очаровывает.

— Но и по выходе замуж... — начал было князь, но княжна Людмила Васильевна перебила его:

— Вы хотите сказать, что этот блеск и эта атмосфера останутся, но это не то, князь, вы, быть может, теперь под влиянием чувства обещаете мне не стеснять мою свободу, но на самом деле это невозможно, я сама буду стеснять ее, сама подчинюсь моему положению замужней женщины, мне будет казаться, что глаза мужа следят за мной, и это будет отравлять все мои удовольствия, которым я буду предаваться впервые, как новинке.

— Чего же вы хотите, княжна?

— Чего? Вы не догадываетесь?

— Отсрочки? — глухо произнес князь.

— Милый, хороший, — вдруг наклонилась она к нему и положила обе руки на его плечи.

У князя Сергея Сергеевича закружилась голова. Ее лицо было совсем близко к его лицу. Он чувствовал ее горячее дыхание, сливающееся с ароматом, исходящим от ее молодого тела.

— И надолго? — прошептал он, привлекая ее к себе.

— На несколько месяцев... Милый, хороший, ты согласен?

Это «ты» окончательно поработило его.

— На что не соглашусь я для тебя! — задышавшись от страсти, произнес он. — Я люблю тебя, — страстным шепотом произнес он и обжег ее губы горячим поцелуем. — Божество мое, моя прелесть, мое сокровище!

— Благодарю, благодарю тебя.

Он неистово продолжал покрывать ее губы, щеки и шею страстными поцелуями.

— Могут войти, — первая опомнилась она и вырвалась из его объятий.

— О, боже, какая это мука! — вырвалось у него. — Какое сладкое мучение.

— Я не знаю, как я благодарна тебе за это доказательство любви, за то, что ты так страшно балуешь меня и, главное, что этим баловством доказываешь, что понимаешь меня и веришь мне.

— Я люблю тебя.

Этой короткой фразой он сказал все.

— Но мы не можем всегда играть комедию, раз мы близки сердцем, — сказала княжна, — я должна к тому же вознаградить тебя за те несколько месяцев тяжелого ожидания, на которые я тебя обрекла. Не правда ли?

Он посмотрел на нее восторженным взгля-

дом.

— Что ты хочешь сказать этим, моя дорогая?

— Мы будем устраивать свиданья наедине.

— Каким образом?

— В саду есть калитка. Я буду давать тебе ключ. Ты будешь приходить ко мне ночью через маленькую дверь, которая соединяется коридором с этим будуаром. Я покажу тебе дорогу сегодня же.

— Но это могут заметить, истолковать.

— Ночью кругом у нас нет ни души. Никто не заметит. Ты не хочешь?

Он не отвечал сразу. В его уме и сердце боролись два ощущения. С одной стороны, сладость предстоящих дивных минут таинственного свидания, радужным цветом окрашивающих томительные месяцы ожидания, а с другой — боязнь скомпрометировать девушку, которую он через несколько месяцев должен будет назвать своей женой. Он понял, однако, что продолжительное молчание может обидеть молодую девушку. Первое ощущение взяло верх.

— Это с твоей стороны безумие, но это

безумие так пленительно! — воскликнул он.

— Пойдем, я покажу тебе дорогу.

Княжна отодвинула ширму, отперла стеклянную дверь и провела его в коридор до входной двери.

— Я буду в назначенный день оставлять эту дверь отпертою, — сказала она.

Он ходил за ней как в тумане, всецело подчиняясь ее властной воле.

«Это безумие, это безумие! — неслось в его уме. — Но если это откроется, то лишь ускорит свадьбу!» — вдруг мелькнула у него мысль.

Натолкнувшись на это соображение, он не только успокоился, но даже обрадовался этому безумному плану княжны. Они снова вернулись в будуар.

— Ты доволен? — спросила она.

— Конечно, дорогая моя, как же я могу быть недовольным провести с тобой совершенно наедине несколько часов?

— Не больше часу, много полтора, — поправила она.

— Это зависит от тебя. Я благодарю за все.

— Так сегодня же.

Княжна подошла к стоявшей в будуаре шифоньерке из карельской березы с бронзовой инкрустацией, отперла один из ящичков и вынула ключ.

— Сегодня в полночь... — сказала она, отдавая ему его.

Он взял ключ и бережно, как святыню, положил его в карман.

— Завтра ты заедешь ко мне с визитом и незаметно для других, если будут гости, передашь его мне.

— Хорошо, благодарю тебя, моя милая.

Князь снова привлек ее к себе, но она отстранилась.

— Потом, потом...

Если бы мог он заподозрить, что при таких же условиях получил этот же ключ граф Иосиф Янович Свянторжецкий, хотя, как мы видели, его свидания с княжной до сих пор носили несколько иной, далеко не нежный характер.

Князь Сергей Сергеевич Луговой уехал, сказав с особым удовольствием княжне Людмиле Васильевне «до свиданья».

«Как он хорош, как он мил, — думала она,

проводив своего жениха, — он лучше всех. А граф?» — вдруг мелькнуло в ее уме.

Она вспомнила не о графе Свянторжецком, а о графе Свиридове.

— Нет, нет, я люблю князя! Никого, кроме него! — вслух сказала она себе. — Я буду его женой.

Чем настойчивее, однако, она убеждала себя в этом, тем настойчивее образ графа Петра Игнатьевича носился перед ее духовным взором.

«Он также хорош! Он тоже любит тебя!» — нашептывал ей в уши какой-то голос.

«Нет, нет, я не хочу, я люблю князя», — отбивалась она.

«Но князь обречен... Он должен погибнуть... С ним погибнешь и ты...» — продолжал искуситель.

Молодая девушка припомнила все случившееся в Зиновьеве со слов покойной княжны.

«Ведь он сказал, что в тебе видна холопская кровь!» — наносил ей последний удар таинственный голос.

Все лицо молодой девушки при этом воспоминании залилось краской негодования. А

она только что поцеловала его!

XVIII

Тройная игра

«Я тебе покажу, князь Луговой, холопскую кровь!» — припомнила она свою угрозу по адресу князя в Зиновьеве.

Увлечение ее князем боролось с этим воспоминанием.

Под влиянием злобы на князя Сергея Сергеевича молодая девушка усиленно кокетничала с графом Свиридовым. Еще и там, в Зиновьеве, князь Луговой нравился молодой девушке гораздо более, чем граф Свиридов, но она не могла простить первому нанесенного ей оскорбления, до сих пор вызывавшего жгучий румянец гнева на ее лицо, и она убеждала себя в превосходстве графа Петра Игнатьевича над князем Сергеем Сергеевичем. То же происходило с ней и в Петербурге, после описанного нами свидания с князем Луговым, во время которого она подтвердила данное княжной Людмилой Васильевной слово быть его женой. Она то чувствовала себя счастли-

вой и любящей, то вдруг, вспоминая нанесенное ей князем оскорбление, считала себя несчастной, ненавидящей своего жениха.

Под влиянием последнего настроения она удваивала свое кокетство с графом Свиридовым, видя в этом своего рода мщение князю Сергею Сергеевичу, и даже назначала и ему свидания по ночам в своем будуаре, давая ключ от садовой калитки. Потом, написав письмо одному и вызвав его на свиданье, она на другой день писала другому письмо в тех же выражениях.

Надо, впрочем, чтобы быть справедливым, сказать, что княжна ни со Свиридовым, ни с Свянторжецким не была так нежна, как с князем. Их свидания носили характер светской болтовни при таинственной, многообещающей, но, увы, для них лишь раздражающей обстановке, хотя она и в разговорах наедине, и в письмах называла их полуименем и обмолвливалась сердечным «ты».

Граф Петр Игнатьевич, конечно, не имел понятия об этой тройной игре молодой девушки, где двое ее партнеров, он и граф Свянторжецкий, играли довольно жалкую роль.

Он, как и оба другие, считал себя единственным избранником и глубоко ценил доверие, оказываемое ему княжной, принимавшей его в глухой ночной час и проводившей с ним с глазу на глаз иногда более часу. Она слушала благосклонно его признания в любви.

Он несколько раз косвенно делал ей предложение, но она искусно меняла разговор и довольно прозрачно давала понять, что замужество ей не улыбается в настоящее время, что она хотела бы вдоволь насладиться девичьей свободой. Зная, что она только что начала вкушать светскую жизнь после стольких лет, проведенных в благословенном тамбовском наместничестве, и год траура в Петербурге, граф Свиридов находил это очень естественным и терпеливо ожидал, пока настанет вожделенный день и княжна переменит свою корону на графскую. Глубокая тайна, окружавшая их отношения, придавала им еще большую прелесть.

Граф был доволен и счастлив.

Не был доволен и счастлив другой граф и претендент на руку княжны Полторацкой — граф Иосиф Янович Свянторжецкий. У них во

время свиданий наедине установились какие-то странные, полутоварищеские, полудружеские, отношения. Княжна болтала с ним обо всем, не исключая своих побед и увлечений. Она делала вид, что вычеркнула его совершенно из числа ее поклонников. Он был для нее добрый знакомый, товарищ ее детства и... только.

Это доводило пылкого графа до бешенства. Всякую фразу, похожую на признание в любви, сказанную им, молодая девушка встречала смехом и обращала в шутку. Он понимал, что при таких отношениях он не может сделать ей серьезного предложения, что это предложение будет бесцельно, потому что княжна и ведет себя так относительно его, чтобы отнять у него возможность заговорить серьезно о любви и о браке. Он чувствовал, что при малейшей попытке с его стороны в этом смысле он был бы осмеян ею. Он это не раз даже и испытал. А между тем страсть к княжне бушевала в его сердце.

«Что делать?»

Этот роковой вопрос стал все чаще и чаще вставать в его уме.

— Она будет моей! Она должна быть моей! — говорил он сам себе, но при этом чувствовал, что исполнение этого его страстного желания остается и останется лишь неосуществимой мечтой.

«Хотя бы с помощью дьявола!» — решил он.

Граф горько улыбнулся. Увы, помощи даже дьявола ему ожидать было неоткуда.

«Погубить ее и себя!» — мелькало в его голове, но он отбрасывал эту мысль.

Не то чтобы ему жалко было любимой девушки — порой он ненавидел ее всеми силами души и готов был не только убить ее, но наслаждаться ее мучительной смертью от его руки.

«Ее не погубишь... Она слишком ловко и умно все устроила... Только осрамишься».

Вот соображение, которое останавливало графа Иосифа Яновича Свянторжецкого. Да иначе и быть не могло. Любви не было вообще, вероятно, в сердце этого человека; к княжне Людмиле Васильевне он питал одну страсть, плотскую, животную и тем сильнейшую. Он должен был взять ее, взять во что бы

то ни стало, препятствия только разжигали это желание, доводя его до исступления.

— Она должна быть моею! Она будет моею! — все чаще и чаще повторял он.

Все думы графа были направлены к этой его заветной мечте. И днем и ночью он изыскивал средства осуществить ее. Но, увы, все составленные им планы оказывались никуда не годными. «Самозванка-княжна» была защищена со всех сторон неприступными бронями. Граф лишился аппетита, похудел и обращал на себя общее внимание своим болезненным видом.

— Что с вами, граф? — спросила его графиня Рябова, одна из приближенных статс-дам императрицы — молодая, красивая женщина, считавшая ранее графа Свянторжецкого в числе своих поклонников. — Ужели это потому, что вы влюблены?

— В кого, графиня? — деланно удивленным тоном спросил он ее.

— Не притворяйтесь, точно не знаете в кого.

— Положительно не знаю.

— В кого же можно быть влюбленным? Не

в меня же! — язвительно заметила графиня.

— Если бы я влюбился, графиня, то исключительно бы только в вас, но, к несчастью, я не влюбчив.

— Будто бы! — кокетливо покачала головой графиня. — А между тем все говорят об этом.

— Кто все?

— Все наши.

— О чем же?

— Что вы влюблены.

— Мне об этом неизвестно.

Разговор происходил в уютной гостиной графини на Миллионной улице, в час ее приема. Было еще рано, и граф Свянторжецкий приехал первым.

— Значит, чары «ночной красавицы» вас благополучно миновали?

— Совершенно благополучно! — также уверенным тоном сказал граф Иосиф Янович.

— Так что же с вами?

— Я болен.

— Лечитесь.

— Лечусь, но доктора не помогают.

— Обратитесь к патеру Вацлаву.

— Это кто же такой?

— Как, вы, католик, поляк, не знаете патера Вацлава?

— Нет.

— Это старый католический монах, он уже давно живет в Петербурге и лечит травами.

— И успешно?

— Есть много лиц, которым он помогает.

— Где же он живет?

— Далеко... На Васильевском острове, но именно где, я точно не знаю. Прикажите узнать, это так легко.

— Конечно.

— Искренно ли вы сказали, что вы не влюблены, или нет — это все равно. Патер Вацлав, как слышно, лечит и от сердечных болезней.

— У меня сердце в порядке.

— Не в том смысле. Он, говорят, всемогущ в деле вызова взаимности.

Граф весь превратился в слух.

«Вот она, помощь дьявола!» — мелькнуло в его уме.

Он сумел, однако, не выдать своего любопытства и того волнения, которое ощутил

при этих словах графини.

— За этим я к нему не обращаюсь, — небрежно уронил граф.

— Хорошо сказано. Уверенность в мужчине — залог его успеха.

Граф поклонился.

— А по поводу болезни я вам советую обратиться...

— Это другое дело.

— И скажите мне результат и, кроме того, впечатление, которое вы вынесете из свидания с этим «чародеем».

— Вы говорите «чародеем»?

— Да, так зовут его в народе.

— Я непременно последую вашему совету, графиня.

Разговор был прерван появлением другого гостя, но глубоко запал в душу графа Иосифа Яновича Свянторжецкого. В тот же вечер, вернувшись домой, он обратился к пришедшему его раздевать Якову:

— Послушай-ка, съезди завтра же рано утром, пока я сплю, на Васильевский остров и отыщи там патера Вацлава. Запомнишь?

— Запомню, отчего не запомнить. А кто он

такой, ваше сиятельство?

— Он лечит травами.

— Это чародей?

— А ты почему знаешь?

— Слышал... Его знают.

— Вот его-то мне и надо.

— Слушаю-с, ваше сиятельство. Найду.

Граф отпустил Якова и лег в постель, но ему не спалось.

«А что, если действительно этот чародей может помочь мне!» — несло в его голове.

Ум подсказал ему всю шаткость этой надежды, а сердце между тем говорило иное. Оно хотело верить и верило.

«Завтра же я отправлюсь к этому чародею, — думал граф Иосиф Янович, — я не пожалю золота, а эти алхимики, хотя и хвастают умением его делать, никогда не отказываются от готового. Яков, конечно, отыщет его... Золотой человек... Что я буду без него делать?»

Надо заметить, что Яков, хотя и продолжал жить у графа Свянторжецкого, был теперь свободный человек и, конечно, на продолжительность его услуг в качестве расторопного

и сметливого камердинера хозяин не мог рассчитывать, хотя Яков, видимо, не собирался уходить с покойного и выгодного места. Мысли графа снова перенеслись на помощь «чародея». Он стал припоминать слышанные им в детстве и в ранней юности рассказы о волшебствах, наговорах, приворотных корнях и зельях.

«Ведь не сочинено же это все праздными людьми... Ведь что-нибудь, вероятно, да было... Нет дыму без огня, нет такого фантастического рассказа, в основе которого не лежала бы хоть частичка правды». Сладкие надежды наполняли сердце графа. Он потянулся с какой-то давно им не ощущаемой истомой и вскоре сладко заснул. Граф не ошибся в своем верном слуге.

— Ну что? — спросил он Якова, появившегося утром на звонок своего барина.

— Нашел-с, ваше сиятельство!

— Молодец, — не удержался похвалить его граф.

Яков поклонился.

— Где же он живет?

— Далеко, очень далеко, ваше сиятельство.

— Далеко, ты говоришь?

— В самом что ни на есть конце Васильевского острова, там и жилья-то до него почти-тай на версту нет.

— В своем доме?

— Какой там дом. Избушка, ваше сиятельство.

— Ты был у него?

— Был-с.

— И видел его?

— Видел, страшный такой.

— Страшный?!

— Очень страшный, ваше сиятельство, худой такой, седой да высокий, глаза горят как уголья. Дрожь от их взгляда пробирает. И до-тошный же.

— А что?

— Да спросил меня: «Чего тебе надо?» Я и говорю: «Неможется мне что-то», а он как глянет на меня так пронзительно, да и говорит: «Ты не ври, не от себя ты пришел, а от другого, пусть другой и приходит, а ты пошел вон».

— Что ты?

Граф даже вскочил и сел на постели, пораженный рассказом.

- Ей-богу, не сойти с этого места, коли вру.
— Что же ты?
— Что же я. Давай бог ноги.
— Мы с тобой поедем сегодня к нему вдвоем. Ты меня проводишь.
— Слушаю, ваше сиятельство.
Граф стал одеваться.

ХІХ

Чародей

Патер Вацлав был действительно известен многим в Петербурге, на Васильевском же острове его знал, как говорится, и старый и малый. Знал и боялся.

Репутация «чародея» окружала его той таинственностью, которую русский народ отождествляет со знакомством с нечистою силою, и хотя в трудные минуты жизни и обращается к помощи тайных и непостижимых для него средств, но все же со страхом взирает на знающих и владеющих этими средствами. Самая внешность патера Вацлава, описанная Яковом при докладе графу Иосифу Яновичу об исполнении поручения, не внушала ничего,

кроме страха, или, в крайнем случае, боязливого почтения. Образ его жизни тоже более или менее подтверждал сложившиеся о нем легенды. А легенд этих было множество.

Говорили, что в полночь на трубу избушки, в которой жил патер Вацлав, спускается черный ворон и издает зловеший троекратный крик. На крыльце избушки появляется сам «чародей» и отвечает своему гостю таким же криком. Ворон слетает с трубы и спускается на руку патера Вацлава, который и уносит его к себе. Некоторые обыватели, заселявшие окраины Васильевского острова, клялись и божились, что видели эту сцену собственными глазами.

Немногие, впрочем, смельчаки решались по вечерам близко подходить к стоявшей, как мы знаем, в довольно далеком расстоянии от жилья «избушке чародея». В окнах ее всю ночь светился огонь, и в зимние темные ночи этот светившийся вдали огонек наводил панический страх на глядевших в сторону избушки.

Этот-то ночной свет и был причиной того, что на Васильевском острове все были убеж-

дены, что «чародей» по ночам справляет «шашабаш», почетным гостем на котором бывает сам дьявол в образе ворона. Утверждали также, что патер Вацлав исчезает на несколько дней из своей избушки, улетая из нее в образе филина. Бывавшие у патера Вацлава днем за лекарственными травами, по общемуговору, имевшими чудодейственную силу от груди и живота, тоже оставались под тяжелым впечатлением.

Обстановка внутренности избушки внушала благоговейный страх, особенно простым людям. Толстые книги в кожаных переплетах разных размеров, склянки с разными снадобьями, пучки засохших трав, несколько человеческих черепов и, наконец, стоявший в одном углу полный человеческий скелет — все это производило на посетителей сильное впечатление.

«Чародей», впрочем, оказывается, знался не с одним простым черным народом. У его избушки видели часто экипажи бар, приехавших с той стороны Невы. Порой такие же экипажи увозили и привозили патера Вацлава. По одежде он, вероятно, принадлежал к

капуцинскому монашескому ордену, но, собственно говоря, был ли он действительно монах или только прикрывался монашеской рясою — неизвестно.

Кроме лечения болезней, патер Вацлав, как мы знаем, занимался и так называемым «колдовством». Он удачно открывал воров и места, где спрятано похищенное, давал воду от сглаза, приворотные корешки и зелья. Носились слухи, что он делал всевозможные яды, но на Васильевском острове, ввиду патриархальности быта его обывателей, в этих услугах патера Вацлава, к счастью, не нуждались.

Был первый час дня, когда экипаж графа Иосифа Яновича Свянторжецкого остановился у избушки патера Вацлава. С запяток кареты соскочил Яков, открыл дверцы и принял под руки вышедшего из нее своего барина.

— Ты останься здесь, я пойду один.

— Слушаю-с, ваше сиятельство, — проговорил Яков, очень довольный, что ему не придется снова сталкиваться со «страшным чародеем».

Граф Свянторжецкий твердой походкой

поднялся на крыльцо избушки и взялся за железную скобу двери. Последняя легко отворилась, и граф вошел в первую горницу, обстановку которой мы уже ранее описали. За большим столом, заваленным рукописями, сидел над развернутой толстой книгой патер Вацлав. Он не торопясь поднял голову.

— Друг или враг? — спросил он по-польски.

— Друг! — на том же языке отвечал граф Иосиф Янович.

— Небо да благословит твой приход!

— Благословение да будет над этим кровом.

— Аминь, — торжественно произнес патер Вацлав.

— Аминь! — повторил граф.

— Садись, сын мой, и изложи твои нужды, — ласково, насколько возможно для старчески дребезжащего голоса, произнес патер Вацлав.

Граф Иосиф Янович Свянторжецкий сел на стоявший сбоку стола табурет.

— Не болезнь привела тебя ко мне, сын мой, — пристальным, пронизывающим душу

взглядом смотря на графа, произнес патер Вацлав.

Граф невольно опустил глаза под этим взглядом.

— И нет и да, — отвечал, он к своему собственному удивлению, сдавленным шепотом.

— Ты прав: и да и нет. Ты здоров физически, но тебя снедает нравственная болезнь.

— Вы знаете лучше меня, отец мой!

— Ты прав опять. Я знаю многое, чего другим знать не дано.

Граф молчал. Обстановка и личность «чародея» стали производить на него все большее и большее впечатление: он чувствовал, что теряет самообладание и апломб.

— Ты любишь? — вдруг спросил патер Вацлав.

— Да, — чуть слышно произнес граф.

Этот ответ скорей можно было угадать по движению губ, нежели по слетевшему с этих губ звуку.

— И не любим?

Граф наклонил голову в знак согласия.

— Расскажи же мне все. Без утайки. Кто она? Знай, что нас слышат только четыре сте-

ны этой комнаты и у них нет, как у стен во дворцах и палатах вельмож, ушей.

Патер Вацлав остановился, закашлявшись старческим кашлем. Граф молчал.

— Все, что ты расскажешь мне, останется как в могиле. Ты веришь мне?

— Верю, отец мой!

— Я тебя слушаю.

Граф начал рассказ о своей любви к княжне Полторацкой, не упомянув, конечно, ни одним словом об ее самозванстве, о своих тщетных ухаживаниях и о поведении ее, княжны Людмилы, относительно его, графа.

— Она назначает тебе свиданья?

— Да, отец.

— Ночью, наедине, ты, кажется, говорил так?

— Да, ночью.

— Зачем же она это делает?

— Не знаю.

— Быть может, она назначает их и другим... Быть может, это вошло в обычай ее жизни?

Граф вспыхнул.

— Не думаю, отец мой, она честная девуш-

ка.

— Кто может сказать это о девушках нашего времени, — пробормотал как бы про себя патер.

Граф молчал. У него уже вползла в ум ревнивая мысль: «А что, если действительно она и другим назначала подобные же свидания?»

— Так ты не можешь и догадаться, для чего это она делает?

— Быть может, для того, отец мой, чтобы мучить меня.

— Ты это думаешь и все же любишь ее?

— Я люблю ее больше жизни.

— Ты хочешь, чтобы она сделалась твоею женою?

— Я хочу, чтобы она была моей. Хочу так, что готов отдать за это половину моего состояния. Вот золото, отец мой, это только задаток за услугу, если только возможно оказать ее мне.

Граф вынул из кармана больших размеров кошелек и высыпал перед патером Вацлавом целую грудку золотых монет. Глаза старика сверкнули алчностью.

— Тебе можно помочь, но...

Патер остановился. Граф глядел на него умоляющим взглядом.

— Я на все согласен! — прошептал граф.

— Но, — продолжал после довольно продолжительной паузы патер Вацлав, — это средство может повредить ее здоровью.

— О-о-о... — простонал граф Иосиф Янович.

— Если ты питаешь к ней только страсть, то она будет твоей. Если же...

— Пусть она будет моею! — вдруг твердо и решительно воскликнул граф Свянторжецкий.

— Она может умереть, — добавил патер Вацлав.

— Пусть умрет, но умрет моею! — в каком-то исступлении закричал граф.

— Подумай, сын мой.

— Мне нечего думать. Если другого средства нет, то мне остается выбирать между мной и ее жизнью! Я выбираю мою.

— Это естественно, — докторальным тоном заметил патер Вацлав.

Граф не слышал этого замечания.

«Она будет его, а затем умрет... Пусть... Он будет отомщен вдвойне... Но это ужасно... Мо-

жет быть, есть другое средство... Пусть она живет... живет его любовницей... Эта месть была бы еще страшнее».

— А может быть, есть другое средство? Пусть она живет... Если это дороже, все равно. Берите, сколько хотите, отец.

— Ты колеблешься, сын мой?

— Нет, я только спрашиваю.

— Другого верного средства нет. Ведь не веришь же ты разным приворотным зельям и кореньям, которым верит глупое быдло?

— Тогда давайте верное средство, отец мой.

— Я изготовлю его тебе через неделю.

— А цена?

— Это золото останется в задаток, а через неделю, по получении склянки, ты принесешь мне столько же.

— Какое же это средство?

— Она любит цветы?

— Любит.

— Ты дарил их ей?

— Нет.

— Начни посылать ей цветы.

— Зачем?

— Я тебе дам жидкость. В день свиданья, когда ты захочешь, чтобы она была твоею, ты sprысни ею букет. Несколько капель на несколько цветков будет достаточно.

— И она умрет после того скоро?

— В ту же ночь.

— Это ужасно!

— С этим надо примириться... Однако, чтобы это имело вид самоубийства, пошли побольше цветов... От их естественного запаха также умирают... Открыть же присутствие моего снадобья невозможно...

Граф задумался... Патер Вацлав некоторое время молча глядел на него.

— Как же, готовить? — спросил его монах.

— Готовьте, отец мой...

— Я беру золото...

— Берите.

Старик жадно костлявой рукою стал собирать рассыпанные по столу золотые монеты и бережно укладывать их в ящик стола.

— Да простит меня Бог! — воскликнул граф Свянторжецкий.

— И простит, сын мой, за сто червонных я

дам тебе разрешение нашего святого отца на этот грех...

— Разрешение?

— Да, за подлинною подписью нашего святейшего отца...

— И грех действительно простится?

— Ты разве не сын римско-католической церкви? — строго спросил патер Вацлав.

— Я сын ее, — глухо ответил граф.

Мы знаем, что он был православным, но с четырнадцати лет, под влиянием матери, ходил в костел на исповедь и причащение у ксендза. Приняв имя графа Святторжецкого, он невольно сделался и католиком. В сущности, граф Иосиф Янович не исповедовал никакой религии.

— Если так, то как же ты осмеливаешься задавать такие вопросы? Разрешение святого отца, конечно, действительно в настоящей и в будущей жизни.

— Простите, отец, я спросил это по легкомыслию.

— Да простит это тебе Бог, сын мой! — смягчился старик.

— Значит, через неделю, отец мой.

— Через неделю... Час в час...

— До свиданья, отец мой! — поднялся с места граф Иосиф Янович Свянторжецкий.

— Да будут благословенны твой уход, сын мой, как и возвращение.

— Аминь.

— Аминь.

Граф вышел.

— Живы, ваше сиятельство? — встретил его Яков.

— Жив, а что? — с недоумением спросил граф Иосиф Янович.

— Уж очень вы долго, ваше сиятельство, я перепугался было, хотел толкнуться.

— Чего перепугался?

— Как чего, не ровен час, нечистый какую каверзу не сделает.

Граф невольно улыбнулся.

— А ты думал справиться с нечистым, коли бы толкнулся?

— Где уже справиться, а все же... Не давать же христианской душе погибать без помощи.

— Ишь какой сердобольный... Спасибо. Подсаживай в карету, да домой поедем.

Яков открыл дверцу, откинул подножку и

помог графу сесть в экипаж. Вставая на запятки, он крикнул кучеру.

— Пошел!

Карета покатила.

«Она будет моей! Она должна быть моей! — неслось в голове графа, откинувшегося в угол кареты в глубокой задумчивости. — Во что бы то ни стало... Ценою чего бы то ни было!»

Граф и не заметил, как совершил свой далекий путь. Карета въехала в ворота дома, где он жил.

XX

Перед преступлением

Назначенная патером Вацлавом неделя показалась графу Иосифу Яновичу Свянторжецкому вечностью. Чего не передумал, чего не переиспытал он в эти томительные семь дней.

Несколько раз он приходил к окончательному решению не ехать к «чародею», не брать этого дьявольского средства, дающего наслаждение, за которое жертва должна будет по-

платиться жизнью. Это ужасно! Знать, что женщина, дрожащая от страсти в его объятиях, через несколько часов будет холодным, безжизненным трупом. Не отравит ли это дивных минут обладания?

Порой он решал этот вопрос утвердительно, а порой ему казалось, что эта страсть за несколько часов перед смертью должна заключать в себе нечто волшебное — что это именно будет апофеозом страсти. Насладиться обладанием женщины при таких условиях можно только один раз, оно, это обладание, несомненно, пресытит, и повторение его не будет иметь и тени сходства с этими первыми невообразимой прелести минутами.

Организм, в который будет введен яд возбуждения, и притом яд смертельный, разрушаясь, вызовет, несомненно, напряжение всех последних жизненных сил исключительно для наслаждения. Инстинктивно чувствуя смерть, женщина постарается взять в последние минуты от жизни все. И участником этого последнего жизненного пира красавицы будет он.

В таких соблазнительно привлекательных

очертаниях представился ему момент рокового для княжны свидания с ним через неделю.

«Она будет моей! И никогда больше ничьей не будет!» — нашептывал ему какой-то внутренний голос, похожий на голос его матери.

А с другой стороны, властный, серьезный голос, поднимавший в его душе картины далекого прошлого, голос, похожий на голос его отца, говорил другое:

«Какое право имеешь ты отнимать жизнь за мгновение твоего наслаждения, для удовлетворения твоего грязного, плотского каприза?.. Ужели ты думаешь, что страсть, вызванная искусственно, может доставить истинное наслаждение?.. Как бы ни искусно было подделано вино при помощи различных снадобий, оно никогда не сравнится с чистым соком винограда... Виноград — это взаимность чувства, при ней одно наслаждение обладания достигает действительно апофеоза любви... Ты увидишь, что после пронесшихся мгновений страсти твое преступление оставит неизгладимый след в твоей душе и ты годами нравственных страданий не искупишь

их... Горечь, оставшаяся после пресыщений искусственной сладостью на твоём сердце, отравит тебе всю жизнь...»

Так говорил этот серьёзный, властный голос, и граф Свянторжецкий уже стал было прислушиваться к нему. Тогда-то в уме его и стало появляться решение отказаться от услуг патера Вацлава и постараться сбросить с себя гнет страсти к княжне Людмиле, вычеркнуть из сердца её пленительный образ.

Увы, этого он сделать был не в состоянии. Страсть его по мере открывавшейся возможности удовлетворить её росла не по дням, а по часам. Она ещё более разжигалась брошенной фразой патера Вацлава:

— А не назначает ли она такого свидания и другим?

Мы видели, что эти слова змеей сомнения вползли в сердце графа Иосифа Яновича Свянторжецкого. Они то и дело приходили ему на память.

— Если это действительно так, то пусть она умрет! — говорил он сам себе.

Он искал предлог для оправдания своего преступления, и эта её измена ему представ-

лялась совершенно достаточным предлогом. Он забывал, что она не связана с ним ничем, даже словом. В своем ослеплении страстью он полагал, что раз она назначает ему свидания, то никто другой на них не имеет права. Эти свидания он считал доказательством близости, делить которую с другим он не намерен. Она мучила его, чтобы отомстить ему и наказать его, но в конце концов переменит гнев на милость и сделается его женой. Так он старался объяснить факт назначения ему ею таинственных свиданий.

А если другой пользуется такими же, как он, быть может, и большими правами, то он вправе считать это изменой и жестоко отомстит за нее. Отомстит смертью. Надо было убедиться в этом. Он все равно не спал ночей под влиянием тревожных дум. Он стал проводить их у дома княжны Полторацкой, сторожа заветную калитку.

Несколько ночей прошли для него в бесплодном ожидании. Никто не появлялся на берегу Фонтанки. Он хотел уже перестать ходить на обычный караул.

— Сегодня пойду последний раз... Нет со-

мнения, что она не принимает никого, кроме меня.

Увы, эта последняя ночь убедила его в противном.

На берегу показалась фигура мужчины, быстрыми шагами приближавшаяся к дому княжны Людмилы Васильевны. Граф притаился в тени забора. Фигура приблизилась к калитке и остановилась. Граф стоял шагах в десяти от нее. Луна, на одно мгновение выплывшая из-за облаков, осветила стоявшего у калитки мужчину. Граф Иосиф Янович узнал князя Сергея Сергеевича Лугового.

Он услышал, как щелкнул замок от повернутого ключа; фигура скрылась за отворившейся калиткой и заперла ее изнутри. Сомнения не было. Княжна Людмила не одному ему, графу Свянторжецкому, назначала ночные свидания. Князь Луговой, быть может, был даже счастливее его в часы этих свиданий.

Неукротимая злоба бушевала в сердце графа, к которому то и дело приливали горячая кровь, она бросалась оттуда в голову, била в виски. Граф быстрыми шагами удалился от

дома княжны Полторацкой. Приговор изменницы был подписан.

— Пусть она умрет... Умрет моею... Я буду обладать ею, обладать последний.

Со следующего за днем этого рокового открытия дня граф стал посылать цветы княжне Людмиле Васильевне Полторацкой.

В то время в Петербурге не было продавцов цветов, их надо было доставать из дворцовых оранжерей или же из оранжерей вельмож, входя в сделку с садовниками и за дорогую цену. Граф не стоял за ценой. Он бросал громадные деньги, и вскоре будуар княжны Людмилы Васильевны стал, в свою очередь, похож на оранжерею. Княжна действительно любила цветы, и присылка их поклонниками светских красавиц, хотя, конечно, не в таком количестве, была в обычае того времени.

Княжна даже не знала, от кого получают эти знаки питаемого к ней нежного чувства. Расторопный Яков ежедневно поручал относить букеты и горшки с цветами к княжне Полторацкой разным своим приятелям, строго наказывая, чтобы они не смели говорить от кого.

Княжна недоумевала. Она, конечно, подзревала в этом главных своих поклонников, князя Лугового, графов Свиридова и Святоторжецкого. Ей льстило это внимание.

Графу Святоторжецкому выпало за это время не более как один раз быть на таинственном свидании в будуаре княжны Людмилы Васильевны.

— Вы точно богиня Флора, вся в цветах, — с улыбкой заметил он, входя к ней в будуар и бросая взгляд на стоявшие там и сям цветы в горшках и букеты в вазах.

— С некоторых пор меня стали страшно баловать цветами. И вообразите, граф, я не знаю кто.

Она лукаво посмотрела на него.

— Не знаете?

— Не знаю, но догадываюсь.

— Я думаю, это вам довольно трудно.

— Почему?

— У вас такое бесчисленное количество поклонников.

— Ошибаетесь, таких, которые меня балуют, не много.

— Но все-таки несколько!

— Пожалуй, но мне кажется, что это делает один.

— Кто же?

— Это мой секрет.

— Не смею проникать в него.

— Цветы моя страсть. Их запах оживляет меня.

«Погоди, матушка, я тебе пришлю скоро цветочки с живительным запахом», — мелькнула злобная мысль в голове графа Иосифа Яновича Свянторжецкого.

— Действительно, аромат восхитительный, — сказал он вслух.

— Не правда ли? Точно оранжерея. Бывало, я еще совсем маленькой девочкой любила целые часы проводить в оранжерее.

— Говорят, это вредно, болит голова.

— У меня нет, я привыкла. Напротив, запах цветов меня освежает.

«Надо принять это к сведению, — подумал граф Иосиф Янович, — следует увеличить дозу».

— Это другое дело, привычка вторая натура, — вслух сказал он.

— Вашей голове, быть может, вреден этот

запах? — любезно сказала княжна.

— Нет, напротив, легкое головокружение даже приятно. Да это и не от цветов.

— Вы опять за старое. Неисправимы, хоть брось! — смеясь, сказала молодая девушка, поняв намек графа.

— Скажите лучше, неизлечим, так как мое чувство к вам — моя смертельная болезнь.

— Ай-ай, какие страсти. Если бы я вам поверила, я наверное бы испугалась, — засмеялась княжна.

— Вы не можете мне не верить.

— Вы думаете, что вам должны верить все?

— Кто все?

— Кому вы говорите то же самое, что мне.

— Я никому этого не говорил и не говорю.

— Очень жаль. Отчего же и другим не доставить удовольствия? Ведь вам все равно, — с хохотом заметила княжна Людмила Васильевна.

Граф молча мрачно поглядел на нее.

— Придет время, вы поймете, что я говорил правду, но будет поздно.

— Вы умрете? — продолжая от души хохотать, спросила княжна.

— Смерть — хороший исход, — сказал он.

— Я не доктор и не могу вас вылечить от вашей болезни, поэтому бесполезно со мной о ней говорить. Вы, как я слышала, к тому же лечитесь у патера Вацлава?

Граф побледнел.

— Кто вам сказал?

— Говорили, не помню кто... Это правда?

— Да, я лечусь.

— От любви?

— Нет, от головы.

— Это другое дело. И что же, помогает?

— Это вас интересует?

— Конечно, в качестве вашего друга я не могу не интересоваться.

— Друга!.. — иронически повторил он. — Я не хочу вас иметь другом.

— Это новость. Давно ли?

— Никогда не хотел.

— В таком случае, зачем же вы просите о них, об этих свиданиях?

— Вы на них принимаете только друзей? — спросил граф, пристально смотря на молодую девушку.

— Только... — не моргнув глазом, ответила

она.

— И много их?

— Это вас не касается.

— Но это невыносимо. Поймите, что я люблю вас.

— Граф. Вы забыли наше условие — не говорить о любви.

— Я не в состоянии.

— Это свидание тогда будет последним.

— Хорошо, хорошо, я подчиняюсь, — испуганно согласился граф Иосиф Янович Свянторжецкий. — Простите.

— До первого раза, граф, — сказала молодая девушка.

Разговор их перешел на другие темы.

«Погоди, еще дня два или три и на нашей улице будет праздник. Ты сама заговоришь о любви...» — думал граф Свянторжецкий, возвращаясь к себе домой по берегу Фонтанки.

Прошло два дня, и настал срок, назначенный патером Вацлавом для приезда к нему за снадобьем, долженствовавшим бросить княжну Людмилу Васильевну Полторацкую в объятия графа Свянторжецкого. Последний не спал всю ночь и почти минута в минуту

был у «чародея» на далекой окраине Васильевского острова. Патер Вацлав был тоже акуратен. После взаимных приветствий он удалился в другую комнату, служившую ему и спальней и лабораторией, и вынес оттуда небольшой темного стекла пузырек, плотно закупоренный.

— Несколько капель на два-три цветка будет достаточно, — сказал он. — Она может отделаться только сильным расстройством всего организма, но затем поправится. У меня есть средство, восстанавливающее силы. Если захочешь, сын мой, сохранить ей жизнь, то не увеличивай дозы, а затем приходи ко мне. Она будет жива.

Граф не обратил почти никакого внимания на эти слова «чародея». Все мысли его были направлены на этот таинственный пузырек, в котором заключалось его счастье, но он все же ответил:

— Конечно, пусть она живет!

Он спрятал пузырек в карман, из которого только что вынул мешочек с золотом и сверток золотых монет.

— Вот за лекарство, а это сто червонных за

разрешение греха, — сказал он.

— Разрешение готово. Вот оно.

Патер Вацлав подал графу Свянторжецкому бумагу и стал считать деньги. Граф опустил бумагу в карман не читая. Патер Вацлав оторвался от счета и строго посмотрел на него.

— Куда ты дел разрешение святого отца?

— Я спрятал его... — ответил граф.

— Спрятал. Разве так можно обращаться с таким документом?

— А как же?

— Ты не верный сын католической церкви, если говоришь такие слова.

— Я не понимаю, отец мой.

— Ты должен был осенить себя крестом и спрятать бумагу на груди.

— Я не знал этого.

— Вынь ее из грешного твоего кармана, где ты держишь деньги, этот символ людской корысти.

Граф повиновался. Он вынул бумагу.

— Перекрестись и поцелуй святую подпись, — сказал патер Вацлав.

Иосиф Янович исполнил приказание и

спрятал бумагу на грудь. Патер Вацлав стал снова пересчитывать деньги.

— Верно... — наконец произнес он и спрятал их в ящик стола.

— Прощайте, отец мой, — сказал граф.

— Да благословит тебя Бог, сын мой.

— Аминь! — произнес граф.

— Помни, сын мой, не злоупотребляй средством, если не хочешь стать убийцей.

— Но я буду прощен? — возразил граф.

— Все это так, но неужели тебе не жаль женщины, к которой влечет тебя страсть?

— Конечно, жаль.

— Тогда сохрани ее для будущего.

— Будущее... разве у нас с ней есть будущее?

— Раз ты овладеешь ею впервые, от тебя будет зависеть сохранить ее навсегда.

«Впервые, если впервые...» — мелькнуло в уме графа Иосифа Яновича Свянторжецкого.

Перед ним вырисовалась фигура князя Сергея Сергеевича Лугового, отворяющего калитку сада княжны.

— Конечно, отец мой, я постараюсь сохранить ей жизнь. Это в моих же интересах.

— Об этом я и говорю. Прощай, сын мой.
— Прощайте, мой отец.
Граф вышел.

XXI

Ключ добыт

Граф Иосиф Янович Свянторжецкий возвращался домой от патера Вацлава в каком-то экстазе. Он то и дело опускал руку в карман, ощупывая заветный пузырек с жидкостью, которая заключала в себе и исполнение его безумного каприза, и отмщение за нанесенное ему «самозваной княжной» оскорбление.

Теперь, имея в руках средство отомстить, он особенно рельефно представлял себе прошлое. Он вспоминал, как он ехал к княжне, думая, что его встретит покорная раба его желаний, и с краской стыда, бросающейся и теперь в его лицо, должен был сознаться, что его окончательно одурачила девчонка. Она искусно вырвала все орудия из его рук, выбила почву из-под ног и вместо властителя он очутился в положении ухаживателя, над чувством которого она явно насмехается, которо-

го она мучает и на интимных ночных свиданиях играет как кошка с мышью. Этого ли не достаточно было, чтобы жестоко отомстить ей!

Пленительный образ молодой девушки между тем вставал перед ним. Он восхищался этой правильной красотой лица, этой тонкостью линий, этими глазами, полными и обещающими быть полными страсти. Он приходил в восторг от ее стройной фигуры, от этих восхитительных форм, где здоровье соединялось с девственностью, где жизнь и сила красноречиво говорили о сладости победы. Ему становилось жаль безумно желаемой им девушки. Ему припоминались слова патера Вацлава о возможности быть властелином девушки, которой он будет обладать впервые.

— Впервые... — повторил граф Свянторжецкий, и снова рой сомнений окутывал его ум, и снова фигура князя Лугового, освещенная луной у калитки сада княжны Полторацкой, восставала перед ним.

«Пусть умрет!» — решал он.

Но это было лишь на мгновение.

«Кто знает? — думал он. — Быть может,

она играет им так же, как играет мной?»

«Пусть живет!» — мелькало в его уме другое решение.

Ведь он через несколько дней убедится в этом, пузырек будет в его кармане. Если она была к князю Луговому менее строга, нежели к нему, он незаметно выльет на букет все содержимое этого рокового пузырька. Тогда смерть неизбежна. Он будет отомщен!

«Она говорит, что она привыкла к запаху цветов, — неслась далее в его голове мысль, — необходимо все-таки несколько увеличить дозу. Иначе на нее не произведет никакого впечатления. Цель не будет достигнута».

Он мысленно стал упрекать себя, что не сообщил об этом патеру Вацлаву и не спросил у него совета. Была минута, когда он хотел приказать кучеру повернуть назад, но раздумал.

«Понятно, что для организма, привыкшего к перенесению сильных ароматов, необходимо увеличить дозу», — заметил он.

Вернувшись домой, граф Иосиф Янович бережно спрятал полученный им от патера Вацлава пузырек в бюро красного дерева, стояв-

шее у него в кабинете.

— Цветы посланы? — спросил он Якова.

— Посланы, ваше сиятельство.

— Мне необходим будет на днях роскошный букет из белых роз.

— Слушаю-с, ваше сиятельство, достанем.

— Но прежде нежели его послать княжне, препроводи его ко мне. Я хочу посмотреть его...

— Уж будьте спокойны... Отправим самые лучшие... Царские, можно сказать, цветы, ваше сиятельство.

— Я тебе верю, но букет все-таки хочу посмотреть.

— Будет доставлен, ваше сиятельство.

— Где ты достаешь цветы?

— У садовника графа Кирилла Григорьевича.

— Разумовского?

— Точно так-с, ваше сиятельство... У них оранжереи лучшие в городе, не уступят царским.

— А-а...

— Только садовник и выжига же. Дерет за цветы совсем не по-божески. Кажись ведь, это

трава, а он лупит за них такие деньги.

— Не в деньгах дело.

— Это, конечно, ваше сиятельство, в капризе-с.

— Как ты сказал?

— В капризе-с, ваше сиятельство.

— Что же это значит?

— А то, что для бар каприз бывает дороже всяких денег.

— Пожалуй, ты прав.

— Уж это верно, ваше сиятельство, я при-смотрелся.

— Ты у меня умный.

— Где уж нам, ваше сиятельство, — конфузливо заявил Яков.

— Так помни относительно букета.

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

На другой же день граф поехал с визитом к княжне Людмиле Васильевне.

Он застал ее одну и в каком-то тревожном настроении духа. Она была действительно обеспокоена одним обстоятельством. Граф Свиридов, которому был отдан ключ от садовой калитки, не явился вчера на свиданье. Княжна была в театре, видела его в партере,

слышала мельком о каком-то столкновении между ним и князем Луговым, но, в сущности, что случилось, не знала. Граф между тем не явился к ней и сегодня, чтобы, по обыкновению, возвратить ключ. Все это не на шутку ее тревожило.

«Что могло это означать?» — задавала она мысленно вопрос.

Ужели они объяснились, и, писанные ею под влиянием раздражения на князя Лугового за слова, сказанные в Зиновьеве, одинаковые письма к князю и к графу Свиридову дошли до сведения их обоих. Это поставило бы ее в чрезвычайно глупое положение.

— Просто он заболел!.. — успокаивала она сама себя. — Приедет, отдаст. Не посмеет же он явиться в неназначенный день. И, кроме того, он найдет дверь в коридор запертой.

Это соображение совершенно ее успокоило.

— Что с вами, княжна, вы как будто чем-то встревожены? — спросил граф Святторжецкий, видя молодую девушку в каком-то странном состоянии духа.

— Со мной ничего... А что?

— Вы сегодня какая-то странная.

— Мне немного нездоровится.

— Не виновны ли в этом цветы, которыми, как кажется, вас продолжают обильно награждать?

— Действительно, меня положительно кто-то засыпает ими, но не они, эти прелестные цветы, виновники моего нездоровья. Они, напротив, оживляют меня.

Княжна вынула из стоявшего вблизи букета несколько цветков и стала жадно вдыхать в себя их аромат.

— Я должен на днях уехать на довольно продолжительное время из Петербурга, княжна.

— Вы уезжаете?.. Куда?.. — холодно спросила княжна.

— В Варшаву. Мне необходимо окончить там некоторые дела...

— Вы говорите, надолго?

— Может быть, на несколько месяцев.

— Что станет с влюбленными в вас дамами?

— Вы все шутите, а у меня к вам просьба.

— Какая?

— Позвольте мне прийти к вам завтра.

— Милости просим. Мои двери, кажется, открыты для вас всегда.

— Не двери...

Она посмотрела на него вопросительно.

— Калитка.

— Калитка? — повторила княжна и задумалась.

Ключ от калитки находился в руках графа Петра Игнатьевича Свиридова, и княжна не знала, что ей ответить.

— Вы когда едете? — спросила она.

— Послезавтра.

Молодая девушка снова задумалась.

«Не осмелится же он явиться в неназначенный день!» — мелькнуло в ее уме.

У нее было несколько ключей, принесенных ей Никитой. Она решилась.

— Хорошо, я завтра вас жду, — сказала она и, встав с дивана, на котором сидела, подошла к шифоньерке, отперла один из ящичков и вынула из него ключ.

— Вот вам ключ.

— Я не знаю, как благодарить вас, княжна, — поцеловав у ней руку, сказал граф.

— Я не могу отказать уезжающему.

«Не беспокойся, я останусь, а ты будешь моей!» — пронеслось в его голове.

— Вы неизмеримо добры! — сказал он вслух.

Раздавшийся звонок известил о новом посетителе. Граф встал прощаться. В передней он встретил несколько молодых людей.

— Убегаете... Забежал раньше всех и был принят с глазу на глаз, счастливец? — слышались шутливые замечания.

Граф, в свою очередь, ответил какой-то шуткой и уехал. Дело было сделано. Ключ от калитки лежал в его кармане.

— Завтра должен быть букет из белых роз, громадный, роскошный, — сказал он Якову.

— Будет готов. Я уже распорядился, ваше сиятельство, — ответил верный слуга.

— Принеси его ранее сюда, а потом отправишь к княжне, но не сам.

— Слушаю-с. Зачем сам? Очень я понимаю.

Что понимал Яков, было известно ему одному.

Два известия

Князь Сергей Сергеевич Луговой жил тоже Клихорадочной жизнью. Повторенное ему обещание княжны Людмилы Васильевны Полторацкой быть его женою лишь на первое время внесло успокоение в его измученную душу.

Отсрочка, потребованная молодой девушкой, тоже только первые дни казалась ему естественной и законной в ее положении. Рой сомнений вскоре окутал его ум, и муки ревности стали с еще большей силою терзать его сердце.

Княжна давала ему к этому повод своим странным поведением. Накануне, на свиданье с ним наедине, в ее будуаре, пылкая и ласковая, доводящая его выражением своих чувств до положительного восторга, она на другой день у себя в гостиной или в доме их общих знакомых почти не обращала на него внимания, явно кокетничала с другими и в особенности с графом Петром Игнатьевичем

Свиридовым.

Князь Сергей Сергеевич положительно возненавидел своего бывшего друга, и граф, видимо, платил ему той же монетой. Они ограничивались при встрече лишь вежливыми, холодными поклонами.

Князь, конечно, не знал, что дорога в заветный будуар его невесты открыта не ему одному для ночных свиданий. Он считал и имел право считать княжну Людмилу Васильевну своей невестой, хотя помолвка их, по истечении года траура признанная вновь княжной, была известна, кроме них двоих, только еще дяде княжны Полторацкой, Сергею Семеновичу Зиновьеву.

Но и при таких условиях такое явное нарушение обязанностей невесты со стороны княжны переполнило бы чашу терпения и без того многотерпеливого жениха.

В обществе о молодой княжне — «ночной красавице» — как продолжали называть ее с легкой руки императрицы Елизаветы Петровны, не переставали ходить странные, преувеличенные слухи.

Князь Сергей Сергеевич Луговой был од-

ним из выдающихся петербургских женихов, предмет вожделения многих петербургских барышень вообще, а их маменек, жаждущих пристроить своих дочек, в особенности.

Очень понятно, что явное предпочтение, отдаваемое им княжне Людмиле Васильевне Полторацкой, не могло вызывать ни в маменьках, ни в дочках особенной к ней симпатии.

В то время как последние злобствовали молча, не смея уколоть вслух красавицу, всегда окруженную толпой поклонников, первые не стеснялись давать волю своим языкам и с чисто женской, неукротимой, при надобности, фантазией рассказывали о княжне Людмиле невозможные вещи.

По их рассказам, она была окончательно погибшей девушкой, принятой в порядочные дома лишь по недоразумению. Это, впрочем, не мешало хозяйке дома, ведшей только что со своими гостями разговор о княжне в этом направлении, идти ей навстречу с распростертыми объятиями, как только княжна Людмила Васильевна появлялась в гостиной.

Рассказы эти передавались из уст в уста, с

одной стороны, из обыкновенной жажды пересудов ближних, а с другой — с целью дискредитировать молодую девушку в глазах такого выгодного и блестящего жениха, как Сергей Сергеевич Луговой.

Поэтому в его присутствии намеки о поведении княжны были яснее и они больше подчеркивались, но, увы, достигали не той цели, которая имелась в виду.

Князь слушал их и понимал, даже, отуманенный ревнивым чувством, верил им, но любовь его к княжне от этого не уменьшалась. Он страшно страдал, но любил ее по-прежнему. Один нежный взгляд, одно ласковое слово разрушали козни ее врагов, и князь Сергей Сергеевич считал ее снова чистым, безупречным существом, оклеветанным злыми языками.

Перемена отношений к нему со стороны княжны повергала его снова в хаос сомнений, и в этом-то состояла за последнее время его жизнь, которую мы назвали лихорадочной. Одно обстоятельство за последнее время тоже очень встревожило князя. Оно почти совпало с окончанием траура княжны Людмилы Васи-

льевны Полторацкой, но известие о нем дошло до князя Сергея Сергеевича уже после объяснения с княжной и получения им вторичного обещания ее отдать ему свою руку. Обстоятельство это вновь всколыхнуло в сердце князя Лугового тяжелое предчувствие кары за нарушение им завета предков — открытие роковой беседки в Луговом.

В конце августа князь Сергей Сергеевич получил от управляющего его тамбовским имением, знакомого нам Терентьича, подробное донесение о пожаре, истребившем господский дом в Луговом. Пожар, по словам Терентьича, произошел от удара молнии, и от дома остались лишь обуглившиеся стены. Попорчены были цветник и часть парка. Донесение оканчивалось слезною просьбою старика дозволить ему прибыть в Петербург с докладом, так как он имеет-де сообщить его сиятельству одно великой важности дело, которое он не может доверить письму, могущему не ровен час попасть в чужие руки.

«Что это может быть?» — недоумевал князь Сергей Сергеевич.

Он знал Терентьича за обстоятельного и

умного старика, не решившегося бы беспокоить своего барина из-за пустяков, да и не рискнувшего бы отпраляться трясти свои старые кости в такую дальнюю дорогу без особых серьезных и уважительных причин.

«Что бы это могло быть?» — снова вставал в уме князя Лугового вопрос.

Самое сообщение о пожаре дома, которое князь Сергей Сергеевич перечел несколько раз, тоже страдало какой-то недосказанностью. И в этом случае видно было, что старик не доверял письму.

«Надо вызвать его и узнать!» — решил князь и в тот же день отписал в этом смысле Терентьичу.

Прошло около месяца, когда однажды утром князю Сергею Сергеевичу доложили о прибытии Терентьича. Князь приказал позвать его. Старик вошел в кабинет, истово перекрестился на икону, висевшую в переднем углу, и отвесил поясной поклон князю Сергею Сергеевичу.

— Чего это тебе, старина, в Питер приспичило ехать? Аль на старости лет захотел столицу посмотреть? — весело встретил его

КНЯЗЬ.

Несколько дней перед этим он был на свиданье с княжной Людмилой Васильевной, и она положительно очаровала его своею нежностью. Впечатление от подобных свиданий всегда продолжалось у князя несколько дней и выражалось в хорошем расположении духа.

— Не волей ехал, неволя погнала! — серьезно отвечал Терентьич.

— Как так?

— Отписал я вашему сиятельству о несчастьи. Погорели мы.

— Вы? Ты писал, что сгорел только дом!

— Точно так, ваше сиятельство.

— От чего же это случилось?

Князь понял, что старый слуга, говоря «погорели мы», подразумевал его, своего барина.

— Божеское попущение. И натерпелись мы страху в то время.

— Что же, разве народ был на работе? Некому было тушить пожар? — спросил князь.

— Какой, ваше сиятельство, некому. Почитай все село около дома было... Отец Николай с крестом... Ничего не поделали... Не подпу-

стил к дому-то...

— Кто не подпустил? — удивленно взглянул на него князь.

— Известно кто, ваше сиятельство... Он... Враг человеческий.

— Как же это было?

— Да так, в самую годовщину, ваше сиятельство, как по вашему приказу беседка-то была открыта, был так час шестой вечера... Небо было чисто... Вдруг над самым домом, откуда ни возьмись, повисла черная туча, грянул гром и молния как стрела в трубу ударила... Из дому повалил дым... Закричали: пожар... Дворовые из людских повыбежали, а в доме-то пламя уж во как бушует, а туча все растет, чернее делается. Окна потрескались, наружу пламя выбило... Тьма кругом стала, как ночью... Сбежался народ, а к дому подойти боится. Пламя бушует, на деревья парка перекинулось, на людские, а в доме-то среди огня кто-то заливается, хохочет.

— Хохочет! — вздрогнул князь Сергей Сергеевич.

— Хохочет, ваше сиятельство, да так страшно, что у людей поджилки тряслись...

Отца Николая позвали, надел эпитрахил и с крестом пришел.

— И что же?

— Близко-то ему, батюшке, подойти нельзя, потому пламя... Он уже издали крестом осенять стал... Видимо, подействовало. Уходить «он» дальше стал, а все же издали хохочет, покатывается.

— И долго горело?

— Всю ночь, до рассвета народ стоял, подступиться нельзя, а огонь так-таки и гуляет и по дому и по деревьям.

— А беседка? — дрогнувшим голосом спросил князь Сергей Сергеевич.

— Около нее деревья все как есть обуглились, а она почернела вся, как уголь черная стала, насквозь прокопtilась. Я ее запереть приказал, не чистив. Ну ее, — закончил свой доклад Терентьич.

Князь задумался.

— Ну, что же делать, старина... Божья воля.

— Это истинно так-с, ваше сиятельство.

— Дом пока строить не надо... Там видно будет, может, я туда никогда и не поеду, а для дворовых надо выстроить людские.

- Слушаю-с, ваше сиятельство.
- Где их теперь разместили?
- По избам разошлись... Устроились.
- Ты за этим и приехал, или еще что есть? — спросил князь Сергей Сергеевич.
- Есть еще одно дело, ваше сиятельство, не знаю, как к нему и приступить.
- Что такое?
- Никита у нас тут объявился.
- Какой Никита?
- Беглый Никита... Убивец.
- Княгини Полторацкой и Тани?
- Так точно-с.
- Что же, его схватили?
- Никак нет-с... Кончился он...
- Как кончился? Умер?
- Умер-с...
- Где?
- У отца Николая, ваше сиятельство.
- Как так?
- Пришел, значит, к отцу Николаю неве-
домо какой странник... Больной, исхудалый...
Вы ведь, ваше сиятельство, знаете отца Ни-
колая, святой человек, приютил, обогрел...
Страннику все больше неможется... Через

несколько дней стал он кончаться, да на духу отцу Николаю и открыл, что он и есть самый Никита, убивец княгини и княжны Полторацких.

— Какой княжны? Что ты путаешь? — возразил князь.

— Так точно-с, ваше сиятельство, княжны Людмилы Васильевны... Он на духу сознался, что убил княжну...

— Какой вздор, но ведь княжна жива!

— Никак нет-с... Это не княжна, что здесь у вас в Питере.

— Как не княжна? Кто же она такая?

— Татьяна Берестова.

— Откуда ты это знаешь?

— От отца Николая. Советовался он со мной, как в этом случае поступить.

— Ну и что же вы решили?

— Решили доложить по начальству... Там разберут...

— И отец Николай доложил?

— Со мной до города доехал, к архиерею... Ему все как есть объявить хотел...

— А Никита?

— Умер, я уже вам докладывал, ваше сия-

тельство. У нас на кладбище и похоронен.

— Это все вздор, соврал Никита!

— Перед смертью-то, ваше сиятельство, на духу никак этого быть не может, окромя того, и другие...

— Что другие?

— Как узнали об этом в Зиновьеве, смеяться стали. Больно уж княжна после смерти маменьки-то своей изменилась. Нрава совсем другого стала. Та, да не та. Теперь-де все объяснилось.

Терентьич остановился. Князь Сергей Сергеевич молчал, погруженный в глубокую думу.

— Написать-то я вашему сиятельству обо всем этом не осмелился, не ровен час кто прочтет письмо-то, а она, княжна-то эта, ваша невеста. Так не было бы вам от того какого худа.

Князь, видимо, не слышал последних слов старика. Он сидел в глубокой задумчивости.

— Ужели? Не может быть! Это что-нибудь да не то! — произнес он вслух, как бы говоря сам с собою, и снова задумался.

— Когда же прикажете ехать обратно? —

после некоторого молчания спросил Терентьич.

— Обратно... Да... Обратно... Туда... — рассеянно сказал князь.

— Точно так-с, ваше сиятельство.

— Да когда хочешь... Ты мне не нужен... Отдохни, посмотри город и поезжай.

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

— Главное, устрой дворовых. Насчет дома можно подождать, отпишу.

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

Терентьич снова отвесил поясной поклон и вышел.

Князь Сергей Сергеевич Луговой остался один. Он долго не мог прийти в себя от полученного им известия. Даже пожар дома, случившийся в день самовольного открытия им беседки-тюрьмы, стусебался перед этой исповедью Никиты.

Девушка, которую он боготворил, которую мог бы, если бы она согласилась, уже с месяц как пред алтарем назвать своей женой, была самозванка, быть может, даже сообщница убийцы.

К ужасу своему, князь Сергей Сергеевич

чувствовал это, но, несмотря ни на что, он продолжал любить ее.

XXIII

Совет

— Нет! Не может быть! — снова разубеждал себя князь, а между тем, вспоминая свои отношения к княжне Людмиле Васильевне Полторацкой с первого свидания после трагической смерти ее матери и до сегодня, он все более и более убеждался, что предсмертная исповедь «беглого Никиты» не ложь.

Теперь, действительно, все эти отношения между ним и княжной Людмилой Васильевной начали приобретать совершенно иную окраску.

Девушка, которая любила его так, как любила княжна, своею первою чистою любовью, которая так искренно, с наивным восторгом согласилась сделаться его женой, не могла так измениться под впечатлением обрушившегося на нее несчастья, как бы это несчастье ни было велико.

Напротив, она должна была бы почувствовать себя ближе к любимому человеку, одинокая сирота, она должна была в нем и в своем дяде искать опоры, защиты и помощи.

Княжна Людмила Васильевна между тем сразу переменила и тон и обращение с ним, повергнув его в изумление и уныние. Недаром старая горничная покойной княгини Вассы Семеновны находила, что она «та, да не та», что «она не в себе». Теперь все это объясняется.

Княжна Полторацкая не настоящая княжна — это Татьяна Берестова, ловкая самозванка, воспользовавшаяся своим необычайным сходством с покойной княжной Людмилой. Чем больше думал князь, тем яснее становилась для него роковая истина этой догадки. Наконец, она обратилась в полную уверенность.

— Что же делать, что предпринять?

Образ княжны Людмилы, такой, какова она есть, вставал перед ним. Он чувствовал, что теряет голову. Самолюбие его было удовлетворено полученным известием. Им, князем, пренебрегала, его мучила не та княжна,

которой он сделал предложение, на брак с которой получил согласие ее матери, а наглая самозванка, дворовая девка, сообщница убийцы. Та, любившая его и горячо любимая им девушка, лежит в сырой земле, а чего же было ожидать от девушки, в жилах которой все же текла холопская кровь? Князь вспомнил, что именно о присутствии в Татьяне, горничной княжны Людмилы, этой «холопской крови» он сказал покойной княжне.

Почему же, в своем ослеплении, он сразу не узнал этого наглого подмена в лице?

И снова образ теперешней, живущей здесь, в Петербурге, княжны Людмилы Полторацкой вырисовывался перед ним. Ведь, кроме этих подробностей, ее поведение вообще, и в частности относительно его, ничем не выдавало, чтобы это была не настоящая княжна.

Сердце князя Сергея Сергеевича сжалось мучительной тоской. Ему суждено было при роковых условиях переживать смерть своей невесты. Лучше было бы, если бы он тогда, в Зиновьеве, узнал бы об этом. Теперь, быть может, горечь утраты уже притупилась бы в его сердце. Судьба решила отнять у него люби-

мую девушку — ее не существовало. Надо было примириться с таким решением судьбы. И он бы примирился.

Теперь нечто иное, нечто более ужасное. Его невеста умерла, а между тем она жила, он сегодня увидит ее в театре, но это не она, той нет, это не княжна, это Татьяна. В течение целого года он любил эту живущую теперь обворожительную девушку. Положим, он считал ее за другую, но... Князю, к ужасу его, начинало казаться, что он именно любит теперь уже эту.

Что же делать? Что же делать? Сохранить ее для себя, заставить всех признавать ее княжной Людмилой, его невестой, рассказать ей все, обвенчаться ранее, нежели придет эта роковая бумага из Тамбова. Просить милости императрицы, дело затушат, чтобы не класть пятна на славный род и честное имя князей Луговых.

Эта мысль показалась князю Сергею Сергеевичу и соблазнительной и чудовищной. Жить с сообщницей убийцы, жить с убийцей. Холодный пот выступил на лбу князя.

«Это невозможно!» — мысленно сказал он

сам себе.

«Но ведь ты любишь ее, эту живую княжну», — шептал князю какой-то внутренний голос.

И в глубине души своей князь понимал, что это так.

— Быть может, она и не знала о замышляемом Никитой убийстве и лишь, спасенная чудом, приняла на себя роль покойной княжны, — начал он под этим впечатлением приводить оправдывающие молодую девушку доводы.

— Но ведь это тоже преступление! — возразил он сам себе.

— А положение ее, тоже дочери князя Полторацкого, хотя и незаконной, в качестве дворовой девушки при своей сестре, разве не могло извинить этот ее проступок? Она только пользовалась своим правом.

— Нет, нет, это не то, не то, — возмутился он сам против себя, — это иезуитское рассуждение. Она преступница, несомненно, но она так хороша, так обворожительна. Отступить от нее — он чувствовал — на это у него не хватит сил. Надо спасти ее. Надо поехать пе-

переговорить с ней, предупредить. Она поймет всю силу моей любви, когда увидит, что, зная все, я готов отдать ей свое имя и титул и ими, как щитом, оградить ее от законного возмездия на земле.

«Но бумага уже, быть может, пришла!» — вдруг пришло ему на мысль.

Он похолодел при этой мысли. Князь вспомнил, что бумага из Тамбова не может миновать рук Сергея Семеновича Зиновьева, помощника начальника Судного приказа.

«Надо переговорить с ним сегодня же. Княжну я все равно не застаю. С ней я объяснюсь после. Надо предупредить Сергея Семеновича, чтобы он задержал бумагу. Ему тоже неприятна будет огласка этого дела. Он представил ее государыне как свою племянницу».

Князь Сергей Сергеевич позвонил и приказал дать себе одеваться.

Через какой-нибудь час он уже входил в служебный кабинет Сергея Семеновича Зиновьева. Последний оказался, по счастью, не очень занятым, и докладывавший о князе Луговом дежурный чиновник быстро вернулся и сказал:

— Пожалуйте, ваше сиятельство, их превосходительство вас просят.

Пережитое утро не могло не оставить следа на лице князя Лугового.

— Что с вами, князь, вы больны, или что-нибудь случилось? — с тревогой спросил Зиновьев, поднимаясь с кресла у письменного стола, за которым сидел. — Садитесь.

Он указал ему на стоявшее с другой стороны стола кресло. Князь Сергей Сергеевич в изнеможении опустился на него. Наставший момент щекотливого объяснения с дядей княжны Людмилы совпал с ослаблением всех физических и нравственных сил князя Лугового — последствием утренних дум и испытанных треволнений.

— Говорите, что случилось, князь?.. Княжна Людмила?.. — встревоженно спросил Зиновьев.

— Она... не княжна... — с трудом выговорил Сергей Сергеевич.

— Как? Вы знаете? — побледнел Сергей Семенович.

— А вы? — воззрился на него князь.

Зиновьев смутился, но тотчас же оправил-

ся.

— Я, я ничего не знаю, я спрашиваю.

Но князь понял.

«Он догадывался, но держал это втайне, а может быть, бумага уже пришла», — мелькнуло в его голове.

— Я получил сегодня ужасное известие, — сказал он вслух.

— Я вас слушаю.

— Ко мне приехал староста из Лугового, которое находится, как вам известно, в близком соседстве от Зиновьева.

Князь перевел дух.

— Так, так...

— Он сообщил мне, что более месяца тому назад в Луговом у священника отца Николая умер Никита, разыскиваемый убийца княгини Вассы Семеновны и Тани, и перед смертью на исповеди сознался отцу Николаю, что он убил княгиню и княжну, а в живых осталась...

— Татьяна?

Князь молча наклонил голову.

— Что же отец Николай? — первый нарушил молчание Сергей Семенович.

— Он сообщил обо всем архиерею, а тот, вероятно, даже непременно, сообщит сюда. Я приехал с вами побеседовать и узнать, не получили ли вы такой бумаги.

— Нет, еще не получал, — глухо сказал Зиновьев.

— Что же нам делать?

— Наказать обманщицу, — твердо произнес Сергей Семенович. В голосе его слышались металлические ноты.

Князь Сергей Сергеевич сидел ошеломленный таким решением.

— Я должен вам сказать, князь, — продолжал между тем Зиновьев, — что я год тому назад слышал об этом и не придавал особенного значения, хотя потом, видя поведение племянницы, не раз задумывался над вопросом, не справедлив ли этот слух... Между ею и княжной Людмилой, как, по крайней мере, я помню ее маленькой девочкой, нет ни малейшего нравственного сходства.

— Хотя физическое поразительно.

— Это-то и смущало меня, но теперь, когда будет получена предсмертная исповедь убийцы...

Зиновьев остановился.

— Что же теперь?

— Надо будет дать делу законный ход.

— Ужели нельзя... — начал князь, но вдруг замолчал.

— Чего нельзя? — возрился на него Сергей Семенович.

— Как-нибудь потушить это дело... — пониженным шепотом продолжал князь Сергей Сергеевич.

— Но зачем это вам, князь?

— Я люблю ее.

— Вы?!

— Да, я люблю ее, и если бы можно было избежать огласки, я женился бы на ней.

Сергей Семенович Зиновьев несколько времени молча глядел на молодого человека, который сидел бледный, с опущенной долу головой. Наступило томительное молчание. Князь истолковал это молчание со стороны Зиновьева по-своему.

— Я возьму ее без приданого... Я богат. Мне не нужно ни одной копейки из состояния княжны. Я готов возвратить то, что она прожила в этот год.

Зиновьев вспыхнул, а затем побледнел.

— Князь, наследник после княжны один я, у меня нет детей, я доволен тем, что имею...

— Простите, я не то хотел сказать, ваше превосходительство, я так взволнован...

— Говоря откровенно, — продолжал между тем Сергей Семенович, — мне самому было бы приятнее, если бы дело это не обнаружилось... Княжну Людмилу не воскресишь.

— Конечно, не воскресишь, это вы совершенно верно заметили, — поспешил подтвердить князь Луговой.

— И если вы действительно решили обвиняться с ней, то пусть она скорее делается княгиней Луговой.

— А бумага?

— Я задержу ее.

— Но потом?

— Потом вам надо будет обратиться к государыне... Вы были введены в заблуждение, вы не виноваты, обнаружение дела падет позором на ваше имя... Государыня едва ли захочет сама начинать дело.

— Вы думаете?

— Конечно, надо представить ее как спас-

шуюся случайно от смерти и воспользовавшуюся своим сходством с сестрой по отцу...

— Ведь она незаконная дочь князя Полторацкого?

— Вы знаете это?

— Да, знаю, — отвечал князь. — Это, вероятно, так и есть... Не сообщница же она убийцы.

— Кто знает, князь... Надо все-таки подождать присылки бумаги.

— Вы допускаете, что она знает об убийстве?

— Я не хочу допустить этого, иначе...

— Что иначе? — возразил князь Сергей Сергеевич.

— Иначе я не мог бы допустить, чтобы убийца моей племянницы оставалась бы безнаказанной.

— Боже мой, боже мой! — простонал князь.

— Чтобы вы женились на таком изверге...

— Нет, не может быть, она не изверг, она не может быть им!

— Подождем разъяснения из Тамбова.

— Я хотел с ней переговорить об этом сам.

— Подождите, еще успеете. Дать или не

дать ход этому делу в наших руках.

— Хорошо, я последую вашему совету, — согласился князь.

Он простился с Зиновьевым и вышел из кабинета.

Остаток этого дня он провел в каком-то тумане. Мысли одна другой несуразнее лезли ему в голову. То казалось ему, что княжна Людмила жива, что убили действительно Татьяну Берестову, что все то, что он пережил сегодня, только тяжелый, мучительный сон. Он должен был причинить себе какую-нибудь физическую боль, чтобы убедиться, что он не спит. То живущая здесь княжна Полторацкая представлялась ему действительно убийцей своей сестры и ее матери, с окровавленными руками, с искаженным от злобы лицом. Она протягивала их к нему для объятий, и, страшное дело, он, несмотря ни на что, стремился в эти объятия.

В таких тяжелых грезах наяву провел он несколько часов в своем кабинете, когда наконец наступил час ехать в театр.

В театре, если припомнит читатель, произошло у него столкновение с графом Петром

Игнатьевичем Свиридовым и объяснение его с бывшим другом в кабинете Ивана Ивановича Шувалова, в присутствии последнего.

Этой сцене мы посвятили первую главу нашего правдивого повествования.

Возмутительное, относительно его, поведение княжны Людмилы Васильевны Полторацкой окончательно отрезвило князя. Любовь, показалось ему, без следа исчезла из его сердца.

«Пусть совершится земное правосудие!» — мысленно решил он.

XXIV

Роковая бумага

Княжна Людмила Васильевна была, как мы знаем, очень обеспокоена, напрасно прождав графа Петра Игнатьевича Свиридова в ночь, назначенную ему для свиданья.

Ее несколько развлек визит графа Свянторжецкого, которому она даже отдала второй ключ от калитки, вполне уверенная, что граф Свиридов не решится явиться не в назначенное время, не переговорив с ней. У ней была,

кроме того, надежда, что он явится сегодня же и вернет ей ключ. Она сумеет найти время, чтобы потребовать от него объяснения причин его неявки, и, смотря по уважительности этих причин, накажет его более или менее долгой отсрочкой следующего свидания.

Посетители приходили за посетителями.

Княжна принимала в будуаре. При каждом докладе лакея о новых визитах она надеялась услышать фамилию Свиридова. Но фамилии этой не произносилось.

Не явился в ее приемные часы и князь Сергей Сергеевич Луговой, редко, особенно за последнее время, пропускавший случай быть у нее.

Это совпадение стало не на шутку тревожить княжну. Она слышала еще вчера в театре о каком-то столкновении между бывшими друзьями, но, видимо, никто не знал подробностей, да и вообще в свете не придавали этому значения, так как ни один еще из сегодняшних посетителей и даже посетительниц княжны Полторацкой ни словом не обмолвился о вчерашнем эпизоде в театре.

Наконец все разъехались. Княжна осталась одна. Она полулегла на кушетку с книжкой в руках, но ей не читалось. От печатных строк рябило в глазах. Проведенная почти без сна ночь и нервное состояние дня дали себя знать.

Княжна задремала, но сон ее был тревожен и томителен. Это было, скорее, какое-то полузабытье, сопровождавшееся грезами. Перед ней встали одни за другими все страшные моменты рокового дня убийства Никитой княжны и княгини Полторацких. Ей ясно представилась проходная комната перед спальней княжны и страшная сцена убийства и насилия. Стон княжны звучал в ее ушах и вызывал капли холодного пота на ее лоб. Княжна вздрагивала во сне, и на ее лице было написано невыносимое страдание.

Далее вырисовывалась другая картина. Труп княжны Людмилы в простом дощатом, окрашенном желтой краской гробу с грошовым позументом, стоявший в девичьей. Скорбное пение во время панихиды и этот жених мертвой девушки, стоявший рядом с ней, с живой, которую он считает своей неве-

стой и на которую глядит грустным, умоляющим, но вместе с тем и недоумевающим взглядом.

День похорон княгини и княжны Полторацких встал в ее памяти. Она идет за гробом княгини, а там, в хвосте процессии, несут останки княжны Людмилы. Вот ее скромный гроб опускают в могилу, и скоро земля, брошенная в большинстве равнодушными руками, образует холмик, на который водружают деревянный крест. Безумная, ей показалось тогда, что все похоронено под этой земляной насыпью, под этим деревянным крестом с надписью: «Здесь лежит тело Татьяны Берестовой».

Увы, теперь бодрствующий ум в спящем теле ясно видит, что кровь убитой вопиет из-под земли к небу и что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Припоминаются княжне Людмиле подозрительные взгляды старых слуг в Зиновьеве. Она уехала в Петербург от этих взглядов, но здесь явился Никита, а за ним Осип Лысенко, преобразившийся в графа Свянторжецкого. Один сообщник, другой случайно узнавший о ее преступлении.

Она сумела одного устранить с дороги, другого сделать бессильным.

Но навсегда ли она добыла этим себе спокойствие? Этот вопрос тяжелым кошмаром висел над спящей молодой девушкой.

— Возмездие близко! — слышится ей голос, властный, суровый, похожий на голос покойной княгини Вассы Семеновны Полторацкой.

Молодая девушка вздрагивает сильнее и просыпается. Перед ней стоит ее горничная.

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство! — растерянно повторяет она.

— Что, что тебе? — вскочила княжна и села на кушетку.

В первое мгновение ей даже показалось, что все открыто и что ее пришли брать как сообщницу убийцы княгини и княжны Полторацких.

— Помилуйте, ваше сиятельство, — вывела ее из состояния сна горничная, — сколько времени я уже стою над вами, а вы, ваше сиятельство, почиваете, да так страшно... Ведь уже за полночь.

— Что ты... А я и не заметила, как заснула за книгой.

— Видно, сон вам нехороший приснился, ваше сиятельство.

— Почему ты так думаешь?

— Бледная такая вы лежали, дышали тяжело, все вздрагивали.

— Да, мне что-то снилось, — окончательно оправилась княжна.

— Что, ваше сиятельство?

— Ишь какая любопытная.

— Я, ваше сиятельство, умею сны разгадывать.

— Да я теперь и не помню, что мне пригрезилось, заспала, верно.

— Экая напасть какая! — наивно заметила Агаша.

— Однако пора спать по-настоящему, — сказала княжна Людмила Васильевна. — Иди раздевать меня.

Княжна направилась в спальню. Агаша последовала за ней. Молодая девушка долго не могла заснуть, однако под утро впала в крепкий, безгрезный сон.

Проснувшись она поздно, но сон укрепил и оживил ее. Она стала прежней княжной Людмилой, весело и бодро смотрящей в будущее.

На это будущее между тем надвигались действительно темные тучи.

В это же утро первый распечатанный Сергеем Семеновичем Зиновьевым секретный пакет заключал в себе подробное донесение тамбовского наместника о деле по убийству княгини Вассы Семеновны и княжны Людмилы Васильевны Полторацких. Не без волнения стал читать бумагу Зиновьев.

Наместник излагал в ней подробно сообщение местного архиерея о предсмертной исповеди «беглого Никиты», сознавшегося в убийстве княжны и княгини Полторацких и оговорившего в соучастии свою дочь Татьяну Берестову, имевшую разительное сходство с покойной.

Умиравший убийца рассказал на духу все подробно, до сознания его перед графом Свято-торжецким и получения от своей сообщницы десяти тысяч рублей за уход из Петербурга. Оставшиеся деньги, в количестве девяти тысяч семисот рублей, умирающий Никита передал отцу Николаю для употребления на богоугодное дело, но последний при рапорте представил их архиерею.

Исповедь умирающего дышала такой искренней правдивостью, что не только в «самозванстве», но даже в виновности Татьяны Берестовой, как соучастницы в убийстве, не оставалось ни малейшего сомнения.

В приведенном целиком рапорте отец Николай указывал и мотивы, приведшие Никиту к раскаянию. По словам покойного, он, отправившись из Петербурга, сильно пьянствовал по дороге и шел, не обращая внимания, куда идет. Каково же было его удивление, когда он очутился вблизи Зиновьева. Он не решился идти туда и зашел в соседний лес. В этом-то лесу он вдруг заснул и имел сонное видение, окончательно переродившее его нравственно, но разбившее физически. К нему явились убитые им княгиня и княжна Полторацкие, и первая властно приказала ему идти к отцу Николаю в Луговое и покаяться во всем.

— Тебе все равно жить недолго, ты не проживешь и недели! — сказала ему княгиня.

Никита проснулся весь в холодном поту и, когда захотел приподняться, почувствовал такую страшную слабость и ломоту во всем те-

ле, что еле живой доплелся до дома отца Николая. Предчувствие близкой неизбежной смерти не оставляло его с момента пробуждения в лесу.

Несмотря на заботливый уход за ним со стороны отца Николая и его стряпки Ненилы, больной с каждым днем все слабел и слабел и, наконец, попросил отца Николая о последнем напутствии. На этой же предсмертной исповеди умирающий и рассказал все своему духовнику.

Сергей Семенович еще раз перечитал роковую бумагу и снова вопрос «что делать?» возник в его уме.

«Надо доложить государыне! — решил он после довольно долгого размышления. — Но прежде сообщу князю Сергею Сергеевичу!» — мысленно добавил он.

Зиновьев имел право личного доклада государыне по делам не политическим, особенной важности. Такие дела случались редко, а потому редко приходилось ему и докладывать ее величеству.

«Надо заехать к князю Сергею Сергеевичу, а оттуда во дворец!» — решил Зиновьев и уже

встал, чтобы выйти, как вдруг остановился.

Он вспомнил, что сегодня утром его жена, Елизавета Ивановна, принесла ему несколько яблок из заготовленных на зиму и он съел одно из них. Думать поэтому быть сегодня с докладом у императрицы было бы безумием.

В числе особенных странностей Елизаветы Петровны было то, что она терпеть не могла яблок. Мало того, что она сама их никогда не ела, но она до того не любила яблочного запаха, что узнавала по чутью, кто ел их недавно, и сердилась на того, от кого пахло ими. От яблок ей делалось дурно.

Приближенные императрицы остерегались даже накануне того дня, когда им следовало явиться ко двору, дотрагиваться до яблок. Приходилось, таким образом, и Сергею Семеновичу Зиновьеву отложить доклад до следующего дня.

— Утро вечера мудренее, — сказал он сам себе в утешение и остался в своем служебном кабинете.

После обеда он заехал к князю Сергею Сергеевичу Луговому, которого застал в мрачном

расположении духа.

— Бумага получена! — после взаимного приветствия, усевшись в покойное кресло княжеского кабинета, сказал Зиновьев.

— Получена! — равнодушно повторил князь Луговой.

— Да, — удивленно посмотрел на него Сергей Семенович, — и содержание ее таково, что необходимо доложить государыне...

— Никита оговорил Татьяну Берестову в сообщничестве?

— Он рассказал все во всех подробностях, и, главное, нельзя усомниться в его искренности. Кстати, бумага со мной, прочтите сами.

Зиновьев вынул из кармана бумагу и подал князю Сергею Сергеевичу. Тот стал внимательно читать ее. От устремленного на него пристального взгляда Сергея Семеновича не укрылось то обстоятельство, что ни один мускул не дрогнул на лице князя при этом чтении.

«Что это значит?» — мысленно задавал себе вопрос Зиновьев.

— Я так и думал! — совершенно спокойно сказал князь, окончив чтение и передавая Зи-

новьеву обратно бумагу.

— Что вы сказали?

— Я сказал: я так и думал.

— Вы?

— Вы удивляетесь? Я вчера убедился в таких вещах, которые не оставили во мне ни малейшего сомнения в глубокой испорченности этой девушки, принявшей на себя личину вашей племянницы.

— Вот как! Какие же это вещи?

— Увольте меня, дорогой Сергей Семенович, рассказывать вам все это теперь. Мне и так тяжело.

— Помилуйте, князь, конечно, не надо.

— Когда-нибудь, когда все это дело кончится, я расскажу вам это...

— Значит, то, о чем мы вчера говорили... — начал Зиновьев.

— Забудьте об этом... Я ей не судья, но и не ее защитник. Между мной и этой девушкой кончено все... Если вы хотите спасти ее, спасайте, я же не хочу ни губить ее, ни спасать, ее будущность для меня безразлична... Моя невеста умерла... Я буду оплакивать ее всю мою жизнь... Она ее убийца — Бог ей судья...

Мстить за себя не стала бы и покойная, я тоже не буду мстить ее убийце... Остальное — ваше дело...

— Я доложу государыне завтра же и завтра же отдам приказ об ее аресте... Я не могу оставить безнаказанной убийцу моей сестры и племянницы, — горячо заявил Сергей Семенович Зиновьев.

— Пусть свершится правосудие... — как бы про себя сказал князь Луговой.

— Пусть свершится правосудие!.. — торжественно повторил Зиновьев.

Сергей Семенович стал прощаться с князем Сергеем Сергеевичем.

— Можно ли было ожидать что-либо подобное? — заметил он, уходя.

— Да, — задумчиво отвечал князь, — впрочем, в наше время можно ожидать всего.

Князь проводил его до передней и затем вернулся к себе в кабинет и потребовал трубку.

Долго ходил он взад и вперед по комнате. Ни одной мысли, казалось, не было у него в голове. В таком состоянии пробыл князь Луговой до поздней ночи, когда за ним заехал

граф Петр Игнатьевич Свиридов, чтобы идти с последним объяснением к княжне Полторацкой.

XXV

В объятиях трупа

— Какой дивный букет!.. Боже мой, какая прелесть!.. Это становится по-настоящему интересно: кто награждает меня чуть не ежедневно такими роскошными цветами?..

Такое восклицание вырвалось у княжны Людмилы Васильевны Полторацкой при виде стоявшего в ее будуаре нового роскошного букета из белых роз. Агаша поставила его в большую вазу на столике около кушетки, так как букет принесли в то время, когда княжны не было дома. Она сделала в этот день довольно много визитов с затаенною мыслью узнать что-нибудь о происшедшем столкновении между графом Свиридовым и князем Луговым.

Княжну все еще беспокоило странное поведение первого — не явиться на назначен-

ное ему свиданье и не возвратить ключ! Что могло это значить? Ни в одной гостиной, однако, княжна не получила ответа на этот вопрос. Ничего, видимо, не случилось такого, чем могли быть заинтересованы великосветские кумушки того времени.

Это обстоятельство отчасти успокаивало княжну Людмилу, а отчасти усиливало ее беспокойство. С одной стороны, она заключала из этого, что не случилось ничего серьезного, а с другой — что, быть может, при ней, как причине разыгравшейся истории, умышленно о ней умалчивают. С такими лихорадочно прыгающими мыслями возвратилась домой княжна Людмила.

Присланный букет несколько отвлек ее думы от князя Лугового и графа Свиридова или, лучше сказать, дал другое направление этим думам. Ведь она окончательно решила, что кто-нибудь именно из них присылает ей уже более недели ежедневно эту массу цветов.

Подозрение, которое она имела на этот счет относительно графа Иосифа Яновича Свянторжецкого, исчезло. Он слишком хорошо сумел сыграть роль неповинного в деле

цветочных подношений человека, даже тогда, когда молодая девушка, глядя на него упор, весьма прозрачно высказала ему ее подозрение. Он нимало не смутился и, казалось, даже не догадывался, о чем она говорит. Княжна не могла предполагать за ним таких актерских способностей. Она не знала, что эта присылка цветов — пролог к задуманному хладнокровно и всесторонне преступлению, а потому для графа было очень важно, чтобы княжна не догадалась, от кого присылаются они.

Граф Свянторжецкий был подготовлен к подозрению, а вследствие этого подготовился искусно разогнать его. Он достиг цели. Княжна вычеркнула его из списка поклонников, могущих баловать ее так таинственно и скромно.

В списке осталось только двое: граф Свиридов и князь Луговой. Если действительно присылает цветы кто-нибудь из них, а больше присылать некому, думала княжна, значит, отношения одного из них к ней не изменились, а следовательно, ее страх обнаружения двойной игры, затеянной ею с этими дву-

мя поклонниками, совершенно неоснователен.

Она с удовольствием вдыхала в себя аромат присланного букета.

Розы, показалось ей, как-то особенно сильно пахли.

Для нее это было странно. Любительница и знаток цветов, молодая девушка знала, что белые розы имеют тонкий, нежный запах.

«Вероятно, какой-нибудь особый сорт!..» — мысленно решила она.

Аромат был восхитителен, и княжна невольно до вечера, отрываясь сперва от какого-то затейливого вышивания, а затем от чтения, несколько раз наклонялась над букетом и подолгу вдыхала в себя его чудный запах.

Время шло.

Чем ближе подходил час свиданья с графом Иосифом Яновичем Свянторжецким, тем, к своему удивлению, княжна чувствовала все большее и большее оживление, странно смешанное с нетерпением ожидания.

Никогда еще она не ждала так графа Свянторжецкого, никогда не считала минуты,

оставшиеся до полуночи, а когда полночь пробила, не прислушивалась с лихорадочным беспокойством к мельчайшим звукам среди окружавшей ее тишины.

Молодая девушка чувствовала, как горели ее щеки, как кровь била в виски.

Она подошла к висевшему на стене громадному зеркалу и сама невольно залюбовалась на себя. Никогда — она должна была сознаться в этом сама себе — она не была так хороша, как сегодня. С пылающими щеками, с мечущими положительно искры страсти глазами, княжна имела вид вакханки настоящей демонической красоты.

«Он сойдет с ума, увидев меня сегодня!» — мелькнула в ее уме злорадная мысль.

Но странное дело, молодая девушка почувствовала, что это злорадство смешано у нее в уме и сердце с чувством торжества победы над любимым человеком, победы, которую как будто она ждала долго и напрасно и только теперь убедилась, что момент ее близок. Это поразило княжну Людмилу Васильевну.

Разве она любит графа Свянторжецкого? Нет, она не может ответить на этот вопрос

утвердительно. Он ей нравился и нравится, но когда она припоминала сцену с ним, когда он бросил ей в лицо обвинение в самозванстве и сообщничестве в убийстве ее господ и хотел воспользоваться добытой им тайной для ее порабощения, ничего, кроме ненависти, не чувствует она с тех пор к нему в своем сердце. Если она приблизила его к себе, если принимает его с глазу на глаз, то единственно для того, чтобы этим способом мстить ему, чтобы наслаждаться его мучениями.

И теперь первая мысль, которая появилась у нее при взгляде на себя в зеркало, была злобная мысль о том, какие мучения будет испытывать он эти полтора часа, которые она обыкновенно жертвует ему на свиданья, при близости к такой красавице, как она, и при горьком сознании, что к таким свиданьям всецело применима русская пословица «близок локоть, да не укусишь».

Но отчего же так томительно бьется ее сердце, отчего сегодня потребность свиданья с графом Свянторжецким говорит во всем ее существе как-то особенно властно?

Почему она дрожит при мысли, мелькаю-

щей у нее в уме: «А вдруг он не придет?»

Почему, наконец, эта мысль появляется у нее в голове?

Прежде этого никогда не бывало. Она была совершенно равнодушна к его приходу, она была так твердо уверена, что он придет, а теперь... теперь она боится, что он не придет.

Это возмущало молодую девушку, а между тем она была бессильна побороть в себе это томившее ее чувство опасения.

Какое-то странное желание иметь около себя другое ей подобное существо охватывало все существо молодой девушки.

«Позвать Агашу!» — мелькнуло в ее уме, и рука уже было протянулась к сонетке, но княжна тотчас бессильно опустила ее.

«Нет, это не то! — пронеслось в ее голове. — Тем более что он может прийти каждую минуту».

Она взглянула на стоявшие на камине английские часы в перламутровом футляре с бронзовой отделкой.

Но вот до чуткого уха княжны Людмилы Васильевны долетел чуть слышный скрип отворяемой калитки.

«Он пришел!» — пронеслось в ее уме, и сердце так томительно сжалось, что она должна была вскочить с кушетки, на которой сидела, и несколько раз пройтись по комнате, чтобы успокоиться.

Для этой же цели она наклонилась к стоявшему на столике букету и еще несколько раз жадно вдохнула в себя его чудесный аромат. Это, казалось ей, ее успокоило. Она стояла возле столика с букетом и глядела на дверь, в которую должен был войти граф.

В коридоре уже слышались его осторожные, мягкие шаги. Эти шаги отзывались как-то непонятно чувствительно в сердце молодой девушки.

Дверь отворилась.

Граф Иосиф Янович Свянторжецкий появился на ее пороге.

— Однако вы заставляете себя ждать, граф, — встретила его деланно спокойным упреком княжна Людмила, но в голосе ее слышались сдавленные ноты, указывавшие на с трудом подавляемое волнение.

— Извините, княжна, я действительно несколько запоздал... Меня задержала обшир-

ная переписка, вызванная моим отъездом.

— Вы будете наказаны тем, что я прогоню вас раньше, чем обыкновенно, — сказала княжна, деланно улыбаясь.

— Это будет жестоко.

Граф смотрел на нее пытливым взглядом. От этого взгляда не укрылось ее с трудом скрываемое волнение, ее возбужденное состояние, придававшее такой соблазнительный блеск ее красоте. Чуть заметная улыбка скользнула по губам графа Иосифа Яновича.

«Подействовало, молодец патер Вацлав!» — мелькнуло в его голове.

Княжна Людмила Васильевна села на кушетку и молча указала графу на место рядом с собой. Граф сел.

— Нет, княжна, вы не будете так жестоки сегодня, чтобы прогнать меня скоро, я, напротив, хотел именно просить вас удлинить это свидание перед долгой разлукой. Оно будет для меня единственным светлым воспоминанием о Петербурге, когда я буду вдали от вас.

— Уж и единственным! — уронила княжна.

Странное дело. Прежде она бы тотчас оста-

новила его при начале этого полупризнания, а теперь она чувствовала, что эти слова, в которые граф сумел вложить столько страсти, чудной мелодией звучали в ее ушах.

— Не правда ли, княжна, вы доставите мне эту радость? — продолжал граф, овладев ее рукой.

Она не отнимала у него этой руки. Ей было приятно это прикосновение. Какая-то теплота разливалась по всему ее телу. Она чувствовала сладкую истому.

Он подвинулся к ней ближе и наклонился к ее лицу, его горячее дыхание обожгло ее, но она не двинулась с места, как бы решившись отдаться всецело обаянию чудесных минут.

— Я люблю вас, верьте мне, я люблю вас безумно, страстно, — раздавался в ее ушах его страстный шепот.

Что-то властное потянуло ее к нему. Она инстинктивно прижалась к его груди и склонила свою голову к нему на плечо.

— Любишь, конечно, не мучь...

Он сильной рукой взял ее за талию, приподнял и посадил ее к себе на колени.

Она повиновалась как-то автоматически, а

между тем ее дивные глаза метали пламя бушующей в ней страсти. Она жадно слушала слова любви и отвечала на них с какой-то неестественной, безумной лаской. Она была в его совершенной власти.

Вдруг в этот момент графу Свянторжецкому почудились шаги по коридору, но шаги удалявшиеся. Видимо, сам увлеченный вызванной им, хотя и искусственно, страстью молодой девушки, он не слышал, когда эти шаги приблизились к двери балкона. Шаги смолкли, а молодая девушка продолжала обвивать его шею горячими руками. Ее пышущее огнем дыхание обдавало его и подымало все большую и большую бурю страсти в его сердце.

Они как бы замерли в объятиях друг друга. Их губы сливались в страстном, крепком, долгом поцелуе.

Вдруг княжна Людмила Васильевна затрепетала с головы до ног и как-то неестественно вытянулась. Ее руки продолжали обвивать его шею, но он уже не чувствовал их чудной теплоты. Голова ее откинулась назад.

На за минуту перед тем пылающих щеках

появилась мертвенная бледность. Он еще продолжал сжимать ее в своих объятиях и со страстью целовать ее полумертвые губы, но...

Вдруг граф Иосиф Янович почувствовал, что молодая девушка холодеет в его объятиях и становится как-то неестественно тяжелой. Он вздрогнул, поглядел ей в глаза и, в свою очередь, стал бледен как полотно. Он понял. Он находился в объятиях трупа. Княжна умерла.

Первые минуты он окаменел от охватившего его ужаса.

Только через продолжительный отрезок времени граф сумел вернуть себе самообладание.

Он с трудом разжал обвивавшие его шею уже похолодевшие руки, бережно уложил княжну на кушетку, положил ей на грудь букет из белых роз и, оборвав цветы, стоявшие в букетах и других вазах и корзинах, действительно усыпал ее ими.

Он делал это по заранее составленному им плану, так как приготовился встретить смерть молодой девушки, но несколько позже, когда она будет принадлежать ему.

Судьбе было угодно, чтобы она умерла за несколько минут ранее. Он слишком увеличил дозу чудодейственного снадобья патера Вацлава.

Он имел присутствие духа вынуть из кармана записку со словами: «Измена — смерть любви», вложил ее в уже похолодевшую правую руку молодой девушки и тогда только вышел, бросив на лежавшую последний взгляд. Этот взгляд выражал не сожаление, а лишь неудовлетворенное плотское чувство.

Он осторожно затворил дверь, ведущую из передней в сад, тщательно запер калитку и далеко швырнул от себя ключ. Все это граф проделал машинально, как бы в тумане.

Но напряжение нравственных и физических сил имеет свой конец. Едва он сделал несколько шагов по берегу Фонтанки, как вдруг ноги у него подкосились, он упал в сугроб снега и судорожно зарыдал.

После преступления

Граф Иосиф Янович Свянторжецкий не помнил, сколько времени пролежал он ничком на снегу.

Он пришел в себя лишь у себя в кабинете. Все только что происшедшее и пережитое им восстало в его памяти. Холодный пот выступил у него на лбу, волосы поднялись дыбом. Он только теперь понял весь ужас совершенного им преступления.

Роковая страсть, которая в течение длительного времени преследовала его, исчезла. Объятия холодеющего трупа «самозванки-княжны» окончательно убили в нем всякие плотские желания, и его ум, освободившийся от гнета страсти, стал ясно сознавать все им совершенное. Он почувствовал сам к себе страшное чувство — чувство презрения.

Все представлялось ему теперь в совершенно ином свете. С чувством необычайной гадливости вспоминалась ему сцена между ним и покойной теперь молодой девушкой,

когда он с ее тайной в руках думал сделать-ся ее властелином. У него уже не было, как прежде, против нее злобы за то смешное положение, в которое он был поставлен ею. Он теперь уже считал это только ужасным возмездием за ту гнусную роль, которую он хотел сыграть перед женщиной. Он отомстил ей, отомстил женщине, он отнял у ней один из самых драгоценных даров Бога человеку — он отнял у нее жизнь.

Провидение не дало ему возможности совершить над отуманенной адским снадобьем девушкой еще более гнусное преступление. Она предстала пред Всевышним Судьей не оскверненная насилием. Она в этом смысле осталась чиста и непорочна. Грязь и позор остались только на нем, графе Свянторжецком, — тоже самозванце-графе.

Это самое самозванство теперь особенно показалось ему гнусным, преступным. Образ еврея — любовника его матери, которому он был обязан и титулом и состоянием, вырисовывался перед ним во всей его отталкивающей внешности. Деньги, при помощи которых он подготовил совершенное им преступ-

ление, проклятые деньги — деньги еврея. То чувство самосохранения, которое придало ему на первых порах силы обставить совершенное им преступление так, чтобы смерть княжны Людмилы Васильевны имела вид самоубийства, теперь окончательно исчезло. Ему даже показалось это смешным малодушием. Зачем нужно ему скрывать совершенное им дело? Разве он может скрыть его от самого себя, а между тем наказание преступника главным образом и состоит в этом суде самого над собою. Никакие придуманные людьми пытки и наказания не могут сравниться с муками, которые доставляет преступнику сознание его вины. Никуда он не уйдет от этого сознания. Чем искуснее будет скрыто преступление, тем тяжелее будет жить под его гнетом. Недаром один немецкий философ выразил это чувство метким афоризмом: «Преступник требует себе наказания». Это действительно его право, и в осуществлении этого права он находил необходимое для него удовлетворение.

Такое же состояние испытывал граф Иосиф Янович Свянторжецкий. Он уже теперь ясно

и сознательно понимал, что жить с глазу на глаз с совершенным им преступлением он не будет в состоянии. Непреодолимое страстное желание стряхнуть с себя тяжесть тяготеющего над ним преступления, раскаяться, сознаться, перед кем бы то ни было, каковы бы ни были последствия такого сознания, охватывало графа Иосифа Яновича Свянторжецкого. В лихорадочном волнении провел он всю ночь без сна, переживая это томительно тягостное состояние духа.

Поздним утром созрело наконец в его уме решение — упасть к ногам императрицы и сознаться во всем. Был уже двенадцатый час дня, когда он позвонил и приказал явившемуся на звонок Якову подать ему полную парадную форму. Сметливый лакей удивленно посмотрел на бледного как смерть барина, выслушал приказание и удалился исполнять его, не проронив ни слова, не сделав даже жеста изумления.

Граф Иосиф Янович не торопился, так как знал, что императрица встает поздно и, как говорили про нее, превращает день в ночь. Быть может, такой же образ жизни княжны

Людмилы Васильевны Полторацкой заслуживал вследствие этого одобрение ее величества. Одевшись не торопясь, граф сел в карету и велел везти себя во дворец.

Императрица в бытность свою в Петербурге жила большею частью в своем любимом дворце у Зеленого моста (теперь Полицейский).

Он приехал во дворец, когда государыня только что окончила свой утренний туалет и изволила кушать кофе. Граф Свянторжецкий просил доложить о нем, как о явившемся по важнейшему секретному делу. Императрица приняла его в будуаре.

— Что скажете, граф? — встретила она его, милостиво протянув руку.

Он припал к руке императрицы долгим почтительным поцелуем и вдруг опустился на колени.

— Что такое, граф? — невольно оглянулась Елизавета Петровна, не ожидавшая этого коленопреклонения.

В будуаре никого не было. Дрожащим от волнения голосом начал граф свою исповедь. Он подробно рассказал, кто он такой, его по-

бег от отца, принятие, по воле его матери, титула графа, не умолчал даже об источнике их средств — старом еврее.

Яркими красками описал он свой восторг по поводу встречи с не узнавшей его, но тотчас же узнанной им подругой его детских игр княжною Людмилой Васильевною Полторацкой, открытие поразившего его ее самозванства, беседу с убийцей княгини и княжны Полторацких — Никитой, сцену с Татьяной Берестовой, смешное положение, в которое последняя поставила его, мучения, которые переносил он от ее кокетства, и, наконец, решение обратиться к патеру Вацлаву за его чудодейственным средством. С рыданием описал молодой человек свое последнее свидание, когда молодая девушка умерла в его объятиях.

— Я предаю, ваше величество, как ваш верноподданный, мою голову в вашу власть. Велите казнить или помилуйте!

Он стоял на коленях, низко опустив голову.

Императрица сидела некоторое время в глубокой задумчивости.

— Вы знали, что это зелье смертельно? — спросила она после продолжительной паузы.

— Знал, ваше величество, хотя патер Вацлав сказал, что если употребить небольшую дозу, то у него есть средство восстановить силы.

— А вы употребили сильную дозу?

— Меня к этому побудило признание самой жертвы, что она привыкла с самого малолетства к сильному запаху цветов. Кроме того, я сознаюсь, что действовал под влиянием страсти, я был как в тумане и только сегодня ночью окончательно пришел в себя и понял весь ужас совершенного мною преступления.

Государыня снова некоторое время молчала. Граф стоял перед ней на коленях, не переменяя позы.

— Сын моего доблестного слуги, обратившийся к моему личному суду, не может быть предан суду обыкновенному, я ваш судья, и я, в свою очередь, отдаю вас на суд Божий. Вы сегодня же отправитесь в действующую армию и дадите мне слово русского дворянина, что не будете избегать опасности. Вашей храбростью вы заслужите прощение вашего

отца и его признание вас своим сыном; если же Бог пошлет вам смерть, то это будет вашей казнью. Княжна Людмила Васильевна Полторацкая никогда не была Татьяной Берестовой, она покончила с собой самоубийством в припадке безумия. Вот мое решение. Встаньте, Осип Иванович Лысенко.

Императрица снова протянула ему руку. Он припал к этой руке, обливая ее горячими слезами.

— Идите! Приказ о командировке вас в распоряжение главнокомандующего действующей армией будет изготовлен через два часа.

Молодой человек встал и, поклонившись императрице низким поясным поклоном, вышел.

Вслед за ним государыне доложили о прибытии с докладом Сергея Семеновича Зиновьева. Государыня внимательно выслушала доклад о письме тамбовского наместника. Зиновьева поразило, что государыня задумчиво-печально смотрела на него, когда он кончил, и молчала.

— Я ходатайствую перед вами, ваше вели-

чество, арестовать самозванку и убийцу, — осмелился он заговорить первый.

— Слишком поздно, — заметила императрица.

Сергей Семенович посмотрел на нее с почтительным удивлением.

— Как же прикажете, ваше величество? — спросил он.

— Я говорю вам, слишком поздно. Она ушла от нашего суда. Над нею совершился Божий суд... Ваша племянница, княжна Людмила Васильевна Полторацкая, сегодня в ночь покончила с собой самоубийством в припадке безумия.

Пораженный Сергей Семенович Зиновьев, надо сознаться, ничего не понял. Он смотрел на государыню с немым удивлением.

— Вы разве не получали донесения о смерти княжны? — спросила императрица, увидев отразившееся на Зиновьеве ее сообщением впечатление.

— Никак нет-с, ваше величество, — мог только выговорить он.

— Вы его получите и должны при этом знать, что несчастная молодая девушка сама

покончила с собой. Ее следует похоронить соответственно ее званию. На донесение наместника можете сообщить ему, что оговор убийцы не подтвердился. Вы меня поняли?

— Понял, ваше величество.

— Распорядитесь при этом выселить немедленно из России за границу живущего на Васильевском острове знахаря, именуящего себя патером Вацлавом и известного в народе под прозвищем «чародей».

— Слушаю-с, ваше величество.

Государыня подала руку Сергею Семеновичу, дав этим понять, что аудиенция окончилась. Он почтительно поцеловал эту руку и вышел.

Императрица Елизавета Петровна просидела после ухода Зиновьева несколько минут в глубокой задумчивости, затем позвонила и приказала вошедшей камер-фрау пригласить к себе Ивана Ивановича Шувалова.

Через несколько минут находившийся во дворце любимец предстал перед государыней. Она вкратце рассказала ему как выслушанную исповедь Осипа Лысенко, так и доклад Зиновьева, а также высказала и свое ре-

шение по этому делу.

— Будь друг, распорядись в этом смысле, — заключила она.

— Слушаю-с, ваше величество, — ответил любимец и тотчас отправился отдавать распоряжения.

Мы видели, что эти распоряжения умили пыл полицейского чиновника, уже начавшего допросом прислуги покойной княжны розыски по поводу трагической смерти фрейлины государыни.

Княжна Людмила Васильевна Полторацкая, как уже известно читателям, была похоронена по христианскому обряду, и сама государыня присутствовала на похоронах, на которые собрался весь великосветский Петербург. Не было только трех человек: графа Свянторжецкого, графа Свиридова и князя Лугового.

Граф Иосиф Янович Свянторжецкий, в несколько часов ставший Осипом Ивановичем Лысенко, в то время, когда гроб с останками Татьяны Берестовой, именовавшей себя княжной Людмилой Васильевной Полторацкой, опускали в могилу, уже ехал к границе с

твердым решением исполнить волю мудрой и милостивой монархини: или беззаветной храбростью добыть себе прощение отца и милосердие Бога, или же геройски славную смертью искупить свою вину — результат его необузданного характера и неумения управлять своими страстями.

Все более и более удаляясь от Петербурга, города, где он пережил столько тяжелых минут и ужасных треволнений, он даже не думал о возврате на берега Невы. Но те же самые лошади, которые уносили его от места, полного для него роковыми воспоминаниями, с каждым часом приближали его к другому, еще более страшному для него месту, месту, где находился его отец.

Во время кратковременного пребывания Ивана Осиповича в Петербурге его сын, под именем графа Свянторжецкого, раза два встречался с ним во дворце, но удачно избегал представления, хотя до сих пор не может забыть взгляд, полный презрительного сожаления, которым однажды обвел его этот заслуженный, почитаемый всеми, начиная с императрицы и кончая последним солдатом,

генерал.

И теперь он едет, по воле государыни, зарабатывать ее и его прощение. Возможно ли это?

«Вернее, смерть будет моим уделом...» — мелькали в уме Осипа Ивановича грустные мысли, а переменные, сытые и сильные почтовые лошади неслись во весь опор, и ямщики, в чаянии получения щедрой подачки от молодого офицера, весело их подбадривали.

Повозка то ныряла в ухабы, то неслась, скользя по ровной снежной дороге.

Стояла прекрасная погода, при которой даже такие дальние поездки могут считаться прогулками. Только колокольчик под дугой заунывно звучал в унисон с печальными мыслями отданного на Божий суд убийцы.

Князь Сергей Сергеевич Луговой лежал в это же время больной в нервной горячке. Он не узнавал никого и бредил княжной Людмилой, своими мстительными предками, грозящими ему возмездием за нарушение их завета, первым поцелуем, криком совы и убийцей Татьяной.

При постели больного безотлучно нахо-

дился его друг, граф Петр Игнатьевич Свиридов. Его прежняя любовь к князю с новой силой вспыхнула в его сердце после происшествия в театре и рокового открытия в следующую ночь в доме княжны Полторацкой.

Князь Луговой заболел не сразу. Его крепкая натура долго противостояла болезни, но пережитые волнения, наконец, сломили и ее.

XXVII

«Сумасшедший князь»

Время летело. Трагическая смерть княжны Людмилы Васильевны Полторацкой, смерть неожиданная и необычайная по своей романической обстановке, хотя и очень долгое время служила предметом толков и пересудов не только великосветских гостиных, но и всего Петербурга, но, как все на этом свете, поддалась всепоглощающему времени и была забыта.

Новые злобы дня всплыли на поверхности жизненного моря столицы. Злобы эти были внешние и внутренние. К числу первых принадлежали известия с театра войны в Прус-

сии. Генерала Фермора, назначенного после удаления Апраксина, сменил добрый, простой, неученый, но умный старичок Салтыков, которого любили солдаты и называли «курочкой». Донеслось до Петербурга известие о поражении, нанесенном генералу Фермору самим Фридрихом II у Цорндорфа, но донеслись также и слова, произнесенные прусским королем — этим военным гением тогдашнего времени по адресу русских солдат:

— Их мало убить, нужно еще свалить!

Салтыков отплатил за цорндорфское поражение и так разгромил Фридриха в 1759 году при Кунерсдорфе, что король писал с поля битвы «все потеряно» и собирался лишиться себя жизни.

Вместе с этим радостным известием о славной победе и о движении русских войск на Берлин пришла весть о смерти капитана гвардии Осипа Ивановича Лысенко. Весть эта, впрочем, не могла иметь интереса для Петербурга вообще и великосветской части его в особенности, так как никто в Петербурге, кроме императрицы и супругов Зиновьевых, не знал офицера, носящего такое имя. О его

смерти написал императрице Елизавете Петровне и Сергею Семеновичу Зиновьеву Иван Осипович Лысенко, один из доблестных участников победы русских над пруссаками при Кунерсдорфе.

Молодой Лысенко со дня прибытия в действующую армию с положительно львиной отвагой и безумной храбростью появлялся в самых опасных местах битвы и исполнял самые отважные и рискованные поручения. Суровый старик продолжал относиться к сыну как к совершенно чужому и постороннему для него офицеру, тем более что он не находился под его непосредственным начальством и не было поэтому поводов к их встречам.

В битве при Кунерсдорфе атаку, решившую победу, повел с безумной отвагой молодой Лысенко, ставший за короткое время кумиром солдат, не только той части, которая была под его начальством, но и других частей. Он шел все время вперед и упал с простреленной в нескольких местах грудью. Это не помешало ему приподняться с трудом на коленях — и крикнуть:

— Вперед, братцы, умрите, как я!..

Это восклицание сделало положительно чудеса, солдаты бросились на неприятеля без начальника и положительно смяли его. Двое солдат успели отнести их умирающего командира на опушку ближайшего леса.

Случайно, или по воле Провидения, первым человеком, заинтересовавшимся тяжело раненным офицером и наклонившимся над ним, был генерал Иван Осипович Лысенко.

— Отец!.. — открыл глаза Осип Иванович и окинул старика потухающим взором.

В тоне голоса, которым произнесено было это двусложное, но великое слово: «отец», в выражении взгляда умирающего красноречиво читались мольба о прощении и искреннее раскаяние. Старик не выдержал. Он склонил колена перед умирающим сыном, взял в руки его голову с уже снова закрывшимися глазами и поцеловал его в губы.

— Сын мой!

Горячие слезы полились из глаз отца и омочили лицо сына. На этом лице появилась довольная, счастливая улыбка, да так и застыла на нем.

Осипа Лысенко не стало.

В коротких, по своему обыкновению, словах рассказал в письме на имя государыни, так же как и в записке на имя Зиновьева, Иван Осипович Лысенко этот полный настоящего жизненного трагизма эпизод.

«Я нашел сына именно в тот момент, когда он был более всего достоин этого. Я горжусь моим мертвым сыном более, нежели гордился бы живым!» — заключил суровый воин оба письма.

Повторяем, что это известие не могло заинтересовать петербургское общество, не посвященное в предшествующие события, известные нашим читателям.

Предметом толков и пересудов явилась другая смерть, отвлекшая общественное внимание даже от театра войны. Это была смерть князя Сергея Сергеевича Лугового. Обстоятельства жизни молодого человека придали этой смерти таинственную окраску. В Петербурге знали, что он был в числе самых горячих поклонников княжны Людмилы Васильевны Полторацкой. Поразившую его болезнь, почти на другой день после смерти

княжны, приписали, конечно, удару, нанесенному этой смертью сердцу влюбленного.

Весь «высший свет» выражал свое участие бедному молодому человеку, и в великосветских гостиных, наряду с выражением этого участия, с восторгом говорили о возобновившейся дружбе между больным князем и бывшим его соперником — тоже искателем руки покойной княжны Полторацкой — графом Свиридовым, с нежной заботливостью родного брата теперь ухаживавшим за больным. Было ли это участие искренно, или же к нему примешивалось практическое соображение, что со смертью князя Лугового исчезнет один из выгодных и блестящих женихов — как знать? — но дом князя осаждался посетителями — представителями высшего общества, ежедневно почти справлявшимися о его здоровье.

Крепкая натура князя Сергея Сергеевича взяла свое. Кризис миновал. Больной стал поправляться.

Прошло около трех месяцев. Князь же, с позволения доктора, переходил на день на кресло и даже, с помощью своего друга графа

Петра Игнатьевича, делал несколько шагов по комнате. Справляться о здоровье по-прежнему приезжали, но князь не принимал никого. Это обстоятельство стало волновать общество. На вопросы, обращаемые к графу Петру Игнатьевичу Свиридову по поводу странного поведения его друга, получались уклончивые, неудовлетворяющие ответы. Общество никогда не дает себя в обиду. В большинстве случаев оно мстит за нее сплетнею. Так было и в данном случае.

В великосветских гостиных стали ходить упорные слухи, что перенесенная князем Сергеем Сергеевичем Луговым болезнь отразилась на его умственных способностях.

— Несчастный князь, он сошел с ума! — с соболезнованием стали говорить повсюду.

Протесты со стороны графа Свиридова, горячо было ставшего заступаться за друга, только подливали масла в огонь.

— Скрывает друга, это так понятно! — замечали, пожимая плечами, на эти протесты.

Граф Петр Игнатьевич понял, что борьба с установившимся прочно в обществе мнением равносильна борьбе с ветряными мельница-

ми, и умолк.

«Да и какое дело Сергею до них до всех теперь!» — мелькало в его уме.

Князю Сергею Сергеевичу Луговому действительно не было «теперь» никакого дела до общественного о нем мнения.

Это происходило не потому, что болезнь на самом деле подействовала роковым образом на его умственные способности, но потому, что князь пришел к окончательному решению, несмотря на все убеждения графа Петра Игнатьевича, порвать все свои связи со «светом» и уехать в Луговое, где уже строили, по его письменному распоряжению, небольшой деревянный дом.

Место для этой постройки было выбрано князем в довольно значительном отдалении от старого сторевавшего дома, стены которого он не велел разбирать до личного его распоряжения.

Когда в «свете» узнали, что князь Луговой вышел в отставку и уезжает к себе в имение, — это только подтвердило пущенный слух о его сумасшествии.

— Увозят! — говорили, уже совершенно не

стесняясь присутствием друга больного, графа Свиридова.

Последний печально улыбался, но не возражал.

Вскоре факт совершился. Князь Сергей Сергеевич Луговой уехал из Петербурга. Перед отъездом он имел свидание только с одним лицом из петербургского общества, не считая, конечно, графа Свиридова. Последний, по поручению князя, упросил Сергея Семеновича Зиновьева навестить уезжающего, хотя и не совсем оправившегося, своего друга.

Сергей Семенович назначил день и час и был аккуратен. Князь выглядел похудевшим, бледным, но был на ногах. Они уселись втроем в том самом кабинете, где полгода тому назад Сергей Семенович сообщил князю содержание письма тамбовского наместника относительно Татьяны Берестовой, искусно в течение уже года разыгрывавшей роль его невесты — княжны Людмилы Васильевны Полторацкой.

— Я уезжаю к себе, — слабым, печальным голосом начал князь.

— Я слышал это от графа, — указал Зиновьев.

вьев движением головы на сидевшего рядом с князем на диване графа Свиридова, — но неужели навсегда... Стыдитесь, князь, так предаваться грусти, вы молоды, перед вами блестящая дорога, веселая жизнь. Время излечит печаль.

— Нет, мое решение неизменно, я человек обреченный и моя близость ко всякой девушке будет для нее роковой.

Сергей Семенович сделал жест возражения, но князь не дал ему сказать слова.

— Не будем говорить об этом. У меня есть к вам другая, более важная просьба. Я решил просить вас приехать ко мне, хотя, как видите, я в силах был бы заехать к вам. Простите меня. Это произошло потому, что я дал себе обет не переступать порога моего дома иначе, как для того, чтобы уехать из Петербурга навсегда.

— Помилуйте, князь, я с удовольствием. Тяжелая перенесенная болезнь дает вам право, — заговорил Сергей Семенович, а между тем в уме его мелькало: «Не действительно ли он тронувшись?» — Какая же это просьба, князь? Все, что в моих силах, все, что мо-

гу... — добавил Зиновьев.

— Это в ваших силах, это вы можете, — произнес князь Сергей Сергеевич. — Зиновьев, во теперь в вашем владении?

— Да.

— Позвольте мне на свои средства выстроить церковь над могилами княгини Вассы Семеновны и княжны Людмилы.

— Церковь? — повторил Сергей Семенович.

— Да, церковь, каменный обширный храм. Другой храм я буду строить одновременно на месте моего сгоревшего дома. Церкви Лугового и Зиновьева, вы знаете, очень ветхи. Если я, паче чаяния, не доживу до окончания построек, то я уже оставил духовное завещание, в котором все свои имения и капиталы распределяю на церкви и монастыри, а главным образом на эти две для меня самые священные работы. Граф Петр был так добр, что согласился быть моим душеприказчиком и исполнителем моей последней воли.

— Я, конечно, князь, с особым благоговением готов исполнить вашу просьбу. Мне тяжело, что мысль о постройке церкви над моги-

лами погибших такую страшную смертью моей сестры и племянницы не пришла ранее в голову мне, но пусть мое согласие послужит мне вечным за это наказанием. Я завтра же сообщу управляющему Зиновьеву, что вы явитесь туда полным распорядителем.

— Благодарю вас, — протянул ему руку князь.

Сергей Семенович с чувством пожал эту исхудалую от физических и нравственных страданий руку.

Через несколько дней князь переступил порог своего дома и уехал в Луговое. С отъездом князя Сергея Сергеевича Лугового, не сделавшего, само собою разумеется, никому визитов, о нем не забыли. На его долю выпала честь быть очень продолжительное время злобою дня в петербургских великосветских гостиных. Жертву своего любопытства общество найдет на дне морском, а не только в тамбовском наместничестве. Туда написали письма с просьбой следить за князем Сергеем Сергеевичем Луговым и извещать о его образе жизни и прочем. Оттуда стали получаться ответы, быстро распространявшиеся по гости-

НЫМ.

«Сумасшедший князь» — кличка эта оставалась за князем Луговым со времени его отъезда, — действительно вел себя там, по мнению большинства, более чем странно. По приезде в Луговое, как сообщали добровольцы-корреспонденты, он повел совершенно замкнутую жизнь, один только раз был в Тамбове у архиерея, которому предъявил разрешение Святейшего Синода на постройку двух церквей: одну в своем имении Луговом, а другую в имении Сергея Семеновича Зиновьева — Зиновьеве.

Последнее, как знали в Петербурге, принадлежало покойной княжне Людмиле Васильевне Полторацкой. Постройка обоих храмов началась и, ввиду того что князь не жалел денег, подвигалась очень быстро. Князь Сергей Сергеевич, как сообщали, проводил ежедневно несколько часов в родовом склепе Зиновьевых, где были похоронены князь и княгиня Полторацкие, куда, с разрешения тамбовского архиерея, было перенесено тело дворовой девушки княгини Полторацкой — Татьяны Берестовой.

Князь — как писали из Тамбова — уверил архиерея, что это тело покойной княжны Людмилы Васильевны Полторацкой, а что в Петербурге была похоронена под ее именем другая. Последнее известие произвело целую бурю в гостиных.

— Князь сумасшедший, ему простительно говорить все, но как же могло согласиться на это высшее духовное лицо? — возмутились сообщавшие и слышавшие это известие.

— Чего нельзя сделать с деньгами! — ядовито вставляли некоторые.

Прошло два года; церкви были выстроены и освящены, а князь Сергей Сергеевич все продолжал вести странный образ жизни, деля свое время между чтением священных книг и долгою молитвою над мнимой могилой княжны Людмилы Васильевны Полторацкой.

Вдруг, в июле месяце 1761 года, из Тамбова пришло известие, что князь Сергей Сергеевич скончался. Он был убит ударом молнии при выходе из часовни, находившейся в храме в Луговом и переделанной им из старой, много лет не отпиравшейся беседки. Из Тамбова со-

общали даже и легенду об этой беседе и историю ее самовольного открытия покойным князем. Сделалось известно также и его завещание. Понятно, что подобного рода смерть заставила долго говорить о себе в обществе.

XXVIII

Смерть императрицы

— Пеките блины, вся Россия будет печь блины!

Так говорила 24 декабря 1761 года, ходя по улицам Петербурга, известная в описываемое нами время юродивая Ксения, могила которой на Смоленском кладбище до сих пор пользуется особенным уважением у народа.

Ксения Григорьевна была жена придворного певчего Андрея Петрова, скончавшегося в чине полковника. Она в молодых годах осталась вдовою.

Тогда, раздав свое имение бедным, она надела на себя одежду своего мужа и под его именем странствовала сорок пять лет, изредка проживая на Петербургской стороне, в приходе святого апостола Матфея, где одна

улица называлась ее именем. Рассказывают, что Ксения пользовалась особенным уважением у петербургских извозчиков, которые, завидя ее где-нибудь на улице, наперебой один перед другим предлагали ей свои услуги в том убеждении, что которому из них удастся хоть сколько-нибудь провезти Ксению, к тому непременно придет удача.

Год смерти ее неизвестен. Одни уверяют, что она умерла до первого наводнения в 1777 году, другие же — что при Павле. Могила Ксении издавна пользуется особенным почитанием и уважением. В скором времени после ее похорон посетители разобрали всю могильную насыпь; когда же усердствующими была положена плита, то и плита была разломана и по кусочкам разнесена по домам. Сделана была другая плита, но и та недолго оставалась целою. Ломая камень и разбирая землю, посетители бросали на могилу деньги. Тогда на могиле прикрепили кружку, и на собранные таким образом пожертвования построили памятник в виде часовни с надписью: «Раба Ксения, кто меня знал да поминает мою душу, для спасения своей души». И дей-

ствительно, ни на одной из могил на Смоленском кладбище не служат столько панихид, как на могиле Ксении.

Эта-то Ксения и ходила, повторяем, 24 декабря 1761 года по улицам Петербурга, произнося вышеприведенные загадочные слова. На другой день, однако, для петербуржцев и для всей России эти слова, к несчастью, перестали быть загадкой.

25 декабря 1761 года, день Рождества Христова, был для России днем радости и горя. В эту ночь было обнародовано донесение генерала Румянцева о славном взятии русскими войсками прусской крепости Кольберг, а к вечеру не стало императрицы Елизаветы Петровны.

Она умерла в Царском Селе. Болезненное состояние императрицы началось с начала 1761 года, и она нередко по неделям не вставала с постели, в которой даже слушала доклады.

17 ноября Елизавета Петровна почувствовала лихорадочные припадки, но, по принятии лекарства, совершенно оправилась и занялась делами.

19 декабря императрице стало дурно.

Началась жестокая рвота с кровью и кашлем. Медики Мопсей, Шилинг и Крауз решили открыть кровь и очень испугались, заметив сильно воспаленное ее состояние. Несмотря на это, через несколько дней императрица совершенно оправилась.

20 декабря Елизавета Петровна чувствовала себя особенно хорошо, но на третий день, 22-го числа, в 10 часов вечера, началась опять жестокая рвота с кровью и с кашлем. Медики заметили и другие признаки, по которым сочли долгом объявить, что здоровье императрицы в опасности. Выслушав вторично это объявление, Елизавета Петровна 23 декабря исповедалась и приобщилась, а 24 соборовалась. Болезнь так усилилась, что вечером Елизавета Петровна дважды заставляла читать отходные молитвы, повторяя сама их за духовником. Агония продолжалась ночь и большую половину следующего дня. Великий князь и великая княгиня находились постоянно при постели умирающей.

В четвертом часу дня отворилась дверь из спальни в приемную, где собрались высшие

сановники и придворные. Все знали, что это значило. Вышел старший сенатор, князь Николай Юрьевич Трубецкой, и объявил, что императрица Елизавета Петровна скончалась и государствует его величество император Петр III. Ответом были рыдания и стоны на весь дворец.

Новый император отправился на свою половину. Императрица Екатерина Алексеевна осталась при покойной императрице. У изголовья умирающей государыни находились также оба брата Разумовские и Иван Иванович Шувалов, любившие императрицу всем своим преданным простым сердцем. Слезы обоих братьев Разумовских были слезами искренними, и скорбь их была вполне сердечная. Покойная государыня, возведшая их из ничтожества наверх почестей, была к ним неизменно добра.

Несмотря на все свои недостатки, Елизавета Петровна, несомненно, имела дар вселять в других глубокую к себе привязанность. В горести Ивана Ивановича Шувалова, Разумовских, Чулкова и некоторых других верных слуг ее слышалось не сожаление о конце их

случая, но глубокое, вполне чистосердечное сокрушение о той, которую они так искренне и неподкупно любили.

Последние годы императрицы были тяжелы.

Она сама, как мы знаем, болела, даже не подписывала бумаг. Боялись и просились в отставку ее сотрудники, а главный из них, Бестужев, сидел в деревне, в опале.

Казна до того оскудела от войны, что ввела лотереи, которых гнушались прежде, и не было возможности достроить Зимний дворец. Незадолго до смерти Елизавета Петровна освободила много ссыльных и подсудимых и издала грустный указ, в котором сознавалась, что внутреннее управление расстроено.

Так закончилось двадцатилетнее царствование дочери Петра Великого.

Закончим и мы наше повествование, бросив беглый взгляд на прошедшее.

При отсутствии внимательного изучения русской истории XVIII века обыкновенно повторяли, что время, прошедшее от смерти Петра Великого до вступления на престол Екатерины II, есть время печальное, недоста-

точно изученное — время, в которое на первом плане были интриги, дворцовые перевороты, господство иноземцев.

Но при успехах исторической науки вообще и при более внимательном изучении русской истории подобные взгляды повторяться более не могут.

Мы знаем, что в древней истории нашей не Иоанн III был творцом величия России, но что это величие было подготовлено для него в печальное время княжеских усобиц и борьбы с татарами, мы знаем, что Петр Великий не приводил Россию из небытия в бытие; что так называемое преобразование было естественным и необходимым явлением народного роста, народного развития, и великое значение Петра состоит в том, что он силою своего гения помог своему народу совершить тяжелый переход, сопряженный со всякого рода опасностями.

Наука не позволяет нам также сделать скачок от времени Петра Великого ко времени Екатерины II; она заставляет нас с особенным любопытством углубиться в изучение этого периода — посмотреть, как Россия продолжа-

ла жить новою жизнью после Петра Велико-го, как разбиралась она в материале преобразований без помощи гениального императора, как нашлась в своем новом положении, с его светлыми и темными сторонами, так как в жизни человека и в жизни народов нет возраста, в котором не было бы и тех и других сторон.

На Западе, где многие беспокоились при виде могущественнейшей державы, внезапно явившейся на Востоке Европы, утешали себя тем, что это явление преходящее, что оно обязано своим существованием воле одного сильного человека и кончится вместе с его смертью.

Ожидания не оправдались именно потому, что новая жизнь русского народа не была созданием одного человека.

Поворота назад быть не могло, так как ни отдельный человек, ни целый народ не возвращается из юношеского возраста к детству и от зрелого возраста к юношеству; но могли и должны были быть частные отступления от преобразовательного плана, вследствие отсутствия одной сильной воли, вследствие сла-

бости государей и своекорыстных стремлений отдельных сильных лиц.

Самая сильная опасность при переходе русского народа из древней истории в новую, из возраста чувств в возраст мысли и знания, из жизни домашней, замкнутой в жизнь общественных народов — главная опасность при этом заключалась в отношении к чужим народам, опередившим в деле знания, у которых поэтому надо было учиться.

В этом-то ученическом положении и относительно чужих живых народов и заключалась опасность для силы и самостоятельности русского народа, ибо как соединить положение ученика со свободой, самостоятельностью в отношении к учителю, как избежать при этом подчинении подражания?

Примером служит крайнее подчинение западноевропейских народов своим учителям — грекам и римлянам, когда они в эпоху Возрождения совершили такой же переход, какой русские совершили в эпоху преобразования, с тем различием, что они подчинялись народам мертвым, тогда как русский народ должен был учиться у живых людей.

Тут-то Петр и оказал великую помощь своему народу, сокращая срок учения, заставляя немедленно проходить практическую школу, не оставляя долго русских людей в страдальческом положении учеников, употребляя невероятные усилия, чтобы относительно внешних, по крайней мере, средств не только уравнивать свой народ с образованными соседями, но и дать ему превосходство над ними, что и было сделано устройством войска и флота, блестящими победами и внешними приобретениями, так как именно это вдруг дало русскому народу почетное место в Европе, подняло его дух, избавило от вредного принижения при виде опередивших его в цивилизации народов.

Петр держался постоянно правила: поручать русским высшие места военного и гражданского управления и только второстепенные могли быть заняты иностранцами.

От этого-то важного правила уклонились по смерти Петра. Птенцы его завели усобицы, начали вытеснять друг друга. Ряды их поределли. Этим воспользовались иностранцы и добрались до высших мест.

Несчастливая попытка ограничить самодержавие в 1730 году нанесла тяжелый удар русским фамилиям, стоявшим наверху, и царствование Анны Иоанновны явилось временем «бироновщины».

Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшать бедствия этого времени, оно навсегда останется самым темным временем в нашей истории XVIII века, ибо дело шло не о частных бедствиях, не о материальных лишениях: народный дух страдал, чувствовалась измена основному, неизменному правилу Великого преобразователя, чувствовалась самая тяжелая сторона его в жизни, чувствовалось иго с Запада, более тяжкое, чем прежде иго с Востока — иго татарское.

Полтавский победитель был принижен, рабствовал Бирону, который говорил: «Вы, русские, как так смело и в самых винах себя защищать дерзаете»[7]. Эти слова были сказаны временщиком князю Шаховскому, защищавшему своего дядю от обвинения Миниха. Сколько в этих словах презрительного отношения к русским!

От этого-то ига с Запада избавила Россию

«дочь Петра Великого».

Россия пришла в себя.

На высших местах управления снова явились русские люди, и когда, как мы уже знаем, на место даже второстепенное представлялся иностранец, Елизавета Петровна спрашивала:

— Разве нет русского? Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного русского.

Народ, пришедший в себя, начинает говорить от себя и про себя и является литература, является язык, достойный говорящего о себе народа.

Являются писатели, которые остаются жить в памяти и мыслях потомства, является народный театр, журнал, в старой Москве основывается университет.

Человек, гибнувший прежде под топором палача, становится полезным работником в стране, которая более, чем какая-либо другая, нуждается в рабочей силе; пытка заботливо отстраняется при первой возможности, и, таким образом, на практике приготовлено ее уничтожение.

Для будущего времени готовится новое поколение, воспитанное уже в других правилах и привычках, чем те, которые господствовали в прошлом царствовании, — воспитывается и готовится целый ряд деятелей, которые сделают знаменитым царствование Екатерины II.

Но, говоря о значении царствования Елизаветы Петровны, мы не должны забывать характер самой императрицы.

Веселая, беззаботная, страстная к утехам жизни, она должна была пройти через тяжкую школу испытаний и прошла ее с пользою.

Крайняя осторожность, сдержанность, внимание, умение проходить между толкающими друг друга людьми, не толкая их, — эти качества приобрела Елизавета в царствование Анны, когда безопасность и свобода ее постоянно висели на волоске. Эти качества принесла она и на престол, не потеряв добродушия, снисходительности, так называемых патриархальных привычек, любви к искренности, простоте отношений.

Наследовав от отца умение выбирать — со-

хранять способных людей, она призвала к деятельности новое поколение русских людей, знаменитых при ней и после нее.

Таково было главное значение царствования дочери Петра Великого.

Это двадцатилетнее царствование, следовавшее неуклонно национальной политике Петра Великого, сделало то, что эта политика успела всосаться в плоть и кровь русского народа, доказательством чему служит кратковременное царствование Петра III, хотевшего снова отдать Россию в подчинение ненавистным немцам.

Иноземка по происхождению, но русская по духу, Великая Екатерина повела своей искусной, сильной, хотя и женской рукой Россию по пути, начертанному ей Петром Великим и его достойной дочерью.

Снова с высоты русского престола раздался столь любезный русскому народу оклик по адресу иноземцев:

«Руки прочь!»

Сноски

Васильчиков А. Семейство Разумовских.

[^^^]

Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей
Петербурга.

[^^^]

Пыляев М. И. Старый Петербург.

[^^^]

Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей
Петербурга.

[^^^]

Трачевский А. Русская история. Ч. II.

[^^^]

Соловьев С. М. История России с древнейших времен.

[^^^]

Соловьев С. М. История России с древнейших времен.

[^^^]